Фридрих Ницше

3

полное собрание сочинений

РЕВОЛЮЦИЯ
КУЛЬТУРНАЯ

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений в тринадцати томах

Издательство
«Культурная Революция»
Москва

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений

Третий том

Утренняя заря
Мессинские идиллии
Веселая наука

Перевод с немецкого

Издательство
«Культурная Революция»
Москва 2014

памяти
Владимира Николаевича Миронова

ББК 87.3 Герм
Н70
Общая редакция
И.А. Эбаноидзе
Сверка, научное редактирование
В.М. Бакусев, И.А. Эбаноидзе
Перевод
В. Бакусев, К. Свасьян
Подготовка комментария
В. Бакусев, К. Свасьян, И. Эбаноидзе
Оформление И.Э. Бернштейн

Ницше, Фридрих.
Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии.– М.: Культурная революция, 2005–2014.
Т. 3: Утренняя заря. Мессинские идиллии. Веселая наука / Пер. с нем. В. Бакусева, К. Свасьяна; общ. ред. И.А. Эбаноидзе. – 2014. – 640 с. – ISBN 978-5-902764-40-3.

В третий том полного собрания сочинений немецкого мыслителя Ф. Ницше вошли его ключевые произведения «Утренняя заря» и «Веселая наука», а также стихотворения из цикла «Мессинские идиллии». Публиковавшиеся ранее переводы В. Бакусева («Утренняя заря») и К. Свасьяна («Веселая наука») приведены в новой редакции.

Издано при поддержке Д. Фьюче и сайта www.nietzsche.ru.

Содержание[1]

1 Переводчики «Мессинских идиллий» указаны в постраничных сносках к соответствующим стихотворениям. Пользуясь случаем, исправляем ошибку, допущенную в содержании тома 1/2, где рядом с названием работ из наследия 1872–1873 гг. не были указаны их переводчики: переводчица (приводим в последовательности, сообразной объему произведений) «О будущности наших образовательных учреждений» В. Невежина, переводчица «Об истине и лжи во вненравственном смысле» Л. Завалишина и переводчик «Призыва к немцам» В. Бакусев.

Утренняя заря

Мысли о моральных предрассудках

«Какое великое множество зорь
еще никогда не занималось!»
Ригведа

Предисловие

1

В этой книге вы застанете за работой «подземщика», того, кто вгрызается, роет, подрывает. Вы увидите – разумеется, если у вас есть глаза, чтобы различить столь глубинную работу, – как он медленно, осмотрительно, с мягкой неумолимостью продвигается вперед, и вам не будет бросаться в глаза отчаянное положение, в котором оказывается тот, кто долго живет без света и воздуха; его, пожалуй, можно считать даже довольным своею мрачной работой. А не кажется ли, будто им владеет некая вера, будто его вознаграждает некое утешение? Будто, может быть, он не прочь подольше побыть в собственном внутреннем мраке, непостижимом, сокровенном, загадочном, – ведь ему известно и о том, чтó его ждет: его утро, его спасение, его собственная *утренняя заря*?... Разумеется, он вернется: и не спрашивайте, чего ему надо там, внизу, – он уж сам расскажет вам об этом, сей мнимый Трофоний, сей подземщик, но только когда вновь «вочеловечится». Молчание основательно надоедает, если человек так долго был кротом, так долго жил в одиночестве – –

2

А ведь и впрямь, мои терпеливые друзья, почему бы мне не рассказать вам о том, чего мне было нужно там, внизу, – здесь, в этом запоздавшем предисловии, которое запросто могло бы обернуться некрологом, надгробной речью, – но ведь я-то вернулся, я вышел сухим из воды. И не думайте, будто я призываю вас к подобной авантюре! Или хотя бы к подобному одиночеству! Ведь кто пошел по такому, по своему пути, тот никого не встретит на нем: уж такие они, эти «свои пути». Никто не явится тут на подмогу; ему при-

ходится самому справляться со всеми опасностями, злоключениями, мерзостями и скверной погодой. Ведь его путь – это путь именно *для него*, и, как полагается, на его долю выпадает досада, а то и ропот на это «для него»: как, скажем, неприятно сознавать, что даже друзья не могут догадаться, где он, куда идет, и что время от времени они станут спрашивать себя: «Полно – да идет ли он вообще? Да уж не сбился ли он с пути?». Тогда я предпринял нечто такое, что не всякому по силам: я спустился в глубины, я вгрызся в основание, я принялся исследовать и прощупывать некое древнее *доверие*, на котором мы, философы, вот уже две тысячи лет привыкли все строить, как на самом надежном основании, – и делаем это все вновь и вновь, хотя до сих пор каждое новое строение рушилось: я начал подрываться под наше *доверие к морали*. Но вы, кажется, меня не понимаете?

3

Самая злая доля выпадала доселе размышлениям о добре и зле: это всегда было делом куда как опасным. Совесть, страх за доброе имя и боязнь преисподней, а порою и полиция не допускали и не допускают тут никакой вольности; ведь в присутствии морали, как перед лицом всякого авторитета, *невозможно* мыслить, а тем более высказываться: здесь остается только одно – *повиноваться*! С тех пор как мир стоит, еще ни один авторитет и не думал дозволять критику в свой адрес; а уж критиковать мораль, представлять мораль проблемой, чем-то проблематичным – как, разве это не было всегда неморальным, разве не остается неморальным и *по сей день*? Но мораль не только располагает любыми орудиями устрашения, чтобы не подпускать к себе руки критики и пыточные инструменты: ее безопасность еще больше зиждется на своего рода способности завораживать, и владеет она ею отлично, поскольку умеет «вдохновлять». Ей, часто одним-единственным взглядом, удается парализовать критическую волю, даже переманить ее на свою сторону; мало того, бывают случаи, когда она обращает эту волю против нее же самой, – и та, подобно скорпиону, запускает жало в собственную плоть. Ведь мораль

испокон веку владеет дьявольским искусством убеждать: нет ни одного оратора, в том числе и сегодня, который не прибегал бы к ее помощи (достаточно послушать, к примеру, хотя бы наших анархистов: уж как морально они говорят, чтобы склонить на свою сторону! А себя они так и вовсе зовут «добрыми и справедливыми»). Ведь мораль с давних пор, с тех пор как на земле начали говорить и уговаривать, показывала себя величайшей мастерицей совращения – а в том, что касается нас, философов, – настоящей *Цирцеей для философов.* Почему же все-таки так получалось, что начиная с Платона все европейские зодчие от философии строили напрасно? Почему же грозит обвалиться или уже лежит в развалинах все то, что сами они честно и вполне серьезно считали *aere perennius*[1]? Ах, насколько же неверен тот ответ, что и по сей день всегда наготове на такой вопрос: «потому что все они прошли мимо исходной предпосылки, проверки фундамента, критики разума как такового» – тот роковой ответ Канта, который, разумеется, отнюдь не поставил нас, современных философов, на почву более надежную и менее обманчивую! (– Да и вообще, спрашивается, не слишком ли странно было требовать, чтобы орудие критиковало собственную добротность и пригодность? Чтобы разум сам «познавал» собственную ценность, собственные силы, собственные пределы? Разве такое требование не было даже немного абсурдным?) Правильный ответ состоял бы скорее в том, что все философы строили под лжеводительством морали, в том числе и Кант, – что метили они якобы в достоверность, в «истину», а на самом-то деле – в «*величественное здание морали*», если уж снова прибегнуть к невинному языку Канта, называющего своей «не слишком блистательной, но и не вовсе пустой» задачей и работой «разровнять и укрепить почву для этого величественного морального здания» (Критика чистого разума II, с. 257). Увы, тут – сегодня это надо признать – у него ничего не вышло, даже наоборот! Лелея столь горячечно-восторженный замысел, Кант был как раз подлинным сыном своей эпохи, которую можно назвать эпохой горячечной

1 Вековечнее меди (*лат.*) – слова из стихотворения Горация (Послания 3, 30), известного как «Памятник».

восторженности с бóльшим правом, нежели любую другую: к счастью, он остался таковым и в отношении ее более привлекательных сторон (к примеру, в той изрядной доле сенсуализма, которая перешла в его теорию познания). И ему достался укус тарантула морали – Руссо, и у него в самом основании души лежала идея морального фанатизма, исполнителем которой чувствовал и признавал себя другой апостол Руссо, а именно Робеспьер, стремившийся «*de fonder sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu*»[1] (в речи, произнесенной 7 июня 1794-го). С другой стороны, с таким французским фанатизмом в душе нельзя было действовать более нефранцузски, более глубокомысленно, более основательно, по-немецки – если слово «немецкий» сегодня еще позволительно употреблять в этом смысле, – чем действовал Кант: чтобы расчистить место для *своего* «царства морали», он оказался вынужденным учредить некий недоказуемый мир, логическую «потусторонность»: вот для чего ему понадобилась критика чистого разума! Иначе говоря: *она ему не понадобилась бы*, если бы одно не было бы для него важнее всего остального: сделать «царство морали» неуязвимым, а еще лучше неуязвимым для разума, – ибо он слишком хорошо ощущал именно уязвимость морального миропорядка с точки зрения разума! Ведь перед лицом природы и истории, перед лицом фундаментальной *неморальности* природы и истории Кант, как испокон веку всякий порядочный немец, был пессимистом; он верил в мораль не потому, что она доказуема природой и историей, а несмотря на то, что природа и история постоянно ей противоречат. Чтобы вникнуть в это «несмотря на», стоит, может быть, вспомнить о чем-то подобном у Лютера, того второго великого пессимиста, который однажды со всей своей лютеровской удалью довел до разумения друзей: «Ежели бы уму было дано постичь, сколь велики закрома милосердия и справедливости у Бога, являющего зело много гневливости и лютости, – на что тогда была бы и *вера?*» Да ведь исстари не было ничего, что производило на немецкую душу более глубокого впечатления, что вводило ее в большее «ис-

---

1 «Основать на земле царство мудрости, справедливости и добродетели» (*фр.*).

кушение», чем это опаснейшее из всех заключение, которое для любого истинного латинянина есть грех против ума: *credo quia absurdum est*[1]: – с этим заключением немецкая логика впервые вступает в историю христианской догмы – но даже сегодня, тысячелетие спустя, мы, нынешние немцы, немцы поздние во всех отношениях, чуем за прославленным реально-диалектическим осново-положением, которым Гегель в свое время помог немецкому духу воцариться в Европе – «Миром движет противоречие, и все вещи противоречат сами себе», – нечто истинное, *возможность* истины: ведь мы пессимисты, даже в самой логике.

4

Но не ценностные суждения *логики* лежат на дне и в основании, до которых хватает смелости спуститься нашей подозрительности: доверие к разуму, доверие, составляющее краеугольный камень этих суждений, само по себе есть явление *моральное*... Быть может, немецкому пессимизму еще только предстоит сделать последний свой шаг? Быть может, ему снова каким-то ужасающим образом придется соединить свое *credo* и свое *absurdum*? И если *эта* книга пессимистична вплоть до морали, по-над доверием к морали, – отчего бы как раз поэтому ей не быть книгой немецкой? Ведь она на деле представляет собою противоречие, но это ее не пугает: в ней морали отказано в доверии – а все почему? *Да из моральных соображений*! Как же иначе нам назвать то, что в ней – в *нас* – творится? На наш-то вкус тут подошло бы более скромное выражение. Но, несомненно, даже до нас доходит голос некоего «долга», даже мы повинуемся некоему строгому закону над нашей головою, – это и есть та последняя мораль, которая доступна даже нашему слуху, которою умеем *жить* даже мы – тут, и больше нигде, даже мы знаем, *что такое совесть*: и состоит она в том, что мы не хотим снова очутиться там, где люди делаются отжившими

1 Верую, ибо это нелепо (*лат.*) – высказывание, приписываемое Тертуллиану на основании близких по смыслу слов из его трактата «О плоти Христовой».

свое, трухлявыми, где правит что-то «недостоверное», как бы оно ни называлось – Богом, добродетелью, истиной, справедливостью или любовью к ближнему; в том, что мы не позволяем себе перекидывать мосты лжи к старым идеалам; что мы до глубины души чужды всему пытающемуся изнутри заставить нас стать посередке, перемешаться; чужды любому нынешнему сорту веры и христианства; чужды мутным водам всяческого романтизма и квасного патриотизма; чужды и сладострастию артистов, бессовестности артистов, которой хотелось бы убедить нас поклоняться тому, во что мы уже не верим, – ибо мы и сами артисты – ; короче говоря, чужды всему европейскому *феминизму* (или, если уж очень угодно, идеализму), который вечно «тянет нас ввысь» и как раз этим вечно «сносит вниз»: – и лишь как люди *такой* совести мы еще чувствуем свое родство с тысячелетними немецкими порядочностью и благочестием, хотя уже на правах их самых сомнительных и последних отпрысков, мы, нынешние имморалисты и безбожники, и даже в известном смысле – на правах их наследников, проводников их тайной воли, их пессимистической воли, которая, как уже сказано, не боится самоотрицания, потому что делает это с *удовольствием*! В нас, если уж вам угодно получить это в виде формулы, происходит *самоупразднение морали*. – –

5

– В конце-то концов: зачем бы это нам так громко и с таким пылом говорить о том, кто мы такие, чего хотим и чего не хотим? – Если подойти к делу хладнокровнее, отстраненнее, умнее, заоблачнее, то мы скажем об этом так, как следует говорить между нами, так прикровенно, чтобы никто этого не расслышал, чтобы никто не расслышал *нас*! Прежде всего, мы скажем об этом *медленно*... Это предисловие запоздало – но запоздало не слишком: что такое, в сущности, пять-шесть лет? Подобная книга, подобная проблема, как та, о которой речь, не терпят спешки; да и помимо этого оба мы дружим с *lento*[1] – и я, и моя книга. Не зря ведь чело-

1 Медленно (*ит.*).

век был филологом, да может быть, и теперь еще не зря он филолог, то бишь учитель медленного чтения: – в итоге он стал и писать медленно. И теперь у меня не только вошло в привычку, но и сделалось моим вкусом, может быть, злобным вкусом, – не писать больше ничего такого, что не доводило бы до отчаяния любую разновидность человека, который «терпит спешку». Филология же – то почтенное искусство, что требует от своего почитателя прежде всего одного: держаться в сторонке, удосужиться, притихнуть, замедлиться; она – ювелирное искусство и мастерство *слова*, обязанное выдавать работу исключительно тонкую, осмотрительную, и не добивается своего, если не добивается этого в темпе *lento*. И как раз поэтому она сегодня нужнее чем когда-либо, как раз этим она так сильно привлекает и зачаровывает нас в самый разгар эпохи «труда», то бишь поспешности, непристойной и потеющей торопливости, которая силится «управиться» сразу со всем, в том числе с каждой старой и новой книгой: а вот филология управляется со своими предметами не так-то легко, она учит читать *хорошо*, то есть читать медленно, глубоко, оглядываясь назад и заглядывая вперед, с задними мыслями, с открытыми дверями, с чуткими пальцами и глазами... Терпеливые мои друзья, эта книга желает себе только безупречного читателя и филолога: *научитесь* читать меня хорошо! –

Рута близ Генуи, осенью года 1886-го

Книга первая

1

Разумность, привнесенная задним числом. – Все долгоживущее мало-помалу настолько пропитывается разумом, что благодаря этому его происхождение от неразумия становится неправдоподобным. Разве любая точно изложенная история возникновения не звучит для чувства как абсурд и кощунство? Разве хорошие историки, по сути дела, не впадают на каждом шагу в *противоречие*?

2

Предрассудок ученых. – Рассудок ученых верно определил, что во все времена люди мнили, будто *знают* мерило добра и зла, похвального и предосудительного. Но в том-то и предрассудок ученых, будто *нынче мы знаем об этом лучше*, чем люди других эпох.

3

Всему свое время. – Наделяя всё половыми различиями, люди и не думали забавляться, а мнили, будто проникли в самую суть вещей: – в чудовищных масштабах этой ошибки они признались себе очень поздно, да и теперь, может быть, еще не вполне. – Точно так же люди снабдили все существующее отношением к морали и повесили миру на шею *этический смысл*. Когда-нибудь ему будут придавать не больше значения, чем теперь – вере в мужской или женский пол солнца.

4

Против иллюзорной дисгармонии сфер. – Нам следует вновь изгнать из мира множество видов ложного величия, ведь оно противоречит той законности, на которую все вещи претендуют в наших глазах! А для этого нужно отказаться смотреть на мир как более дисгармоничный, нежели он есть!

5

Скажем спасибо! – Великий итог предшествующей истории человечества состоит в том, что нам больше не нужно постоянно бояться диких зверей, варваров, богов и собственных грез.

6

Фокусник и его антипод. – Поразительное в науке противоположно тому, чем поражает фокусник. Ведь этот стремится поймать нас на том, чтобы заставить увидеть простенькие причинные связи там, где в реальности задействованы очень сложные. Наука же, наоборот, вынуждает нас отказаться от веры в простейшие причины именно там, где все кажется таким само собой понятным, но где видимость нас дурачит. Вещи «простейшие» *очень сложны* – вот что бесконечно поразительно!

7

Новое ощущение пространства. – Что больше содействовало человеческому счастью: вещи реальные или воображаемые? Совершенно ясно, что расстояние между высочайшим блаженством и глубочайшим горем явилось на свет благодаря вещам воображаемым. Следовательно, *этот* вид ощущения пространства все больше сходит на нет под воздействием науки: точно так же мы научились от нее, да и все еще учимся, воспринимать нашу планету крохотной, мало того, и самое Солнечную систему – точкой в пространстве.

8

Преображение. – Беспомощные страдальцы, люди, витающие в лихорадочных грезах, и экстатики – вот те *три ступени*, на которые Рафаэль делит людей. Нам такое восприятие мира уже чуждо – да и Рафаэль был бы сегодня на него не *способен*: он своими глазами увидел бы новый вид преображения.

9

Понятие нравственности обычаев. – Мы, нынешние люди, если сравнивать наш образ жизни с целыми тысячелетиями истории человечества, живем в эпоху весьма безнравственную: власть обычаев ослабла на удивление, а ощущение нравственности столь истончилось и воспарило ввысь, что с равным правом можно назвать его испарившимся. Поэтому нам, поздно рожденным, тяжко дается постижение глубинных корней морали, а если мы все же добились его, наши уста никак не решаются произнести его вслух – ведь звучит оно куда как грубо! Или потому, что кажется клеветою на нравственность! Так, скажем, обстоят дела уже с *законом*, гласящим: нравственность есть не что иное (стало быть, главным образом *не более чем*!), как слепое повиновение обычаям, какого бы рода они ни были; обычаи же суть *традиционные* формы поступков и оценок. В вещах, где традиция ничего не определяет, нет и нравственности; и чем слабее жизнь определяется традицией, тем уже становится круг нравственности. Человек свободный безнравствен, потому что во всем *хочет* зависеть от себя, а не от традиции: во времена, когда человечество пребывало в девственном состоянии, слово «злой» означало то же, что «индивидуальный», «свободный», «самовольный», «необычный», «непредсказуемый», «непредвиденный». Если, по исключительным меркам таких состояний, поступок совершен не потому, что так велит традиция, а исходя из других мотивов (скажем, личной пользы), мало того, даже тех самых мотивов, что некогда и заложили традицию, – то его называют безнравственным, причем так это ощущает и сам совершивший: ведь подобные поступки совершаются не из повино-

вения традиции. Что такое традиция? Это высший авторитет, которому повинуются не потому, что он предписывает нечто *полезное* для нас, а потому, что он вообще *предписывает*. – Чем такое чувство перед лицом традиции отличается от чувства страха? Это страх перед высшим интеллектом, который что-то приказывает, перед непостижимой, неподконтрольной властью, перед чем-то сверхличным, – в подобном страхе есть *суеверие*. – Все воспитание и забота о здоровье, брак, врачебное искусство, земледелие, война, речь и молчание, общение между людьми и людей с богами изначально входили в сферу нравственности: нравственность требовала от человека, чтобы он соблюдал предписания, *не думая о себе* как об индивиде. Стало быть, изначально все было обычаями, а кто хотел подняться над ними, должен был сделаться законодателем и знахарем, то есть своего рода полубогом: это значит, что ему пришлось бы *создавать обычаи*, – какое страшное, опасное для жизни дело! – Кто наиболее нравствен? *Во-первых*, тот, кто чаще других выполняет закон: стало быть, кто, подобно брахману, всюду и в любой миг помнит о нем, так что со временем становится самым толковым в делах, касающихся соблюдения закона. *Во-вторых*, тот, кто соблюдает его даже в самых трудных обстоятельствах. Наиболее нравствен тот, кто приносит наибольшие *жертвы* обычаям: а что это за наибольшие жертвы? Когда ответ на такой вопрос получен, возникает множество различных видов морали; но самым важным остается то различие, что отделяет моральность *наиболее частого соблюдения* от моральности *наиболее трудного*. Не будем обманываться относительно мотива той морали, что в качестве признака нравственности требует труднейшего вида соблюдения обычаев! Императив самопожертвования возникает *не потому*, что таковое связано с какой-то пользой для индивида, а чтобы обычаи, традиция предстали торжествующими над любыми противостоящими им личными влечениями и соображениями выгоды: индивид обязан принести себя в жертву – этого требует нравственность обычаев. – А вот те моралисты, что, идя по *Сократовым* следам, внушают *индивиду* мораль самообуздания и воздержания под видом его кровной *выгоды*, его самоличного ключа к счастью, *составляют исключение* – и если дело представляется нам иначе, то

это потому, что мы воспитаны под дошедшим от них влиянием: все они идут новым путем, пользуясь крайним неодобрением всех представителей нравственности обычаев, – они изгоняются общиной за безнравственность и в сокровенном смысле слова суть люди злые. Точно так же добродетельные римляне старой закваски смотрели на любого *христианина*, который «прежде всего стремился к *личному* спасению», – как на злого. – Всюду, где есть община и, следовательно, нравственность обычаев, господствует и мысль о том, что кара за преступление против обычаев падает прежде всего на общину: это та сверхъестественная кара, признаки и объем которой так трудно постичь и в суть которой люди вникают с таким суеверным страхом. Община может требовать от индивида, чтобы он компенсировал человеку или всей общине ближайший ущерб, вызванный его предосудительным поступком, она может даже по-своему заставить его поплатиться за то, что его поступок будто бы побудил богов сгустить над общиной тучи и наслать на нее ненастья, – но все-таки вину индивида она ощущает главным образом как *свою* вину, а возмездие за нее воспринимает как *свое* возмездие: «Если уж возможны такие предосудительные поступки, – думает про себя каждый, – значит, нравы испортились». Любой индивидуальный поступок, любой индивидуальный образ мышления вызывают ужас; нельзя и представить себе, сколько пришлось претерпеть за всю историю человечества умам как раз наиболее редкостным, отборным, самобытным, – из-за того, что их неизменно считали злыми, опасными, мало того, из-за того, что сами они *тоже считали себя такими*. Когда господствует нравственность обычаев, любой оригинальный ум испытывает муки нечистой совести; и вплоть до сего дня это помрачает небеса для самых лучших еще больше, чем им положила судьба.

10

Вес нравственности и вес причинности в обратной пропорции. – В той мере, в какой растет вес причинности, сужаются границы царства нравственности: ведь всякий раз, когда люди постигали необходимые следствия, отделяя их от все-

го случайного, и научались представлять себе, что будет после (*post hoc*[1]) всякого события, они разрушали бесчисленное множество *фантастических причинных связей*, в которые дотоле верили как в фундамент нравственности, – ведь мир действительный намного меньше фантастического, – и всякий раз из мира исчезала доля страха и принуждения, а с нею вместе всякий раз и доля почтения к авторитету обычаев: в целом же сходила на нет нравственность. А вот тому, кто хочет ее приумножать, надо смотреть, как бы не стали *управляемыми* последствия этого.

11

Народная мораль и народная медицина. – Над царящей в общине моралью работа идет постоянно, и участвует в ней каждый: большинство приводит примеры за примерами определенного *соотношения причин и следствий*, вины и кары, подтверждая его хорошую обоснованность и приумножая свою веру; некоторые делают новые наблюдения над поступками и их последствиями, извлекая отсюда выводы и законы; и лишь совсем немногие там и сям натыкаются на острые углы, отчего их вера в этих пунктах слабеет. – Но все они стоят друг друга в совершенно первобытном, *ненаучном* характере своей деятельности; идет ли речь о примерах, наблюдениях или острых углах, идет ли она о доказательствах, подтверждениях, способах выражения, опровержениях какого-нибудь закона, – все это пустая материя и пустая форма, как материя и форма любой народной медицины. Народная медицина и народная мораль – одного поля ягоды, и о них не стоит судить так раздельно, как все еще делают до сих пор: то и другое – самые *опасные* лженауки.

---

1 После этого (*лат.*) – часть латинского выражения (post hoc ergo propter hoc – после этого, значит, по причине этого), фиксирующего логическую ошибку, которая заключается в смешении временнóй и причинной последовательности.

12

Следствие как приправа. – Прежде верили, будто исход дела – не следствие, а взявшаяся откуда-то – а именно от Бога – приправа. Трудно себе и представить больший конфуз! Заботиться-то надо именно о деле и его исходе, всякий раз применяя совсем разные средства и методы!

13

О новом воспитании рода людского. – Да пособите же, люди щедрые на помощь и благонамеренные, в таком важном деле – выполоть из мира понятие кары, которым он зарос вдоль и поперек! Ведь нет в нем сорняка более вредного! Мало того, что его вложили в последствия нашего поведения – а как ужасно и абсурдно уже одно только понимание причины и следствия как поступка и кары! – так еще и лишили невинности всю полную случайность происходящего, использовав свои гнусные приемы интерпретации через понятие кары. Это зверство зашло даже столь далеко, что и самое жизнь заставляют ощущать как наказание, – так и кажется, будто все воспитание рода людского направлялось доселе горячечным бредом тюремщиков и палачей!

14

Значение безумия в истории моральности. – Если вопреки тому страшному давлению «нравственности обычаев», под которым жили все человеческие сообщества многие тысячи лет до нашей эры, а в общем и целом и в нашу эру вплоть до сего дня (мы сами обитаем в крохотном мире исключений – словно бы в запретной зоне), – если, говорю я, вопреки этому все вновь прорывались новые, необычные идеи, ценностные подходы, влечения, то происходило это под ужасным знаменем: почти всюду путь новым идеям прокладывает безумие, и именно оно разрывает заколдованный круг почитаемого обычая и суеверия. Понятно ли вам, почему именно безумие? Что-то в голосе и повадках, столь же

жуткое и не дававшееся рассудку, как демонические ужимки погоды и моря, и потому достойное той же робости и внимания? Что-то столь явственно обнаруживавшее признаки полнейшей недобровольности, подобное судорогам и пене изо рта у эпилептиков, и потому, казалось, представлявшее безумцев масками и рупорами божества? Что-то такое, что самому носителю новой идеи внушало почтение и ужас перед собою, а вовсе не угрызения совести, и побуждавшее его сделаться пророком и мучеником за эту самую идею? – Если сегодня нам еще постоянно внушают, что в гения вместо грана соли вложен гран белены, то всем прежним поколениям была гораздо ближе мысль, будто всюду, где есть безумие, есть и гран гениальности и мудрости, – нечто «божественное», как люди тайком говорили себе. А иногда высказывались и посильнее. «Величайшие для нас блага возникают от неистовства», – так это выразил Платон вместе со всем прежним человечеством. Сделаем и следующий шаг: если все выдающиеся люди, которых непреодолимо влекло сбросить ярмо той или другой нравственности и дать новые законы, *не были безумны на самом деле*, им не оставалось ничего другого, как сделаться или притвориться безумными, – причем это относится к новаторам во всех сферах, а не только в области жреческого и политического законодательства: даже обновителю поэтической метрики приходилось заявлять о себе безумием. (Своего рода соглашение о безумии дошло оттуда и до поэтов гораздо более умеренных эпох: к нему прибегнул, например, Солон, подстрекая афинян к обратному отвоеванию Саламина.) – «А как стать безумным, если ты не таков и не отваживаешься таковым прослыть?» – такому ужасному ходу мысли предавались чуть ли не все значительные люди древних цивилизаций; тайное учение о соответствующих приемах и диетических рекомендациях передавалось от поколения к поколению – а заодно с ним ощущение законности, даже святости таких раздумий и намерений. Рецепты достижения такого статуса – у индейцев это шаман, у средневековых христиан – святой, у гренландцев – ангекок, у бразильцев – паже, – по сути дела одинаковы: нелепо длительные посты, постоянное половое воздержание, удаление в пустынь, восхождение на гору или на столп, или «водворение на старой иве,

нависшей над озером» и устранение любых мыслей, кроме тех, что способны вызвать «восхищение духовное» и душевное расстройство. Не всякий осмелится заглянуть в дебри жесточайших и совершенно излишних душевных конфликтов, в которых, вероятно, изнывали как раз самые способные люди всех времен! Не всякий отважится услышать мольбы отшельников и помешанных: «Боги небесные, ниспошлите же мне безумие! Безумие, дабы я наконец поверил в себя! Ниспошлите горячку и судороги, ослепительные молнии и бездны мрака, ужасните меня стужей и зноем, каких еще не знал никто из смертных, и пусть вокруг меня поднимется буря, замаячат призраки, пусть я буду выть и визжать, катаясь по земле, как животное, – лишь бы я нашел в себе веру! Меня пожирает сомнение, я умертвил закон, и закон пугает меня, словно труп – живого: если я не *выше* закона, то я самая отверженная из всех тварей. Этот новый дух, что есть во мне, – откуда он, если не от вас? Докажите же мне, что я – ваш; а докажет это только безумие». И это страстное томление слишком часто попадало точно в цель: в то время, когда христианство обильнее всего доказывало свою способность порождать святых и пустынников, думая, будто этим доказывает себя, в Иерусалиме были большие дома скорби для незадачливых святых – для тех, кто принес в жертву свой последний гран соли.

15

Древнейшие способы утешения. – Первая стадия: в любом недомогании, в любой незадаче человек видит то, за что должен заставить поплатиться кого-нибудь другого, – тогда он чувствует, что еще обладает властью: это его и утешает. Вторая стадия: в любом недомогании, в любой незадаче человек видит наказание, то есть искупление вины и средство *отделаться* от злых чар совершенного им настоящего или мнимого прегрешения. Подметив такую *выгоду*, которую несет с собою несчастье, он уже не думает, что должен заставить поплатиться за него другого, – он отрекается от этого вида сатисфакции, потому что у него есть другой.

16

Первая норма цивилизации. – У диких народов есть вид обычаев, созданных как будто ради сохранения обычая вообще: это неудобные и, в сущности, ненужные предписания (как, скажем, распространенные среди камчадалов – никогда не соскребать снег с обуви ножом, никогда не совать нож в уголь, никогда не класть в огонь железо: а тому, кто нарушил такие запреты, смерть!), но они постепенно закрепляют в сознании постепенно вступающие в свои права обычаи и непрестанное принуждение их выполнять; и все это для укоренения первой нормы, с которой начинается цивилизация, а именно – что любой обычай лучше, чем никакой.

17

Природа добрая и злая. – Вначале люди мысленно привнесли в природу себя: всюду они видели себя и себе подобное, а именно свое скверное или игривое настроение, как бы рассредоточенное по облакам, грозам, хищникам, деревьям и травам: тогда-то они и изобрели «злую природу». Потом вдруг настало время, когда они мысленно вынесли себя из природы назад, – время Руссо: они до того надоели друг другу, что изо всех сил пытались отыскать хоть малую часть мира, куда нет хода человеку с его заботами: так изобрели «добрую природу».

18

Мораль добровольного страдания. – Чем упиваться во время войны людям из тех малых, живущих под постоянной угрозою сообществ, где царит строжайшая нравственность, и упиваться восторженно? *Жестокостью*: ведь в подобных положениях таким душам жестокость изобретательная и ненасытная идет даже в счет *добродетели.* Родное сообщество наслаждается деяниями своих жестоких героев, разом освобождаясь от хмурости постоянного страха и осторожничанья. Жестокость относится к числу самых древних чело-

веческих праздников души. Следовательно, люди думают, будто и *боги* будут наслаждаться и ликовать, если предложить им зрелище жестокости, – таким-то образом в умы проникает представление о том, что *добровольное страдание*, учиненная над собою пытка обладают положительным смыслом и ценностью. Мало-помалу обычай формирует в сообществе образ действий, соответствующий такому представлению: отныне потихоньку перестают доверять разнузданно хорошему настроению и больше начинают полагаться на все тяжкие, болезненные состояния; это объясняют себе так: богам, наверное, не по нраву наше счастье, а по нраву страдание (не любят они сострадать – ведь сострадание считается презренным и недостойным сильной, внушающей ужас души!); по нраву же, потому что это их веселит и приводит в хорошее расположение духа: ибо для жестокого высшее наслаждение – это ощущение своей власти. Так в представление сообщества о «сáмом нравственном человеке» вводится добродетель постоянного страданья, лишений, суровой жизни, лютой епитимьи – *не в качестве* – хорошенько заметим это себе! – средства поддержания дисциплины, самообуздания, обретения индивидуального счастья, – а в качестве добродетели, представляющей злым богам это сообщество в выгодном свете и восходящей к ним, словно дым от алтаря, где не прекращает приноситься искупительная жертва. Все духовные вожди народов, которые были в состоянии как-то расшевелить косную, ужасающую тину их обычаев, нуждались, кроме безумия, и в самоистязаниях, чтобы внушать веру в себя, а чаще всего и первым делом, как всегда, – внушать ее себе самим! Чем дальше именно их дух заходил по новым путям, а значит, терпел муки совести и страх, тем более люто ярились они на свою плоть, свои влечения и свое здоровье, – словно чтобы предложить божеству некую компенсацию за наслаждение, на тот случай, если оно раздражено небрежением и забвением обычаев и новыми ориентирами. Тут не стоит спешить с выводом, что мы уже полностью избавились от подобной логики чувства! Пусть об этом спросят себя самые геройские души. Каждый крохотный шаг по полю свободной мысли, жизни, выстроенной своими руками, отныне давался ценою духовных и телесных пыток: в своих бесчисленных мучениках

нуждалось не просто продвижение вперед, нет! – а главным образом продвижение вообще, движение, изменение, и все это на протяжении долгих прокладывающих пути и закладывающих основы тысячелетий, о которых, разумеется, никто не думает, когда, как водится, рассуждают о «всемирной истории», этой смехотворно малой части всей жизни человечества; да и в ней, в так называемой всемирной истории, представляющей собою, по сути дела, не более чем шум вокруг последних известий, нет, собственно говоря, темы более важной, нежели это исконное трагическое действо о мучениках, *старавшихся расшевелить болото*. Ничто не далось такой дорогою ценой, как эта толика человеческого разума и ощущения свободы, составляющая нынче предмет нашей гордости. Но как раз эта-то гордость и есть то, из-за чего нам сегодня почти уже невозможно ощущать те чудовищные эпохи «нравственности обычаев», что предшествовали «всемирной истории», как *подлинную и кардинальную, основную историю, определившую характер человечества*: ведь это тогда страдание считалось добродетелью, зверство – добродетелью, притворство – добродетелью, месть – добродетелью, отречение от разума – добродетелью, а вот зато хорошее самочувствие – опасностью, любознательность – опасностью, мир – опасностью, сострадание – опасностью, сочувствие – позором, труд – позором, безумие – божественным, изменение – безнравственным и сулящим погибель! – Вы что же, полагаете, будто теперь все это уже не так и, стало быть, человечество переменило свой характер? О вы, знатоки человеческих душ, лучше познайте собственные души!

19

Нравственность и оболванивание. – В обычае представлен опыт прежних людей по поводу мнимо полезного и вредного, – но *чувство обычая* (нравственность) относится не к этому опыту как таковому, а к древности, освященности, непререкаемости обычая. А тем самым это чувство идет вразрез со стремлением к обновлению опыта и коррекции обычаев; это значит, что нравственность идет вразрез с возник-

новением новых, более совершенных обычаев: она оболванивает.

20

Вольный злодей и вольный мыслитель. – Вольный злодей в сравнении с вольным мыслителем в невыгодном положении: от последствий деяний люди страдают явственней, чем от мыслей. А если подумать, что оба они стремятся к удовлетворению своей страсти, причем вольнодумцам такое удовлетворение приносит уже только вынашивание в мысли и высказывание вслух вещей запретных, то в смысле мотивов все это одно и то же: а в смысле последствий более тяжким приговор окажется даже для вольнодумца – если, конечно, суд будет считаться не с ближайшими и самыми очевидными обстоятельствами, как это делает большинство. Надо отказаться от большей части клеветы, которую люди возводили на всех тех, кто прокладывал путь обычаю *деянием*, – в общем их называют преступниками. Всякого, кто ломал узаконенный обычай, до сей поры поначалу всегда считали *плохим человеком*: но если, как бывало, такой обычай восстановить потом не удавалось и с этим приходилось примириться, то эпитет мало-помалу изменялся; история говорит почти исключительно о таких *плохих людях*, которых задним числом *объявили хорошими*!

21

«Выполнение закона». – В случае, если выполнение морального предписания влечет за собой совсем иной результат, чем предусматривалось и ожидалось, и блюститель нравственности обретает не обетованное счастье, а – вопреки ожиданьям – беды и невзгоды, всегда остается в запасе отговорка совестливых и боязливых: «Что-то не заладилось в *выполнении*». В наиболее скверном из всех случаев глубоко страдающее и удрученное человечество даже постановит: «Хорошо выполнять это предписание невозможно: мы слабы и грешны вдоль и поперек, и быть моральными нам по большому

счету не по плечу, следовательно, мы не можем и претендовать на счастье и успех. Моральные предписания и обетования даны свыше существам более совершенным, чем мы».

22

Дела и вера. – Через протестантских учителей все еще продолжает распространяться фундаментальное заблуждение, состоящее в том, что вся суть только в вере и что из веры с необходимостью должны следовать дела. Это безусловно неверно, но звучит так соблазнительно, что обольстило даже умы иные, чем лютеровский (а именно сократовский и платоновский), – хотя очевидность каждодневного опыта говорит о прямо противоположном. И самое надежное знание или вера не могут дать ни силы для действия, ни умения действовать, они не заменят тренировки того искусного, сложного механизма, который с необходимостью предшествует способности превратить что-то из представления в действие. Прежде всего и сначала – дела! А это значит – тренировка, тренировка, тренировка! Потребная для этого «вера» уж как-нибудь появится – в этом будьте уверены!

23

К чему мы наиболее чутки. – Благодаря тому, что многие тысячи лет люди представляли себе живыми, одушевленными и *вещи* (природу, свои орудия, собственность любого рода), наделяя их способностью вредить человеческим планам и не подчиняться им, ощущение бессилия оказалось куда более интенсивным и распространенным среди них, чем следовало бы: вот они и считали необходимым с помощью силы, принуждения, лести, договоров, жертв получать от вещей гарантии, точно так же, как от людей и животных, – отсюда-то и берет начало большая часть суеверных обычаев, то есть внушительной, а *может быть, и преобладающей*, но бесполезно растраченной доли всей совершенной доселе людьми работы! Но поскольку ощущение бессилия и страха воспроизводилось почти постоянно с такою интенсивностью

и так долго, то *ощущение силы* выработалось столь *чутким*, что теперь может потягаться тут с самыми точными аптекарскими весами. Чуткость стала его основным свойством; изобретавшиеся способы добиться этого ощущения составляют чуть ли не всю историю культуры.

24

Обоснование предписаний. – В общем случае полезность или вредность инструкций, скажем, как печь хлеб, обосновывается тем, что соответствующий результат или достигается, или нет, – разумеется, при условии точного выполнения процедуры. Иначе обстоит сейчас дело с моральными предписаниями: ведь тут именно результаты непредсказуемы или гадательны и неопределенны. Эти предписания зиждутся на гипотезах ничтожного научного достоинства, доказать или опровергнуть которые исходя из результатов, в сущности, одинаково невозможно: но некогда, во времена первобытной дикости науки вообще и низких требований, которые предъявлялись к уму, желавшему считать вещь *доказанной*, – некогда полезность или вредность предписаний обычая устанавливалась совершенно так же, как теперь полезность или вредность любой другой инструкции: посредством ссылки на итог. Если у туземцев Русской Америки дается предписание: «Не бросай в огонь и не давай собакам кости животных», то обосновывается оно так: «Попробуй это сделать – и не будет тебе удачи на охоте». А нынче в каком-то смысле «удачи на охоте» не бывает почти никогда; не так-то просто *опровергнуть* полезность предписания таким способом, особенно когда заслужившим кары считается не индивид, а все сообщество; скорее, тут в любом случае будет найдено какое-нибудь обстоятельство, кажущееся обоснованием этого предписания.

25

Обычай и красота. – В защиту обычая да прозвучит вот что: у всякого, кто предан ему с самого начала, полностью и от всей

души, хиреют органы, отвечающие за нападение и оборону, и телесные, и духовные, – а это значит, он становится более красивым! Ведь именно тренировка таких органов и соответствующих им внутренних состояний и есть то, что обезображивает и поддерживает безобразие. Поэтому старый павиан безобразней молодого, а молодая самка павиана больше похожа на человека – и, стало быть, красивее. – Вот и делайте после этого выводы о происхождении женской красоты!

26

Животные и мораль. – Если цивилизованное общество требует определенной линии поведения – тщательно избегать ситуаций, где можно показаться смешным, нескромным, заносчивым, скрывать свои добродетели, равно как и самые горячие желания, не выделяться, быть как все, умалять себя, – то все это в качестве общественной морали в самых общих чертах можно найти всюду в животном мире вплоть до низших его областей; и только тут, в низинах, мы увидим, куда метят все эти достолюбезные предосторожности: ими пользуются, чтобы уходить от преследователей и успешно отыскивать себе добычу. Ради этого животные и привыкают контролировать себя, притворяясь таким образом, что некоторые, к примеру, уподобляют свою окраску окраске окружения (с помощью так называемой «хроматической функции»), другие притворяются мертвыми, принимают формы и окраску других животных или песка, листьев, лишайников, губок (это то, что английские ученые называют *mimicry*). Вот так же и отдельные люди прячутся за всеобщностью понятия «человек» или за спиною общества – либо равняются на правителей, сословия, партии, мнения эпохи и окружающих: и ко всем этим тонким способам выставить нас счастливыми, благодарными, могущественными, влюбленными без труда можно подобрать сравнение из мира животных. С животным человека равняет даже стремление к истине, в сущности, неотличимое от стремления к безопасности: люди не хотят быть обманутыми, не хотят водить за нос и самих себя, они с недоверием прислушиваются к голосу своих страстей, они берут себя в руки,

они ложатся в засаду на себя же; и все это животное умеет делать не хуже человека – самоконтроль у него тоже вырастает из желания приспособиться к действительности (то есть из смышлености). Оно тоже следит за тем, как его воспринимают другие животные, а отсюда приучается наблюдать за собой, относиться к себе «объективно», достигая некоторой степени самопознания. Животное оценивает движения своих врагов и друзей, вдоль и поперек изучает их особенности, согласуя с ними свое поведение: при виде представителей определенного вида оно никогда не будет проявлять враждебности, а при появлении некоторых видов животных будет показывать стремление к миру и согласию. Истоки справедливости, как и рассудительности, умеренности, отваги, – короче говоря, все то, что мы называем *сократическими добродетелями*, – лежат в царстве *животных*: это всё следствия инстинктов, побуждающих искать пищу и избегать врагов. А если мы теперь подумаем о том, что и самый высокоразвитый человек возвысился и усовершенствовался исключительно благодаря характеру своего питания и пониманию враждебности всего окружающего, то не будет непозволительным назвать животным и весь феномен морали.

27

Какова ценность веры в сверхчеловеческие страсти. – Институт брака упрямо поддерживает веру в то, что хотя любовь – страсть, но как таковая она способна на долгую жизнь, мало того, что длительную, на всю жизнь, любовь можно считать правилом. Он придал любви еще больше благородства в силу стойкости столь почтенной веры – несмотря на то, что она весьма часто и даже чуть ли не постоянно терпит крах, оказываясь по этой причине *pia fraus*[1]. Все институты, снабжающие страсть *верой в ее длительность* и наделяющие ее долгосрочной ответственностью вопреки природе страсти, подняли ее на уровень выше: и тот, кого теперь охватывает такая страсть, видит себя не униженным или постав-

1 Благочестивая ложь, ложь с лучшими намерениями (*лат.*).

ленным ею под угрозу, как прежде, а возвышенным над собою и себе подобными. Вспомним об институтах и обычаях, превративших сиюминутное пылкое чувство преданности в «верность до гроба», порывы гнева – в неутолимую месть, отчаяние – в вечную скорбь, раз вырвавшиеся слова – в обязательство на всю жизнь. И всякий раз такое превращение в изобилии порождало лицемерие и ложь: но вместе с тем всякий раз – и именно этою ценой – какое-то новое, *сверхчеловеческое*, возвышающее человека представление.

28

Присутствие духа как аргумент. – В чем причина радостной решимости совершить дело? – этот вопрос всегда сильно занимал людей. Древнейший и все еще распространенный ответ гласит: причина – Бог, который дает нам тем самым понять, что одобряет наш выбор. В старину, запрашивая оракулы о своих планах, люди хотели уйти домой с такою вот радостной решимостью; а если обнаруживалось, что к намеченному ведет множество путей, то на сомнения в выборе одного из них каждый отвечал себе: «Сделаю так – и тогда нужное чувство найдется». Стало быть, решение принималось не в пользу самого разумного варианта, а в пользу намерения, которое душа переживала с присутствием духа и с надеждой. Присутствие духа клалось на чашу весов как аргумент – и перевешивало соображения разума: происходило так потому, что оно суеверно истолковывалось как внушенное Богом, который сулит удачу, проявляя через него свою мудрость в качестве наивысшей. Что же сказать о последствиях такого предрассудка, если к нему прибегали – и все еще прибегают – мужи умные и властолюбивые! «Выше нос!» – этим можно заменить любые аргументы и побить все контраргументы!

29

Лицедеи добродетели и греха. – Среди мужей древности, прославившихся добродетелью, было, вероятно, неисчислимое

множество таких, что *лицедействовали перед собою*: в особенности греки как прирожденные лицедеи делали это совершенно безотчетно и находили похвальным. Причем каждый состязался в добродетели с соседом или со всеми остальными вместе взятыми: так как же им было не употреблять все искусства, чтобы выставить напоказ свою добродетель, и прежде всего себе самим, – уже хотя бы упражнения ради! На что годилась добродетель, если ее нельзя было показать или если она не умела себя показать! – Конец этим лицедеям добродетели положило христианство: для этого оно изобрело омерзительное щегольство и хвастовство грехом – оно пустило в ход *подложную* греховность (среди добрых христиан она и до сего дня считается «хорошим тоном»).

30

Изощренное зверство как добродетель. – Это вид моральности, целиком и полностью основанной на *стремлении выгодно отличиться*, – но не подумайте, будто речь идет о чем-то хорошем! Ведь что это, собственно, за стремление и какова его задняя мысль? Это когда человек хочет, чтобы другой, глядя на него, *корчился*, испытывая зависть, чувство бессилия и собственной ничтожности; когда он хочет, чтобы другой испил всю горечь своего злополучия, и для этого каплет на его уста каплю *своего* меда, а потом, оказав такое мнимое благодеяние, со значением и злорадно глядит тому в глаза. Вот другой уже поджал губы и теперь совершенно раздавлен, – но поищите-ка таких, кого он уже давно думал помучить этим же, и они непременно найдутся! Первый же демонстрирует всю свою жалость к животным и потому всплескивает руками, – но есть такие люди, на которых он именно этим мечтал выместить злобу. А вон там стоит великий художник: его способности пришпоривало предвосхищаемое наслаждение при мысли о будущей зависти побежденных соперников – до тех пор, пока он не сделался великим; сколько чужих обид заплачено за его возвышение! А целомудрие монашки: сколько карающего презрения в ее глазах, когда она глядит в лицо женщинам другой стати! Как светится в этих глазах радость мщения! – Тема звучит

недолго, вариаций на нее может быть бесчисленное множество, но наскучат они нескоро, – ведь в запасе всегда есть еще некая отчаянно парадоксальная и чуть ли не мучительная новость: мораль выгодного отличия есть в конечном счете наслаждение изощренным зверством. «В конечном счете» здесь значит: всякий раз в первом поколении. Ведь если привычка делать что-то выгодно отличающее *наследуется*, то скрытая за ней задняя мысль не наследуется вместе с нею (по наследству передаются только ощущения, а не мысли): и если, положим, эта мысль не будет снова подсунута благодаря воспитанию, то в следующем поколении с ней уже не будет связываться удовольствие от зверства; останется лишь удовольствие от привычки самой по себе. Но *это-то* удовольствие и есть первая стадия «добра».

31

Высокомерие духа. – Высокомерие человека, восстающего на учение о своем происхождении от животных и разверзающего непроходимую пропасть между природою и человеком, – это высокомерие основано на *предрассудке* по поводу того, что такое дух: и предрассудок этот сравнительно *молод.* На огромном протяжении первобытной истории человечества дух видели всюду, даже и не думая чтить его как отличительную черту человека. Поскольку, наоборот, все духовное (наряду с влечениями, вспышками гнева, склонностями) люди сделали всеобщим достоянием и, следовательно, чем-то обыкновенным, они не стыдились вести свой род от животных или деревьев (*знатные* роды считали такие сказки лестными для себя), усматривая в духе то, что связывает нас с природой, а не то, что от нее отделяет. Таким образом они воспитывали в себе *скромность* – и тоже вследствие *предрассудка.*

32

Тормоза. – Испытать моральные мучения, а потом услыхать, что такого рода мучения основаны на *заблуждении:* да это

просто возмутительно! А есть ведь одно совершенно уникальное утешение – оно состоит в том, что своим мучением ты утверждаешься в «мире истины, более подлинном», чем любой другой, что ты *предпочитаешь* страдать, но при этом чувствовать себя *вознесенным* над действительностью (благодаря пониманию того, что тем самым приближаешься к этому «более подлинному миру истины»), вместо того, чтобы жить без страдания, но зато и без ощущения вознесенности. Значит, именно гордыня и обычный способ ее утоления противятся новому *пониманию* морали. Какую же силу, стало быть, надо употребить, чтобы устранить эти тормоза? Еще бóльшую гордыню? Какую-то новую гордыню?

33

Игнорирование причин, следствий и действительности. – Злополучные случайности, постигающие сообщество (внезапные бури, недороды и поветрия), наводят его членов на подозрение, что кто-то погрешил против обычая или что необходимо ввести новые обычаи, дабы умиротворить невесть откуда взявшуюся новую демоническую силу с ее капризами. Такого рода подозрения и раздумья тем самым уходят как раз от исследования подлинных, естественных причин, поскольку в качестве исходной посылки берут причину демоническую. Здесь один из источников наследственной извращенности человеческого разума; недалеко лежит и второй источник: подлинным, естественным *следствиям* поступка столь же принципиально уделяется куда меньшее внимание, нежели сверхъестественным (тому, что называют Божьей карой и милостью). К примеру, для определенных моментов жизни предписывают определенные омовения: и человек принимает омовения не чистоты ради, а потому, что так предписано. Он приучается избегать не естественных следствий нечистоты, а мнимого нерасположения богов, вызываемого тем, что он забыл совершить омовение. Под гнетом суеверного страха он подозревает, что за отмыванием нечистоты скрывается нечто гораздо большее, вкладывает в него второй и третий смыслы, губит свое чувство реальности и наслаждения ею и в конечном счете счи-

тает ее желательной лишь в той мере, *в какой она способна быть символом.* Так, оставаясь в плену нравственности обычаев, человек игнорирует, во-первых, причины, во-вторых, следствия, в-третьих, действительность, и все свои высокие чувства (почтения, благородства, гордости, благодарности, любви) привязывает к *миру воображаемому* – так называемому высшему миру. А результаты мы можем видеть и сегодня: как только кто-то начинает испытывать *возвышенные* чувства, в игру тем или иным способом вступает тот самый воображаемый мир. Это печально: но придет пора, и *все возвышенные чувства* окажутся под подозрением у человека научного склада – настолько тесно они срослись с бредом и бессмыслицей. И не то чтобы они были такими от природы или навсегда были обречены такими оставаться – но, уж конечно, из всех постепенных *очищений*, предстоящих человечеству, очищение от возвышенных чувств будет самым постепенным.

34

Моральные чувства и моральные представления. – Моральные чувства передаются явно следующим путем: дети наблюдают сильные симпатии и антипатии взрослых, вызванные определенными поступками, и, словно настоящие обезьяны, *воспроизводят* эти симпатии и антипатии; в дальнейшей жизни, видя себя битком набитыми этими усвоенными и хорошо разученными симпатиями и антипатиями, они считают вопросом приличий объяснение задним числом, своего рода обоснование того, что эти симпатии и антипатии справедливы. Но такие «обоснования» не имеют у них ничего общего ни с происхождением, ни с силою этих чувств: они всего лишь довольствуются правилом, согласно которому у любого разумного существа обязаны иметься причины быть «за» и «против», и притом причины внятные и приемлемые. В этом смысле история моральных чувств – нечто совсем другое, чем история моральных представлений. Первые могущественны до поступка, последние – в особенности *после* него, если человек вынужден как-то о нем высказаться.

35

Чувства и их происхождение от суждений. – «Доверяй своему чувству!» – Но чувства – не первое, не исконное, за чувствами стоят суждения и оценки, унаследованные нами в форме чувств (симпатий и антипатий). Воодушевление, исходящее от чувств, есть потомок суждения в третьем колене, – и суждения часто неверного, а уж в любом случае – не твоего собственного. Доверять своему чувству – это все равно что слушаться дедушки, бабушки и прочих пращуров больше, чем богов, живущих *в нас самих*: нашего разума и нашего опыта.

36

Глупость пиетета с задними мыслями. – Как! Изобретатели древнейших в истории культур, первыми в мире изготовившие орудия труда и мерный шнур, телеги, корабли и дома, первыми заметившие закономерные движения светил и правила для перемножения чисел, – неужели все они были чем-то принципиально иным, более высоким, чем изобретатели и наблюдатели наших времен? Первые шаги обладали будто бы ценностью, с которою в области открытий не сравниться всем нашим путешествиям и кругосветным плаваниям? Так звучит этот предрассудок, такие доводы приводятся, чтобы принизить ум современного человечества. Но ведь совершенно очевидно, что самым великим первооткрывателем и наблюдателем в прежние эпохи был случай – и он же был благожелательным суфлером древних изобретателей; что и на самое мелкое из нынешних изобретений уходит куда как больше ума, выучки и научной фантазии, чем те, какими располагали все прежние времена вместе взятые.

37

Ложные заключения от полезности. – Если доказана полезность вещи, то тем самым еще не сделано ни шагу к объяснению того, откуда вещь взялась: это значит, что, при-

бегая к представлению о полезности, вовсе нельзя уразуметь, почему вещь существует с необходимостью. Но доселе господствовало как раз противоположное суждение – даже в области самых точных наук. Разве не выдавали и в самой астрономии (мнимую) полезность в расположении спутников (состоящую в перемещении света, ослабленного удаленностью от Солнца, в другое место, дабы у обитателей планет не было в нем недостатка) за истинную цель их расположения и за объяснение причины их возникновения? При этом на память приходят умозаключения Колумба: Земля сотворена для человека – следовательно, если есть суша, она должна быть заселена. «Разве может быть такое, чтобы Солнце посылало свой свет в пустоту и чтобы ночные дозоры звезд вотще обходили пустынные моря и безлюдные земли?»

38

Моральные суждения изменяют природу влечений. – Такое-то влечение превращается в чувство мучительной *робости* под гнетом осуждения, вынесенного ему традицией, или в приятное чувство *смирения* – если традиция, какова, скажем, христианская, отметила его для себя и *одобрила.* Иными словами, на него взваливается чистая или нечистая совесть! Само по себе оно, *как и любое другое влечение*, не обладает ни таким, ни моральным характером и репутацией вообще и даже не сопровождается тем или иным ощущением удовольствия или страдания: но все это становится его второю природой, лишь когда оно начинает ассоциироваться с влечениями, уже окрещенными именем хороших либо плохих, или же осознается как качество людей, уже морально квалифицированных и оцененных народом. – Так, например, греки архаической поры ощущали *зависть* иначе, чем мы; Гесиод относит его к проявлениям *доброй*, благодетельной Эриды, а ведь богам не следовало приписывать ничего предосудительного, в том числе зависти: понятно, что это было возможно при таком порядке вещей, душою которого выступал раздор; раздор же оказался квалифицирован и оценен как добро. Точно так же греки отличались от нас и

в оценке *надежды*: ее считали слепой и коварной; Гесиод выразительно обрисовал ее в притче, сказав нечто столь поразительное, что ни один современный интерпретатор сказанного так и не понял – ведь оно претит нынешнему складу ума, приученному христианством к вере в то, что надежда – это добродетель. А у греков, которым доступ к знанию грядущего не казался таким уж закрытым, а вопрошание о будущем превратилось в религиозный долг в неисчислимом количестве тех же самых случаев, когда мы довольствуемся надеждой, – у них благодаря всем этим оракулам и прорицателям надежда, вероятно, несколько обесценилась, низойдя в сферу злого и опасного. – Евреи иначе, чем мы, воспринимали гнев, – они канонизировали его: для этого они вознесли в своем сознании мрачное величие, связанное с проявлявшим гнев человеком, на такую высоту, которой европейцы не могут себе и представить; они создали Иегову с его священным гневом по образу своих пророков с их священным же гневом. Великие брюзги среди европейцев кажутся всего лишь их слабыми отзвуками.

39

«Чистый дух» как предрассудок. – Всюду, где господствовало учение о *чистой духовности*, оно своими эксцессами истощало нервную энергию: оно учило пренебрегать телом, не заботиться о нем или умерщвлять его, а ради всех его влечений умерщвлять и самого человека, пренебрегать им; оно воспитало души помраченные, напряженные, подавленные – а они-то еще думали, будто знают, в чем причина их бедственного эмоционального состояния, и будто, может быть, сумеют ее устранить! «Она, конечно, в теле! Тело все еще слишком *цветет*!» – вот какой вывод они делали, а тело-то своими страданиями на самом деле заявляло протест за протестом на непрекращающиеся издевательства над собою. В конце концов уделом таких добродетельных поборников чистого духа стала общая хроническая истерия: *наслаждение* было знакомо им разве что в виде экстаза и других предвестников безумия – а их доктрина достигла апогея, при-

равняв экстаз к высшей цели жизни и к *предосудительному* мерилу для всего земного.

40

Тяжкие раздумья над обычаями. – Бесчисленные предписания традиции, наспех понятые в ходе уникального, редкостного происшествия, очень скоро становились невразумительными; что́ точно имелось в них в виду, понять можно было с таким же трудом, как и кару, полагающуюся за их нарушение; сомнения не рассеивались даже относительно хода церемоний; но благодаря постоянной возне объект таких тяжких раздумий рос в ценности, и как раз самое абсурдное в обычае в конце концов превращалось в святое святых. Не стоит недооценивать энергии человечества, ушедшей на это за тысячелетия, и тем более – результатов воздействия таких *тяжких раздумий над обычаями*! Мы оказываемся тут в чудовищной лаборатории интеллекта – и не только из-за того, что в ней создаются чертежи и выковываются религии: здесь – место почтенного, хотя и жуткого доисторического существования науки, отсюда вышли поэты, мыслители, врачи, законодатели! Страх перед невразумительным, двусмысленно требовавшим от нас церемоний, постепенно перешел в притягательность необщепонятного, а где людям не хватало сил вникнуть в суть, там они приучались творить.

41

Об определении ценности vita contemplativa[1]. – Нам, людям *vita contemplativa*, не следует забывать о том, какого рода лихо и злополучье обрушивались на людей *vita activa*[2] из-за различных последствий созерцательности, – короче говоря, о том,

1 Созерцательной жизни (*лат.*).

2 Деятельной жизни (*лат.*). Распространенное средневековое сопоставление жизни созерцательной и деятельной восходит к бл. Августину (см. «О Граде Божьем», VIII, 4).

какой встречный счет должна выставить *нам vita activa*, коли нам взбредет на ум чваниться перед нею своими благими делами. *Во-первых*: так называемые *религиозные* натуры, преобладающие среди созерцательных и, следовательно, составляющие самый их распространенный вид, во все времена старались осложнить жизнь людям практическим и по возможности отравить ее: помрачить небеса, погасить солнце, испортить радость, охладить надежду, заставить опуститься руки, – в этом они разбирались хорошо, а равно и держали наготове для бедствующих времен и душ свои утешения, подачки, советы и благословения. *Во-вторых*: художники, встречающиеся несколько реже, чем верующие, но все-таки образующие пока довольно многочисленную разновидность людей *vita contemplativa*, как личности по большей части бывали несносны, капризны, завистливы, драчливы и неуживчивы: это их воздействие следует вычесть из просветляющего и возвышающего воздействия их творений. *В-третьих*: философы, порода, в которой переплелись способности религиозные и художнические, но так, что рядом с ними имеет место и нечто третье – диалектическая способность, наслаждение от вывода заключений; они бывали причиною зол наподобие верующих и художников, да сверх того своим пристрастием к диалектике вогнали в скуку великое множество людей; правда, число их всегда было незначительно. *В-четвертых*: мыслители и труженики науки; эти редко претендовали на воздействия, а тихо рылись в своих кротовых норах. Поэтому они причиняли немного досады и беспокойства, а даже часто облегчали жизнь людям *vita activa*, будучи предметом издевательств и насмешек. В конце концов наука все же стала весьма полезной для всех: если нынче *ради такой пользы* очень многие из предназначенных для *vita activa* прокладывают себе путь в науку – в поте лица своего, а также не без почесыванья в затылке и разочарований, – то сонм мыслителей и тружеников науки в таком горе все же неповинен; это делается, так сказать, на свою голову.

42

Истоки vita contemplativa. – В первобытные времена, когда господствовали пессимистические суждения о человеке и мире, индивид, ощущая себя в полном обладании своих сил, постоянно стремился действовать согласно таким суждениям – то есть переводить представление в действие – на охоте, в разбойничьем походе, в набеге, в насилии и убийстве, принимая в расчет расплывчатые мнения о подобных действиях, мнения, которые только и были терпимы его общиной. Но вот его силы убывают, он чувствует себя усталым, больным, подавленным или пресыщенным и вследствие этого – то и дело апатичным, бесстрастным, и тогда оказывается человеком сравнительно более добрым, то есть менее вредоносным, а его пессимистические представления находят себе разрядку разве только в словах и мыслях, скажем, о том, чего стоят его сотоварищи, его жена, его жизнь или его боги, – тут уж его приговоры становятся *злыми* приговорами. В таком состоянии он превращается в мыслителя и провозвестника – или продолжает выдумывать свое суеверие, измышляя новые обычаи, или же начинает сторониться друзей: но какие бы продукты он ни выдал, все они должны отображать его внутреннее состояние, иными словами, усиление страха и усталости, понижение его оценки действия и наслаждения; содержание этих продуктов должно соответствовать содержанию его сочинительских, мыслительских, жреческих наклонностей; а уж злой приговор должен заправлять в них решительно всем. Впоследствии всех тех, которые постоянно делали то, что прежде в таком состоянии делывал отдельный индивид, то есть выносили злые приговоры, жили в меланхолии и бездействии, – назвали поэтами, мыслителями, жрецами или знахарями: таких людей, поскольку они слишком мало работали, остальные не ставили бы ни во что и с удовольствием выгнали бы из общины вон – но это было опасно, ведь подобные люди держались в фарватере суеверия и божественных сил, и не было сомнений в том, что они располагают какими-то неизвестными рычагами власти. Вот как оценивали *древнейшее поколение натур созерцательных* – презрительно в той мере, в какой те не внушали страха! В таком замаскированном виде, с такой

двусмысленной репутацией, с озлобленною душой, а нередко и с оробевшим умом явилась на землю впервые созерцательность, вместе слабая и внушающая ужас, втайне презираемая, но публично осыпаемая знаками суеверного почтения! Как всегда, все это говорит о том, что она – *pudenda origo*[1]!

43

Сколько сил должно было скопиться в мыслителе на сегодняшний день. – Отречение от чувственного созерцания, воспарение к абстракциям – некогда это и впрямь переживалось как *воспарение*: мы уже не в состоянии пережить это точно так же. Купаться в наслаждении, создавая самые бесцветные образы слов и вещей, играть такими незримыми, неслышными, неосязаемыми сущностями – все это давало ощущение жизни в каком-то ином, *высшем* мире, исходившее из глубокого презрения к чувственно осязаемому, сбивающему с пути и злому миру. «Эти *abstracta*[2] больше не сбивают с пути – напротив, они могут вывести нас на путь!» – говоря себе так, люди чувствовали себя унесенными ввысь. Не содержание этих умственных игр, а сами игры, вот что было «наивысшим» в первобытные времена науки. Отсюда восхищение Платона диалектикой и его горячечно-восторженная вера в ее необходимую связь с добрым, то есть лишенным чувственности человеком. Мало-помалу там и сям были обнаружены не только знания, но и способы познания вообще, то есть состояния и процедуры, предшествующие в человеке моменту познания. И всякий раз казалось, будто вновь обнаруженная процедура или вновь пережитое состояние – не способы достичь всяческого знания, а прямо-таки само содержание, цель и высшая точка всего, что стоит познавать. Воображение, взлет, абстракция, очищение от чувственности, изобретение, интуиция, индукция, диалектика, дедукция, критика, сбор материала, безличное мышление, созерцательность, мыслительная концентрация и не в последнюю очередь справедливость и любовь были нуж-

1 Постыдного происхождения (лат.).
2 Абстракции (*лат.*).

ны мыслителям, чтобы выработать отношение ко всему, что существует, – но все эти *отдельные* методы в истории *vita contemplativa* были всем скопом сочтены целями, причем конечными целями, дав пережить своим открывателям то блаженство, которое нисходит на душу человеческую, когда вдали уже засияет одна, *последняя* цель.

44

Истоки и значимость. – Отчего мне постоянно приходит на ум эта мысль, переливаясь все более пестрыми красками? – мысль о том, что прежде исследователи, становясь на путь, ведущий к истокам вещей, всегда мнили, будто находят нечто обладающее неоценимой значимостью для любых действий и суждений, мало того, мысль, что они всегда заранее *предполагали*, будто от *проникновения в истоки вещей* зависит *счастье* человечества: а что зато нынче чем дальше мы прослеживаем истоки, тем менее становимся причастными к собственным интересам; мало того – что все наши высокие оценки и «заинтересованность», вложенные нами в вещи, начинают терять свой смысл, чем больше мы со своим познанием отходим назад от истоков и приближаемся к самим вещам. *С проникновением в истоки вещей растет незначительность истоков* – а вот зато *ближайшее*, то, что вокруг нас и в нас, постепенно начинает переливаться цветами, красотами, загадками и богатством смысла, о которых и не грезилось древнему человечеству. Прежде мыслители яростно ходили по кругу, словно пленные звери, не отводя взора от прутьев своей клетки и наскакивая на них в своем стремлении вырваться наружу: и *счастливчиком* казался тот, кто мнил, будто видит сквозь пролом кусочек внешнего мира – того, что по ту сторону клетки, того, что вдали.

45

Трагический исход познания. – Из всех способов возвыситься именно человеческие жертвоприношения во все времена сильнее других возвышали и выделяли человека. И, быть

может, любое иное устремление все еще могло бы быть побеждено *одною* чудовищной мыслью, которой удалось бы взять верх и над сильнейшим противником: это мысль о *приносящем себя в жертву человечестве.* Но кому оно должно было бы принести себя в жертву? Можно поручиться уже за то, что если когда-нибудь светило этой мысли взойдет над горизонтом, познание истины останется единственной чудовищной целью, которой подобает такая жертва, – ведь никакая жертва не будет для нее чрезмерной. Между тем эта проблема еще даже и не ставилась – в какой мере человечество как целое способно на шаги, движущие познание вперед; не говоря уж о том, какая тяга к познанию могла бы увлечь человечество так далеко, чтобы оно принесло себя в жертву, дабы умереть со светом какой-то вырванной у будущего мудрости в глазах. Быть может, если когда-нибудь целью познания станет братание с обитателями иных светил и в течение нескольких тысячелетий знание будет переходить от звезды к звезде, – быть может, тогда воодушевленное познание достигнет такой высоты прилива!

46

Сомнение в сомнении. – «Какой хорошей подушкой окажется сомнение для правильно устроенной головы!» – это изречение Монтеня неизменно бесило Паскаля, ведь никто не желал хорошей подушки так сильно, как именно он. Чего же недоставало? –

47

Слова стоят на нашем пути! – Всякий раз, найдя новое слово, древнейшие люди думали, будто совершили открытие. А в действительности все было иначе! – они затрагивали некую проблему, и, возомнив, будто *разрешили* ее, только создавали препятствие для ее разрешения. – Нынче, продвигаясь в познании, то и дело поневоле спотыкаешься об окаменевшие, усопшие слова, причем тут скорее сломаешь себе ногу, чем нарушишь слово.

48

«Познай себя» – в этом и состоит наука. – Лишь познав все вещи до конца, человек познáет себя. Ведь вещи – это лишь пределы человека.

49

Новое исходное ощущение: наша окончательная бренность. – Прежде пытались обрести ощущение величия человеческого рода, указывая на его божественное *происхождение*: нынче этот путь перекрыт, ведь у его порога стоит обезьяна (вкупе с иным мерзким зверьем) и понимающе скалит зубы, как бы говоря: «В этом направлении дальше ходу нет!». И вот теперь предпринимается попытка идти в противоположном направлении: а *путь*, по которому идет человечество, должен служить доказательством его величия и кровной связи с божественным началом. Увы, и тут ничего не выходит! В конце этого пути стоит урна с прахом *последнего* человека и могильщика (с надписью «*nihil humani a me alienum puto*»[1]). До каких высот ни развилось бы еще человечество (а в конце оно, может статься, и вовсе окажется ниже, чем в начале!), для него не существует перехода в чин более высокий, так же как муравей и уховертка в конце своего «земного пути» не поднимутся до кровной связи с богами и до вечности. Становление волочит за собою все уже ставшее: с какой стати для одной планетки и для одного видика должно делаться исключение из правил этой вечной комедии! Долой такие сантименты!

50

Вера в опьянение. – Люди, переживающие возвышенные и окрыляющие мгновения, обыкновенно по контрасту и в силу расточительного истощения нервной энергии испы-

1 <Я человек, и> ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*) – слова из комедии Публия Теренция Афра «Сам себя наказывающий».

тывающие состояния злополучности и безутешности, смотрят на такие мгновения как на проявления своей подлинной сути, «себя самих», а на злополучие и безутешность – как на *воздействие «внешней» среды*; поэтому о своих близких, о своей эпохе, обо всем своем мире они думают с чувством мстительности. Опьянение для них – подлинная жизнь, их истинное «я»: во всем остальном они видят врагов и гасителей опьянения, врагов все равно какой природы – умственной, нравственной, религиозной или художнической. Множество бед принесли человечеству эти восторженные пьянчуги: ведь они – ненасытные сеятели сорняков недовольства собою и ближним, презрения к эпохе и миру, а в особенности разочарования миром. Кажется, и целая преисподняя *преступников* не смогла бы оказать такое гнетущее, отравляющее землю и воздух воздействие на столь дальнем расстоянии, как эта маленькая, жалкая компания людей необузданных, неумеренно фантазирующих, полупомешанных, гениев, не владеющих собою и получающих от себя полное наслаждение лишь тогда, когда губят себя вконец: а ведь преступники очень часто обнаруживают и отличное самообладание, самоотверженность и смекалку, стимулируя эти качества у тех, кто боится их носителей. Они, может быть, омрачают и делают грозовым небо над головой, но зато воздух при этом остается здоровым и свежим. – Помимо прочего, эти фантазеры всеми силами насаждают веру в опьянение как самую соль жизни – веру ужасную! Как нынче дикари быстро портятся и гибнут от «огненной воды», так и человечество в общем и целом было медленно и до дна испорчено *духовной* огненной водой опьяняющих чувств и теми, что поддерживали жажду к ним: и, быть может, оно от этого еще погибнет окончательно.

51

Такими, какими мы еще остаемся! – «Будем же снисходительны к великим одноглазым!», сказал Стюарт Милль: будто была нужда просить о снисходительности там, где привыкли им верить и чуть ли не поклоняться! Я говорю: будем снисходительны к двуглазым, великим и малым, – ведь *та-*

кими, какими мы остаемся, нам вряд ли дорасти выше, чем до снисходительности!

52

Где же новые врачеватели душ? – Средства утешения – вот благодаря чему жизнь только и обрела ту основную тональность скорби, в которую нынче верят; величайшая болезнь человечества родилась из попыток одолеть его болезни, а мнимые лекарства надолго вызвали ухудшение состояния, которому должны были помочь. Мгновенно действующие, оглушающие и опьяняющие средства, так называемые утешения, по невежеству люди приняли за подлинные целительные силы, так даже и не заметив, что эти скоротечные облегчения часто приходилось оплачивать общим и глубоким усугублением состояния скорби, и что больные были вынуждены скорбеть от последствий опьянения, позднее – от отсутствия опьянения, а еще позднее – от общего гнетущего ощущения беспокойства, нервной дрожи и недомогания. Если человек оказывался в какой-то степени больным, он уже не поправлялся, – об этом заботились врачеватели душ, которым решительно все верили и поклонялись. – Вслед за Шопенгауэром говорят, и совершенно справедливо, что в один прекрасный момент он наконец вновь принял близко к сердцу скорби рода человеческого: а где же тот, кто тоже в один прекрасный момент наконец примет близко к сердцу средства от этих скорбей и пригвоздит к позорному столбу неслыханное шарлатанство, которым – под самым радужным названием – человечество доселе приучено пользовать свои душевные скорби?

53

Злоупотребление добросовестными. – Добросовестные, а *не* бессовестные, – вот кому приходилось так ужасно страдать под гнетом призывов к покаянию и запугивания адскими муками, и страдать вдвойне, если они к тому же были наделены воображением. Стало быть, радость жизни больше всего

омрачалась как раз тем, кому были нужны веселье и прелестные картины, – не для их отдохновения и выздоровления от себя, а чтобы человечество могло наслаждаться ими, вбирая в себя отблеск их красоты. Ах, как много излишней лютости и жестокого обращения с животными проявили те религии, что изобрели грех! И те люди, что думали таким путем получить наивысшее наслаждение от своей власти!

54

Мысли о болезни! – Успокоить воображение больного, чтобы ему по крайней мере не пришлось, как прежде, страдать от мыслей о своей болезни еще *больше*, чем от самой болезни, – вот это, я думаю, дело сто́ящее! И притом отнюдь не малое! Теперь-то понимаете, в чем наша задача?

55

«Пути». – Мнимо «кратчайшие пути» всегда заводили человечество в великое лихо; услышав Благую весть, что такой вот кратчайший путь найден, оно всегда оставляет свой путь – и *сбивается с пути.*

56

Отступник свободной мысли. – Разве кто-нибудь испытывает отвращение к благочестивым, сильным в вере людям? Разве, напротив, мы не взираем на них с тихим почтением, разве не радуемся на них – с глубоким сожалением, что эти превосходные люди не разделяют наших чувств? Тогда откуда же берется то глубокое, внезапное и беспричинное отвращение к тому, кто некогда *обладал* полною свободой мысли, а в конце концов *сделался* «верующим»? Если прочувствовать это, чувство окажется таким, будто мы увидели отвратительную сцену, которую надо поскорее забыть! Разве мы не отвернемся и от самого уважаемого человека, заподозрив его в чем-то подобном? И не потому, чтобы мы

его морально осуждали, а от внезапного отвращения и ужаса! Откуда только берется такой накал чувств! Вероятно, кто-то может намекнуть нам, что мы и сами-то, в сущности, уверены в себе не вполне; что мы загодя обнесли себя живой изгородью острейшего презрения, дабы в решающее мгновенье, когда мы и память наша ослабеем от старости, нам оказалось невозможным выбраться из презрения к себе. – Скажем откровенно: это предположение ошибочно, и кто на него идет, ничего не знает о том, что движет свободным умом, что в нем главное: *изменить* свои суждения – само по себе это отнюдь не кажется ему презренным! Напротив того, в *способности* поменять свои мнения он с почтением видит редкостное и высокое отличие, в особенности если оно свойственно человеку вплоть до самой старости! Его честолюбие притязает даже на запретные плоды *spernere se sperni* и *spernere se ipsum*[1] (и малодушие тут *ни при чем*): и, уж конечно, он не испытывает перед ними страха тщеславных и ленивых! А ко всему прочему учение о *невинности всех мнений* он считает столь же верным, как и учение о невинности всех действий: так разве станет он в позу судьи и палача человека, отступившегося от свободы мысли? Уж скорее его вид вызовет в нем жалость, как у врача вызывает жалость вид какого-нибудь прокаженного: физическое отвращение перед гнилью, размоканием, разрастанием, нагноением на миг преодолеет силу рассудка и желание помочь. Так и нашу добрую волю побеждает представление о чудовищной *бесчестности*, завладевшей, как нам кажется, отступником свободы мысли: представление об общем вырождении, поразившем и самый хребет его характера. –

57

Другой страх, другая уверенность. – Христианство ввело в жизнь совершенно новый вид *риска* – риск неограниченный, а вместе с ним создало и совершенно новые виды уверенности, наслаждений, душевных отдохновений и оценок всего суще-

---

1 Презирать (чужое) презрение к себе и презирать себя (*лат.*). См. прим.

го. Такой риск наше столетие отвергает и делает это с чистой совестью: а все-таки оно еще волочит за собою хвост старых привычек христианской уверенности, христианского наслаждения, отдохновения и оценки! И втаскивает его даже в свое отборное искусство и философию! Каким утомленным и изношенным, каким охромевшим и неуклюжим, каким субъективно-фанатичным, но прежде всего – каким неуверенным должно все это выглядеть теперь, когда его устрашающий антипод – вездесущий страх христиан за спасение своей души *навеки* – уже сгинул!

58

Христианство и аффекты. – В христианстве следует слышать еще и великий народный протест против философии: разум древних мудрецов отговаривал человека от аффектов – а христианство стремилось *вернуть* их людям. Для этого оно отказывает добродетели, как ее понимали философы (как победу разума над аффектом), во всяческой моральной ценности, вообще осуждает рассудительность и провоцирует аффекты обнаружиться во всей своей мощи и великолепии – в виде *любви* к Богу, *страха* перед Богом, в виде фанатической *веры* в Бога, в виде безумнейшей *надежды* на Бога.

59

Заблуждение как отрада. – Что бы там ни говорили – но христианство хотело избавить людей от бремени моральных требований, думая указать им *кратчайший путь к совершенству*: и совершенно так же некоторые философы мнили, будто в состоянии отделаться от утомительных и длительных диалектических операций, от накопления критически проверенных фактов, указуя на «царскую дорогу к истине». То и другое было заблуждением – а все же великою отрадой для страждущих и отчаявшихся в пустыне.

60

Всякий дух воплощается зримо. – Христианство полностью впитало в себя дух бесчисленных пресмыкающихся, всех этих утонченных и грубых энтузиастов унижения и преклонения, а вместе с тем из чего-то мужицкого (о чем, к примеру, выразительно напоминает древнейший его образ – апостола Петра) стало религией весьма *одухотворенной*, с ликом, изборожденным тысячами складок, задних мыслей и отговорок; оно умудрило европейское человечество опытом, а не только сделало его теологически смекалистым. В этом духе и в союзе с властью, а очень часто – и с глубочайшей убежденностью и искренней самоотверженностью оно *изваяло*, быть может, наиболее утонченные фигуры человеческого общества, какие бывали доселе: фигуры высокого и самого высокого католического клира, особенно если таковые происходили из аристократических родов и уже изначально были снабжены врожденным изяществом жеста, властным взглядом и красивыми руками и ногами. Тут человеческое лицо достигает той одухотворенности, которая порождается постоянными приливами и отливами двух видов счастья (ощущения власти и ощущения покорности), – а это происходит после того, как животное начало в человеке обуздано искусственным образом жизни; тут деятельность, состоящая в благословении, отпущении грехов и предстательстве за Божество, постоянно поддерживает в душе – *мало того, и в теле тоже* – ощущение сверхчеловеческой миссии; тут царит благородное презрение к слабости тела и покровительству счастья, свойственное прирожденным воинам; послушание тут – предмет *гордости*, что всегда было отличительным признаком аристократии; в чудовищной невыполнимости своего задания тут видят оправдание своей жизни и ее неземной смысл. Властная красота и утонченность князей церкви всегда показывала простому народу *правоту* церкви; временная брутализация духовности (как в эпоху Лютера) неизменно приводила к внутреннему разладу в вере. – Так что же, со смертью религий похоронить и *этот* итог человеческой красоты и утонченности в гармонии телесного облика, духа и предназначения? Неужели нельзя добиться лучшего или хотя бы только придумать его?

61

Чем требуется пожертвовать. – Все эти серьезные, прилежные, законопослушные, глубоко чувствующие люди, еще остающиеся искренне верующими христианами: их долг перед собою – в один прекрасный момент испытания ради решиться подольше пожить, обходясь без христианства, их долг перед *своею верой* – в один прекрасный момент в этом же духе удалиться в «пустынь», и лишь для того, чтобы получить право голоса в обсуждении вопроса о том, нужно ли христианство. Некогда они как приклеенные сидели в своем углу, понося оттуда весь мир за его пределами: и вот они сердятся и обижаются, когда кто-нибудь дает им понять, что как раз за пределами их-то уголка и начинается большой мир! И что все христианство – как раз не более чем угол! Так нет же, ваше мнение будет стоить чего-то не прежде, чем вы годы и годы проживете без христианства, честно стараясь изо всех сил удержаться в мире, противоположном христианству: прежде чем вы не зайдете в места очень, очень далекие от него. А ваше возвращение будет что-то значить тогда, когда вас погонит назад не тоска по дому, а *приговор* на основе точного *сравнения*! – Люди будущего сделают это когда-нибудь со всем тем, что высоко почиталось в прошлом; им придется по своей воле снова *пережить* все это, точно так же как и нечто совсем противоположное, – чтобы в конце концов обрести *право* просеять все прежде почитавшееся через решето.

62

О происхождении религий. – Как человеку пережить собственное представление о мире в качестве откровения? В этом и заключается проблема возникновения религий: всякий раз при деле был какой-нибудь человек, способный на такое переживание. Надо только, чтобы он уже заранее верил в откровения. И вот в один прекрасный день ему в голову приходит *собственная* новая мысль, и обнаруженная им великая окрыляющая, охватывающая все сущее гипотеза столь властно захватывает его сознание, что он не отваживается

чувствовать себя творцом своей окрыленности – и ее причину, а также причину причины новой идеи приписывает своему богу, а именно его откровению. Куда уж там человеку быть подателем столь великого счастья! – так говорит его пессимистическое сомнение. Кроме того, в деле участвуют и иные, скрытые пружины: к примеру, человек *укрепляется* в своем представлении, переживая его как откровение, а тем самым перечеркивает всякую его предположительность, отнимает у него способность к критике, зачеркивает даже сомнения, – и превращает его в нечто священное. Правда, на этом пути человек принижает себя до уровня органа, но в конце концов наша идея одерживает верх как идея Бога: и это ощущение – выйти все-таки победителем – перевешивает то ощущение – приниженности. А на заднем плане ведет свою игру еще и другое ощущение: если человек возвышает над собою собственный *продукт* и по видимости отказывается от собственной ценности, ему все же остается ликование отцовской любви и отцовской гордости, которое все компенсирует и более чем компенсирует.

63

Ненависть к ближнему. – Положим, мы восприняли другого человека так, как он воспринимает себя сам, – это будет то, что Шопенгауэр называет состраданием, а правильнее называть встрадыванием, способностью встрадываться, – так вот, нам придется его возненавидеть, ведь он-то, подобно Паскалю, считает себя достойным ненависти. Именно так, верно, Паскаль и воспринимал людей в целом; то же самое делало раннее христианство, которое при Нероне, по сообщению Тацита, объявили «достойным» *odium generis humani*[1].

64

Впадающие в отчаяние. – У христианства есть охотничий нюх на всех тех, кого хоть чем-нибудь можно довести до

1 Ненависти рода людского (*лат.*). См.: Тацит. Анналы, XV, 44.

отчаяния, – ведь только часть человечества способна впадать в него. Оно постоянно гоняется за такими, выслеживает их. Паскаль попробовал, не получится ли довести до отчаяния каждого с помощью беспощаднейшего познания; попытка провалилась – к его теперь уже двойному отчаянию.

65

Брахманство и христианство. – Существуют определенные рецепты ощущения власти: во-первых, для тех, что способны овладеть собою, а уж посредством этого утвердиться в ощущении власти; во-вторых, для тех, кому как раз этого-то и не хватает. О людях первого рода позаботилось брахманство, о людях второго рода – христианство.

66

Способность иметь видения. – На протяжении всего средневековья подлинным и главным признаком высшей человечности была способность иметь видения (то есть глубокое душевное расстройство!). И, в сущности, средневековые правила жизни всех высших натур (*religiosi*) сводятся к тому, чтобы сделать человека *способным* иметь видения! Так разве удивительно, что даже до нашего времени долилась волна завышенной оценки людей полупомешанных, фантазирующих, фанатичных, так называемых гениальных личностей; «им было дано узреть вещи, незримые для других», – ну а как же, само собой разумеется! Но это должно внушать нам не веру в них, а осторожность!

67

Цена верующих. – Кто придает такое большое значение тому, чтобы люди в него верили, верили в то, что верующим этою верой он обеспечит блаженство, и притом верили все, даже разбойник на кресте, – тому, конечно, пришлось страдать от ужасного сомнения и испытать на себе все виды

распятия: иначе его верующие не достались бы ему такой дорогою ценой.

68

Первый христианин на земле. – Весь мир все еще верит в «Святой дух» как писателя или находится под воздействием такой веры: если человек раскрывает Библию, то чтобы «возвыситься душой», чтобы найти там утешительное указание в своей собственной, большой или мелкой личной беде, – короче говоря, он вчитывает туда себя и вычитывает обратно. А что там содержится еще и история одной из тщеславнейших, назойливейших душ и ума, сколь суеверного, столь же и хитроумного – история апостола Павла, ну кто еще об этом помнит, кроме кое-кого из ученых? Но ведь без этой удивительной истории, без смятений и бурь такого ума, такой души не было бы и христианства; и не узнать бы нам тогда ничего об одной мелкой иудейской секте, наставник которой принял смерть на кресте. В том-то и дело: если бы именно эту историю распознали вовремя, если бы сочинения Павла были прочитаны не как откровения «Святого духа», а с помощью честного и свободного собственного духа, не занятого при этом всеми этими нашими личными бедами, то есть были *действительно прочитаны*, – а за полтора тысячелетия не нашлось ни одного такого читателя, – то и с христианством уже давно было бы покончено: настолько эти страницы иудейского Паскаля освещают до дна происхождение христианства, как и страницы французского Паскаля – его судьбу и то, от чего оно погибнет. И что корабль христианства избавился от доброй части иудейского балласта, что он плавал и мог плавать среди язычников, – напрямую связано с историей одного этого человека, человека очень замученного, очень достойного жалости, очень неприятного, в том числе и себе самому. Он страдал от одной навязчивой идеи, или, говоря яснее, от одного *навязчивого*, неизбывного, никогда не умолкающего *вопроса*: в чем тут дело с иудейским *законом*? а главное – с *исполнением этого закона*? В юности он и сам хотел его исполнять, испытывая волчий голод по этому высочайшему из отличий, какое толь-

ко могли представить себе евреи, – народ, который был привержен выдумке о нравственном величии сильнее любого другого народа и которому только и удалось сотворить себе Бога святого вкупе с идеей греха как проступка перед этой святостью. Павел сделался фанатичным поборником и блюстителем чести этого Бога и его закона – и в то же время, постоянно преследуя и выискивая нарушающих и оспаривающих его, начал проявлять к ним суровость и жестокость, стоя за высшую меру наказания. И вдруг ему стало понятно, что он, гневливый, раздражительный, меланхоличный, непреклонный в своей ненависти, сам не *смог* исполнить закон и, что казалось ему наиболее непостижимым, его непомерное властолюбие чем-то постоянно подстрекалось преступить закон – а он был *вынужден* поддаться этому стрекалу. Так что же – тем, что все вновь заставляло его преступать закон, и впрямь была «плоть»? А может быть, уж скорее, как он подозревал позже, за нею стоял сам закон, постоянно *вынужденный* демонстрировать свою же неисполнимость и необоримыми чарами соблазняющий себя преступить? Но тогда у него еще не было такого выхода из положения. Многое отягощало его совесть – он намекает на вражду, убийство, ворожбу, идолослужение, разврат, пьянство и любовь к обжорству; и как бы он ни старался, проявляя крайний фанатизм в почитании и защите закона, облегчить совесть, а еще больше – вновь дать волю своему властолюбию, – бывали уже мгновения, когда он говорил себе: «Все это пустое! Мука того, кто не исполнил закон, неутолима». Подобные переживания владели, верно, и Лютером, когда он хотел сделаться в своем монастыре совершенным человеком согласно церковному идеалу: и примерно то, что выпало на долю Лютера, в один прекрасный день возненавидевшего настоящей смертельной ненавистью – и тем больше, чем меньше признавался в ней себе, – и церковный идеал, и папу, и святых, и весь причт, выпало и на долю Павла. Закон был крестом, к которому он чувствовал себя пригвожденным: как же он его ненавидел! Как скрежетал на него зубами! Как носился везде, выискивая способ *уничтожить* его – а уже не способ исполнить его для себя! И вот наконец ему сверкнула спасительная мысль – одновременно с видением, да иначе у этого эпилептика и быть

не могло: ему, бешеному ревнителю закона, в душе измученному им до смерти, явился на пустынной дороге Христос с этим своим лучом света Божьего на лице, и Павел услышал слова: «что ты гонишь *Меня?*». А самым важным, что тут произошло, было следующее: в его *уме* вдруг все прояснилось; «*неразумно*, – подумал он, – гнать именно этого Христа! Ведь вот он, выход из положения, ведь вот она, месть выше головы, ведь тут, и больше нигде, я получил *того, кто уничтожил закон*, и буду за него держаться!» Страдавший мучительным высокомерием чувствует себя враз выздоровевшим, моральное отчаяние как рукой сняло, ведь как рукой снята, уничтожена мораль: она *исполнена* – вон там, на кресте! Прежде такая позорная *смерть* казалась ему главным доводом против «мессианства», о котором вели речь приверженцы нового учения: а теперь – какое там, раз она была *необходима*, чтобы *покончить* с законом! Чудовищные следствия этого открытия, этой разгадки тайны проносятся перед его взором, и одним махом он становится самым счастливым человеком на земле, – судьба евреев, да что там – всех людей кажется ему связанной с этим открытием, с этим мигом внезапного просветления, он чувствует, что нашел мысль всех мыслей, ключ всех ключей, свет всех светов; отныне вся история вертится вокруг него одного! Ведь теперь он – учитель *уничтожения закона*! Умереть для зла – это значит умереть для закона; быть во плоти – это и значит быть в законе! Быть единым со Христом – это и значит вместе с ним уничтожать закон; умереть с ним – это и значит умереть для закона! И даже если бы еще можно было впасть во грех, то ведь во грех уже не против закона – «я вне закона». «Если бы я теперь снова принял закон и подчинился ему, я сделал бы Христа пособником греха»; ибо закон существовал ради того, что совершались грехи, он всегда подстегивал грех, как отравленные телесные соки – болезнь; Бог не дозволил бы смерти Христа, если бы без этой смерти вообще было возможно исполнять закон; а теперь не просто погашена всякая вина, но уничтожена вина как таковая; теперь закон умер, теперь умерла плоть, в которой он живет, – или по крайней мере постепенно умирает, как бы разлагаясь. Еще немного потерпеть это разложение! – вот удел христианина до тех пор, пока он, став еди-

ным со Христом, не воскреснет во Христе, не причастится Божьей славе вместе со Христом, став «сыном Божьим», как Христос. – Здесь опьянение Павла достигает своей высшей точки, равно как и навязчивость его души, – в идее единения она отбрасывает всякий стыд, всякую субординацию, всякие рамки, и необузданная властолюбивая воля выходит наружу в виде предвосхищенного наслаждения в *Божьей* славе. – Вот он, *первый христианин на земле*, открыватель сущности христианства! А дотоле было лишь несколько иудейских сектантов. –

69

Нечто неподражаемое. – Есть чудовищное натяжение и протяженность *между* завистью и дружбой, между презрением к себе и гордыней: в первых жили греки, во вторых – христиане.

70

На что годится толстокожий ум. – Христианская церковь – энциклопедия первобытных культов и воззрений различнейшего происхождения; поэтому-то она – такой хороший миссионер: она могла прежде, может и теперь приходить со своей миссией куда захочет, всюду находя нечто однородное, к чему в состоянии приспособиться и чему постепенно приписать свой смысл. Не христианство церкви, а универсально-языческая основа ее *обычаев* – вот причина распространения этой мировой религии; ее идеи, коренящиеся одновременно в иудействе и в эллинстве, с самого начала умели возвыситься над национальными и расовыми границами и особенностями, а равно и над предубеждениями. Не перестаешь удивляться этой *способности* сращивать воедино самые разные вещи: только не надо забывать и о презренном свойстве этой способности – об удивительной толстокожести и всеядности ее интеллекта в эпоху возникновения церкви, позволявших обходиться *любою пищей* и переваривать противоположности, как гальку.

71

Месть христиан Риму. – Ничто, быть может, не утомляет так сильно, как зрелище беспрестанных побед, – подобное зрелище являл собою в течение двух столетий Рим, подчинявший себе один народ за другим; круг замкнулся, все, что было возможно, казалось, уже свершилось и отныне застыло на веки вечные; ведь если Империя что-то строила, то строила с дальним умыслом «*aere perennius*»; – нам, знающим лишь «меланхолию руин», трудно вообразить ту решительно иную *меланхолию вечных построек*, от которой надо было спасаться любым способом – например, беззаботностью Горация. Другие пробовали иные средства утешиться в граничащей с отчаянием усталости, в мертвящем сознании того, что отныне все ходы мысли и души не приведут никуда, что всюду царит этот великий паук, что он неумолимо высосет любую кровь, где бы та ни текла. – Эта вековая бессловесная ненависть усталых зрителей к Риму повсюду, где бы тот ни владычил, разрядилась наконец в *христианстве*, слившем в *одно* ощущение Рим, «мир» и «грех»: ему мстили, лелея в мыслях приближение внезапного конца света; ему мстили, представляя себе какое-то другое будущее – ведь Рим сумел все превратить в *свою* предысторию и *свое* настоящее, – и притом будущее, в сравнении с которым Рим представал уже не самым важным; ему мстили, грезя о Страшном *суде*, – и тот распятый еврей как символ спасения оказывался глубоко язвящей насмешкой над римскими преторами, блиставшими в провинциях, ведь теперь они становились символами нечестия и «мира», созревшего для гибели. –

72

«Загробная жизнь». – Представление о загробной каре христианство находило уже существующим повсюду в Римской империи: многочисленные тайные культы высиживали его с особенным удовольствием, словно то было самое ярое яйцо, из которого вылупится их властная сила. Эпикур не думал сделать для себе подобных ничего большего, как вырвать *эту* веру с корнями: его триумф, так красиво прозву-

чавший из уст сумрачного, но все же получившего просветление апостола эпикуровского учения – римлянина Лукреция, настал слишком рано: христианство взяло под свой особый покров уже вянущую веру в подземные ужасы – и поступило умно! Разве без такого отважного заимствования из стопроцентного язычества оно смогло бы одержать победу в борьбе с популярными культами Митры и Исиды? Таким-то путем оно и перетянуло малодушных на свою сторону – и те сделались самыми надежными последователями новой веры! Евреи, будучи народом, который цепко держался и держится за жизнь, подобно грекам и даже более, чем греки, были не слишком-то привержены таким представлениям; смерть раз и навсегда – кара грешнику, и никакого воскресения – самая крайняя угроза; уже одно это достаточно сильно действовало на этих странных людей, не желавших расстаться со своими телами, а в своем изощренном египтицизме надеявшихся спасти его на веки вечные. (Один иудейский мученик, история которого изложена во Второй книге Маккавеев, даже не думает отречься от своих вырванных внутренностей: он хочет, чтобы они *остались* у него при воскресении, – вот это по-иудейски!) Первым христианам и в голову не приходила идея вечных мук, они думали, что будут *спасены* «от смерти», и со дня на день ждали преображения, а отнюдь не кончины. (Как сильно должна была подействовать на этих ожидающих первая среди них смерть! Как смешались тут изумление, ликование, сомнение, стыд, воодушевление! – вот уж поистине тема для великих художников!) Павел не сумел повторить вслед за своим спасителем ничего лучшего, чем то, что тот *открыл* для каждого доступ к бессмертию, – он еще не верует в воскресение неспасенных, ведь он в духе своего учения о неисполнении закона и о смерти как следствии греха подозревает, что, в сущности, дотоле не достиг бессмертия никто (или очень немногие, и уж тогда – по милости Божьей и без всякой своей заслуги); и что лишь теперь *начинают* открываться врата бессмертия, а в конечном счете людей, избранных пройти и через них, очень немного: и тут уж никак не обойтись без мысли о высокомерии этого избранного. – В иных местах, где влечение к жизни было не так сильно, как среди иудеев и иудеохристиан, а перспектива бессмертия не ка-

залась безусловно более предпочтительной, нежели перспектива смерти раз и навсегда, это языческое, а все-таки не вполне неиудейское добавление в виде ада стало вожделенным орудием в руках миссионеров: выдвинулось новое учение, гласившее, что грешники и неспасенные тоже бессмертны, – учение о вечном проклятии; и оно оказалось куда более мощным, чем отныне вконец полинявшая идея *смерти раз и навсегда*. Лишь *науке* пришлось вновь отвоевывать его для себя, причем одновременно ей пришлось отвергнуть любое другое представление о смерти и потусторонней жизни. Мы обеднели на *один* интерес: до «загробной жизни» нам больше нет дела! – прямо-таки неописуемая благодать, еще слишком свежая, чтобы в качестве таковой ее ощутили во всех концах земли. – Вот и снова справляет свой триумф Эпикур!

73

В пользу «истины»! – «В пользу истины христианства свидетельствовал добродетельный образ жизни христиан, их стойкость в мучениях, твердая вера, а главным образом – распространение и рост вопреки всем невзгодам», – вот что вы говорите даже сегодня! Нечто жалкое! Так узнайте же, что все это свидетельствует не в пользу истины или против нее, что истину доказывают иначе, чем искренность, и что последняя – отнюдь не аргумент в пользу первой!

74

Задняя мысль христианства. – Ну разве не такой должна была оказаться самая ходовая задняя мысль христиан первого века: «Лучше убедить себя в своей виновности, чем в невинности, ведь нельзя знать заранее, как настроен столь *могущественный* судья, – *страшиться* же надо того, что он думает увидеть перед собой одних только признающих себя виновными! При своей огромной власти он скорее простит виноватого, чем допустит, что представший перед ним невинен». – Так чувствовала себя провинциальная мелкота

перед лицом римского претора: «Он слишком надменен, чтобы мы посмели быть невинными». Именно такое ощущение не могло не утвердиться вновь, когда складывалось христианское представление о высшем судье!

75

Неевропейское, неблагородное. – Есть в христианстве нечто восточное и нечто женственное: оно обнаруживается в идее «кого Бог любит, того наказывает»; ведь и восточные женщины считали наказания и строгую изоляцию от всего мира знаком любви супруга и обижались, если таких знаков не было.

76

Думать худо – значит ухудшать. – Страсти становятся злыми и коварными, если считать их злыми и коварными. Таким путем христианству удалось превратить Эрота и Афродиту – великие силы, разворачивающие лицом к идеалу, – в инфернальных кобольдов и призраков, сделав это с помощью мучений, которые оно заставило испытывать совесть верующих по поводу любых половых переживаний. Разве это не ужасно – превращать необходимый и регулярно повторяющийся опыт в источник душевных бедствий, пытаясь таким способом сделать душевные бедствия *каждого человека* необходимыми и регулярно повторяющимися! А ведь есть еще бедствия тайные и оттого только более глубокие: не всякому же дано мужество Шекспира признать свою христианскую помраченность в этом отношении так, как он это сделал в своих сонетах. – Разве то, с чем следует бороться, что следует держать в узде, а то и совсем выбросить вон из головы, надо всегда называть *злым*? Разве представлять себе *врага* только *злым* – не свойство *низких* душ? А как можно Эрота назвать врагом! Опыт половой любви, сострадания и поклонения уже сами по себе сходны между собою тем, что тут один человек своим удовлетворением делает добро другому человеку, – не слишком-то часто такие благо-

желательные отношения можно встретить в природе! Как же можно очернять и портить нечистой совестью именно их! Зачатие человека увязывать с нечистой совестью! – В конце концов это превращение Эрота в беса получило комедийную развязку: «бес» Эрот мало-помалу сделался людям интереснее всех ангелов и святых благодаря стыдливому шушуканью да секретничанью церкви во всех вопросах, касающихся эротики: она была и остается причиной тому, что *любовная драма* стала возбуждать единственный подлинный интерес во *всех* кругах общества, – это чрезмерное увлечение было немыслимо в античности, а когда-нибудь в будущем, пожалуй, станет вызывать только смех. Для всего нашего стихоплетства и умничанья, от самого великого до самого низменного, характерна и более чем характерна преувеличенная значимость, с какою любовная драма выступает в них в качестве главной драмы: и, быть может, из-за нее-то потомки вынесут приговор, гласящий, что на всем наследии христианской культуры лежит печать убожества и слабоумия.

77

О пытках душевных. – При каких-нибудь истязаниях, причиняемых плоти, в наше время каждый громко вопит; тотчас поднимается волна возмущения против того, кто способен истязать; да что там – мы начинаем дрожать уже при одной мысли о возможности истязаний людей или животных, а уж когда узнаём, что такого рода истязание состоялось совершенно несомненно, то невыносимо страдаем. Но еще очень далеко до того, чтобы столь же единодушно и остро переживались истязания души и весь ужас их причинения. Христианство ввело их в употребление в неслыханном объеме и все еще постоянно проповедует этот вид пыток – мало того, оно с полной невинностью сетует на отпадение от веры или на ее нехватку, если речь идет о состоянии, свободном от таких пыток, – а результат всего этого тот, что в отношении душевного ада, душевных пыток и пыточных инструментов нынешнее человечество демонстрирует такое же робкое равнодушие и попустительство,

какое прежде вызывали лютые истязания людей и животных. Преисподняя и впрямь не осталась пустым словом: а вновь созданным подлинным видам страха перед нею соответствовал и новый вид сострадания – жуткая, стопудовая, неизвестная прежним эпохам жалость к таким «осужденным на вечные муки», какую, к примеру, являет Каменный гость по отношению к Дон Жуану и какая в христианские столетия чаще всего бросала в чашку камни вместо милостыни. Плутарх рисует безотрадную картину суеверной души во времена язычества: но эта картина покажется безобидной, если сопоставить ее с картиной христианской души в средневековье, – души, *предполагающей*, что ей, вероятно, уже не избежать «вечных мучений». Ужасные знаки стояли перед ее взором: скажем, аист, держащий в клюве змею и *медлящий* ее проглотить. Или окружающий ландшафт внезапно терял краски, или земля начинала словно гореть летучим огнем. Или вокруг толпились образы покойных родных, на лицах которых лежала печать страшных мук. Или освещались темные стены спальных покоев, и в желтом тумане на них проступали пыточные инстументы, клубки змей и чертей. Поистине в ужасающее место сумело превратить землю христианство хотя бы одним уж тем, что повсюду воздвигло распятия, тем самым создав образ земли как юдоли, где «праведники принимают *смертные муки*»! И когда силою великих проповедников покаяния все потаенные муки души, слезы «в подушку» однажды бывали преданы гласности, когда, к примеру, какой-нибудь Уайтфилд проповедовал, «как умирающий к умирающим», то рыдая в голос, то изо всех сил топая, страстно, в самых резких и неожиданных выражениях, не останавливаясь перед тем, чтобы со всею силой обрушиться на кого-нибудь из присутствующих и со скандалом изгнать его из общины, – как в таких случаях земля, казалось, и впрямь вот-вот превратится в «луга злополучия»! Тогда присутствующая паства обнаруживала все признаки разразившейся душевной болезни; многие застывали, как изваяния страха, другие неподвижно лежали, потеряв сознание; иные тряслись, как в лихорадке, или оглашали воздух пронзительными, не утихающими в течение часов воплями. И со всех сторон доносилось тяжелое дыхание, словно, полузадушенные, люди

хватали ртом воздух жизни. «И впрямь, – говорит очевидец одной из таких проповедей, – чуть ли не все долетавшие до слуха звуки исходили словно от людей, *умиравших в тяжелых мучениях.*» – Давайте не будем забывать, что именно христианство впервые превратило *смертное ложе* в ложе мук и что сцены, разыгрывавшиеся с тех пор на этом ложе, и ужасные звуки, впервые раздавшиеся с него, на всю жизнь отравили душу и кровь бесчисленным свидетелям и их потомкам! Давайте представим себе какого-нибудь невинного человека, в душе которого, на его беду, навсегда запечатлеются эти однажды услышанные слова: «О небеса! Зачем только я увидел свет Божий! Зачем родился! Я проклят, проклят, я погиб навек. Еще неделю тому назад вы помогли бы мне. Но теперь поздно. Теперь я добыча сатаны, мне придется идти с ним в ад. Ах, разорвитесь, разорвитесь, несчастные каменные сердца! Неужто вы не разорветесь? Какой еще нужен ужас, чтобы вас тронуть? Я проклят, дабы вы спаслись! Вот он! Да, вот он! Прииди, добрый сатана! Прииди!» –

78

Карающее правосудие. – Беда и вина – эти две вещи христианство положило на одни весы, так что когда бывает велика беда, следующая за виной, то еще и по сей день невольно производится обратное, увязанное с величиной беды, измерение величины самой вины. А это не имеет ничего общего с *античностью*, и потому греческая трагедия, где так часто, но совсем в ином смысле, речь идет о беде и вине, относится к числу великих явлений, освобождающих дух, и притом в такой мере, какая и не снилась самим древним. Они оставались столь невинными, что не устанавливали никаких «адекватных отношений» между виной и бедою. Вина их трагических героев – это скорее мелкий камень, о который они спотыкаются, ломая себе, возможно, руку или теряя глаз: античный человек ощущал при этом приблизительно следующее: «Ну, этот мог бы быть и поосмотрительней, шагать, не задирая носа!» И только христианство присвоило себе право заявить: «Вот тяжкая беда – а за нею *непременно* скрывается какая-то тяжкая, *столь же тяжкая* вина, пусть

даже мы ее толком и не видим! А коли ты смотришь на несчастных не так, значит, ты *ожесточился*, – ну, гляди, хлебнешь ты в жизни лиха!» – Да и потом, в античности все же была беда – чистая, невинная беда; лишь в христианстве все становится карой, полностью заслуженной карой: оно заставляет страдать еще и воображение страдальца, и при всяком приступе дурноты он чувствует себя дурным с точки зрения морали и порочным. Бедное человечество! – У греков было собственное слово, чтобы называть им возмущение по поводу беды другого: этот аффект стал неуместным у христианских народов, а потому и немного развился у них, – по такой-то причине нет у них и названия для этого *более мужественного* брата сострадания.

79

Одно предложение. – Коли наше «я», согласно Паскалю и христианству, неизменно *вызывает ненависть*, то как же мы смеем хотя бы только терпеть его и соглашаться, чтобы его любили другие, будь то Бог или человек! Это было бы против всех приличий – допускать, чтобы тебя любили, прекрасно зная при этом, что *заслуживаешь* только ненависти, – не говоря уж об иных, защитных ощущениях. – «Но ведь у нас-то речь идет о царстве милосердия.» – Так, значит, ваша любовь к ближнему – это милосердие? И ваше сострадание – милосердие? Тогда уж, если сможете, сделайте следующий шаг: любите из милосердия себя – в таком случае вам не понадобится больше и Бог, а вся драма грехопадения и спасения разыграется до конца в вас самих!

80

Сострадательный христианин. – Изнанкой христианского сострадания страданиям ближнего оказывается глубокое подозрение, под которое берется любая радость ближнего, его радость от всего, чего он хочет и что может.

81

Гуманность святого. – Один святой, оказавшись среди верующих, в конце концов не вынес их неизменной ненависти ко греху. В конце концов он сказал: «Бог сотворил все, но только не грех: само собой ясно, что он не расположен к нему. – А вот человек, тот сотворил грех: и обязан отвергнуть это свое единственное дитя просто потому, что оно не нравится Богу, дедушке греха! Гуманно ли это? Высшая честь тому, кому подобает честь! – но все же душа и долг сначала должны защищать дитя – а уж потом честь деда!»

82

Духовная атака. – «Ты обязан уладить это с самим собою, ведь на карту поставлена твоя жизнь», – с таким возгласом из-за угла выскакивает Лютер, думая, будто мы уже чувствуем нож у своего горла. А мы отбиваемся от него словами кого-то более высокого и рассудительного: «В нашей воле удерживаться от тех или иных суждений, обеспечивая себе душевный покой. Ведь вещи сами по себе, по своей природе, не могут принуждать нас к суждениям».

83

Бедное человечество! – Каплей крови в мозге больше или меньше – и наша жизнь может сделаться неописуемо несчастной и суровой, а страдания наши от этой капли будут посильнее, чем страдания Прометея от его коршуна. Но до самого ужасного доходит дело, только когда человек даже не *знает*, что причиной всему – именно та капля. А думает, что – «дьявол»! Или «грех»! –

84

Филология христианства. – В сколь малой мере христианство воспитывает чувство честности и справедливости, доволь-

но отчетливо видно по характерному признаку сочинений ученых-христиан: они излагают свои гипотезы так безапелляционно, будто это – догмы, и редко испытывают честное смущение при истолковании того или другого места из Библии. Вечно слышишь от них: «Имею право, потому что тут написано –», после чего начинается бесстыжий произвол в истолковании, а присутствующий при сем филолог разрывается между бешенством и хохотом, неизменно спрашивая себя: «Да что это такое? Разве это честно? Разве это хотя бы пристойно?» – Какая нечестность в этом отношении все еще изливается с протестантских кафедр, как грубо используют проповедники то преимущество, что никто им на это и слова не скажет, как тут кромсается и выщипывается Библия, а народу во всех видах прививается *искусство скверного чтения*, – все это невдомек лишь тому, кто не ходит в церковь никогда или ходит туда всегда. И наконец: каких достижений ожидать от религии, которая уже в эпоху своего формирования учинила с Ветхим Заветом неслыханный филологический балаган: я имею в виду попытку стащить Ветхий Завет у евреев с помощью заявления, будто в нем нет ничего, кроме христианских учений, и он принадлежит христианам как *истинному* народу Израиля, – а евреи-де его себе просто присвоили. И вот начали усердно предаваться толкованиям и интерполяциям, которые никак не могли быть увязаны с чистой совестью: как бы ни протестовали ученые-иудеи, утверждалось, будто в Ветхом Завете повсюду речь идет о Христе, и особенно, повсюду же, – о его кресте, а где бы ни упоминались древесина, прут, лестница, ветвь, дерево, ива, жезл, всюду чудилось пророчество о Крестном древе; даже сооружение тельца и медного змия, даже Моисей, поднимающий руки для молитвы, и в конце концов даже вертелы, на которых жарили пасхального агнца, – все это-де намеки на крест и как бы его предвещания! А *верил* ли когда-либо в это тот, кто так говорил? Вспомним, что церковь не побоялась дополнить текст Септуагинты (например, псалом 96, стих 10), чтобы потом использовать это протащенное контрабандой место, толкуя его в смысле христианского пророчества. То-то и оно – шла ведь *война*, и думали не о честности, а о враге.

85

Недостаток как чуткость. – Не глумитесь над мифологией греков по той причине, что она так мало напоминает вашу глубокомысленную метафизику! Лучше восхититесь народом, который именно тут сохранял свой острый ум и долгое время соблюдал достаточное чувство такта, чтобы избегать опасности впадения в схоластику и в изощренные суеверия!

86

Христианские интерпретаторы плоти. – Чего только не бывает от желудка, кишок, сердцебиения, нервов, желчи, семени: всяческие расстройства, истощения, перевозбуждения и вообще сбои в работе столь мало известной нам машины! – и все это такой христианин, как Паскаль, считает нужным воспринимать как моральный и религиозный феномен, задаваясь вопросом, что за этим скрыто – Бог или дьявол, добро или зло, благословение или проклятье! Беда с этим незадачливым интерпретатором! Как ему пришлось выкрутить и вымучить свою систему! Как ему пришлось выкрутить и вымучить себя, чтобы счесть себя правым!

87

Нравственность как чудо. – Христианство понимает нравственность только как нечто чудесное: как внезапное изменение всех ценностных суждений, внезапный отказ от старых привычек, внезапную неудержимую склонность к новым предметам и лицам. Оно воспринимает этот феномен как Божье свершение и называет его актом нового рождения, наделяет его уникальной, ни с чем не сравнимой ценностью, – а все, что вообще-то зовется нравственностью, но не имеет отношения к этому чуду, христианину поэтому безразлично; или христианство воспринимает его, может быть, даже как хорошее самочувствие, чувство гордости или предмет страха. Новый Завет устанавливает канон добродетели, исполнения закона; но так уж получается, что

это – канон *невозможной добродетели*: люди, еще *активные* в нравственном отношении, перед лицом такого канона поневоле приучаются чувствовать себя все *дальше* от цели, они поневоле *отчаиваются* в добродетели и в конце концов *бросаются в объятья* тому, кто над ними сжалится, – нравственный порыв мог быть для христианина ценным лишь с таким итогом, причем, конечно, ясно, что это всегда был *порыв* безуспешный, безотрадный, меланхолический; таким образом, он мог *служить* разве лишь для того, чтобы доставлять те экстатические мгновения, когда человек переживает «излияние благодати» и нравственное чудо: но чем-то *необходимым* это нравственное усилие не является, ведь такое чудо нередко выпадает на долю как раз грешникам, когда те словно блаженствуют в проказе греха; мало того, даже прыжок из глубочайшей и самой отчаянной греховности в ее противоположность кажется чем-то более легким и, в качестве очевидного *доказательства* чуда, даже чем-то более завидным. – А *что*, кстати, должен означать такой внезапный, безрассудный и неудержимый *переворот*, когда глубочайшее бедствие сменяется высочайшим блаженством, в физиологическом отношении (не замаскированную ли эпилепсию?) – об этом пусть подумают психиатры, ведь им приходится в изобилии наблюдать подобные «чудеса» (к примеру, манию убийства, манию самоубийства). И сравнительно *«более благоприятный исход»* в случае христиан существенно дела не меняет. –

88

Лютер – великий благодетель. – Наиболее значительный итог деятельности Лютера состоит в недоверии, какое он пробудил к святым и ко всей христианской *vita contemplativa*: лишь с той поры в Европе вновь сделался доступным путь к нехристианской *vita contemplativa*, а презрению к мирским занятиям и к мирянам был положен конец. Лютер, оставшийся настоящим сыном рудокопа и когда его заперли в монастырь, даже там, в отсутствие иных глубин и «ям», вошел в себя и принялся сверлить ужасные темные ходы, – наконец он заметил, что неспособен вести созерцательную,

святую жизнь и что врожденная телесная и душевная «активность» его погубит. Очень долго пытался он разыскать пути к святости, предаваясь самоистязанию, – наконец набрался духа и сказал себе: «*Нету* никакой подлинной *vita contemplativa*! Мы дали себя обмануть! Эти святые стоили не больше, чем мы все». – Да, это был мужицкий способ настоять на своем – но в глазах тогдашних немцев единственно верный: какое духовное утешение они получали, читая в своем Лютеровом катехизисе: «Помимо десяти заповедей нет *ни одного дела*, которое было бы *угодно* Богу, – а *пресловутые* духовные подвиги святых они сами же и придумали».

89

Сомнение как грех. – Христианство сделало все, что могло, чтобы замкнуть круг, и объявляет грехом уже только сомнение. Следует без раздумий, полагаясь на чудо, броситься вглубь веры и плыть в ней, словно в чистейшей и однороднейшей стихии: уже только взгляд в сторону суши, уже только мысль, что ты живешь, может быть, не только для того, чтобы плавать, уже только легкий порыв ввысь от нашей пресмыкающейся природы – это грех! Заметьте, однако, что тем самым обоснование веры и всякие размышления о ее происхождении тоже отпадают как заведомо греховные. Требуются слепота, экстаз и вечное пение псалмов над волнами, в которых захлебнулся разум!

90

Эгоизм против эгоизма. – Великое множество людей все еще делает заключение: «Жить было бы невозможно, кабы не было Бога!» (а в кругах идеалистов то же самое звучит так: «Жить было бы невозможно, кабы основы жизни не имели этического смысла!») – следовательно, какой-нибудь бог (или какой-нибудь этический смысл существования) *должен* быть! В действительности же все дело сводится только к тому, что человек, привыкший к таким представлениям, не мыслит себе жизни без них: и что, стало быть, вероятно,

есть представления, необходимые для него и для того, чтобы он мог жить дальше, – какая, однако, наглость заявлять, будто все необходимое для того, чтобы ты мог жить дальше, должно *существовать* и на самом деле! Да неужто твое существование необходимо! А что, если другие думают иначе? Если они не хотят жить как раз на условиях этих двух символов веры и потому считают жизнь недостойной существования? – А ведь именно так и обстоит дело сегодня!

91

О честности Бога. – Бог всеведущий и всемогущий, но притом нимало не озабоченный тем, чтобы творения понимали его замыслы, – да неужто такой Бог добр? Бог, который спокойно взирает на бесчисленные людские сомнения и опасения, делая это тысячелетиями, словно они безусловно существуют для блага человечества, и все-таки каждый раз сулящий самые страшные кары тому, кто посягнет на истину? Может быть, это скорее жестокий Бог, раз уж он владеет истиной и может смотреть, как человечество бездарно бьется за нее? – Или это все-таки, может быть, добрый Бог – только он *не сумел* выразиться получше? Так, может быть, у него попросту не хватило на это духу? Или красноречия? Тем хуже! Тогда он, наверное, ошибся и в том, что́ считает своей «истиной», да и сам не так уж отличается от «несчастного обманутого черта»! Не должен ли он тогда испытывать чуть ли не адские мучения, видя, как страдают, и страдают все сильнее, без всяких надежд на улучшение, его творения ради его же познания, но *не умея* ни присоветовать им, ни помочь, разве что как глухонемой, подающий всяческие неразборчивые знаки, когда над его ребенком или собакой нависла страшная опасность? – Для верующего, который удрученно делает подобные выводы, было бы вполне простительно, если бы он предпочитал сострадать страдающему Богу, чем «ближнему», – потому что они больше не близки ему, если уж Тот, самый одинокий, самый изначальный – заодно и самый страждущий, нуждающийся в наибольшем утешении. – У всех религий есть один общий признак, свидетельствующий о том, что

своим происхождением они обязаны незрелости мышления древнего человечества: все они удивительно *беспечно* относятся к обязанности говорить правду – им ничего не известно об *обязанности Бога* быть с человечеством правдивым и выражаться недвусмысленно. – Никто не потратил так много красноречия на «сокрытого Бога» и на его основания держаться в тени, всегда выходя на свет лишь с помощью речей, да и то наполовину, – чем Паскаль, тем самым показавший, что этот предмет волновал его неизменно: но голос его звучит так уверенно, точно в этой тени некогда побывал и он сам. В этом «*deus absconditus*»[1] он учуял некую неморальность, однако весьма стыдился и робел признаться в этом себе: вот он и разглагольствовал, как человек, который боится так громко, как только может.

92

У смертного ложа христианства. – Люди подлинно деятельные нынче обходятся в душе без христианства, а более умеренные и осторожные представители умственного среднего слоя – всего лишь христианством упорядоченным, то есть на удивление *упрощенным.* Любвеобильный Бог, который устраивает все так, как в конечном счете для нас же и лучше, Бог, наделяющий нас добродетелью и отнимающий ее, так что в целом все всегда в порядке и нет причин тяготиться жизнью, а то и сетовать на нее, короче говоря, смирение и скромность, поднятые до уровня божественных качеств, – это лучшее и наиболее жизнеспособное, что еще осталось от христианства. Но хорошо бы еще и заметить, что тем самым христианство перешло в смягченный *морализм*: выжили не столько «Бог, свобода и бессмертие», сколько доброжелательность, благопристойный образ мыслей и вера в то, что и во всей вселенной победят доброжелательность и благопристойный образ мыслей, – это называется *эвтаназией* христианства.

---

1 «Бог сокровенный» (*лат.*). Источник – Ис. 45, 15: «Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель».

93

Что есть истина? – Кто не согласится с *умозаключением*, которое так любят делать верующие: «В науке нет правды, потому что наука отрицает Бога. Следовательно, она не от Бога; следовательно, в ней нет правды, ибо правда – это Бог»? Ошибку содержит не умозаключение, а посылка: а что, если Бог как раз – *не* правда, причем это, предположим, доказано? Если он – тщеславие, властолюбие, нетерпимость, страх, внушающий восторг и ужас бред человечества?

94

Лекарство от расстройства. – Уже Павел полагал, будто нужна жертва, чтобы излечить расстройство Бога от греха: и с той поры христиане не переставали вымещать свое недовольство собой на какой-нибудь *жертве*, – ею могли быть и «мир», и «история», и «разум», и радость, и мирный покой других людей: за *их* грехи должно было умереть что-нибудь *хорошее* (пускай только *in effigie*[1])!

95

Историческое опровержение как окончательное. – Прежде пытались доказать, что Бога нет, – нынче показывают, как могла *возникнуть* вера в то, что Бог есть, и благодаря чему такая вера приобрела вес и значительность: и вот уже нет нужды доказывать противоположное – что Бога нет. – Если прежде опровергали приведенные «доказательства бытия Бога», всегда оставалось сомнение, не появятся ли более сильные доказательства взамен опровергнутых: тогда атеисты еще толком не знали, как решить дело раз и навсегда.

---

1 В воображении (*лат.*)

«In hoc signo vinces».[1] – Как бы далеко ни продвинулась Европа в иных областях, в области религии она пока не достигла наивного свободомыслия древних брахманов, – дело в том, что четыре тысячи лет тому назад в Индии мыслили больше и привыкли наследовать от предков больше удовольствия от мышления, чем это делаем сегодня мы. Ведь эти самые брахманы, во-первых, думали, что жрецы могущественнее богов, и, во-вторых, что власть жрецов заключается не в чем ином, как в обычаях: потому-то их поэты не уставали восхвалять обычаи (молитвы, церемонии, жертвоприношения, песни, стихотворные размеры) как подлинную причину всяческого блага. Пусть в эти восхваления всегда привносилось много выдумки и суеверия – но главное-то *верно*! Следующий шаг – и боги были отброшены (что когда-нибудь придется сделать и Европе)! Еще один шаг – и пропала нужда в жрецах и посредниках, и появился вероучитель *религии самоспасения*, Будда: как же далеко еще Европе до этой ступени культуры! А когда наконец будут уничтожены все обычаи и нравы, на которых зиждется власть богов, жрецов и спасителей, когда, стало быть, отомрет и мораль в старом смысле этого слова, – тогда наступит... ну, что тогда наступит? Не будем озираться по сторонам в поисках ответа, а лучше сразу смекнем: Европа наверстывает то, что уже несколько тысячелетий тому назад в Индии было выдвинуто народом мыслителей в качестве заповеди мышления! Нынче среди разных европейских народов насчитывается, может быть, от десяти до двадцати миллионов людей, уже не «верящих в Бога», – так неужели чрезмерно требование, чтобы они *подали* друг другу *какой-нибудь знак*? Как только они, сделав это, узнают друг о друге, они дадут *знать* о себе и другим: тогда они тотчас сделаются *силой* в Европе – и, к счастью, силой *между* народами! Между сословиями! Между бедными и богатыми! Между начальствующими и подчиненными! Между самыми обеспокоенными и самыми спокойными, самыми успокоительными людьми!

---

1 «Под этим знаменем победишь» (*лат.*).

Книга вторая

97

Моральными становятся не от морали! – Подчиниться морали человек может от раболепия, от тщеславия, от корыстолюбия, от покорности судьбе, от тупого энтузиазма, от бездумности или от отчаяния – точно так же подчиняются монарху: тут, в сущности, нет ничего морального.

98

Изменения в морали. – Мораль постоянно подвергается переменам и обработке – и это дело *ненаказанных преступлений* (сюда относятся, к примеру, все нововведения в моральном мышлении).

99

Наша общая глупость. – Мы все еще делаем выводы из суждений, которые считаем неверными, из учений, в которые уже не верим, – с помощью своих эмоций.

100

Очнуться от сна. – Люди благородные и мудрые некогда верили в гармонию сфер: люди благородные и мудрые все еще верят в «нравственный смысл бытия». Но в один прекрасный день и эта гармония сфер не дойдет до их слуха! Они проснутся и поймут, что слушали во сне.

101

Подозрительно. – Принять какую-то веру только потому, что она вошла в общий обычай, – да ведь это значит быть нечестным, малодушным, ленивым! – Так, стало быть, предпосылками нравственности были нечестность, малодушие, леность?

102

Древнейшие моральные суждения. – Что мы делаем, когда кто-нибудь совершает рядом с нами какой-нибудь поступок? – Сначала мы пытаемся понять, что из этого поступка выйдет *для нас*, – мы смотрим на него только с этой точки зрения. *Такое* следствие мы принимаем за *умысел* действия – а в конце концов приписываем человеку свойство иметь такие умыслы как *постоянно присущее* ему и отныне считаем его, к примеру, «злоумышленником». Это тройное заблуждение! Тройная исконная ошибка! Идущая, может быть, от нашего родства с животными и их манерой судить! Не стоит ли поискать *начало всякой морали* в таких вот боязливых, мелких выводах: «То, что мне вредит, есть нечто злое (вредоносное само по себе); то, что мне на пользу, есть нечто доброе (благотворное и полезное само по себе); то, что мне вредит *один или несколько раз*, есть нечто враждебное объективно и субъективно; то, что приносит мне пользу *один или несколько раз*, есть нечто благоприятное объективно и субъективно». O *pudenda origo!* Ведь все это сводится к тому, чтобы выдумывать ничего не значащую, диктуемую обстоятельствами, часто случайную *позицию*, в которой другой оказывается к нам, превращая ее в *характер* и самую суть этого другого и утверждая, будто он способен стоять по отношению ко всем и к себе самому вот именно только в таких позициях, какие относились к нам один или несколько раз! Да не прячется ли за этою круглой глупостью и самая нескромная из всех задних мыслей – что мы сами-то и суть, должно быть, принцип добра, если уж добро и зло отмеряются точно по нашим меркам?

103

Два способа отрицать нравственность. – «Отрицать нравственность» – это может означать, *во-первых*: отрицать, что нравственные мотивы, *обнаруживаемые* людьми, и впрямь были причинами их поступков, – это, стало быть, утверждение, гласящее, что нравственность заключается лишь в словах и относится к грубым или тонким способам надувательства (особенно самонадувательства), распростаненным среди людей, и, может быть, чаще всего – как раз среди самых ревностных блюстителей добродетели. *Во-вторых*, это может означать следующее: отрицать, что нравственные суждения зиждутся на истинах. Такая точка зрения признаёт, что мотивы поступков действительны, но что на этом пути людей подводят к моральным поступкам *заблуждения* как основа всякого морального суждения. Такова *моя* позиция: но я менее всего собираюсь отрицать, что *в очень многих случаях* бывает оправданным и изощренное недоверие в духе первой позиции, то есть в духе Ларошфуко, – во всяком случае, оно в высшей степени полезно для всех. – Стало быть, я отрицаю нравственность так же, как я отрицаю алхимию, иными словами, я отрицаю ее предпосылки: но я *не* отрицаю, что были алхимики, верившие в эти предпосылки и действовавшие в соответствии с ними. – Отрицаю я и безнравственность: но я *не* отрицаю, что огромное множество людей *чувствуют* себя безнравственными, а отрицаю, что *на самом деле* есть причина чувствовать себя такими. Я не отрицаю, и это само собой понятно (если, конечно, не считать меня дураком), что следует избегать и не допускать многих из тех поступков, которые называются безнравственными; а равно и что следует совершать и поощрять многие поступки, слывущие нравственными, – но я думаю, что то и другое надо делать *на иных основаниях, чем это делалось прежде.* Нам следует *переучиваться* – чтобы в конце концов и, может быть, слишком поздно достичь чего-то еще большего: начать *иначе чувствовать.*

104

Наши высокие оценки. – Все поступки восходят к высоким оценкам, все высокие оценки бывают либо *собственными*, либо *заимствованными*, причем последние встречаются куда чаще. А почему мы их заимствуем? Из страха, а это значит: мы считаем более разумным прикидываться, будто высоко оцениваем и сами, – и приучаем себя к этому лицемерию, которое в конце концов становится нашей сутью. Собственная высокая оценка: это должно означать, что человек подходит к явлению смотря по тому, сколько удовольствия или страдания оно несет именно ему и никому другому, – позиция крайне редкая! – Но уж хотя бы наша-то высокая оценка другого, заставляющая нас в большинстве случаев заимствовать *его* высокую оценку, должна же исходить от нас, быть нашим *собственным* решением? Разумеется – но мы делаем это *по-детски* и редко научаемся делать иначе; как правило, мы всю жизнь позволяем себя дурачить усвоенным в детстве суждениям, когда судим о ближних (об их уме, ранге, моральности, образцовости, порочности) и находим нужным благоговеть перед их высокими оценками.

105

Мнимый эгоизм. – Почти все люди, что бы они там ни думали и ни говрили о своем «эгоизме», несмотря на это всю жизнь не делают ничего для своего *ego*, а только для фантома *ego*, фантома, сложившегося по их поводу в головах окружающих и перешедшего к ним самим; вследствие этого все они живут друг с другом в тумане неличных, полуличных мнений и произвольных, словно поэтически преувеличенных высоких оценок, – каждый всегда в голове другого, а эта голова в свой черед в других головах: так возникает поразительный мир фантазмов, причем очень хорошо умеющий придавать себе весьма трезвый вид! Этот туман мнений и привычек растет и живет почти независимо от людей, которых окружает; он – причина чудовищной силы общепринятых суждений о «людях»: и все эти неизвестные самим себе люди верят в бескровную абстракцию

«человека», то есть в фикцию; а любое изменение этой абстракции, производимое суждениями немногих обладающих силой (к примеру, правителей и философов), воздействует на огромное большинство в сверхобычной и выходящей за всякие рамки степени – и все это происходит по той причине, что каждый отдельный представитель этого большинства не может противопоставить всеобщей бесцветной фикции никакого реального, доступного и ясного ему *ego*, а тем самым и развеять названную фикцию.

106

Против определений целей морали. – Нынче отовсюду можно слышать приблизительно такое определение предназначения морали: это сохранение и продвижение человечества; но за этим стоит просто желание владеть формулой, и больше ничего. А ведь надо сразу спросить: «Сохранение – *чего*? Продвижение – *куда*?» Разве в той формуле не отсутствует как раз самое главное – ответ на вопросы «чего?» и «куда?» Разве можно, стало быть, установить с ее помощью в учении о долге что-нибудь такое, что уже сейчас не считалось бы – без единого слова и без единой мысли – установленным? Разве можно с ее помощью удовлетворительно ответить на вопрос, стоит ли рассчитывать на максимально длительные сроки существования человечества? Или на сведение животного начала человека к минимуму? Насколько разными в этих двух случаях должны оказаться средства, то есть практическая мораль! Положим, кто-то захотел бы наделить человечество максимально возможной для него разумностью: это, уж конечно, не означало бы поручиться за то, что оно просуществует максимально возможный для себя срок! Или, скажем, кто-то мыслит его «величайшее благо» в качестве вышеназванных *чего* и *куда*: подразумевает ли он тогда высочайший предел, какого постепенно могут достичь отдельные люди? Или же некое достижимое, в конечном счете усредненное всеобщее блаженство, которое, кстати, совершенно невозможно определить? И почему именно моральность должна быть ведущим к этой цели путем? Разве не через нее, в общем и целом, разверзлась

такая бездна источников страдания, что можно, скорее, сделать вывод: доселе с каждым шагом нравственности вперед человек становился *все более недовольным* собой, своими ближними и выпавшим ему жизненным жребием? Разве не разделял доселе наиболее моральный из людей веры в то, что с точки зрения морали единственное оправданное состояние человека – *глубочайшее злополучие*?

107

Наше право на глупость. – Какие поступки следует совершать? С какой целью их следует совершать? – На эти вопросы довольно легко ответить, если потребности у человека самые скромные и самые грубые; но в чем более тонкие, широкие и важные сферы деятельности он входит, тем более ненадежным, а следовательно, тем более произвольным будет и ответ. «Так вот, именно тут произвол в выборе должен быть полностью исключен», – требует авторитет морали: он говорит, что человек должен неукоснительно руководствоваться смутным страхом и почтением, совершая как раз те поступки, цели и средства для совершения которых ему менее всего ясны *с самого начала*! Этот самый авторитет морали пресекает мышление в таких делах, где мыслить *неверно* – значит подвергать себя опасности: подобным способом он имеет обыкновение оправдываться в глазах своих обвинитетелй. Неверно – это значит здесь «опасно»: но для кого опасно? Как правило, эта опасность, которую имеют в виду обладатели морального авторитета, вовсе не для тех, кто совершает поступки, а для них самих, – это возможность утраты ими власти и влияния в том случае, если все признают за собой право действовать произвольно и глупо, в соответствии с собственным, малым или большим разумом: а у них-то у самих право на произвол и глупость превращается в само собой разумеющийся обычай – они *приказывают* даже тогда, когда на вопросы «Какие поступки следует совершать? С какою целью их следует совершать?» ответить невозможно или довольно затруднительно. И если *разумность* человечества растет так необычайно медленно, что ее рост в масштабах всей истории нередко отрицали, – то

чтó несет за это больше ответственности, чем это торжественное наличие, даже вездесущность моральных приказов, вообще не позволяющая поднять голос *индивидуальному* вопросу «для чего» и «каким образом»? Не воспитаны ли мы с тем прицелом, чтобы испытывать *патетические чувства* и убегать в туман как раз тогда, когда рассудок должен быть особенно тверд и холоден? А именно – во всех делах более высокого и важного свойства?

108

Некоторые положения. – Индивиду, *поскольку* он хочет для себя счастья, не следует давать никаких указаний о ведущем к нему пути: ведь индивидуальное счастье возникает по своим собственным, никому не известным законам, и указания извне могут только сбить его с толку, спугнуть. – Указания, которые называют «моральными», на самом деле направлены против индивидов, а отнюдь не нацелены на их счастье. Столь же мало отношения эти указания имеют к «счастью и процветанию человечества», – с каковыми словами решительно невозможно связать какие-либо строгие понятия, не говоря уж о том, чтобы пользоваться ими как путеводными звездами в темном океане моральных устремлений. – Неправда, будто моральность, согласно предрассудку, более благоприятна для развития интеллекта, нежели неморальность. – Неправда, будто в развитии всякого живого существа (животного, человека, человечества и т. д.) *бессознательная цель* и есть его «величайшее счастье»: уж скорее на всех ступенях развития следует добиваться особенного и ни с чем не сравнимого, ни большего, ни меньшего, а именно собственного счастья. Развитие нацелено не на счастье, а на развитие, и больше ни на что. – Вот если бы у человечества была какая-нибудь общепризнанная *цель*, то были бы уместны инструкции «поступать *следует* так-то и так-то»: но покамест никакой такой цели не видно. Стало быть, требования морали нельзя ставить ни в какое отношение к человечеству, это было бы просто глупостью и делом пустым. – А вот *рекомендовать* человечеству какую-нибудь цель – дело совсем иное: тогда цель будет мыслиться чем-то

таким, что предоставлено *на наше усмотрение*; положим, человечеству заблагорассудилось выбрать эти инструкции – ну, тогда оно могло бы *дать* себе в соответствии с ними и некоторый моральный закон, и тоже по своему усмотрению. Но до сей поры моральный закон стоял, конечно, *над* усмотрением: никто, по сути, не хотел *дать* себе этот закон, а хотели только откуда-нибудь его *взять*, или где-нибудь *раздобыть*, или позволить кому-нибудь *навязать его себе*.

109

Самообуздание, сдерживание и их глубинный мотив. – Я не вижу больше шести в корне различных способов преодолеть ярость того или иного влечения. Во-первых, можно избегать случаев, предоставляющихся для удовлетворения влечения, ослаблять и истощать его, в течение все более долгого времени не давая ему пищи. Во-вторых, можно вменить себе в закон строгий, регулярный порядок его удовлетворения; подчиняя его таким способом правилу, устанавливая твердые временные границы его приливам и отливам, даешь себе передышку, когда оно больше не мешает, – а отсюда можно, вероятно, перейти к первому методу. В-третьих, можно преднамеренно предаться дикому и необузданному удовлетворению влечения, дабы проникнуться отвращением к нему, а благодаря отвращению добиться власти над влечением: тут, разумеется, лучше не уподобляться всаднику, который загоняет свою лошадь до смерти и потому ломает себе шею, – а это, увы, общее правило у тех, кто пользуется таким методом. В-четвертых, имеется один интеллектуальный прием: так прочно связать с удовлетворением вообще какое-нибудь крайне мучительное представление, что, по некотором упражнении, уже одна мысль об удовлетворении тотчас и сама воспринимается как крайне мучительная (к примеру, если христианин приучается, наслаждаясь любовью, думать о том, что дьявол близко и что он сыто усмехается, или о геенне огненной как о каре за убийство из мести, или хотя бы о презрении, каким наградят его самые высокочтимые люди, если он, скажем, украдет деньги; либо если кто-то вот уже сотни раз подавлял в себе

страстное желание покончить с собой, воображая горе и угрызения совести родных и друзей, и тем самым сохранял свою жизнь в подвешенном состоянии: и вот теперь эти представления следуют в его уме друг за другом, как причина и следствие). Сюда же относятся случаи, когда гордость человека восстает (как, к примеру, у лорда Байрона и Наполеона), восприняв как оскорбление победу отдельного аффекта над самообладанием и разумной упорядоченностью всей своей жизни: тогда отсюда рождается привычка и охота тиранить влечение и словно заставлять его скрежетать зубами. («Я не желаю быть рабом любого страстного желания», – записал в своем дневнике Байрон.) В-пятых, можно предпринять перераспределение своих внутренних ресурсов, взяв на себя какую-то особенно тяжелую и напряженную работу или же умышленно предавшись новым увлечениям и удовольствиям, дабы таким способом направить свои мысли и физическую активность в другое русло. К этому-то и сводится дело, когда человек временно удовлетворяет какое-то иное влечение, предоставляя ему широкие возможности и заставляя его сделаться расточителем той энергии, которой иначе распоряжалось бы ставшее уже тягостным из-за своего пыла влечение. Попадаются и те, кому хорошо удается держать в узде отдельное влечение, метящее на роль тирана, благодаря тому, что они на время пришпоривают и дают разгуляться всем другим своим влечениям, какие только знают, веля им пожрать весь корм, на который зарится деспот. И наконец, в-шестых: тот, кто сможет выдержать и сочтет разумным ослабить и подавить *всю* свою телесную и душевную организацию, тот, конечно, тоже добьется ослабления отдельного сильного влечения, – так, к примеру, поступает тот, кто морит голодом свою чувственность; но заодно он, подобно аскетам, морит голодом и губит свое здоровье, а нередко и рассудок. – Итак: не предоставлять влечению случаев, подчинять его правилу, возбуждать в себе пресыщение и отвращение им, ассоциировать его с мучительными мыслями (скажем, с мыслью о стыде, о скверных последствиях или оскорбленной гордости), далее, производить перераспределение сил и, наконец, общее ослабление и истощение – вот они, эти шесть методов: а *то*, что вообще возникает *желание* обуздать силу

влечения, от нас никак не зависит, и тут уже все равно, какой метод выбрать и принесет ли он успех или нет. Во всем этом процессе наш разум, скорее, явно представляет собою лишь слепое орудие какого-то *иного влечения* – *соперника* того, которое мучает нас своей яростью, и это иное влечение может оказаться и желанием покоя, и страхом стыда и остальных скверных последстий, и любовью. И когда «мы», стало быть, думаем, будто виним ярость какого-то влечения, то на самом деле это просто *одно влечение винит другое*; все это означает следующее: ощущение страдания от таковой *ярости* предполагает, что в нас существует какое-то другое, столь же или еще более яростное влечение, и что предстоит *борьба*, в которой на одной из сторон обязан принять участие и наш разум.

110

То, что сопротивляется. – Можно наблюдать в себе следующий процесс, и я хотел бы, чтобы он часто наблюдался и подтверждался. В один прекрасный день в нас появляется предчувствие своего рода *наслаждения*, доселе нам неведомого, а, следовательно, появляется новое *желание*. Так вот, важно, *чтó сопротивляется* этому желанию: если это вещи и соображения пошлого свойства или люди, не пользующиеся нашим уважением, – то цель нового желания предстает под эгидою ощущения чего-то «благородного, хорошего, похвального, достойного жертв», а вся наша наследственная моральная конституция немедля включает его в себя, относя к своим целям, ощущаемым как моральные, – и вот мы уже думаем, будто стремимся не к наслаждению, а к моральности: а это только приумножает наше доверие к такому стремлению.

111

Поклонникам объективности. – Кто ребенком видел у родных и знакомых, среди которых рос, разнообразные и сильные чувства, но мало точности в суждениях и вкуса к интеллек-

туальной порядочности, а, следовательно, растратил запасы своих лучших способностей и времени на воспроизведение чувств, тот, став взрослым, замечает по себе, что любая новая вещь, любой новый человек тотчас возбуждают в нем симпатию или антипатию, зависть или презрение; под давлением такого опыта, противиться которому он не в силах, человек восхищается *нейтральностью переживания*, или, иными словами, «объективностью», – словно чудом, будто это свойство, присущее гениальности или высочайшей моральности, и просто не может представить себе, что и она – лишь *дитя воспитания и привычки.*

112

К естественной истории долга и права. – Наши обязательства – это права, которые имеют на нас другие. Как же они получили эти права? А так, что они приняли нас за способных вступать в договор и выполнять его, определили нас как равных и подобных себе и что на основании этого они нам что-то раскрыли, нас просветили, поставили на надлежащее место, утвердили нас на нем. Мы выполняем свой долг – это значит, мы оправдываем то представление о нашей власти, в соответствии с которым нас наделили всеми правами, и возвращаем что-то в той мере, в какой получили. Стало быть, именно наша гордость велит нам исполнять долг, – мы стремимся восстановить себя в своих глазах, компенсируя то, что́ сделали для нас другие, тем, что́ делаем для них мы, – ведь сделав что-то для нас, они тем самым вторглись в сферу нашей власти и прочно утвердились бы в ней, если бы мы, исполнив свой «долг», не отплатили им, то есть не вторглись бы в сферу их власти. Права других могут иметь отношение лишь к тому, что в нашей власти; было бы странно, если бы они ждали от нас того, что нам и не принадлежит. Точнее было бы сказать: лишь к тому, что, как им кажется, в нашей власти, при условии, что оно – то самое, что, как нам кажется, в нашей власти. И обе стороны с легкостью могут впасть в одно и то же заблуждение: чувство долга зиждется на том, что мы питаем в отношении пределов своей власти такую же *веру*, какую питают и дру-

гие, то есть что мы, обещая что-то определенное, можем брать на себя соответствующие обязательства («свобода воли»). – Права́ – это та часть нашей власти, которую другие не только признали за нами, но и которую они хотели бы за нами сохранить. Как же они, другие, к этому приходят? Во-первых, через свою смекалку, страх и предусмотрительность: к примеру, они ждут от нас в ответ чего-то подобного (соблюдения своих прав), или считают борьбу с нами опасной и нецелесообразной для себя, или в любом убывании наших сил усматривают ущерб и для себя – ведь тогда мы будем не в состоянии объединиться с ними, чтобы дать совместный отпор враждебной третьей стороне. Во-вторых, через дарение и уступку. В таком случае власти у других более чем достаточно, чтобы отдавать и ручаться за отданную часть перед тем, кому они ее подарили: тогда у того, кто принимает дар, предполагается пониженное чувство власти. Так возникают права: это признанные и гарантированные степени власти. Если пропорции власти серьезно изменяются, то исчезают и права – и образуются новые: именно это можно наблюдать в постоянных перипетиях правовых систем разных народов. Существенно падает наша власть – и меняется чувство тех, кто дотоле гарантировал нам права: они взвешивают, нельзя ли помочь нам вернуть себе былое полное распоряжение своей властью, – и если чувствуют, что это не получится, то отныне не признают за нами никаких «прав». Точно так же если наша власть сильно повысится, изменится чувство тех, кто доселе ее признавал и в чьем признании мы уже не нуждаемся: они, пожалуй, попробуют снизить ее до прежнего уровня, предпринять атаку, ссылаясь при этом на свой «долг», – но все это будет только пустой тратой слов. Там, где *царит* право, будет сохраняться состояние и уровень власти, а ее уменьшение или увеличение будет предотвращаться. Право других – это уступка нашего чувства власти в пользу чувства власти других. Когда наша власть оказывается подорванной и сломленной, прекращаются и наши права: зато когда мы становимся намного сильнее, для нас прекращаются права других, признававшиеся нами доселе за ними. – «Поборникам справедливости» постоянно были нужны весы тонкого чувства такта – для определения уровней власти и пра-

ва, а в условиях бренности всего человеческого эти весы никогда не застывают в равновесии надолго, но почти всегда идут вверх или вниз: поэтому-то справедливость – дело тяжкое, требующее постоянного упражнения, много доброй воли и очень много очень доброго *духа*. –

113

Жажда признания. – Жажда признания всегда имеет в виду ближнего: испытывающий ее желает знать, каково тому, – но единство чувств и знания у него и у ближнего, потребное для удовлетворения этого влечения, очень далеко от того, чтобы быть безобидным, основанным на сострадании или доброте. Жаждущий признания скорее хочет почувствовать или разгадать, как ближний внешне или внутренне *страдает* от него, как он теряет власть над собой и поддается впечатлению, которое производит на него рука или хотя бы вид того, домогающегося; и даже если он производит и стремится произвести впечатление радостное, возвышающее или просветляющее, то наслаждается таким результатом отнюдь не потому, что порадовал, возвысил душу ближнего или заставил его просветлеть, а потому, что *впечатлелся* в чужой душе, изменил ее формы и вертел ею по своему усмотрению. Жажда признания есть жажда торжества над ближним, пусть даже весьма скромного или только воображаемого, а то и выдуманного. Существует гигантская лестница уровней этого вожделенного в душе торжества, и полный их перечень был бы чем-то весьма похожим на версию истории культуры – от начального, еще карикатурного варварства вплоть до гримас переутонченности и болезненного идеализма. Жажда признания несет с собою *для ближнего* (если назвать только некоторые ступени этой длинной лестницы): пытки, потом побои, потом запугивание, потом боязливое удивление, потом изумление, потом зависть, потом восхищение, потом восторг, потом ликование, потом веселье, потом смех, потом осмеяние, потом издевательство, потом глумление, потом нанесение побоев, потом применение пыток: тут, на вершине лестницы, стоит *аскет* и мученик, и наивысшее наслаждение для него –

самому испытывать в качестве последствий своего влечения к признанию именно то, что его антипод на первой ступеньке этой же лестницы, *варвар*, заставляет испытывать другого, от которого он хочет отличиться и получить его признание. Триумф аскета над собою, его обращенный при этом в глубины своей души взор, перед которым человек предстает расколотым на страдающего и наблюдающего и который отныне глядит на внешний мир лишь для того, чтобы словно брать оттуда дрова на собственный костер, эта заключительная трагедия влечения к признанию, где остается только одно действующее лицо, обращающее в уголья самого себя, – вот достойное завершение своего начала: и там и сям – неописуемое ликование при *виде пыток*! В действительности это ликование, мыслимое как живейшее чувство власти, нигде на земле не было, вероятно, бóльшим, чем в душах суеверных аскетов. Брахманы выразили его в истории о царе Вишвамитре, который почерпнул из длившихся тысячи лет *аскетических упражнений* такую силу, что затеял воздвигнуть новое *небо*. Я думаю, во всем этом роде внутренних переживаний мы нынче – неотесанные новички, вслепую нащупывающие разгадку: четыре тысячи лет тому назад об этих гнусных тонкостях самоудовлетворения было известно больше. А само сотворение мира: не исключено, что тогда какой-нибудь мечтательный индус мыслил его себе аскетической процедурой, произведенной над собой неким богом! Не исключено, что этот бог возжелал изгнать себя в подвижную природу, как в орудие пыток, дабы при этом ощутить удвоенными свои блаженство и власть! Но, положим, им оказался бы даже бог любви: каким наслаждением для него было сотворить человечество *страдающее*, самому страдать поистине божественно и сверхчеловечески от вида неутихающей пытки и таким образом чинить насилие самому себе! Но положим даже, это был не просто бог любви, а еще и бог святости и безгрешности: какие можно подозревать делирии у этого божественного аскета, творящего грех и грешников, вечное проклятье, а под своими небесами и престолом – чудовищное место вечных мук, вечного скрежета зубовного и вздохов! – Вовсе не исключается, что в свое время к жутким таинствам такого сладострастия власти приобщились и души

Павла, Данте, Кальвина и им подобных; имея в виду такие души, можно задаться вопросом: а что, разве коловорот жажды признания на самом деле достиг своего конца и замкнулся в фигуре аскета? Разве этот круг не может начать вращаться вновь с самого начала, но уже с установившейся тональностью аскетического и одновременно сострадательного бога? Такого, который, иными словами, причиняет боль другим, чтобы этим причинить боль *себе* и чтобы, в свою очередь, этим восторжествовать над собою и своим состраданием, блаженствуя в наивысшей власти! – Прошу прощения за излишества в размышлениях обо всех психологических излишествах вожделения к власти, которые, может быть, когда-то уже разыгрывались на земле!

114

О том, как познают больные. – Состояние больных, давно терпящих от своих недугов страшные мучения, но несмотря на это не утративших ясности рассудка, не лишено ценности для познания – не говоря уж об интеллектуальных благодеяниях, какие несут с собою глубокое одиночество, внезапно наступившая и законная свобода от всех обязанностей и привычек. Ужасающе холодно *выглядывает* тяжело страдающий из своего состояния на вещи: нет для него уже всех этих маленьких чар обмана, которые обыкновенно заставляют туманно расплываться вещи во взоре человека здорового: мало того, он и сам видит себя лежащим без всяких прикрас. Положим, прежде он жил каким-то нездоровым воображением: а нынешнее величайшее отрезвление через страдания – это для него способ вырваться оттуда, и, может быть, даже единственный способ. (Не исключено, что так было и с основателем христианства, когда он висел на кресте: ведь горчайшие из всех слов – «Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!» – если понять их во всей возможной глубине, свидетельствуют об общем разочаровании и внезапном прозрении им безумия своей жизни; в то мгновение, когда его мука достигла предела, он увидел себя взором ясновидящего, – то же самое писатель говорит о последних мгновениях жизни бедного Дон Кихота.) Благодаря чудо-

вищному напряжению рассудка, стремящемуся дать отпор боли, все, на что он теперь ни посмотрит, предстает перед ним в каком-то новом свете: и неописуемая притягательность этих новых красок нередко достаточно сильна, чтобы отбросить все соблазны самоубийства и заставить страдальца почувствовать продолжение жизни крайне желательным. С презрением вспоминает он уютный, теплый мир тумана, мир, по которому так уверенно бродят здоровые; с презрением вспоминает он и самые высокие, любимые иллюзии, в пространстве которых прежде играл с собою; ему доставляет наслаждение словно заклинанием вызвать это презрение из глубин ада, тем самым причинив своей душе горчайшее горе: ведь такой противовес помогает ему устоять перед физической болью, – и он чувствует, что теперь нужен как раз этот противовес! В приступе бросающего в дрожь ясновидения собственной сути он призывает себя: «Стань же собственным обвинителем и палачом, пойми же собственное страдание как кару, к которой ты приговорил себя сам! Наслаждайся своей недосягаемостью как судьи; более того – наслаждайся своею прихотью, своим деспотическим произволом! Поднимись над своим страданием именно как над своим страданием, глянь оттуда вниз на основания и на безосновательность!» Наша гордость восстает при этом, как никогда: и нет для нее ничего более соблазнительного, чем *защищать* против тирана именно *жизнь* – против такого тирана, как боль, и против всех подсказок, которые она делает, чтобы мы свидетельствовали против жизни. В таком состоянии мы ожесточенно сопротивляемся любому виду пессимизма, чтобы он не предстал *следствием* нашего состояния и не унизил нас как побежденных. И никогда, как теперь, не бывает большим соблазн привести в исполнение справедливый приговор, ведь теперь то, что могло бы сделать извинительным любой несправедливый приговор, было бы триумфом над нами и над самым соблазнительным из всех состояний; но мы не желаем быть извиненными, именно теперь мы хотим показать, что можем жить «без вины». Мы испытываем подлинные судороги высокомерия. – Но вот на нас ложится первый отблеск смягчения боли, выздоровления – и чуть ли не первое его проявление состоит в том, что мы защи-

щаемся от чрезмерности своего высокомерия: считаем, что были в нем нелепы и тщеславны, – словно это состояние оказалось чем-то единственным в своем роде! Мы неблагодарно унижаем всемогущую гордость, а ведь с ее-то помощью мы и выносили боль, и настоятельно требуем противоядия от гордости: мы хотим стать чужими себе, обезличенными, пережив время, когда боль так властно и так долго делала нас *личными.* «Долой, долой эту гордость! – кричим мы, – то была болезнь или очередная ее судорога!» Мы снова смотрим на людей и природу – с большею жадностью: мы с унылой усмешкой вспоминаем, что теперь знаем о них кое-что новое, другое, чем прежде, что с наших глаз спала пелена, – но это-то и дает нам *свежие* силы снова смотреть на *чадящие светочи жизни*, выйдя из состояния устрашающе трезвой ясности, в котором мы, страдая, видели вещи и видели сквозь вещи. Нас не сердит, что снова заводят свой хоровод чары здоровья, – мы глядим на это, словно нас подменили: снисходительно, но еще устало. В такие мгновения нельзя слушать музыку без слез. –

115

Так называемое «я». – Язык и предрассудки, на которых зиждется язык, многообразно препятствуют нам в исследовании внутренних процессов и влечений: к примеру, тем, что для выражения *превосходных* степеней этих процессов и влечений у нас есть только слова; а ведь мы-то привыкли прекращать точное наблюдение там, где у нас нет слов, поскольку тогда становится мучительно трудно еще и точно мыслить; а прежде так и вообще делали вывод, что там, где кончается царство слов, кончается и царство самого бытия. Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страстное желание, познание, радость, боль – все это имена для *крайних* состояний: более мягкие, умеренные, а уж тем более бесконечно меняющиеся более низкие степени от нас ускользают, но ведь именно они и ткут паутину нашего характера и нашей судьбы. А те экстремальные вспышки – ведь даже наиболее умеренное из *осознаваемых нами,* удовольствие или неудовольствие от еды и питья, от восприятия звука, если хоро-

шенько разобраться, тоже, может быть, все еще экстремальная вспышка, – очень часто разрывают эту паутину, становясь в таком случае жестоко властвующими исключениями, как правило, вероятно, вследствие чрезмерного скопления: а уж как они, будучи такими, вводят в заблуждение наблюдателя! Не меньше, чем сбивают с пути истинного того, кто совершает поступки. *Все мы – отнюдь не то*, чем являемся в состояниях, для которых у нас только и есть, что сознание и слова (а значит, похвала и порицание); мы *не замечаем* себя в этих бурных вспышках, хотя только они-то и дают о нас знать, мы делаем выводы из материала, в котором исключения перевешивают правило, мы неверно читаем этот мнимо четкий печатный текст своей личности. Но *наше мнение о себе*, составленное на столь ложном пути, так называемое «я», отныне участвует в работе над нашим характером и нашею судьбой. –

116

Неизвестный мир «субъекта». – То, что с таким трудом дается пониманию людей, – это их неосведомленность о самих себе, существующая с древнейших времен до сего дня! И не только в отношении добра и зла, но и в отношении коечего куда более важного! Все еще жива в людях исконная иллюзия, будто они знают, и знают совершенно точно, как в каждом случае *совершаются человеческие поступки*. Не только «Бог, читающий в сердцах», не только злодей, заранее обдумывающий свое злодеяние, – нет, и любой другой тоже не сомневается в том, будто в главных чертах понимает ход поступков любого другого человека. «Я знаю, чего хочу, что я совершил, я свободен и несу за это ответственность, я возлагаю ответственность на другого, я могу точно назвать все нравственные возможности и все душевные движения, предваряющие поступок; и как бы вы ни поступали, я понимаю, какую роль играю при этом я и какую – вы все!»: так думал прежде каждый, так думает почти каждый и сейчас. Сократ и Платон, великие скептики и достойные восхищения новаторы по этой части, все еще были невинно верующими по части того рокового предрассудка, того глу-

бочайшего заблуждения, что «правильный поступок *с необходимостью вытекает* из правильного знания», – в этом утверждении они так и остались наследниками всеобщего безумия и самомнения: будто возможно познать сущность поступка. «Было бы поистине *ужасно*, если бы за пониманием сущности правильного деяния с необходимостью не следовало это правильное деяние», – единственный способ, каким названные гиганты мысли сочли нужным доказать эту идею; а противоположное казалось им немыслимым и безумным – но как раз это противоположное и есть обнаженная действительность, доказываемая от века день за днем, час за часом! Да и впрямь, разве не «ужасна» эта истина: того, что вообще можно знать о деянии, *никогда* не достаточно, чтобы его совершить, а мост от знания к деянию не был наведен доселе еще ни разу? Поступки *никогда* не бывают таковы, какими предстают перед нашим взором! Скольких усилий стоило нам научиться тому, что внешние вещи не таковы, какими они нам представляются, – так вот, не иначе дело обстоит и с внутренним миром! Моральные деяния на самом деле суть «нечто иное» – больше об этом сказать нечего: да и все деяния неизвестны нам в принципе. Всеобщая вера была и остается антиподом этой истины: против нас – древнейший реализм человечества, которое и по сей день думает: «Поступок таков, каким нам является». (Перечитав эти слова, я припомнил одно очень выразительное место из Шопенгауэра, которое и хочу привести тут в доказательство того, что даже он, причем без всяких зазрений совести, застрял, и навсегда застрял, в этом моральном реализме: «Каждый из нас – поистине компетентный и абсолютно моральный судья, точно знающий, что такое добро и зло, справедливый, когда любит добро и чурается зла, – таков всякий человек, поскольку исследованию подвергаются не его собственные, а чужие поступки, а сам он должен их либо одобрить, либо осудить, причем бремя исполнения приговора лежит на плечах кого-то другого. В соответствии со сказанным любой в качестве духовника безусловно может занять место Бога».)

117

В темнице. – Моему зрению, как бы сильно или слабо оно ни было, доступен лишь какой-то уголок, в котором и проходит вся моя жизнь, а эта линия горизонта для меня – вся моя будущая судьба, от которой мне не уйти. Вокруг любого существа образуется такого же рода концентрическая окружность со своим средоточием, свойственная только ему одному. Подобно этому мы заключены в тесном пространстве и своим слухом, своим осязанием. И вот мы *отмеряем* мир по этим горизонтам, в которых, словно в стенах темницы, каждый из нас заключен своими органами чувств: мы считаем это близким, а то далеким, это большим, а то маленьким, это твердым, а то мягким: такое отмеривание мы называем чувственным ощущением – но всё, решительно всё это заблуждение по самой своей сути! По количеству переживаний и возбуждений, доступных нам в среднем за какое-то время, мы определяем свою жизнь как короткую или долгую, бедную или богатую, полную или пустую: а по средней длительности человеческой жизни измеряем жизнь всех других созданий – но всё, решительно всё это заблуждение по самой своей сути! Если бы мы видели в сто раз лучше вблизи, человек показался бы нам чудовищно длинным; можно представить себе даже органы, с помощью которых мы восприняли бы его бесконечным. С другой стороны, органы могли бы быть и такими, что и целые солнечные системы воспринимались бы съежившимися и сжавшимися, словно отдельные клетки: а существу противоположного масштаба клетка человеческого тела могла бы представиться движущейся, наделенной строем и гармонией Солнечной системой. Привычки наших органов чувств затянули нас в паутину чувственных иллюзий: а они в свой черед суть основы всех наших суждений и «познания», так что нет решительно никакого способа сбежать, проскользнуть или прокрасться в *мир действительный*! Мы, пауки, сидим в своих паутинах, и что бы мы ни поймали, мы можем поймать не иначе, как только с помощью именно *наших* паутин, – и не можем ничего, кроме этого!

118

Да кто он такой, этот ближний? – Что мы можем знать об этом ближнем, кроме его границ, – я имею в виду то самое, чем он как бы наносит на нас свой рисунок и печать? Мы не знаем о нем ничего, кроме тех *изменений в нас*, которым он причиной, – наше знание о нем подобно полому *вылепленному* пространству. Мы приписываем ему ощущения, соответствующие его воздействиям на нас, и тем самым наделяем его некоторой ложной, вывернутой наизнанку позитивностью. Сообразуясь с нашими сведениями о себе, мы выстраиваем из него спутника, кружащего вокруг нашей собственной системы: и когда он нас освещает или бросает на нас тень, причем последней причиною того и другого мы же сами и являемся, – мы все равно верим в обратное! Мир фантомов – вот где мы живем! Мир вывернутый, изнаночный, полый – и все равно *полный*, и *притом* полный грез!

119

Переживать и сочинять. – Самопознание человека может зайти сколь угодно далеко – и все же не будет ничего более неполного, чем картина всех *влечений*, которые образуют его существо. Он едва сможет указать даже на самые заметные из них: их число и сила, их приливы и отливы, их выпады и контрвыпады, а всего прежде – законы их *питания* лежат для него в кромешной тьме. Стало быть, это питание – дело случая: наши каждодневные переживания дают пищу то одному, то другому влечению, и все они с жадностью ее пожирают, но вот целокупный оборот этих событий остается вне всякой разумной взаимосвязи с потребностями в питании всей системы влечений: потому-то всегда возможно то и другое – голод и захирение одних и переедание других. В любой момент жизни наше существо отращивает одни руки-полипы и иссушает другие – всё в зависимости от питания, какое этот момент несет или не несет в себе. Все наши переживания, как уже сказано, в этом смысле суть продукты питания, разбрасываемые, правда, вслепую, без всякого представления о том, кто голоден, а кто уже пере-

ел. И вследствие такого случайного питания частей весь разросшийся полип будет чем-то столь же случайным, как и его рост. Выражусь яснее: положим, какое-то влечение находится в том состоянии, когда требуется его насыщение, – пусть не насыщение, а тренировка его сил, или их разрядка, или заполнение пустоты, все это лишь метафоры: обо всяком дневном событии оно судит смотря по тому, пригодно ли оно для его цели; бежит ли сейчас человек, стоит ли на месте, сердится, читает, разговаривает, сражается или ликует – влечение в своей жажде словно прощупывает то состояние, в котором человек находится, как правило, ничего годного там не находит и потому вынуждено ждать и жаждать дальше: проходит минута, и оно слабеет, проходит несколько дней или месяцев без питания, и оно отсыхает, как растение без дождя. Эта жестокая игра случая бросалась в глаза, может быть, еще сильнее, если бы все влечения отвечали на нее так же серьезно, как *голод*: для него-то *приснившейся еды* недостаточно; но *именно так и ведет себя* большая часть влечений, особенно так называемые моральные, – если принять мою гипотезу, что ценность и смысл наших сновидений в том и состоят, чтобы в известной мере *компенсировать* эти случайные перебои с «питанием» днем. Почему вчерашнее сновиденье было исполнено нежности и слез, позавчерашнее оказалось забавным и задорным, а третьего дня – причудливым и всё состояло из угрюмых поисков? Отчего в одном я наслаждаюсь неописумыми красотами музыки, отчего в другом парю и лечу ввысь к отдаленным вершинам с орлиным блаженством? Эти измышления, создающие сцену и дающие разрядку нашим влечениям к нежности, к забаве или к причудливости либо нашей страсти к музыке и горам – у каждого найдутся и свои, более разительные примеры, – суть интерпретации возбуждений наших нервов во время сна, *очень свободные*, очень произвольные интерпретации движений крови и внутренних органов, давления руки или одеяла, звуков, издаваемых колоколами, флюгерами, ночными гуляками и другими вещами того же рода. Если этот текст – а ведь от одной ночи до другой он в общем и целом один и тот же – комментируется столь различным образом, если сочиняющий ум сегодня *представляет себе* одни *причины* тех же самых нерв-

ных возбуждений, а завтра будет представлять себе совсем другие: то вызывается это тем, что сегодняшний суфлер ума был одним, а вчера – другим, иными словами, другое *влечение* жаждало удовлетворения, занятости, упражнения, отдыха, разрядки, потому что именно оно было тогда в своей высшей точке, тогда как вчера в ней было уже другое. – У бодрствующего ума нет этой *свободы* интерпретации, какой обладает ум спящий, – он не столь богат на выдумку и безудержен: но следует ли мне заявить, что наши дневные влечения тоже не заняты ничем иным, кроме интерпретации нервных возбуждений и присочинения их «причин» в соответствии со своими потребностями? Что нет *принципиальной* разницы между явью и сном? Что даже при сравнении весьма далеких друг от друга ступеней культуры свобода бдящей интерпретации на одной из них ни в чем не уступает свободе сновидческой интерпретации – на другой? Что и наши моральные суждения и высокие оценки суть лишь образы и фантазии по поводу какого-то неизвестного нам физиологического процесса, своего рода языковой навык обозначения определенных нервных возбуждений? Что все наше так называемое сознание – более или менее фантастический комментарий к какому-то тексту, бессознательному и, может быть, непознаваемому, но дающемуся чувствам? – Возьмем какое-нибудь мелкое событие. Скажем, в один прекрасный день мы замечаем, что кто-то посмеялся над нами на рынке, когда мы проходили мимо: смотря по тому, какое влечение в нас находится как раз в своей высшей точке, это событие будет иметь для нас разное значение, – а смотря по тому, какого сорта мы люди, это будет и совсем другое событие. Одному оно будет что с гуся вода, другой гадливо поморщится, тот затеет ссору, этот окинет взглядом свое платье, ища на нем причину смеха, еще один станет размышлять по этому поводу о природе смешного, а кому-то окажется приятно увидеть тут мир с его светлой, солнечной стороны, и радость его будет бескорыстной: и в каждом случае удовлетворяется какое-то влечение, будь то злоба и сварливость или задумчивость и благожелательность. Влечение схватило событие, словно свою добычу: но почему именно оно? Да потому что оно лежало в засаде, испытывая жажду и голод. – Не так давно утром, около один-

надцати часов, прямо передо мною какой-то мужчина внезапно рухнул наземь как подкошенный, а бывшие поблизости женщины громко вскрикнули; я же помог ему стать на ноги и стал ждать, когда к нему вернется дар речи, – и во все это время ничто не шевельнулось у меня ни в лице, ни в груди: не было ни страха, ни сострадания, я просто сделал, что было можно и нужно, и после равнодушно ушел прочь. А скажем, накануне мне объявили бы, что завтра около одиннадцати утра кто-то рядом со мной вот так вот рухнет, – уж я бы загодя претерпел всякого рода муки, ночь не спал бы и в решающий момент оказался бы ничуть не удачливее этого мужчины – а помочь ему не смог бы. Ведь тогда в этом промежутке у всех решительно влечений *было бы время* представить себе и откомментировать соответствующее переживание. – Так что же такое наши переживания? Намного *больше* они суть то, что́ мы вкладываем, нежели то, что́ в них лежит! А может, стоит заявить: само по себе там не лежит ничего? И переживание есть сочинение? –

120

К успокоению скептика. – «Я вообще не знаю, что *делаю*! Я вообще не знаю, что *должен делать*!» – Ты прав, но вот в этом можешь не сомневаться: *ты делаешься*! Каждый миг! Человечество во все времена путало активный залог с пассивным: это его неизбывный грамматический ляпсус.

121

«Причина и следствие!» – В этом зеркале – а наш разум есть зеркало – происходит нечто такое, что обнаруживает регулярность: одна определенная вещь всякий раз следует за другой определенной вещью: и когда мы воспринимаем это, когда хотим дать этому имя, мы, глупцы, *называем* это причиной и следствием! Будто бы мы тут что-то поняли, будто что-то могли понять! А ведь мы не видели ничего, кроме *картин* «причин и следствий»! Но как раз эта-то картин-

ность и делает невозможным постижение более глубокой связи, нежели связь последовательных событий!

122

Цели в природе. – Тот свободный от предвзятости исследователь, который проследит историю глаза и его форм у низших видов животных, шаг за шагом показав все развитие глаза, придет, вероятно, к великому выводу: зрение *не было* целью генезиса глаза, оно, напротив, установилось, когда *случай* собрал воедино весь этот аппарат. Хотя бы один такой пример – и «цели» спадут с наших глаз, словно пелены!

123

Разум. – Как на свет появился разум? Как водится, неразумным путем: благодаря случаю. И придется его разгадывать, как загадку.

124

Уж какое там хотение! – Мы смеемся над тем, кто выходит из своей каморки в ту минуту, когда солнце выходит из своей, и говорит: «*Хочу*, чтобы взошло солнце!»; и над тем, кто не может остановить колесо и говорит: «*Хочу*, чтобы оно вертелось!»; и над тем, кого уложили на обе лопатки, а он говорит: «Я тут лежу, потому что и *хочу* тут лежать!» Но – кроме шуток! Разве мы когда-нибудь делаем что-нибудь другое, чем любой из этих троих, когда употребляем оборот «*я хочу*»?

125

О «царстве свободы». – Мы гораздо, гораздо больше способны мыслить вещи, нежели делать и переживать их, – это значит, наше мышление поверхностно и довольствуется

поверхностью, мало того, не замечает ее. Если бы наш разум был *развит* точно по мерке наших сил и их опытности, то в нашем мышлении наивысшим оказался бы принцип, гласящий: мы в состоянии понять лишь то, что способны *сделать*, – если уж вообще возможно какое-то понимание. Жаждущий лишен воды, но перед глазами у него беспрестанно мелькают мысленные образы воды, словно внушая ему, будто раздобыть ее – самое легкое на свете дело; поверхностный и легко удовлетворяющийся разум не в состоянии постичь подлинной неотложной потребности и при этом чувствует себя на высоте: он гордится тем, что может больше, бегает быстрее, достигает цели чуть ли не мгновенно, – и вот уже царство мышления в сравнении с царством дела, хотения и переживания предстает *царством свободы*: а ведь, как уже сказано, на самом деле оно – всего лишь царство поверхности и невзыскательности.

126

Забвение. – Что существует забвение, еще не доказано; мы знаем только одно – что воспоминание не в нашей власти. Покамест мы заполняем эту брешь своей власти как раз этим самым словом – «забвение»: как будто в списке появилась еще одна способность. Да разве в конечном счете есть хоть что-нибудь в нашей власти! – Если брешь в нашей власти заполняет это слово, то разве другие слова не должны заполнять брешь в нашем *знании о своей власти*?

127

Целенаправленные. – Из всех поступков мы, вероятно, менее всего понимаем целенаправленные, ведь они всегда считались самыми понятными и для нашего сознания играют роль самых обыденных. Большие проблемы так и слоняются в праздности.

128

Сновидение и ответственность. – За все-то вы хотите нести ответственность! Только не за собственные сновидения! Ну что за бледная немочь, что за нехватка последовательной решимости! Ничто не принадлежит вам *больше*, чем ваши сновиденья! Ничто в большей мере не есть *ваше* творение! Сюжет, жанр, продолжительность, актерский состав, зрители: в этих комедиях все это вы сами! Но как раз тут вы пугаетесь и стыдитесь себя, и уже Эдип, этот мудрый Эдип, научился находить утешение в мысли, что в своих сновиденьях мы не можем изменить ничего! Отсюда я делаю вывод: подавляющее большинство людей знает за собой, вероятно, отвратительные сновиденья. Ведь в противном случае как безудержно использовались бы ночные выдумки во благо человеческого высокомерия! – Надо ли мне добавлять, что прав был мудрый Эдип: мы действительно не несем ответственности за свои сновиденья – а еще меньше за дневные часы ума; и что учение о свободе воли появилось на свет от двух родителей – человеческой гордыни и чувства власти? Может быть, я говорю это слишком уж часто – но по крайней мере ошибкою оно от этого не становится.

129

Мнимая борьба мотивов. – Говорят о «борьбе мотивов», но под этим подразумевают ту борьбу, которая *не является* борьбой мотивов. А дело вот в чем: в нашем рассуждающем сознании, до того как начаться действию, вереницей проходят *последствия* различных действий, на которые мы все считаем себя способными, и эти последствия мы сравниваем друг с другом. Нам кажется, будто мы готовы к действию, когда установили, что его последствия будут в основном благоприятными; но прежде чем наше рассуждение приходит к этому, мы нередко испытываем настоящие муки из-за неимоверной трудности угадать последствия, разглядеть их во всей полноте, не пропустив ошибкою ни одного: а итог нужно еще будет разделить на случайность. И чтобы не за-

быть самого трудного: все эти последствия, которые так трудно установить поодиночке, теперь нужно взвесить всем скопом друг по отношению к другу на *одних и тех же* весах; и как же часто у нас нет ни весов, ни гирь для этого казуистического подсчета выгод – по причине различия в *качествах* всех этих возможных последствий. Но, скажем, мы справились и с этим, и случай положил на наши весы взаимно уравновешенные последствия: теперь в виде *картины последствий* определенного поступка у нас и впрямь есть некий *мотив* совершить именно этот поступок – но вот то-то и оно: *некий* мотив! И в то мгновение, когда мы наконец приступаем к действию, нами довольно часто начинает командовать какой-то другой род мотивов, нежели тот, о котором тут шла речь, то есть мотивов «картины последствий». Тут вступает в действие наш привычный расклад сил, или мелкий толчок со стороны человека, которого мы боимся, уважаем либо любим, или соображения удобства, в силу коих мы предпочитаем делать, что под руку попадется, или порыв воображения, в решающий момент привнесенный наиболее благоприятным из ближайших мелких происшествий; вступает в действие наше телесное начало, проявляющее себя совершенно непредсказуемо, вступает в действие каприз настроения, вступает в действие неожиданная выходка какого-нибудь аффекта, случайно как раз готового сделать выходку: короче говоря, вступают в действие мотивы, которых мы отчасти вовсе не знаем, а отчасти знаем очень плохо, и которые мы *доселе еще никогда* не учились принимать во взаимный расчет. *Возможно*, что и между ними идет борьба, какое-то притяжение и выталкивание, взвешивание и подавление различных величин, – вот это-то и есть подлинная «борьба мотивов», то есть нечто абсолютно непроницаемое и неосознаваемое для нас. Я рассчитал последствия и результаты, тем самым установив *один* весьма важный мотив в шеренге мотивов, – но саму эту шеренгу я выстраиваю в столь же малой мере, в какой ее вижу: сама борьба остается для меня скрытой, как и ее конечный итог, победа; ведь я, разумеется, узна́ю, что́ в конце концов *сделал*, но какой мотив при этом победил на самом деле – этого мне не узнать. *Но мы, конечно, привыкли не принимать* в расчет все эти бессознательные процессы, а представлять

себе, чем подготовлен наш поступок, лишь в той мере, в какой осознали такую подготовку: вот мы и смешиваем борьбу мотивов с взвешиванием возможных последствий различных действий – это одна из имеющих самые серьезные последствия и одна из самых роковых подмен в истории морали!

130

Цели? Воля? – Мы привыкли верить в два царства – царство *целей* и царство *воли*, а также в царство *случая*; в последнем все бессмысленно, в нем все идет, стоит и падает, причем никто не может сказать, почему и для чего. – Мы боимся этого могущественного царства великой космической глупости, поскольку, как правило, опыт говорит нам, что оно падает на другой мир, мир целей и намерений, примерно как кирпич с крыши, убивая какую-нибудь из наших прекрасных целей. Эта вера в два царства – какой-то древнейший романтизм, басня: нас, смышленых карликов со всеми нашими целями и волями, угнетают эти глупые, архиглупые великаны, то есть случайности, они валят нас с ног, часто затаптывают до смерти, – но мы все равно не отказываемся от жуткой поэзии такого соседства, ведь эти чудовища часто являются, когда жить в *паучьих сетях* целей нам становится слишком уж скучно или страшно, а они совершают великолепную диверсию, внезапно *разрывая* своими руками всю паутину, – и ведь не то чтобы они, несмышленые, этого хотели! Не то чтобы они это даже замечали! А просто их твердые как камень руки проходят нашу паутину насквозь, будто это воздух. – Греки назвали это царство непредсказуемости и великолепной вечной тупости Мойрой и окружили ею своих богов, точно окоемом, который те не могли перешагнуть ни ногами, ни взглядом: втайне они сделали это назло богам, как и многие другие народы: хотя им и поклонялись, но приберегали для себя какой-нибудь последний козырь – к примеру, когда, как индусы или персы, представляли себе их зависимыми от *жертв*, приносимых смертными, так что в крайнем случае смертные могли заставить богов голодать и умирать с голоду; или когда, как суровые,

меланхоличные скандинавы, представляли себе будущую гибель богов, наслаждаясь молчаливым чувством мести в отплату за постоянный страх, в котором их держали злобные боги. Иным было христианство с его ни индусским, ни персидским, ни греческим, ни скандинавским основным ощущением, велевшим поклоняться *духу власти*, лежа в прахе, да еще и целовать прах: это был намек на то, что всемогущее «царство глупости» не так-то глупо, как кажется, и что глупы скорее *мы сами*, не замечающие стоящего за ним Господа Бога, который, мол, правда, любит темные, кривые и причудливые пути, но в конечном счете все у него «выходит прекрасно». Эта новая басня о Господе Боге, которого дотоле принимали за племя великанов или за Мойру и который плел цели и самые сети, причем потоньше, чем это получалось у нашего разума, – да так, что они *должны были* казаться последнему непостижимыми, даже глупыми, – так вот, эта басня была столь смелым переворотом и столь отважным парадоксом, что старый, истончившийся мир не смог ей противостоять, как бы безумно и *противоречиво* она ни звучала; ведь, по правде говоря, тут было одно противоречие: если наш разум не может разгадать Божьего разума и Божьих целей, то как же он догадался о своем собственном соответствующем свойстве? И о соответствующем свойстве Божьего разума? – В новое время и впрямь возросло недоверие в вопросе о том, действительно ли падающий с крыши кирпич сброшен «Божьей любовью», – и люди понемногу вновь оказываются в старой колее романтических великанов и карликов. Так давайте же *научимся* – раз уж пришла пора – вот чему: в нашем особом царстве целей и разума тоже правят великаны! И наши цели, и наш разум – вовсе не карлики, а великаны! И наши сети *мы сами* рвем столь же часто и столь же тупо, как это делают с ними и кирпичи! И не все то цель, что так называется, а еще того менее – не все то воля, что так зовется! И, если вы захотите заключить: «Так, значит, есть только одно царство – случайностей и глупости?» – то надо добавить: вот именно, есть, может быть, лишь одно царство, может быть, нет ни воли, ни целей, а просто мы их выдумали. Те железные руки необходимости, которые выбрасывают игральные кости случая, ведут свою игру в течение бесконечного времени: тогда *обязаны* встре-

чаться броски, абсолютно похожие на целесообразность и разумность любой степени. *Может быть*, наши волевые акты, наши цели – не что иное, как именно такие броски, а мы всего лишь чересчур ограниченны и тщеславны, чтобы понять собственную последнюю ограниченность: а именно то, что мы сами железными руками выбрасываем игральные кости, что мы сами, совершая и наиболее продуманные поступки, не более и не менее как ведем игру неизбежности. Может быть! – Чтобы заглянуть за пределы этого «может быть», следовало бы погостить в подземном мире, по ту сторону всех поверхностей и, сидя за одним столом с Персефоной, метать кости и биться об заклад с нею самой.

131

Моральные моды. – Как изменился самый дух моральных суждений! Все эти великаны античной нравственности, к примеру Эпиктет, знать не знали о принятой нынче высочайшей оценке таких явлений, как «думать о других», «жить для других»; в согласии с нашей моральной модой их надо было бы объявить чуть ли не аморальными – ведь они всеми силами боролись *за* свое *ego* и *против* сочувствия другим (в особенности их страданиям и нравственным изъянам). Может быть, они ответили бы нам на это: «Если уж вы такой скучный и противный предмет сами для себя, ну, тогда думайте о других больше, чем о себе! И будет вам поделом!»

132

Замирающие отзвуки христианства в морали. – «On n'est bon que par la pitié: il faut donc qu'il y ait quelque pitié dans tous nos sentiments»[1] – так нынче звучит мораль! А откуда все это идет? – Если человек, совершающий поступки, основанные на симпатии, бескорыстии, представлении об общем благе, об обществе в целом, воспринимается сейчас

---

1 «Доброта проявляется только в жалости: значит, надо, чтобы жалость была во всех наших чувствах» (*фр.*).

как моральный, то это, может быть, наиболее общий эффект, перенастройка, произведенные христианством в Европе: правда, это не входило ни в его намерения, ни в его учение. Когда в корне противоположная этому, строго эгоистическая исходная вера в «одно только нужно», в абсолютную важность вечного *личного* блаженства постепенно отошла в тень вместе с догмами, на которых зиждилась, и благодаря этому в полном соответствии с чудовищной практикой церковного милосердия на передний план протиснулась вторичная вера в «любовь», в «любовь к ближнему», то оказалось, что эта мораль – лишь residuum[1] христианских настроений. Чем больше люди освобождались от догм, тем больше искали словно бы *оправдания* этому освобождению – в культе любви к ближнему: и желание не отстать тут от христианского идеала, а по возможности превзойти его, отвечало тайному честолюбию всех французских вольнодумцев от Вольтера до Огюста Конта, а последний со своей знаменитой формулой морали – vivre pour autrui[2] – фактически оказался святее папы римского. Шопенгауэр на немецкой почве, Джон Стюарт Милль – на английской создали львиную долю славы учению о симпатических склонностях и сострадании или о полезности для других как принципу действия: но они и сами представляли собою всего лишь эхо – эти учения, гонимые мощной силой роста, всходили всюду одновременно и в примитивнейшем, и в утонченнейшем своем виде начиная приблизительно со времен Французской революции, а на их общей почве словно сами собой выросли все социалистические системы. Нынче не существует, наверное, ни одного предрассудка, в который люди верили бы охотнее всего, нежели тот, что гласит, будто *известно*, чем на самом деле является моральное начало. Сегодня каждый, кажется, испытывает *блаженство*, слыша, что общество намерено *приспособить* отдельного индивида к всеобщим потребностям и *что счастье и в то же время жертва* индивида состоят в том, чтобы ощущать себя полезным членом и инструментом целого: правда, к теперешнему моменту еще далеко не решено, в чем усматривать это целое

1 Остаток, пережиток (*лат.*).

2 Жить для других (*фр.*).

– в государстве существующем или в том, которое предстоит учредить, а может быть, в нации, а может быть, в братстве народов, а может быть, в мелких новых общностях экономических интересов. На этот счет нынче много рассуждают, сомневаются, спорят, много возни и страстей; но поразительно и дружно звучит единодушное требование самоотрицания *ego*, самоотрицания, необходимого до тех пор, пока *ego*, приспособившись к целому, вновь не получит твердый набор прав и обязанностей – до тех пор, пока оно не станет чем-то принципиально новым, иным. Требуют не более и не менее – все равно, отдают себе в этом отчет или нет, – чем коренной переделки, а по сути ослабления и отмены *индивида*: и вот без устали подсчитывают и с негодованием указывают на все то злое и враждебное, расточительное, дорогостоящее, роскошное, что было в прежней форме индивидуальной жизни, в надежде распорядиться теперь всем хозяйством подешевле, побезопасней, поравноправней, пооднородней, при условии, что будет только *большое тело и его члены*. *Добрым* считается все то, что хоть как-то соответствует этой тело- и членообразующей тенденции и ее вспомогательным тенденциям, и это – *основное моральное течение* нашей эпохи; при этом сочувствие и социальное чувство маскируются друг другом. (Кант еще был вне этой тенденции: он недвусмысленно учил, что мы должны быть невосприимчивы к чужим страданиям, если хотим, чтобы наши благие дела имели моральную ценность, – Шопенгауэр весьма раздраженно, и нетрудно догадаться почему, назвал это *Кантовой пошлостью*.)

133

«Не думать больше о себе.» – Стоит все-таки как следует поразмыслить вот о чем: почему человек бросается в воду, чтобы спасти утопающего, к которому не испытывает никаких добрых чувств? Из сострадания: тут человек думает только о нем, о другом, – гласит бездумие. Почему человек сочувствует боли и дурноте, которые испытывает чахоточный, даже если он на него зол и ненавидит его? Из сострадания: ведь человек при этом думает только о нем, о другом, – гла-

сит то же самое бездумие. А правда такова: испытывая сострадание – я подразумеваю под этим то, что обыкновенно вводящим в заблуждение образом называют состраданием, – мы, конечно, больше не думаем о себе сознательно, но *бессознательно очень даже* думаем, как бывает, когда, оступившись, мы сразу бессознательно делаем самые целесообразные движения, чтобы удержаться на ногах, и при этом явно пускаем в ход весь свой рассудок. Несчастный случай с другим уязвляет нас – если мы не окажем помощи, то будем уличены в бессилии, а может быть, в трусости. Или он уже сам по себе означает умаление нашего достоинства в чужих или собственных глазах. Или мы видим в несчастье и страданиях другого намек на опасность для нас самих; наконец, они могут вызвать наше смущение уже как признаки человеческой ущербности и бренности вообще. Мы отвергаем такого рода смущение и уязвленность, возмещая их поступком, вызванным состраданием, в котором может крыться и хитрая самооборона, а то и месть. Что мы, в сущности, очень даже думаем о себе, выясняется из решения, которое мы принимаем во всех случаях, когда *можем* пройти мимо зрелища страдающего, терпящего нужду, взывающего о помощи: мы решаем *не делать* этого, если можем сыграть роль более сильных и способных помочь, если уверены в одобрении, если хотим прочувствовать резкую противоположность своему благополучию или надеемся вырваться из скуки, глядя на бедствия. Если страдание, причиняемое нам их видом – а оно может быть различного свойства, – называть со-страданием, то это только сбивает с толку, ведь что ни говори, это – страдание, от которого *свободен* тот, кого мы видим страдающим: оно наше собственное, как и страдание другого – его собственное. Но *только это, собственное страдание* и есть то, от чего мы избавляемся, совершая сострадательные поступки. И все-таки мы никогда не делаем чего-то подобного исходя из *одного* мотива; и если мы стремимся освободиться тут от страдания, это так же верно, как то, что, совершая тот же самый поступок, мы отдаемся *влечению к наслаждению* – наслаждение появляется при виде резкой противоположности нашему положению, от сознания, что мы можем помочь, если только захотим, при мысли о похвалах и признательности за оказанную помощь, в

то самое время, когда мы совершаем помощь, и она удается, а удачное исполнение радует уже само по себе, но особенно, если мы чувствуем, как наш поступок кладет конец возмутительной несправедливости (радует уже одно только прекращение ее возмутительности). Из всего этого и еще великого множества вариаций и состоит «сострадание»: и как же грубо набрасывается язык одним своим словом на столь полифоническое существо! – А что, в свой черед, сострадание *однородно* страданию, при виде которого возникает, или что оно способно особенно тонко и проницательно понимать его, – то и другое противоречит *опыту*, и кто поет ему хвалы именно в этих смыслах, у того *нет* необходимого опыта как раз в этой области моральных отношений. Таковы мои сомнения относительно всех тех невероятностей, которые сумел высказать о сострадании тот самый Шопенгауэр, что хотел склонить нас ими к вере в свою великую новость – будто сострадание (рассмотренное им с такими пробелами, столь плохо описанное сострадание) и есть источник решительно всех прошлых и будущих моральных поступков, причем именно в силу тех качеств, которые он сначала для него *выдумал*. – Что же в конечном счете отличает людей, лишенных сострадания, от сострадательных? Прежде всего – говоря и тут лишь в самых общих чертах – они не обладают способностью легко воображать страшное, остро чуять опасность; да и тщеславие их бывает уязвлено не так скоро, когда происходит то, что они могли бы предотвратить (осторожность, присущая их гордости, велит им не вмешиваться в чужие дела без нужды, ведь они по природе своей любят, чтобы каждый помогал себе сам, играл без посторонней помощи). Кроме того, они, как правило, умеют переносить боль лучше сострадательных натур; да и не кажется им таким уж несправедливым, чтобы страдали другие, раз пострадали они сами. Наконец, им противно состояние мягкосердечия – так же как сострадательным противно состояние стоического равнодушия; они характеризуют его уничижительными словами, поскольку полагают, что тут под угрозой их мужественность и холодная смелость, – они скрывают свои слезы от других и утирают их, негодуя на себя. Это *другой* род эгоистов, нежели сострадательные; но называть их отличительной чертою

злость, а отличительной чертою сострадательных *доброту* – не более чем моральная мода, и мода преходящая, так же как и мода на противоположное была преходящей, хотя не преходила она дольше!

134

В какой мере не следует поддаваться состраданию. – Сострадание, поскольку оно действительно вызывает страдание – и пусть это будет здесь нашей единственной точкой зрения, – представляет собою слабость, как и любая уступка *губительному* аффекту. Оно *множит* страдание в мире: пусть даже непосредственно вследствие сострадания страдание там и сям уменьшается, а то и пропадает, – эти случайные и в целом незначительные последствия нельзя использовать, чтобы оправдывать его природу, каковая, как сказано, губительна. Если, положим, оно возобладает хотя бы на день, человечество тотчас погибнет от него. В нем как таковом доброго так же мало, как и в любом влечении: лишь там, где его требуют и восхваляют – а это происходит там, где нет понимания его губительности, а есть желание обнаружить в нем *источник наслаждения*, – связывают с ним чистую совесть, и лишь тогда увлекаются им, не стыдясь его обнаруживать. В иных условиях, когда есть понимание его губительности, оно слывет слабостью – или, как у греков, болезнетворным, перемежающимся аффектом, который можно сделать безопасным с помощью периодических искусственных очищений. – Если кто-нибудь, испытания ради, в один прекрасный день намеренно какое-то время будет поддаваться в реальной жизни позывам на сострадание, постоянно переживая все беды, какие может подцепить от окружающих, – он неизбежно заболеет и впадет в тоску. А уж если кто-то решил послужить человечеству врачом *в каком-то смысле слова*, ему придется быть с этим чувством очень и очень осторожным – ведь оно будет парализовывать его действия во все решающие моменты и положит конец его знанию, его щедрой и умной помощи.

135

Когда тебя жалеют. – Когда дикарей жалеют, они воспринимают это с нравственным отвращением: добродетели у них нет никакой. Проявлять сострадание для них – то же, что проявлять презрение: глядеть на страдания презренного не хочет никто, ведь это не доставляет никакого удовольствия. Зато видеть, как страдает враг, которого считают равным себе по гордости и который не отрекается от своей гордости даже под пыткой, да и вообще любое существо, не снисходящее до мольбы о сострадании, то есть до презреннейшего и глубочайшего унижения, – вот это наслаждение из наслаждений, и тут уж душа дикаря возвышается до чувства *восхищения*: в конце концов он убивает такого смельчака, если это в его силах, и воздает ему, *несломленному*, последние *почести*: а если бы тот пытался возбудить жалость к себе, если бы с лица его исчезла хладнокровная усмешка, если бы он показал себя презренным – ну, тогда его можно было бы оставить жить, и жить не лучше собаки; он тогда не возбуждал бы у зрителей гордости за себя, а место восхищения заняло бы сострадание.

136

Счастье сострадать. – Если, как это делали индусы, *целью* всей интеллектуальной работы ставить познание человеческого *страдания* и держаться такого ужасающего намерения на протяжении множества духовных поколений, то *сострадание* в глазах этих людей *наследственного* пессимизма обретет наконец новую ценность – ценность *жизнеохранительной* силы, дающей способность выдерживать жизнь, хотя она и кажется достойной того, чтобы отринуть ее с отвращением и ужасом. Сострадание становится средством против самоубийства, будучи чувством, содержащим в себе наслаждение и позволяющим отведывать превосходство мелкими глотками: оно отвлекает наше внимание от себя, делает душу полной, отгоняет страх и оцепенение, побуждает к речам, жалобам и поступкам – а это *относительное счастье*, если сравнивать со страданием от познания, со всех сторон

загоняющего индивида в тупик и во мрак, где он задыхается. А счастье, каким бы оно ни было, дает воздух, свет и свободу передвижения.

137

Стоит ли удваивать «я»? – Поглядеть на собственные переживания глазами, какими мы привыкли глядеть на них же, когда они чужие, – это действует очень остужающе, это хорошее лекарство. А вот глядеть на чужие переживания и воспринимать их так, *как если бы они были нашими собственными* – ведь таково требование философии сострадания, – это нас погубило бы, и в самое короткое время: проделайте-ка такой опыт – и все иллюзии испарятся! Да и, кроме того, та, первая максима *больше соответствует* разуму и стремлению проявлять благоразумие, ведь объективней мы судим о ценности и смысле события, когда оно совершается с другими, а не с нами самими: скажем, когда мы оцениваем чью-нибудь кончину, разорение, диффамацию. А сострадание как принцип действия, требующий страдать от беды другого *так же*, как страдает он сам, приводит к тому, что точка зрения страдающего «я» со свойственными ей преувеличением и излишеством должна стать еще и точкой зрения другого, сострадающего, – и вот нам, оказывается, необходимо страдать и за себя, и за другого: таким образом мы добровольно обременяем себя удвоенной глупостью вместо того, чтобы насколько можно облегчать бремя собственной.

138

Когда растет нежность. – Если мы кого-то любим, чтим, восхищаемся им – и вдруг, задним числом, обнаруживаем, что он *страдает* (обнаруживаем всегда с великим изумлением, поскольку привыкли думать, что исходящее от него ощущение счастья порождается неисчерпаемым кладезем *его собственного* счастья), то наше чувство любви, почтения и восхищения изменяется *в чем-то существенном*: оно становится *нежнее*, иными словами, нам кажется, будто заполняет-

ся разделяющая нас и его пропасть, намечается приближение к равенству. Лишь теперь мы считаем, что можем *воздавать* ему и со своей стороны, тогда как прежде его жизнь в нашем представлении была выше нашей благодарности. Эта возможность возвращать доставляет нам большую радость и укрепляет дух. Мы пытаемся угадать и предлагаем ему средство, которое смягчит его боль; если ему нужны утешающие слова, взгляды, знаки внимания, помощь, подарки, – мы предлагаем все это; но прежде всего, если он хочет видеть, что мы *страдаем* из-за его страдания, то мы принимаем вид страдающих, но при этом испытываем наслаждение от *деятельной благодарности*, а таковая, коротко говоря, является *хорошей местью*. Если он от нас вообще ничего не хочет и не принимает, то мы уходим остывшими и унылыми, чуть ли не больными: ведь получается, что нашу благодарность отклонили, – а в этом пункте чести чувствителен даже самый добродушный. – Из всего этого следует, что даже в лучшем случае в страдании есть что-то унизительное, а в сострадании – что-то возвышающее и дающее чувство превосходства; это напрочь разделяет оба аффекта.

139

Лишь кажется выше! – Вы говорите, мораль сострадания выше стоической? Докажите-ка! Но заметьте себе, что более «высокое» и более «низкое» в морали нельзя измерять мерками самой же морали: ведь никакой абсолютной морали не существует. Поэтому раздобудьте себе мерки где-нибудь еще – и обращайтесь с ними поосторожней!

140

Похвала и порицание. – Когда война кончается неудачно, начинают искать «виноватого» в ней; когда она приносит победу, зачинщика войны восхваляют. Вину ищут везде, где есть неудача, ведь таковая несет с собою мрачные настроения, против которых автоматически идет в ход единственное средство: заново пробудить в себе *чувство власти* – а его

дает *осуждение* «виноватого». Но этот виноватый – вовсе не что-то вроде козла отпущения за чужую вину: он жертва, которую приносят слабые, униженные, угнетенные, когда стремятся чем-нибудь доказать себе, что у них есть еще порох в пороховницах. Осудить себя – тоже возможный способ для потерпевших поражение поддержать в себе это чувство. – А вот восхваление *зачинщика* часто бывает столь же слепым результатом другого влечения, которому тоже нужны жертвы, – и на этот раз жертва и самому жертвенному животному кажется благоуханной и соблазнительной: ведь когда в народе, в обществе чувство власти сверх всякой меры утоляется великим и волшебным успехом и наступает *утомление от победы*, гордость оказывается ненужной; зарождается чувство *преданности*, которое ищет для себя объекта. – *Хвалят* нас или *порицают*, мы бываем при этом обычно для наших ближних поводами, подвернувшимися возможностями, и чаще всего случайно ухваченными и подтащенными к себе, – поводами дать волю накопившемуся в них – влечению порицать или хвалить: в обоих случаях мы оказываем им благодеяние, в котором не имеем заслуги и за которое не получаем благодарности.

141

Красивее не значит ценнее. – Живописная моральность: это моральность бурно выстреливающих вверх аффектов, резких перепадов, патетических, внушающих, устрашающих, пышных жестов и звуков. Это *полуварварская* ступень моральности: и не стоит обольщаться ее эстетической прелестью, приписывая ей более высокий ранг.

142

Сопереживание. – Чтобы понимать другого, то есть чтобы *воспроизвести в себе его чувство*, мы, конечно, часто допытываемся причины того или иного его чувства, спрашивая себя, к примеру: «*Отчего* он так печален?» – чтобы после этого опечалиться по той же причине и себе; но куда привыч-

нее этого не делать, а вызывать в себе такое чувство по тем *проявлениям*, которые оно оставляет и обнаруживает в другом, повторяя своим телом (по крайней мере вплоть до легкого подобия его мышечной моторики и иннервации) выражение его глаз, его голос, его походку, его манеру держаться (а не то даже их отображение в слове, картине, музыке). Тогда вследствие давней ассоциативной связи между движением и ощущением, натасканной, чтобы раскручиваться назад или вперед, в нас рождается сходное чувство. Мы уже хорошо наловчились понимать таким образом чувство другого и почти непроизвольно постоянно практикуем свою ловкость в присутствии любого человека: особенно стоит приглядеться, как меняются выражения женских лиц – они так и трепещут и горят в беспрестанном воспроизведении и отражении того, что женщины ощущают вокруг себя. Но какого мастерства мы достигли в быстром и точном угадывании чувств и в сопереживании, всего яснее показывает нам музыка, коль скоро она представляет собою воспроизведение воспроизведения чувств и все же, несмотря на такую дистанцию и неопределенность, довольно часто позволяет нам причаститься к этим чувствам, когда мы, к примеру, грустим, не имея ни малейшего повода для грусти, подобно круглым идиотам, только потому, что слышим звуки и ритмы, каким-то образом напоминающие о звучании голоса и жестах грустящих людей или даже об их привычных действиях. Есть легенда об одном датском короле: слушая одного певца, он заразился воинственным настроением настолько сильно, что вскочил с места и убил пятерых придворных из числа присутствующих: не было войны, не было врага, совсем напротив, – но сила, проложившая *обратный путь от чувства к причине*, была достаточно велика, чтобы выступить против очевидности и разума. Как бы там ни было, музыка почти всегда воздействует таким образом (если, конечно, она вообще *воздействует* –), и нет нужды приводить столь гротескные случаи, чтобы понять следующее: состояние чувств, в которое приводит нас музыка, почти всякий раз находится в противоречии с очевидностью нашего дйствительного положения и с разумом, знающим это действительное положение и его причины. – Если спросить себя, а почему мы научились так свободно вос-

производить чувства другого, то не останется никаких сомнений в ответе: человека, этого самого боязливого из всех созданий (в силу его тонкой и уязвимой природы), в таком сопереживании, таком быстром понимании чувств другого (в том числе и животных) назидала его *боязливость*. На протяжении долгих тысячелетий он видел опасность во всем чужом и одушевленном: в его присутствии он тотчас воспроизводил его черты и манеры, делая выводы о том, какого рода злобные намерения кроются за этими чертами и манерами. Такое истолкование всех движений и черт *по намерениям* человек применял даже к неодушевленной природе – питая иллюзию, будто ничего неодушевленного не бывает: я думаю, все, что мы называем *ощущением природы*, глядя на небеса, поля, скалы, леса, облака, звезды, море, ландшафт, весну, идет именно отсюда, – без древнейшего опыта страха, приучавшего нас видеть лежащий за всем этим второй, скрытый смысл, мы теперь не ощущали бы никакой радости от общения с природой, так же как не ощущали бы никакой радости от общения с человеком или животным без упомянутой наставницы в понимании – боязливости. Радость и приятное изумление, в конце концов чувство юмора – это ведь позднорожденные дети сопереживания и намного более юные братья и сестры страха. – Способность быстро понимать – каковая, следовательно, основана на способности *быстро притворяться* – убывает у гордых, самовластных людей и народов, поскольку в них меньше страха: зато для народов боязливых естественны все виды понимания и притворства; это же и подлинная родина подражательных искусств и повышенных умственных способностей. – Когда от теории сопереживания, как я ее здесь сформулировал, я мысленно перехожу к излюбленной и канонизированной как раз нынче теории мистического процесса, согласно которой *сострадание* делает из двух существ одно, давая таким путем одному возможность прямого понимания другого, когда я припоминаю, что такой светлый ум, как Шопенгауэров, наслаждался этим горячечно-восторженным и никудышным хламом, внедрив свое наслаждение в другие, опять-таки и светлые, и сумеречные умы, – то нет пределов моему изумлению и жалости. Как же велико должно быть наше наслаждение невразуми-

тельной нелепицей! Сколь близок еще человек как целое к помешанному, когда прислушивается к своим *тайным* интеллектуальным желаниям! – (*За что*, собственно говоря, Шопенгауэр чувствовал себя таким уж благодарным, таким уж глубоко обязанным Канту? Это выясняется вдруг совершенно недвусмысленно: кто-то говорил-де о том, как можно лишить категорический императив Канта *qualitas occulta*[1] и сделать его *понятным*. По этому поводу Шопенгауэр разражается следующими словами: «Понятность категорического императива! Идея абсолютно бессмысленная! Тьма египетская! Мол, не дай Бог, чтобы он остался непонятным! Да как раз то, что существует непостижимое, что это *горе разума* и его понятий ограниченно, условно, конечно, обманчиво, – уверенность в этом есть великий подарок от Канта». – Вот и призадумаешься, имеется ли добрая воля к познанию вопросов морали у того, кто заранее ощущает восторг от веры в их *непостижимость*! Того, кто к тому же честь по чести верует в наития свыше, в магию и явления духов – и в метафизическое безобразие жабы!)

143

Беда, стоит только этому влечению разбушеваться! – Положим, влечение к преданности и заботе о других («симпатические склонности») будет в два раза сильнее, чем оно есть: тогда жить стало бы вообще *невозможно*. Представим себе хотя бы, что́ за безрассудства из-за преданности и забот *о себе самом* совершает каждый ежедневно, ежечасно, и как невыносимо он при этом должен выглядеть: а уж что было бы, если бы *мы* стали объектом таких безрассудств и назойливости *для других*, которые дотоле поражали ими лишь себя! Тогда пришлось бы нам сломя голову бежать прочь, едва завидев, что подходит «ближний»! А симпатические склонности награждать тою же бранью, какой сейчас мы награждаем эгоизм!

---

1 Абсолютной непостижимости (*лат.*). См. прим.

144

Затыкать уши, слыша стенания. – Если мы позволим себе помрачнеть от стенаний и страданий других смертных, затянув собственные небеса тучами, кому тогда придется испытывать на себе последствия такого помрачения? Вот именно – этим другим смертным, и притом вдобавок ко всем своим тяжким ношам! Мы не сможем быть для них ни *рукой помощи*, ни *глотком воздуха*, если будем вторить их стенаниям, как эхо, даже если всегда будем держать на эти стенания ухо востро, – разве только усвоим искусство олимпийцев и станем отныне *веселиться сердцем*, глядя на человеческие невзгоды, вместо того чтобы тужить от них. Правда, это было бы немного слишком по-олимпийски для нас – несмотря на то, что в наслаждении трагедией мы уже сделали шаг к такому идеальному каннибализму богов.

145

«Неэгоистична!» – Этот пуст и хочет заполниться, тот переполнен и хочет опустошиться – того и другого влечет отыскать для себя кого-нибудь, кто помог бы им тут. И этот процесс, понятый в лучшем смысле, в обоих случаях называют одним словом: любовь. Ну так что? Это любовь-то неэгоистична?

146

Невзирая даже на ближнего. – Как? Суть подлинной моральности состоит в том, чтобы постоянно учитывать ближайшие и самые прямые последствия наших поступков в отношении других и делать свой выбор на таком основании? Это всего-навсего узкая и мелкобуржуазная мораль, как бы она ни силилась быть моралью вообще: но выше и свободней кажется мне идея *не обращать внимания* даже на эти ближайшие последствия для других и искать более далеких целей, *даже если* иногда путь к ним ведет *через страдания других*, – скажем, стремиться к познанию, несмотря на понимание

того, что наше свободомыслие ближайшим образом и прямо повергнет других в сомнения, горе и кое-что похуже. Разве нельзя нам по крайней мере обращаться с ближними так же, как мы обращаемся с собою? И если относительно себя мы думаем о прямых последствиях и страданиях не столь узко и мелкобуржуазно, то почему *должны* делать то же относительно других? Скажем, в нас есть стремление к самопожертвованию: что запретит нам тогда жертвовать вместе с собою и ближними? Ведь до сих пор именно так делали государство и монархи, принося одних граждан в жертву другим, как было принято говорить, «в общих интересах». Но и у нас есть общие и, может быть, еще более общие интересы: почему же не принести в жертву грядущим поколениям некоторых индивидов из нынешнего? Тогда их беды, их смятения, их отчаяние, их промахи и вызванные страхом шаги предстанут как необходимые, поскольку некий новый лемех должен взрыхлить почву и сделать ее плодородной для всех! – В конце концов: мы заодно сообщаем ближним умонастроение, в котором они могут *почувствовать себя жертвой*, мы убеждаем их согласиться с задачей, для выполения которой мы их используем. Да разве мы лишены сострадания? Но если мы хотим одержать победу над собой даже *невзирая на свое сострадание*, то разве эта позиция, это настроение не выше, не свободнее, нежели те, в которых человек чувствует себя уверенно, лишь выяснив, *благотворен или вредоносен* такой-то поступок для ближних? А вот мы усилили бы путем жертвы – которая приносилась бы и нами, *и ближними* – всеобщее чувство человеческой *силы*, мы подняли бы его, и пусть даже большего мы не достигли бы. Но уже одно это было бы позитивным приумножением *счастья*. – Наконец, если даже это – – но тут я больше ничего не скажу! Достаточно одного взгляда – вы меня уже поняли.

147

Откуда берется «альтруизм». – О любви люди говорили столь возвышенно, с таким обожанием в общем и целом потому, что *у них ее было мало* и они никогда не могли утолить свой

голод этою пищей досыта: потому-то она и превратилась для них в «пищу богов». Пусть какой-нибудь поэт попробует в картине утопии изобразить *всеобщую человеческую любовь* как состоявшийся факт: понятно, что ему придется описать мучительное и смехотворное положение, какого еще земля не видела, – вокруг каждого будет увиваться, докучать ему, вожделеть его не *один* любящий, а тысячи, да что там, каждый встречный, – и все это в силу неодолимого влечения, которое будут тогда бранить и проклинать так же, как прежнее человечество делало с эгоизмом; а певцы такого положения, если их оставят в покое для творчества, ни о чем не будут мечтать так, как о блаженном безлюбом былом, о божественном эгоизме, о воцарении на земле когда-нибудь в будущем одиночества, ничем не нарушимого покоя, непопулярности, ненависти, презрения и как там еще зовутся все эти мерзости нашего любимого мира животных, где живем *мы*.

148

Дальние перспективы. – Если моральны, как, кажется, гласило определение, только такие поступки, которые совершаются ради других, и только ради других, то нет никаких моральных поступков вообще! Если моральны только поступки – как гласит другое определение, – совершенные на основании свободы воли, то опять-таки нет никаких моральных поступков вообще! – Так что же это, стало быть, такое – то, что так называется и что тем не менее несомненно существует и требует объяснений? Это следствия некоторых интеллектуальных промахов. – А если, скажем, удастся избавиться от этих промахов – что тогда станет с «моральными поступками»? – В силу этих ошибок мы до сих пор наделяли некоторые поступки ценностью высшей, чем они обладали: мы отделяли их от «эгоистических» и «несвободных» поступков. Если теперь мы снова соединим их, как и должны сделать, то, разумеется, *уменьшим* их ценность (ощущение их ценности), причем ниже надлежащей меры, поскольку «эгоистические» и «несвободные» поступки оценивались доселе слишком низко на основании вышеназ-

ванного мнимого, глубочайшего и принципиального различия. – Так, значит, отныне именно они будут совершаться реже, поскольку начиная с этого времени будут оцениваться ниже? – Это неизбежно! По крайней мере на порядочный срок, покуда ощущение ценности тянет на весах больше реакции на прежние ошибки! Но наш встречный расчет состоит в том, чтобы вернуть человечеству чистую совесть для поступков, ославленных эгоистическими, и восстановить их *ценность*, – *мы отнимем у них нечистую совесть*! А поскольку доселе они совершались куда чаще других, да так оно и останется во все времена, то мы сотрем *видимость зла* со всей картины поступков и жизни! И это будет очень хороший итог! Когда человек перестанет считать себя злым, он прекратит и быть злым!

Книга третья

149

Совершать мелкие нестандартные поступки! – Начать в один прекрасный день совершать поступки в области *нравов вопреки* собственному благоразумию; на практике делать тут уступки, чтобы оставить за собой назависимость ума; поступать, как все, тем самым изъявляя им свою учтивость и полезность, словно в возмещение за нестандартность наших мнений: – все это у многих более или менее свободомыслящих людей считается не только само собой разумеющимся, но и «благопристойным», «гуманным», «толерантным», «непедантичным» и всем остальным, к чему применимы всякие красивые слова, коими убаюкивают интеллектуальную совесть: и вот один несет в церковь крестить своих детей, а сам остается атеистом, другой служит в армии, как и все, хотя и клянет вражду между народами на чем свет стоит, а третий венчается, потому что невеста в родстве с клириками, и без всякого стыда даобеты перед лицом священника. «Совсем *не важно*, если наш брат и сделает то, что всегда делают и делали все» – так звучит этот грубый *предрассудок*! это *грубое* заблуждение! Потому что нет ничего *более важного*, чем когда нечто уже мощное, давно ставшее традицией и бездумно признаваемое снова и снова подтверждается поступками кого-то признанного умным: ведь благодаря этому в глазах всех, кто об этом слышит, оно получает санкцию самого разума! Безусловно уважайте свои мнения! Но больше цените *мелкие нестандартные поступки!*

150

Случайность браков. – Будь я богом, причем богом благожелательным, – человеческие браки выводили бы меня из себя

как ничто другое. Сколь далеко может продвинуться вперед человек к семидесяти, да что там, к тридцати годам – прямо на изумление, даже для богов! А теперь поглядите – итог и зарок своих борений, своей победы, лавровый венок своей человечности он вешает в первом попавшемся месте, где его по листочкам ощипывает бабенка: поглядите, как хорошо он умеет достигать, как плохо – сохранять, мало того, как он вообще не задумывается о том, что мог бы проложить дорогу еще более победоносной жизни посредством деторождения: тут уж, как сказано, выходишь из себя, бормоча: «Не выйдет из человечества ничего хорошего – избранные пропадают почем зря, случайность браков делает бессмыслицей великий путь человечества; так хватит нам быть истовыми, но одураченными зрителями этой бесцельной комедии!» – Некогда в таком-то вот настроении Эпикуровы боги и укрылись в своей тишине и блаженстве: они были по горло сыты людскими делами, всем этим любовным торгом.

151

Тут можно творить новые идеалы. – Следовало бы запретить принимать решение о своей жизни в состоянии влюбленности и выбирать себе общество раз и навсегда в силу нашедшей блажи: клятвы влюбленных следовало бы публично объявлять недействительными и отказывать им в праве на брак: и как раз потому, что к браку надо относиться куда более серьезно! А именно так, чтобы в тех случаях, когда прежде он имел место, теперь он, как правило, места не имел бы! Разве браки обычно не таковы, что третий как свидетель в них нежелателен? И как раз этот третий – ребенок – почти всегда имеется, будучи более чем свидетелем: козлом отпущения!

152

Формула присяги. – «Если то, что я говорю, ложь, то я отныне человек неприличный, и любой имеет право сказать мне это в лицо». – Такую формулу я рекомендую вместо су-

дебной присяги и обычного при ней упоминания имени Божьего: она *сильнее*. Нет причин уклоняться от нее даже человеку благочестивому: ведь как только нынешней присяги оказывается *недостаточно*, благочестивцу приходится обращаться к своему катехизису, который предписывает: «Не произноси имя Бога твоего *всуе*!»

153

Недовольный. – Это один из тех, что в древности были храбрецами: он злится на цивилизацию, полагая, будто она только и думает, как бы сделать доступными все хорошие вещи, почести, драгоценности, красивых женщин – даже трусам.

154

Утешение для рискующих. – Греки, ведя жизнь, весьма подверженную великим опасностям и крушениям, в размышлении и познании искали своего рода гарантий для чувства и последнего *refugium*[1]. Мы, находясь в несравненно более безопасных условиях, внесли опасность в размышление и познание, а отдыхаем от нее и забываемся от нее *в жизни*.

155

Угасший скепсис. – Отчаянный риск в новое время встречается куда реже, чем в древности и в средневековье – вероятно, потому, что новое время утратило веру в предзнаменования, оракулы, звезды и предсказателей. Это значит, что мы потеряли способность *верить* в предначертанное для *нас будущее*, как верили древние, которые – в отличие от нас – были гораздо менее скептичны в отношении того, что *будет*, нежели в отношении того, что *есть*.

---

1 Прибежища (*лат.*).

156

Злость от задора. – «Только бы не почувствовать себя слишком хорошо!» – такова была потаенная тревога греков в хорошие времена. *Поэтому-то* они и внушали себе умеренность. А мы!

157

Культ «звуков природы». – О чем говорит тот факт, что наша культура не просто терпима в отношении слез, жалоб, упреков, жестов ярости или уничижения – а что она одобряет их и причисляет к благородным неизбежностям? – В то время как дух античной философии взирал на них с презрением, не признавая никакой необходимости в них? Вспомним хотя бы, как Платон – отнюдь не самый бесчеловечный из философов – рассуждает о Филоктете как сценическом персонаже. Так, может быть, нашей современной культуре не хватает «философии»? Может быть, с точки зрения древних философов все мы вместе взятые – не более чем «плебс»?

158

Атмосфера для лести. – Подлых льстецов в наше время напрасно искать в окружении монархов – все они без исключения пахнут войною, а льстецам этот запах претит. Зато в окружении банкиров и художников цветок лести растет и сегодня.

159

Те, что будят мертвых. – Люди тщеславные начинают оценивать фрагменты прошлого выше с того момента, когда оказываются в состоянии вжиться в него (особенно если это трудно), ведь они хотят насколько можно воскресить их в настоящем. А поскольку тщеславным всегда нет числа, то занятия историей, как только вменят в обязанность из-

учать все прошедшее вообще, и впрямь становятся немалой опасностью: чтобы пробудить всех мертвых, придется положить слишком много сил. Все романтическое течение будет, может быть, понятнее всего с этой точки зрения.

160

Тщеславные, алчные и не слишком мудрые. – Страсти в вас сильнее разума, а ваше тщеславие еще сильнее страстей – таким людям, как вы, решительно рекомендуется *хорошая порция* христианской нравственной практики с небольшой приправой Шопенгауэровой теории!

161

По эпохе и красота. – Если наши ваятели, живописцы и композиторы хотят соответствовать духу времени, им надо изображать красоту распухшей, огромной и нервной: так вот и греки, в русле своей морали, основанной на чувстве меры, видели и изображали красоту в виде Аполлона Бельведерского. Нам следовало бы считать его попросту *безобразным*! Но слабоумные «классицисты» отняли у нас всякую честность!

162

Ирония на современный лад. – Нынче это по-европейски – излагать все великие интересы с иронией, ведь в силу занятости на службе ни у кого нет времени отнестись к ним всерьез.

163

Против Руссо. – Если верно, что в нашей цивилизации есть нечто убогое, то выбирайте – или продолжать такое заключение вместе с Руссо: «Эта убогая цивилизация виновата в наших *скверных* нравах», или сделать обратное заключение

вопреки Руссо: «Наши *хорошие* нравы виноваты в убожестве цивилизации. Наши слабые, немужественные, общественные представления о добре и зле и их чудовищное владычество над телом и душою вконец ослабили все тела и души и сломили самостоятельных, независимых, непредвзятых людей, этих несущих опор *сильной* цивилизации: там, где еще встречаются *скверные* нравы, можно видеть последние развалины этих опор». Вот вам столкновение двух парадоксов. И правда здесь не может быть на обеих сторонах: да и есть ли она вообще на какой-то из них? Еще надо посмотреть.

164

Может быть, и преждевременно. – Сегодня создается впечатление, будто в среде всякого рода сомнительных, ненадежных знаменитостей и, как правило, в густом тумане, со стороны тех, что не считают себя привязанными к существующим нравам и законам, делаются первые попытки сплотиться, чтобы добиться *легитимности*, – в то время как прежде, когда их поносили как преступников, вольнодумцев, возмутителей нравственности, злодеев, они, порочные и внушающие порочность, жили под проклятьем птичьих прав и нечистой совести. В общем и целом это надо было бы считать *правильным и нормальным*, хотя грядущее столетие сделает эту породу людей чем-то опасным, вложив каждому из них в руки оружие: уже тем самым появится встречная сила, которая будет постоянно напоминать о том, что не существует никакой морали, наделяющей одними только моральными качествами, и что всякая нравственность, признающая исключительно себя самое, губит слишком много хороших сил и обходится человечеству чересчур дорогой ценой. Этими отклоняющимися людьми, которым столь часто свойственно умение находить и создавать новое, больше нельзя жертвовать; нельзя даже больше считать зазорными отклонения от морали – и в мыслях, и в делах; необходимы новые многочисленные эксперименты над жизнью и обществом; необходимо устранить из мира чудовищное бремя нечистой совести – эти наиболее общие цели должны признаваться и преследоваться всеми честными и правдолюбивыми людьми!

165

Какая мораль не наскучит. – Основные заповеди нравственности, которые народ всегда охотно выучивает и выслушивает, стоят в отношении к его основным порокам, а потому и не наскучивают ему. Греки, слишком часто терявшие умеренность, холодную отвагу, справедливость и вообще способность соображать, очень интересовались четырьмя сократическими добродетелями – ведь они так в них нуждались, *но* как раз ими-то и были наделены так скудно!

166

На распутье. – Черт возьми! Как же вам хочется приобщиться к системе, где приходится либо быть колесом и только колесом, либо оказываться под колесами! Где само собой разумеется, что каждый *есть* то, чем его *сделали* свыше! Где искательство «связей» почитается естественным долгом! Где никто не чувствует себя оскорбленным, когда ему кивком показывают на какого-нибудь человека: «Вон тот может оказаться Вам полезным!» Где не стыдятся делать визиты, чтобы попросить протекции! Где даже не подозревают, что, усердно приспосабливаясь к таким нравам, раз и навсегда показывают себя мелкими глиняными горшками природы, которыми пользуются (с правом разбить их) другие, не особенно-то чувствуя себя за это ответственными; это как если бы кто-то сказал: «Людей такого сорта, как я, хоть пруд пруди: можете махнуть на меня рукой! Без церемоний!»

167

Абсолютное почитание. – Когда я представляю себе немецких философов, которых больше всего читают, немецких композиторов, которых больше всего слушают, немецких политиков, которых больше всего уважают, то поневоле говорю себе: туго приходится теперь немцам, этому народу *абсолютных* чувств, – и притом от своих же собственных великих мужей. Тут взгляду открывается трижды великолепное зрели-

ще: каждый раз это поток, текущий в прорытом им же самим русле, и текущий так стремительно, что нередко так и подмывает думать, будто он намерен течь вверх по горе. А все-таки до каких пределов ни доводили бы немцы свое почитание, кто же из них в общем и великом не предпочел бы иметь *иное* мнение, нежели Шопенгауэр! – И кому нынче придет в голову в общем и в малом разделять взгляды Рихарда Вагнера, как бы ни было верно чье-то высказывание: что всюду, где он оказывает влияние и где он испытывает влияние, *скрыта* какая-нибудь проблема, – достаточно того, что сам он ее не разрешает! – И наконец, огромное множество немцев от всей души было бы одного мнения с Бисмарком, если бы хотя бы он сам был одного мнения с собою или пусть только делал бы вид, что впредь будет так! Конечно, *не иметь базовых принципов, но иметь базовые влечения*, быть гибким умом на службе сильных базовых влечений и как раз поэтому не иметь базовых принципов – во всем этом для политика не только нет ничего особенного, а это скорее должно считаться чем-то нормальным и естественным; но, увы, доселе *такие* качества были совершенно не немецкими! Они были немецкими не больше, чем шум вокруг музыки и диссонансы, недовольство вокруг композитора, они были немецкими не больше, чем новая, оригинальная позиция, избранная Шопенгауэром: то есть ни *над* вещами, ни на коленях перед вещами – то и другое еще можно было бы назвать немецким, – а *против* вещей! Невероятно! И неприятно! Ставить себя на одну доску с вещами, но – в качестве их противника, а уж на худой конец – в качестве собственного противника! – Что абсолютному почитателю делать с таким образцом? А что – вообще с тремя такими образцами, не желавшими жить дружно даже друг с другом? Ведь вот вам, пожалуйста: Шопенгауэр – противник музыки Вагнера, а Вагнер – противник политики Бисмарка, а Бисмарк – противник всяческой вагнеровщины и шопенгауэровщины! Ну что тут поделаешь! Куда податься со своей жаждой к «почитанию потрохами»? Может быть, попробовать выкроить из музыки композитора несколько сотен тактов хорошей музыки, которые просятся в сердце и которые надо принять близко к сердцу, потому что у них есть сердце, – попробовать, совершив этот мелкий грабеж, отойти в сторонку, а обо всем остальном

просто забыть? И нащупать точно такую же позицию в отношении философа и политика – выкроить, принять близко к сердцу и в особенности – *забыть об остальном*? Эх, кабы только забвение не давалось с таким трудом! Был один очень гордый человек, который не хотел ничего брать ни от кого, кроме себя самого, – и хорошее, и плохое: но когда ему понадобилось *забвение*, он не смог извлечь его из себя, и ему пришлось трижды заклинать духов; они пришли, они услышали его желание и в конце концов сказали: «Мы можем дать лишь то, что в нашей власти». Почему бы немцам не воспользоваться опытом *Манфреда*? Зачем сначала еще заклинать духов? Это бесполезно, никто не забывает, когда хочет забыть. А каким огромным оказалось бы «все остальное», что надо было бы забыть у этих трех великанов эпохи, дабы затем почитать их потрохами! Тогда уж лучше использовать удобную возможность и попробовать что-нибудь новенькое: а именно, прибавлять в *честности относительно себя* и из народа, который так легковерно вторит и питает ожесточенную, слепую враждебность, стать народом ограниченного одобрения и доброжелательной враждебности; но для начала научиться тому, что абсолютное почитание лиц есть нечто смехотворное, что переучиться тут было бы не бесславно и для немцев и что существует такое глубокое, достойное внимания изречение: «*Ce qui importe, ce ne sont point les personnes: mais les choses*»[1]. Это изречение, как и его автор, велико, честно, просто и молчаливо – совсем как Карно, этот солдат и республиканец. – Но разве можно нынче говорить немцам о таком французе, да к тому же республиканце? Может быть, и нет; а может быть, нельзя даже и вспоминать о том, чтó в свое время Нибур позволил себе сказать немцам: что никто не произвел на него такого сильного впечатления *истинного величия*, как Карно.

168

Один образец. – Что я люблю в Фукидиде, из-за чего ставлю его выше Платона? У него есть способность очень широко

1 «Что важно, так это не лица, а вещи» (фр.).

и объективно радоваться всему типическому в человеке и в событиях и считать, что в каждом из типов можно найти какую-то *оправданность*: ее-то и пытается он обнаружить. Он гораздо ближе к практической жизни, чем Платон; он не очерняет и не умаляет людей, которые ему не понравились или причинили в жизни какое-нибудь зло. Совсем напротив: во всех вещах и лицах он усматривает нечто великое и наделяет их величием, видя в них лишь типы; а на что нужно было бы всем последующим поколениям, которым он посвятил свой труд, что-то *не* типическое? Таким-то образом в нем, мыслящем о людях, происходит последний великолепный расцвет той *культуры самого объективного миропознания*, поэтом которой был Софокл, государственным деятелем – Перикл, врачом – Гиппократ, природоведом – Демокрит: той культуры, что следовало бы окрестить именем ее наставников – *софистов*, да, увы, с этого момента крещения она начинает вдруг становиться для нас туманной и неуловимой, – ведь мы подозреваем теперь, что это была, наверное, культура весьма безнравственная, коль скоро с ней боролся тот же Платон вместе со всеми сократическими школами! Правда тут так запутанна и перекручена, что распутывать ее можно только с отвращением: ну так и пусть древнее заблуждение (*error veritate simplicior*[1]) идет своим древним путем!

169

Такие чуждые нам греки. – Стили восточный или современный, азиатский или европейский: в сравнении с греческим всем им свойственны массивность и наслаждение большими количествами как способ выражения возвышенного, в то время как в Пестуме, Помпеях и Афинах и глядя на греческую архитектуру вообще не перестаешь удивляться тому, *с помощью сколь малых масс* греки умели и *любили* выражать возвышенное. – То же и в другом: сколь простыми *представлялись* друг другу люди в Греции! Как далеко мы оставили их позади в знании людей! Но зато и какими сложными ла-

1 Ошибиться легче, чем найти истину (*лат.*).

биринтами выглядят наши души и наши представления о душах в сравнении с их! Если бы мы возмечтали об архитектуре по *нашему* душевному складу и отважились бы на нее (но мы слишком трусливы для этого!), то образцом для нас был бы лабиринт! Об этом можно догадаться судя по нашей родной и действительно выражающей нас музыке! (Ведь в музыке люди не следят за собой, потому что мнят, будто нет никого, кто был бы в силах разгадать их *за* их собственной музыкой.)

170

Иная перспектива для чувства. – Что значит вся наша болтовня о греках! Разве мы понимаем что-нибудь в их искусстве, душою которого была – страсть к обнаженной *мужской* красоте! Лишь *с ее точки зрения* они смотрели на красоту женскую. Стало быть, они видели ее из совсем иной перспективы, чем наша. И так же дело обстояло с их любовью к женщине: они иначе благоговели, иначе и презирали.

171

Питание современного человека. – Он умеет переварить многое, если даже не все, – для него это предмет особого тщеславия; но он оказался бы ступенью выше, если бы как раз этого и *не* умел бы; *homo pamphagus*[1] – вид отнюдь не самый утонченный. Мы живем между прошлым, обладавшим вкусом более диким и своенравным, чем наш, и грядущим, у которого будет, может быть, вкус более изысканный, – а мы увязли посередке.

172

Трагедия и музыка. – Мужчин воинственной духовной организации, каковы были, к примеру, греки времен Эсхила,

1 Человек всеядный (*лат.-греч.*).

трудно чем-нибудь *растрогать*, а если уж сострадание вдруг пробьет их броню, то овладевает ими, словно исступление, и становится подобным «демонической одержимости», – тогда они чувствуют себя невольниками, охваченными каким-то религиозным ужасом. После у них наступают сомнения в своем состоянии; испытывая его, они вкушают восторг от выхода из себя и от его необычности, смешанный с горчайшей полынью страдания: это напиток как раз для воинов, нечто редкостное, опасное и горько-сладкое, что не всякому выпадает на долю. Трагедия обращена к душам, именно так ощущающим сострадание, к душам суровым и воинственным, одолеть которые нелегко хоть страхом, хоть и состраданием, но которым идет на пользу время от времени *умягчаться*: а что значит трагедия для тех, которые подставлены «симпатическим склонностям», как парус ветрам! Когда афиняне сделались более мягкими и чувствительными, ко времени Платона, – ах, как они еще были далеки от сентиментальности жителей наших столиц и провинций! – то философы уже все-таки сетовали на *губительность* трагедии. Эпоха, полная опасностей, какова начинающаяся сейчас, когда отвага и мужество растут в цене, может быть, мало-помалу вновь закалит души до такой степени, что им понадобятся трагические поэты: но некогда они были немного *излишними* – если пользоваться самым мягким выражением. – Так, может быть, и для музыки еще раз наступят лучшие времена (они, безусловно, будут и *более лихими!*), когда композиторам придется обращаться ее средствами к людям, окончательно ставшим личностями, внутренне суровым, обуянным мрачной серьезностью собственной страсти: а что значит музыка для этих нынешних, куда как суетливых, невзрослых, полуличных, любопытствующих и ко всему вожделеющих душонок уходящей эпохи!

173

Поющие осанну труду. – В осаннах «труду», в неустанных разглагольствованиях о «благословении труда» я вижу ту же заднюю мысль, что и в хвалах общеполезным, неэгоистическим поступкам: страх перед всем индивидуальным. Зре-

лище труда (тут имеется в виду пресловутое муравьиное прилежание от зари до зари), в сущности, внушает нынче ощущение, что такой труд – лучшая полиция, что он держит в узде каждого и отменно умеет противодействовать развитию разума, страстности, жажды независимости. Ведь на него уходит огромное количество нервной энергии, которая отводится от раздумий, самоуглубления, мечты, заботы, любви, ненависти; он всегда держит перед глазами одну мелкую цель и дает легкое и регулярное удовлетворение. Значит, в обществе, где люди постоянно прилежно трудятся, будет больше безопасности: а безопасности нынче поклоняются как высшему божеству. – И что же? О ужас! *Опасным* сделался как раз «рабочий»! Все кишит «опасными личностями»! А за ними – опасность из опасностей: *отдельная* личность!

174

Моральная мода торгашеского общества. – В основном принципе нынешней моральной моды: «Моральные поступки – это поступки, продиктованные симпатией к другим» я вижу проявление одного социального влечения – боязливости, интеллектуально камуфлирующего себя таким образом: это влечение направлено как на свою высшую, важнейшую, ближайшую цель на изъятие из жизни *всякой опасности*, какая была в ней прежде, и на то, чтобы *каждый* содействовал этому всеми силами: вот почему оценку «хороший» могут заслужить только поступки, имеющие целью достижение всеобщей безопасности и ощущения безопасности! – Как же мало радости, должно быть, сегодня доставляют себе люди, если высший нравственный закон устанавливает для них такая тирания боязливости, если они так безропотно подчиняются правилу – не смотреть на себя, рядом с собою, но выискивать взглядом всякое бедствие, всякое страдание где-нибудь на стороне! Разве, вынашивая столь чудовищное намерение – а именно, сглаживать все острые места и края жизни, – мы не становимся на прямую дорогу, ведущую к превращению человечества в *песок*? Песок! Мелкий, мягкий, круглый, нескончаемый песок! Это ли ваш идеал, вы, герольды симпатических склонностей? – А между тем оста-

ется без ответа даже вопрос о том, будет ли другому *больше пользы*, если все время без промедления спешить ему на выручку и *помогать* – а ведь когда это не превращается в тиранический захват и вмешательство в самую природу другого, то может затрагивать лишь поверхность, – или же если *сделать* из себя нечто такое, на что другой посмотрит с удовольствием: скажем, прекрасный, тихий, погруженный в себя сад, окруженный высокими стенами, защищающими против бурь и пыли дорог, но гостеприимно предлагающий и распахнутые ворота.

175

Основная идея торгашеской культуры. – Там и сям можно видеть теперь зачатки культуры, сердцевину которой образует *торговля*, в той же мере, в какой сердцевину культуры архаической Греции составляло личное состязание, а римлян – война, победа и право. Торгаш умеет все оценить, ничего не производя, причем оценить *исходя из запроса потребителя*, а отнюдь не собственного, личного запроса: главный вопрос для него – «кто и сколько людей будут это потреблять?» Такой-то способ оценки он применяет инстинктивно и постоянно – ко всему подряд, а, стало быть, и к произведениям искусств и наук, мыслителей, ученых, художников, политиков, народов и партий, целых эпох: глядя на все, что создано, он задается вопросом о спросе и предложении, *чтобы определить для себя ценность вещи.* Сделать это основным признаком всей культуры, провести через идеи вплоть до дна и последней песчинки и придать эту форму всякой воле и всякому умению: вот то, чем будете гордиться вы, люди следующего столетия, – если пророки класса торгашей правы, видя вас такими. Но у меня мало веры этим пророкам. *Credat Judaeus Apella*[1], говоря словами Горация.

---

1 Пусть верит иудей Апелла (*лат.*) [т. е. кто угодно, только не я]. – Гораций. Сатиры, I, 5, 100.

176

Критика отцов. – Почему нынче люди не против истины даже о ближайшем прошлом? Потому что всегда тут как тут новое поколение, которое чувствует себя *в оппозиции* к этому прошлому и в его критике вкушает первые плоды чувства власти. Прежде, наоборот, новое поколение стремилось видеть в старом свою *основу* и начинало *ощущать* себя, не просто принимая взгляды отцов, но по возможности еще и *ужесточая* их. Критиковать отцов было тогда безнравственно: а нынче молодые идеалисты с этого *начинают.*

177

Учиться одиночеству. – Эх вы, бедняги из метрополий мировой политики, одаренные молодые люди, замученные честолюбием, почитающие долгом ввернуть свое словцо по любому поводу – а повод уж всегда найдется! Те, что, производя пыль и шум таким способом, мнят, будто это они – телеги истории! Те, что утрачивают подлинную творческую силу, потому что всегда держат ухо востро, всегда ловят момент, чтобы ввернуть свое словцо! Как бы они ни жаждали великих дел – глубокое молчание вынашивающих плод всегда будет им недоступно! Текущие события гонят их перед собой, словно перекати-поле, а они думают, будто сами подгоняют события, – вот бедняги! – Если хочешь играть на сцене героя, нельзя и думать о том, чтобы замешаться в толпу, нельзя даже знать, как замешиваются в толпы.

178

Ежедневный износ. – У этих молодых людей не хватает ни характера, ни таланта, ни прилежания: но им не предоставили времени самим найти свое призвание, а наоборот, приучили с младых ногтей брать готовое. В момент, когда они уже совсем созревали, чтобы «получить назначение в глухомань», с ними делали нечто иное – их использовали, их отпихивали от себя, из них воспитывали то, что предна-

значено для *ежедневного износа*, превращая таковой в их этику, – и вот они уже не могут без него обходиться и не хотят ничего иного. Нельзя только лишать этих бедных тягловых животных «каникул» (так это называется), сего идеала праздности для работающего на износ столетия, – времени, когда можно вволю побездельничать и по уши погрузиться в тупоумие и ребячество.

179

Чем меньше государства, тем лучше! – Все политические и экономические отношения не стоят того, чтобы ими могли и должны были заниматься именно наиболее одаренные умы: такой расход ума, в сущности, хуже любого бедствия. Они есть и останутся сферами деятельности для меньших умов, а умы другие, чем меньшие, не должны работать на этих фабриках: пусть уж лучше всю машину разнесет вдребезги! А нынешнее положение дел, когда не только все полагают, будто должны каждый день *знать* об этом, но любой постоянно стремится над этим корпеть, бросая ради него собственную работу, – одно большое и смехотворное помешательство. Это слишком дорогая цена за «всеобщую безопасность»: но что самое безумное – тем самым, помимо прочего, добиваются чего-то прямо противоположного всеобщей безопасности – это и взялось доказать наше разлюбезное столетие, как будто таких доказательств уже не было прежде! Сделать общество надежным, как сейф, и несгораемым, безбрежно удобным для любых торговых делишек, а государство превратить в провидение в хорошем и плохом смысле слова – это цели низменные, умеренные и отнюдь не самые необходимые, их не надо добиваться высшими средствами и инструментами, *какие вообще существуют*, – средствами, которые следовало бы *приберечь* как раз для достижения высших и чрезвычайных целей! Наше столетие, как бы оно ни разглагольствовало об экономии, – расточитель: оно расточает самое ценное, а именно ум.

180

Войны. – Великие войны современности – результаты изучения истории.

181

Управлять. – Одни управляют из страсти к управлению; другие – чтобы не управляли ими: для них это всего лишь меньшее из двух зол.

182

Грубая настойчивость. – Говорят с восхищением: «Вот это характер!» – это уж само собой разумеется, если он демонстрирует такую грубую настойчивость и если эта настойчивость очевидна даже для подслеповатых! А вот когда действует ум более тонкий и глубокий, проявляя свойственную ему высшую последовательность, зрители не признают за ним характера. Поэтому продувные политики разыгрывают свою комедию обычно под маской грубой настойчивости.

183

Старые и молодые. – «Есть в этих парламентах что-то безнравственное, – все еще думают там и сям, – ведь в них можно даже высказывать взгляды, направленные *против* правительства!» – «Смотреть на вещи надо только так, как прикажет наш милостивый господин!» – это одиннадцатая заповедь в иных честных старых головах, особенно в Северной Германии. Над этим смеются, как над устаревшей модой, но когда-то это была целая мораль! А может быть, некогда будут в свой черед смеяться над тем, что слывет моральным сейчас, среди парламентски воспитанного молодого поколения: а именно, ставить политику партии выше собственной премудрости и отвечать на любой вопрос об общественном благоденствии так, чтобы это лило воду прямехонько на мельницу

собственной партии. «Смотреть на вещи надо так, как диктует партийная ситуация», – гласит общепринятое правило. На службе у такой морали нынче можно увидеть любой род самоотречения, самопожертвования и мученичества.

184

Государство, созданное анархистами. – В странах, где живут люди обузданные, всегда есть и достаточное количество людей отсталых, необузданных: теперь они стекаются в социалистические лагеря больше, чем куда-либо еще. Если бы дело дошло до того, что они вдруг сделались *законодателями*, то можно ожидать, что они наложат на себя вериги и введут ужасающую дисциплину: *они свое дело знают*! И они будут сохранять эти законы, сознавая, что сами же их и дали, – чувство власти, *этой* власти, слишком юно и восхитительно для них, чтобы ради него не претерпеть всё.

185

Нищие. – Надо, чтобы нищих вообще не было: ведь досадно им давать, но досадно и не давать.

186

Бизнесмены. – Ваш бизнес – это ваш величайший предрассудок, он привязывает вас к вашему месту, к вашему обществу, к вашим интересам. Прилежные в бизнесе – но ленивые умом, довольные своим убожеством, нацепившие поверх своего довольства фартук долга: так-то вы живете, так-то хотите, чтобы жили ваши дети!

187

Фрагмент возможного будущего. – Разве немыслимы условия, когда преступник сам явится с повинной, сам публично на-

значит себе наказание, с гордостью сознавая, что таким образом показывает уважение к закону, который сам устанавливал, что проявляет свою власть, наказывая себя, – власть законодателя; он может однажды оступиться, но поднимется, добровольно наказывая себя за проступок, он не только загладит свой проступок честностью, великодушием и покорностью: он еще и порадеет об общем благе. – Так мог бы выглядеть преступник будущего, который, конечно, предполагает и законодательство будущего с его основным принципом: «Я склонюсь лишь перед законом, проведенным в жизнь мною самим, и склонюсь беспрекословно». Но сколько экспериментов еще нужно проделать, чтобы это могло сбыться! Сколько черт будущего еще должно проступить!

188

Опьянение и питание. – Народы столь сильно подвержены обману потому, что постоянно *ищут* себе обманщика: а именно какое-нибудь возбуждающее пойло для своих чувств. Если бы у них было только *оно*, народы, верно, довольствовались бы скудной пищей. Опьянение для них – нечто более важное, чем питание, – это наживка, на которую они все снова клюют! Что для них люди, избранные из их средних слоев, пусть даже это самые толковые практики, в сравнении с блестящими завоевателями или древними и пышными княжескими родами! Избраннику народа приходится предлагать им хотя бы завоевания и блеск: таким путем он, может быть, завоюет их доверие. Они всегда повинуются и делают даже больше того, если, конечно, только дать им напиться! Им не стоит даже предлагать праздность и удовольствия, если с ними не связан лавровый венец с его сводящей с ума силой. Но этот плебейский вкус, для которого *опьянение важнее питания*, возник отнюдь не в гуще плебса: наоборот, он туда внесен, туда всажен и только пошел там в рост в самых отсталых и пышных формах, а вот зародился он в среде высших умов, произрастая там в течение тысячелетий. Народ – последняя *нетронутая земля*, на которой еще может расцвести этот блестящий сорняк. – Что? И вот именно

ему-то надо позволить заниматься политикой? Дабы из нее он сделал свое ежедневное опьяняющее пойло?

189

О большой политике. – Сколько полезных и тщетных усилий ни вкладывалось бы в *большую политику* отдельными лицами или народами, наиболее могучий поток, несущий ее вперед, – это *потребность в чувстве власти*, которая время от времени прорывается из неиссякаемых источников, бьющих не только в душах князей и власть имущих, но и в немалой степени в низших слоях народа. Все снова наступает момент, когда массы *готовы* поставить на кон свою жизнь, имущество, совесть, добродетель, чтобы доставить себе высочайшее наслаждение, утвердившись (хотя бы в воображении) среди других наций как нация победоносная, тиранически своевольная. Тогда расточительные, самоотверженные, полные надежд, доверия, отчаянной отваги, мечтательные чувства начинают бить таким высоким фонтаном, что честолюбивый или мудро предусмотрительный государь может развязать войну, вывернув свой бесправый поступок на сторону чистой совести народа. Великие завоеватели всегда вели патетические речи о добродетели: вокруг них всегда были массы, находившиеся в состоянии подъема и желавшие слышать только самые возвышенные речи. Каково, однако, удивительное безумие моральных суждений! Когда человек чувствует свою власть, он ощущает и считает себя *добрым*: и как раз тогда другие, среди которых он *употребляет* власть, ощущают и считают его *злым*! – В сказке о человеческих поколениях Гесиод два раза подряд изобразил один и тот же век – век гомеровских героев, сделав *из одного два*: с точки зрения тех, что жили под железным, ужасным гнетом этих искателей приключений и насильников или знали о нем от предков, тот век казался *злым*; но потомки этих рыцарских родов чтили его как *доброе* старое время богов и полубогов. Тут поэт поделать ничего не мог – ведь его окружали слушатели обеих категорий!

190

Прежняя немецкая образованность. – Когда немцами – не так уж и давно – начали интересоваться другие европейские народы, причиною тому была образованность, которой теперь они уже не обладают и прах которой они, мало того, отряхнули со своих ног со слепым усердием, словно то была болезнь: зато они не смогли найти ей никакой лучшей замены, чем политическое и национальное помешательство. Правда, этим они добились того, что сделались еще более интересными для других народов, чем были прежде благодаря образованности: так пускай этим и довольствуются! А между тем нельзя отрицать, что тогдашняя немецкая образованность обвела европейцев вокруг пальца и что она не была достойна такого интереса, даже такого подражания и ревностного усвоения. Стоило бы сегодня всмотреться в Шиллера, Вильгельма Гумбольдта, Шлейермахера, Гегеля, Шеллинга, стоило бы почитать их переписку и войти в широкий круг их приверженцев: что у них общего, что в них оказывает на нас, теперешних, такое то неприятное, то трогательное и сочувственное воздействие? Во-первых, старание любой ценой выглядеть морально *взволнованными*; во-вторых, пристрастие к блистательным, бескостным отвлеченностям вкупе с желанием видеть вещи красивее, чем они есть, причем всюду (характеры, страсти, эпохи, нравы), – «красивее», увы, в дурном, неопределенном вкусе, тем не менее кичившемся греческим происхождением. Это мягкий, благонравный, серебристо-мерцающий идеализм, хлопотавший главным образом о благородно поставленных жестах и благородно поставленном голосе, нечто столь же заносчивое, сколь и безобидное, одержимое душевным отвращением к «холодной» или «сухой» действительности, к анатомии, к цельным страстям, к любому виду сдержанности и скепсису в философии, но особенно – к естествознанию, если его нельзя употребить в целях религиозной символизации. На эту тенденцию немецкой образованности Гёте взирал на свой лад – отстраненно, с тайным сопротивлением, молчаливо, постоянно все больше укрепляясь на своем, лучшем пути. Несколько позднее ее наблюдал и Шопенгауэр – его глазам снова стал доступен большой уча-

сток действительного мира и дьявольщины мира, и он говорил об этом столь же грубо, сколь и восхищенно: ведь в этой дьявольщине была своя *красота*! – А что, в сущности, так сбивало с толку иностранцев, если они смотрели на это иначе, чем Гёте и Шопенгауэр, или попросту не замечали этого? Именно тот тусклый блеск, то загадочное галактическое сияние, что окружало эту образованность – и тогда иностранцы говорили себе: «Это очень, очень далеко от нас, мы здесь уже ничего не видим, не слышим, не понимаем, не способны ни наслаждаться, ни отвергать; но все же это, должно быть, звезды! Может, эти немцы втихомолку открыли на небе уголок и поселились там? Надо попробовать подобраться к немцам поближе». И к ним подобрались поближе: но чуть ли не сразу вслед за этим те же самые немцы усердно принялись избавляться от галактического сияния; они наконец догадались, что отнюдь не были на небесах – а просто витали в облаках!

191

Лучшие люди! – Мне говорят, будто наше искусство обращено к алчным, ненасытным, необузданным, разочарованным, душевно измученным современным людям, будто оно показывает им картину блаженства, возвышенной жизни и отречения от мира вместе с картиной их собственной испорченности, – так что те могут на миг забыться и вздохнуть с облегчением, даже, может быть, снова получить из этого забвения импульсы к бегству от мира и обращению. Бедные художники, если у них такая публика! Если у них такие то ли жреческие, то ли психиатрические скрытые мотивы! Насколько удачливей был Корнель – «наш великий Корнель», как говаривала госпожа де Севинье, по-женски восхищаясь настоящим *мужчиной*, – насколько выше *его* аудитория, которую он сумел облагодетельствовать образами ее же рыцарских добродетелей, сурового долга, великодушного самоотречения, героического обуздания! Насколько иначе любили они – он и она – жизнь, исходя не из какой-то слепой, смутной «воли», которую клянут, поскольку не могут ее умертвить, а как место, где *возможно* сосуществование

величия и человечности и где даже строжайшее насаждение внешних форм, подчинение произволу монарха и духовенства не могут подавить ни гордости, ни рыцарственности, ни грации, ни ума всех отдельных личностей, а ощущаются скорее как *соблазн и шпоры, подгоняющие в прямо противоположном направлении* – к врожденной суверенности личности и благородству, к наследственной силе воли и страсти!

192

Желать себе безупречных врагов. – Неоспоримо, что французы были *христианнейшим* народом на земле: не в том смысле, что массы были у них более верующими, чем в любом другом месте, а потому, что наиболее трудные для осуществления христианские идеалы воплощались у них в людей, не оставаясь только представлением, начинанием, полумерой. Вот, к примеру, Паскаль, по соединению пыла, ума и честности первый среди христиан, – подумать только, чтó тут должно было соединиться! Вот Фенелон, совершенное и завораживающее выражение *церковной культуры* во всех ее измерениях: золотая середина, к которой историки могли бы питать склонность как к тому, что невозможно засвидетельствовать фактами, а ведь она была всего лишь чем-то невыразимо трудным и невероятным. Вот госпожа де Гюйон среди подобных ей, французских квиетистов: ведь все, что красноречие и энтузиазм апостола Павла пытались выявить в полубожественном состоянии самого возвышенного духом, проникнутого любовью, экстатического христианина, тут стало действительностью, отбросив при этом ту иудейскую назойливость, с которой Павел обращался к Богу, – благодаря подлинной, женской, тонкой, благородной, старофранцузской наивности в слове и жесте. Вот основатель ордена траппистов, с последней серьезностью подошедший к аскетическому идеалу христианства – не как исключительный француз, а как истинный француз: ведь вплоть до сего дня его мрачное творение смогло прижиться и пустить крепкие корни только среди французов, последовав за ними в Эльзас и Алжир. Не забудем и о гугенотах: на земле не бывало еще более прекрасного соединения воинско-

го и трудолюбивого духа, утонченных нравов и христианской строгости. А в Пор-Рояле дала свой последний цвет великая христианская ученость: и великие люди во Франции понимают этот цвет лучше, чем где бы то ни было. У великих французов, далеких от того, чтобы быть поверхностными, все-таки всегда есть поверхность, естественная кожа для своего содержания, своих глубин, – в то время как глубины великих немцев по большей части содержатся в наглухо закрытых и замысловатых футлярах, словно какой эликсир, пытающийся защититься от света и беспечных рук жесткой и странной оболочкой. – А теперь отгадайте, почему этому народу совершенных типов христианина пришлось произвести на свет и их совершенных антиподов – нехристиан-вольнодумцев! Французские вольнодумцы постоянно боролись в себе с великими людьми, а не только с догмами и возвышенными уродцами, как вольнодумцы других народов.

193

Esprit[1] *и мораль.* – Немцы, отменно владеющие секретом того, как наводить скуку умом, знанием и чувством, и привыкшие воспринимать скуку как признак моральности, боятся, что французский *esprit* будет колоть морали глаза, – но их страх смешан с тягой, как у птиц перед гремучими змеями. Может быть, ни у кого из знаменитых немцев не было больше *esprit*, чем у *Гегеля*, – но зато у него был и такой огромный немецкий страх перед ним, который и стал виновником его оригинального скверного стиля. А суть его в том, что ядро заворчивается в пелены, заворачивается еще и снова, так что едва выглядывает из-под них, стыдливо и с любопытством, как «молодые женщины глядят сквозь покрывала», говоря словами старого женоненавистника Эсхила, – но ядро-то полно живого огня, нередко дерзких наитий о вещах наидуховнейших, это утонченное, отважное сочетание слов, какие полагается употреблять в *обществе мыслителей* в качестве гарнира к науке, – но, завернутое в пелены,

1 Живость ума, остроумие (*фр.*).

оно преподносит себя как самое науку, причем науку трудную, и поистине как в высшей степени моральную скуку! Тут немцы получили *разрешенную* им форму *esprit* и наслаждались ею с таким необузданным восхищением, что перед ним умолк здравый, очень здравый ум Шопенгауэра, – он всю жизнь бранил комедию, которую разыгрывали перед ним немцы, но ничем не мог ее себе объяснить.

194

Тщеславие моралистов. – Скромные в целом успехи моралистов объясняются тем, что они хотели слишком многого зараз, иными словами, что были чересчур честолюбивы: им во что бы то ни стало хотелось дать правила *для всех.* Но это означает витать в облаках и проповедовать животным, дабы сделать их людьми: не удивительно, что животные находят это скучным! Им надо было сузить свою аудиторию, найти и развивать мораль, рассчитанную на нее и, к примеру, читать проповеди волкам, чтобы сделать из них собак. Но большой успех всегда ждет главным образом того, кто стремится воспитывать не всех и не узкие круги, а одного, не глядя ни направо, ни налево. Прошедшее столетие превосходит наше именно тем, что тогда было множество таких индивидуально воспитанных людей, и столько же воспитателей, ощущавших такое воспитание как *задачу* своей жизни – а вместе с задачей и *достоинство,* в собственных глазах и в глазах всякого другого «хорошего общества».

195

Так называемое классическое образование. – Открыть для себя, что наша жизнь *посвящена* познанию; что мы свели бы с нею счеты – да нет, даже что мы сразу свели бы с нею счеты, если бы эта посвященность не защищала ее от нас; часто и потрясенно повторять про себя стихи:

> Судьба, я *иду* за тобою! А если б не шел –
> *Пришлось* бы и со стоном делать так!

– И вот, оглядываясь на пройденный жизненный путь, вновь открыть для себя, что кое-чего из сделанного уже никогда не воротишь: не воротишь растраченной юности, когда наши воспитатели воспользовались этими годами жажды знаний и душевного пыла не для того, чтобы подвести нас к *познанию* вещей, а для так называемого «классического образования»! Да, растрата нашей юности, когда нам сколь неуклюже, столь же и мучительно прививали крохи знаний о греках и римлянах и об их языках, и притом наперекор главнейшему принципу всякого образования: давать пищу лишь тем, *кто испытывает в ней острую нужду!* Когда в нас насильственно впихивали математику с физикой, вместо того чтобы для начала довести нас до отчаяния от собственного невежества и свести нашу мелкую будничную жизнь, наши действия с вещами и все, что совершается за целый день дома, в мастерской, на небе, на земле вокруг нас, к тысяче проблем, мучительных, посрамляющих, манящих проблем, – дабы после этого показать нашей жажде знаний, что нам прежде всего *необходимы* познания в математике и механике, а уж потом научить нас первому *восторгу*, который дает наука, – восторгу перед абсолютной логичностью этого рода знания! Если бы нас научили хотя бы только *почитать* эти науки, если бы нашу душу заставили *хоть раз* затрепетать перед зрелищем борьбы, поражений и новой борьбы великих, перед пыткой, каковую являет миру история *строгой* науки! А нам скорее невзначай внушали известного рода пренебрежение к подлинным наукам в пользу истории, «формального образования» и всего «классического»! И мы так легко дали себя обмануть! Формальное образование! Разве мы не могли показать пальцем на лучших учителей наших гимназий, со смехом спрашивая: «Ну и где же тут формальное образование? А коли его нет, разве они в состоянии его давать?» А уж это «классическое»! Разве мы усвоили что-нибудь из того, на чем воспитывали свою молодежь именно древние? Научились ли говорить, как они, писать, как они? Упражнялись ли беспрестанно в фехтовальном искусстве диалога – диалектике? Научились ли прекрасным и горделивым жестам, какие были свойственны им, научились ли борьбе, метанию, кулачному бою, которыми владели они? Усвоили ли хоть что-нибудь из аскезы, прак-

тиковавшейся всеми греческими философами? Приобрели ли навыки хоть в одной-единственной античной добродетели, и притом так, как их приобретали сами древние? А это слепое пятно всего нашего образования – полное отсутствие каких бы то ни было размышлений о морали, а уж тем более – их единственно возможной апробации: суровых и отважных попыток *пожить* с той или иной моралью! Разве нас побуждали развить в себе какое-нибудь чувство, которое древние ставили выше, чем это делает современность? Разве нас научили временам дня, временам жизни, сверхжизненным целям в античном духе? Разве мы хотя бы овладели древними языками так же, как языками нынешних народов, а именно, чтобы на них говорить, и говорить хорошо и свободно? И несколько лет тяжкого труда не увенчались никакими настоящими навыками, никакими новыми способностями! А увенчались только знанием о том, какие были навыки и способности у прежних людей! Да и что это за знание! От года к году не было для меня ничего все более ясного, чем то, что каким простым и общеизвестным ни казалось бы нам все греческое и античное вообще, на самом деле оно малопонятно, даже почти недоступно, и что обычная легкость, с какою говорят о древних, есть либо легкомыслие, либо старое наследственное чванство всякого бездумия. Сходные слова и понятия нас обманывают: но за ними всегда кроется ощущение, которое *должно быть* чуждым, непостижимым или мучительным для нынешненго ощущения. По мне, так все это площадки для мальчишеских игр! Хватит, мы все это проделали, когда были мальчишками, и чуть ли не навсегда вынесли с собою какое-то отвращение к древности, отвращение от якобы уж такого близкого личного знакомства! Ведь гордое самомнение наших наставников во всем классическом, воображающих, будто *древние у них за пазухой*, заходит так далеко, чтобы изливать свое чванство даже на наставляемых – вместе с подозрением, что таковая собственность вряд ли может дарить блаженством, а годится скорее для честных, бедных, придурковатых старых книжных драконов: «Вот и высиживайте свой клад! Он, конечно, вполне вас достоин!» – с этою тихой задней мыслью закончилось наше классическое обра-

зование. – Упущенного уже не вернуть – нам! Но не будем думать только о себе!

196

Интимнейшие вопросы истины. – «Да что это я, собственно, делаю? И чего тут нужно именно мне?» – вот вопрос истины, которому при нашем нынешнем типе образования не учат, а следовательно, и не спрашивают на уроках: на него никогда не хватает времени. А вот говорить с детьми о забавах, а не об истине, женщинам, будущим матерям, говорить любезности, а не об истине, с юношами – об их будущем и об их развлечениях, а не об истине, – для этого всегда найдутся и время, и охота! – Но что значат даже семьдесят лет! – они идут и скоро подходят к концу; мало толку в том, чтобы волна знала, как и куда ее несет! Да для нее умнее и *не знать* этого. – «Добавлю: но нет гордости в том, чтобы даже *не задаваться* таким *вопросом*; наше образование не дает людям гордости.» – Так тем лучше! – «Будто бы?»

197

Враждебность немцев к просвещению. – Оценим заново тот вклад, что в первой половине этого столетия немцы внесли в общечеловеческую культуру своей умственной работой, и поглядим, во-первых, на немецких философов: они вернулись вспять, на исходную и древнейшую ступень умозрения, поскольку довольствовались понятиями, а не объяснениями, подобно мыслителям дремавших эпох, – итак, они реанимировали донаучный вид философствования. Во-вторых, на немецких историков и романтиков: все их усилия сводились к тому, чтобы ввести в моду древнейшие, первобытные чувствования – и в особенности христианство, народный дух, народные легенды, народный язык, средневековье, восточную аскетику, Индию. В-третьих, на естествоиспытателей: они боролись против духа Ньютона и Вольтера и пытались, подобно Гёте и Шопенгауэру, вновь утвердить идею обожествленной или сатанинской природы

и ее абсолютной этической и символической значимости. Вся эта сильнейшая склонность немцев была направлена против просвещения и против революции общества, каковая в результате грубого просчета считалась его следствием: пиетет ко всему еще существующему стремился перейти в пиетет ко всему, что существовало, лишь для того, чтобы душа и разум вновь *заполнились* до предела, не оставляя места для замыслов, связанных с будущим, с обновлением. На месте культа разума был воздвигнут культ чувства, и немецкие композиторы, представляя искусство всего незримого, горячечно-восторженного, сказочного, томительно-страстного, строили новый храм успешнее, чем все мастера слова и мысли. Учтем и то, что там и сям было сказано и найдено очень много хорошего, и обо многом с тех пор судят справедливее, чем прежде: и все-таки, если говорить в целом, оставалась *немалая общая опасность*, что под видом полного и окончательного познания прошлого чувство оттеснит познание вообще и, по словам Канта, наметившего такую задачу лично себе, «вновь будет проторена дорога вере, поскольку знанию поставят границы». Теперь можно вздохнуть с облегчением: час этой опасности уже миновал! Но вот что странно: как раз те духи, что были с таким красноречием закляты немцами, надолго оказались наиболее губительны для замыслов самих заклинателей, – историческая наука, разумение зарождения и развития явлений, способность переживать прошлое, вновь проснувшаяся страсть чувства и познания, в течение некоторого времени казавшиеся лишь полезными спутниками все отуманивающего, горячечно-восторженного, все сводящего к первоэлементам духа, в один прекрасный день изменили свою природу – и вот на широчайших крылах проносятся мимо своих былых заклинателей и поверх них, став новыми, более сильными гениями именно того просвещения, против которого их некогда призвали к жизни заклинаньями. Это-то просвещение нам надо теперь развивать дальше, не заботясь о том, что против него-то и была предпринята «великая революция», а потом разразилась «великая реакция», мало того – о том, что то и другое еще существует: и все же это лишь рябь на воде в сравнении с тем могучим потоком, в коем плывем и хотим плыть мы!

198

Сделать своему народу имя. – Обладать множеством великих внутренних переживаний, покоя на них и поверх них умный взгляд, – вот что создает людей культуры, делающих своему народу *имя.* Во Франции и Италии это делала знать, в Германии, где знать до сей поры в целом принадлежала к нищим духом (может быть, уже ненадолго), это делали священники, учителя и их отпрыски.

199

Мы благороднее. – Верность, великодушие, страх перед диффамацией, связанные друг с другом в одном умонастроении, – мы считаем это джентльменским, аристократическим, благородным, и в этом превосходим греков. Мы упорно не желаем от этого отречься, исходя из ощущения, что древние объекты этих добродетелей уже не сто́ят такого уважения (и по праву), а совсем напротив, предусмотрительно указываем этому нашему драгоценному наследственному влечению новые объекты. – Чтобы представить себе, сколь мелким и жалким показалось бы умонастроение благороднейшего из греков в сравнении с нашим все еще рыцарским и феодальным аристократизмом, вспомните слова, которыми Одиссей утешает себя в своем постыдном положении: «Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело». А к сему добавьте как практическое приложение мифического образца историю о том афинском офицере, который на виду у всего генерального штаба угрожал другому палкой, а этот другой отвел от себя такой позор словами: «Бей! Но все-таки выслушай!» (Это был Фемистокл, тот многоопытный Одиссей классической эпохи, который в это мгновение позора вполне мог бы адресовать своему «сердцу» процитированный выше стих, созданный на случай утешения и бедственного положения.) Греки были далеки от того, чтобы столь легко относиться к жизни и смерти из-за оскорбления, как это делаем мы под впечатлением наследственной рыцарской тяги к риску и жертве; или чтобы искать поводов поставить то и другое на карту чести, как у

нас на поединках; или чтобы ставить сохранение доброго имени (чести) выше приобретения злого имени, если последнее совместимо со славой и чувством власти; или чтобы хранить верность сословным предрассудкам и догмам, если они мешают сделаться тиранном. Ведь неблагородный секрет всякого порядочного греческого аристократа таков: из сильнейшей ревности он ставит на одну доску с собою любого представителя своего сословия, но в каждое мгновение, словно тигр, готов обрушиться на добычу – насильно захваченную власть: и при этом он и глазом не моргнув пойдет на ложь, убийство, предательство, продажу отечества! Очень уж нелегко давалась людям такого рода справедливость, она считалась чем-то чуть ли не чудесным; «справедливый» звучало для греков примерно как «святой» для христиан. А уж когда Сократ произнес свое «Добродетельный счастливей всех», они не поверили ушам своим, полагая, что услышали человека помешавшегося. Ведь понятие о самом счастливом связывалось в уме любого человека благородного происхождения с абсолютной беззастенчивостью и лютостью тиранна, приносящего в жертву своей спеси и своей страсти всё и вся. Среди людей, втайне предающихся буйным фантазиям о таком счастье, уважение к государству, конечно, не могло пустить достаточно глубоких корней, – но я думаю, что людям, чье вожделение к власти бушует уже не так слепо, теперь не нужно и то идолопоклонство в отношении понятия государства, с помощью которого такое вожделение тогда держали в узде.

200

Переносить бедность. – Великое преимущество аристократического происхождения – в том, что оно позволяет легче переносить бедность.

201

Будущее знати. – Жесты людей из высшего общества говорят о том, что в их членах непрестанно идет восхитительная

игра сознания своей власти. Скажем, получивший благородное воспитание человек, все равно, мужчина или женщина, не любит плюхаться в кресло, словно валится с ног от усталости, он избегает делать то, что делают все, – устраиваться поудобней, к примеру, откидываться спиной на сиденье в вагоне, и кажется, что он не устает, если целые часы проводит на ногах при дворе, а свое жилище обустраивает не для уюта, но делает его просторным и торжественным, словно предназначенным для существ более крупных (и более долговечных), на вызывающие же речи отвечает с самообладанием и ясным умом, а не так, как плебеи, – устрашенные, раздавленные, покрасневшие, онемевшие. Умея создавать впечатление всегда наличной большой физической силы, он стремится посредством постоянной любезности и обязательности, даже в тяжелых ситуациях, поддерживать впечатление, что его дух и ум всегда готовы к опасностям и внезапным поворотам событий. Аристократическую культуру в отношении страстей можно уподобить или всаднику, испытывающему наслаждение, когда пускает лошадь горячую и гордую испанским шагом (представьте себе век Людовика Четырнадцатого), или всаднику, чувствующему, как лошадь бешено несет его, подобно стихии, на грани, за которой и лошадь, и всадник теряют голову, но испытывающего блаженство от того, что голова еще на плечах: в обоих случаях аристократическая *культура* дышит властью, и если в своих обычаях она очень часто требует хотя бы только видимости чувства власти, все же благодаря впечатлению, производимому этой игрою на неаристократов, и зрелищу результатов этого впечатления в ней постепенно растет настоящее чувство превосходства. – Это неоспоримое счастье аристократической культуры, зиждущееся на ощущении превосходства, сегодня начинает подниматься на еще более высокую ступень, ведь отныне, благодаря всем свободным умам, рожденным и воспитанным во дворянстве, дозволяется – и не с позором, как прежде, – вступить в орден познания, дабы пройти там более духовные ступени посвящения, обучиться рыцарскому служению, более высокому, чем доселе, и увидеть над собою тот идеал *торжествующей мудрости*, который еще ни одна эпоха не могла ставить перед собою со столь чистой совестью, как

именно та, что вот-вот придет. И наконец: чем же впредь заниматься знати, если день ото дня становится все яснее, что заниматься политикой для нее – дело *непристойное*? –

202

О гигиене. – Ученые едва начали задумываться о физиологии преступников, но для них уже совершенно очевидно, что нет существенной разницы между преступниками и душевнобольными: разумеется, это так, только если *верить* в то, что *обычная* моральная точка зрения есть точка зрения *душевного здоровья.* Но поскольку ни во что теперь не верят охотней, чем в это, никто уже не чурается делать отсюда свои выводы, обращаясь с преступниками, как с душевнобольными: прежде всего не с высокомерным милосердием, а со сметливостью врача, с доброй волей врача. Ему нужна перемена климата, общества, а иногда требуется уйти, может быть, побыть одному, найти себе новое занятие – прекрасно! Может быть, он и сам сочтет за лучшее для себя пожить какое-то время в заключении, чтобы таким образом защититься от себя и своего обременительного *тиранического влечения,* – прекрасно! Следует совершенно открыто изложить ему возможности и средства исцеления (искоренения, преобразования, сублимации этого влечения), а также – в запущенных случаях – несбыточность исцеления вообще; неисцелимому преступнику, внушающему ужас и самому себе, надо дать возможность покончить с собой. Это крайнее средство помощи – но следует пускать в ход все, чтобы только вернуть преступнику присутствие духа и внутреннюю раскованность; надо отмыть с его души угрызения совести, словно это вопрос чистоплотности, и показать ему, как возместить, и возместить сторицей, ущерб, который он нанес, может быть, одному, делая добро другому, а может быть, даже всем. И во всем должно быть крайне бережное отношение к нему! А в особенности в том, что касается анонимности, возможности сменить имя и часто переезжать с места на место, дабы сколько можно уменьшить опасность, грозящую его незапятнанной репутации и дальнейшей жизни. Конечно, и сегодня тот, кто претерпел какой-то ущерб,

жаждет *мести* независимо от того, как этот ущерб может быть возмещен, и с такой целью обращается к судам, – а это до поры до времени все еще поддерживает нашу отвратительную систему наказаний вместе с ее торгашескими весами и *желанием уравновесить на них преступление и наказание*: но неужто нам нельзя попытаться покончить с этим? Какой груз свалился бы с общего жизнеощущения, если бы вместе с верой в вину удалось отделаться и от древнего инстинкта мести и считать прямо-таки удачною находкой умение по-христиански благословлять своих врагов и *делать добро* тем, кто нас оскорбил! Так выбросим вон понятие *греха* – а вослед ему пошлем и понятие *кары*! И пусть эти изгнанные чудища отныне живут себе где угодно, только не среди людей, если им вообще захочется жить, а не подохнуть от отвращения к себе! – Меж тем поразмыслим над тем, что ущерб, который общество и индивиды несут от преступников, во всем подобен ущербу, который они несут от больных: больные создают проблемы, вызывают депрессии, они ничего не производят, а только поглощают произведенное другими, они нуждаются в санитарах, врачах, уходе и живут за счет времени и сил здоровых. И все-таки того, кто захотел бы *отомстить* за это больным, нынче посчитали бы человеком негуманным. Правда, прежде так и делали; в ранних культурах, да еще и теперь у некоторых диких народов на больных действительно смотрят как на преступников, как на угрозу для сообщества и обиталище какого-то демонического существа, вселившегося в них вследствие их прегрешений, – поэтому там считают, что каждый больной согрешил! Ну а мы – неужто мы еще не созрели для противоположного воззрения? Неужто нам еще нельзя сказать: любой «согрешивший» болен? – Нет, этот час еще не пробил. И прежде всего нет еще врачей, в глазах которых то, что мы называли доселе практической моралью, превратилось бы в раздел их врачебного искусства и науки; еще нет всеобщего жгучего интереса к этим темам, который некогда, возможно, будет напоминать о буре и натиске прежних религиозных волнений; церкви еще не располагают санитарами – попечителями здоровья; учение о теле и о диете еще не входит в программы всех начальных и высших школ; еще не существует молчаливых объединений тех, что сговори-

лись между собою отказаться от помощи судов, от наказаний и мести своим обидчикам; еще ни один мыслитель не набрался мужества судить о здоровье общества и отдельных личностей по тому, как много паразитов они в состоянии выдержать, и еще не нашелся такой основатель государства, который вел бы свой лемех в духе следующего великодушного и мягкосердечного изречения: «Коли хочешь возделывать землю, возделывай ее плугом: польза от тебя будет и птице и волку, идущему за твоим плугом, – *польза от тебя будет всей твари земной*».

203

Против скверной диеты. – Черт побери эти трапезы, которые люди устраивают нынче в гостиницах и вообще повсюду, где собираются представители состоятельного класса общества! Даже когда сходятся высокоуважаемые ученые, стол им накрывают по тому же обычаю, что и стол банкира: по принципу «изобилия» и «всякой всячины», – откуда следует, что блюда готовятся в расчете на эффект, а не на полезное действие, а возбуждающие напитки призваны изгнать чувство тяжести в желудке и мозге. Черт возьми, какое истощение и чрезмерная чувствительность должны оказаться общими следствиями всего этого! Черт возьми, что за сны им, вероятно, снятся! Черт возьми, какие искусства и книги подадут на десерт после таких трапез! Да пусть их творят, что хотят: их поступки будут заправлены перцем, непоследовательностью или разочарованием! (Богатому классу в Англии, чтобы выносить желудочные расстройства и головные боли, требуется христианство.) Наконец, чтобы показать не только отвратительную, но и увеселительную сторону дела, все эти люди – отнюдь не чревоугодники; наше столетие с его сугубой суетностью распоряжается их членами больше, чем их собственные желудки: так в чем же суть этих трапез? – *Они представляют!* А что, во имя всех святых? Свое сословие? – Ну нет: *деньги* – сословия у них больше нет! Они теперь «личности»! А деньги – это власть, слава, уважение, первенство, влиятельность; теперь большие или маленькие моральные предрассудки о человеке

создаются деньгами – смотря по тому, сколько их у него! Никто не захочет зарывать их в землю, никто не пожелает поставить их на стол; следовательно, у денег должен быть какой-нибудь представитель, который можно поставить на стол: см. наши трапезы! –

204

Даная и бог в золотом дожде. – Откуда этот невыносимый зуд, что нынче толкает человека на преступление в обстоятельствах, которые соответствовали бы скорее тяге к противоположному? Ведь когда этот пользуется фальшивыми весами, тот поджигает свой дом, застраховав его на высокую сумму, а третий соучаствует в чеканке фальшивой монеты, когда три четверти людей высшего общества предаются узаконенному обману и поневоле делят нечистую совесть с биржевиками и спекулянтами, – то что ими движет? Отнюдь не настоящая нужда, ведь они не так уж и бедствуют, может быть, даже едят и пьют в свое удовольствие, – но какое-то ужасающее беспокойство, что деньги растут слишком медленно, и столь же ужасающее наслаждение от скопленных денег и любовь к ним и днем и ночью не дают им покоя. Но в этом беспокойстве, в этой любви вновь проявляется тот фанатичный *зуд власти*, который некогда был воспламенен верой, будто можно завладеть истиной, и носил столь прекрасное имя, что внушил отвагу творить бесчеловечное *с чистою совестью* (предавать огню евреев, еретиков и хорошие книги, а также стирать с лица земли целые высокоразвитые культуры, каковы перуанская и мексиканская). Поменялись способы утолять зуд власти, но все еще извергается тот же вулкан; зуд и непомерная любовь жаждут себе жертв: и то, что прежде делали «из покорности Божьей воле», теперь делают из покорности деньгам, то есть из покорности тому, что *сейчас* дает наивысшее чувство власти и чистую совесть.

205

О народе Израиль. – К зрелищам, на которые мы приглашены следующим столетием, относится окончательное решение судеб европейских евреев. Что они бросили свой жребий, что перешли свой Рубикон, видно невооруженными глазами уже теперь: им осталось только или завладеть Европой, или покинуть ее, как во время оно покинули они Египет, где поставили перед собою подобный выбор. Но в Европе они за восемнадцать столетий прошли такую школу, какой не может похвастаться ни один другой здешний народ, и притом так, что опыт этой ужасной поры испытаний пошел на пользу как раз не всему их сообществу, а – по этой именно причине тем больше – отдельным личностям. Потому-то душевные и умственные запасы прочности у нынешних евреев достигли небывалых размеров; в беде они реже, чем кто бы то ни было другой в Европе, хватаются за рюмку или кончают с собою, чтобы не увязнуть в беде еще глубже, – к чему так склонны люди не столь одаренные. В истории отцов и праотцов у каждого еврея есть кладезь примеров ледяной рассудительности и выдержки в ужасающих положениях, хитроумнейших способов обмануть и использовать в своих интересах несчастье и случай; их смелость под личиной жалкого сервилизма, их героизм в *spernere se sperni* затмевают добродетели всех святых. Их хотели сделать презренными, в течение двух тысяч лет обращаясь с ними как с презренными, закрывая им дорогу ко всем почестям, ко всему почтенному, и тем самым все ближе подталкивая их к занятиям нечистым, – от этой процедуры они и впрямь не сделались чистоплотней. Но при чем же тут презренность? Сами они никогда не переставали верить в свое высшее призвание – и точно так же их не переставали украшать добродетели всех страждущих. Манера, в какой они уважают своих отцов и детей, здравый смысл их браков и брачных обычаев выделяют их из всех народов Европы. Ко всему прочему они умеют извлекать чувство власти и вечной мести как раз из тех занятий, которые им предоставили (или на которые их обрекли); следует сказать даже в извинение их ростовщичества, что без такой по обстоятельствам приятной и полезной пытки своих презрителей им было бы

нелегко столь долго сохранять самоуважение. Ведь наше уважение к себе связано с тем, что мы в состоянии отплатить и за добро, и за зло. При этом они заходят в своей мстительности не слишком далеко: ведь всем им присущ либерализм, в том числе и либерализм души, какой воспитывает в человеке частая перемена места, климата, обычаев, соседей и угнетателей, а у них куда больше опыта во всякого рода человеческом общении, так что даже испытывая страсти, они пользуются осмотрительностью, почерпнутой из этого опыта. Они так уверены в своей умственной гибкости и многоопытности, что им никогда, даже в самых отчаянных положениях, не приходится добывать свой хлеб физической силой, вступая в ряды чернорабочих, грузчиков или батраков. По их манерам видно, кроме того, что они никогда не были наделены рыцарски-аристократическими душевными качествами и не носили красивого оружия: назойливость сменяется в них нередко деликатным, но почти всегда вызывающим неловкость сервилизмом. Но теперь, когда им приходится год от году все больше родниться с высшей европейской знатью, они вскоре получат хорошее наследие в виде душевных и телесных манер и через сто лет приобретут уже довольно благородный вид, чтобы, сделавшись господами, не заставлять подчиненных *стыдиться* за себя. А поэтому сегодня преждевременно было бы предрешать для них исход дела! Они сами лучше всех знают, что нечего и думать об их владычестве в Европе и о каком бы то ни было насилии с их стороны: разве что когда-нибудь Европа вдруг захочет, словно дозревший плод, сама упасть им в руки, которые стоит только подставить. А между тем им для этого необходимо получать призы на всех европейских ристалищах и пробиваться в первые ряды, пока они наконец не дойдут до того, чтобы самим определять, что будет призом. Тогда-то их станут называть изобретателями и первопроходцами европейцев, и они больше не будут оскорблять их стыдливость. А во что же тогда влиться всему этому преизбытку накопленных великих впечатлений, который являет собою история евреев для любой еврейской семьи, этому преизбытку страстей, добродетелей, решимостей, отречений, битв и побед всякого рода, – во что же им влиться напоследок, если не в великих людей

и в великие творения духа! И вот тогда, когда евреи смогут предъявить такие самоцветы и золотые сосуды своих творений, каких не могут и не смогли создать европейские народы с их менее длительным и менее глубоким опытом, когда Израиль преобразит свою вечную месть в вечное благословение для Европы, – тогда-то вдруг снова наступит тот седьмой день, в который древний Бог иудеев сможет *возрадоваться* самому себе, своему творению и своему избранному народу, – и вместе с ним давайте возрадуемся мы все, все!

206

Невозможное положение. – Бедность, веселье и независимость! – такая комбинация возможна; бедность, веселье и рабство! – и это возможно, – и рабочим, этим фабричным рабам, я ничего хорошего сказать н е могу: положим, они вообще не считают *постыдным*, что, как это и происходит, их *используют* в качестве машинных гаек и как бы эрзацев человеческой изобретательности! Черт возьми! Не считается постыдным думать, будто высокое жалованье способно устранить *самое главное* в их жалком положении – я имею в виду их безличное порабощение! Черт возьми! Не считается постыдным согласиться, что позор рабства может превратиться в добродетель через усиление этой безличности в рамках машинообразной работы некоего нового общества! Черт возьми! Оцениваться суммой, за которую можно перестать быть личностью и сделаться гайкой! Неужто вы вошли в заговор нынешней глупости народов, сильнее всего на свете желающих как можно больше производить и богатеть? Вашим долгом было бы – предъявить им встречный счет: как много *внутренней* ценности бесполезно тратится на достижение такой внешней цели! Но где она, ваша внутренняя ценность, если вы даже не знаете, что такое вздохнуть полной грудью? Если не распоряжаетесь собой даже в случае острой необходимости? Если почти всегда гнушаетесь собой, словно выдохшимся напитком? Если всерьез относитесь к написанному в газетах и коситесь на богатого соседа, если испытываете зуд от быстрых взлетов и падений власти, денег и мнений? Если не доверяете философии,

одетой в лохмотья, в искренность человека без претензий? Если добровольная идиллическая бедность, отсутствие ремесла и семьи, каковая как раз подобала бы наиболее умственно развитым среди вас, сделалась для вас посмешищем? Зато вы постоянно ловите ухом дудку социалистических крысоловов, которые стараются разжечь в вас безумные надежды! Которые велят вам быть *готовыми*, и больше ничего, готовыми каждый день, а потому вы ждете и ждете чего-то, что придет откуда-то извне, живя совершенно обыкновенно, как вы и привыкли жить, – покуда это ожидание не станет голодом, жаждой, горячкой и бредом, и покуда, наконец, не придет во всем своем великолепии день *bestia triumphans*[1]! – А ведь каждый должен думать про себя: «Уж лучше куда-нибудь бежать отсюда, попробовать стать *хозяином* в диких и девственных местах планеты, и всего прежде – хозяином себе; ходить по земле до тех пор, пока я не перестану замечать в себе хоть малейший признак рабства; не гнушаться опасностей и войн, а на крайний случай держать в запасе добровольную смерть: только бы не влачить это постыдное рабство, только бы прекратить киснуть, тухнуть и входить в заговоры!» Вот что было бы правильным умонастроением: рабочие Европы должны понять себя отныне *как положение*, невозможное для человека, а не просто, как это по большей части и происходит, в качестве чего-то установленного прочно, но неправильно; им надо бы стать застрельщиками эпохи великого роения в европейском улье, эпохи, какой еще не бывало на свете, и этим актом всемирного разлета выразить протест против машины, капитала и грозящего им нынче выбора – *быть вынужденными* сделаться рабами либо государства, либо какой-нибудь революционной партии. И пусть Европа стала бы легче на четверть своего населения! И ей, и им полегчало бы от этого на сердце! Лишь там, вдали, где осуществляются начинания роящихся когорт колонистов, станет по-настоящему ясно, сколько здравого смысла и верности в суждениях, сколько здоровой недоверчивости дала матушка Европа своим сыновьям – тем самым сыновьям, что не выдержали жизни рядом с нею, одуревшей старой бабой, потому что риско-

---

1 Торжествующего хама (лат.).

вали сделаться такими же брюзгливыми, возбудимыми и сибаритствующими, как она сама. За пределами Европы эти рабочие на своем пути не расстанутся с ее добродетелями; и то, что в родных краях начало вырождаться в опасное недовольство и тягу к преступности, на чужбине обернется первозданной, прекрасной естественностью и будет равнозначно героизму. – Тогда наконец очистился бы и воздух в старой, сейчас перенаселенной и задыхающейся Европе! Пусть, на худой конец, тогда стала бы ощутимой некоторая нехватка «рабочей силы»! Тут-то, может быть, шевельнулось бы сознание того, что привычка иметь множество потребностей появилась лишь с тех пор, как стало очень *легко* их удовлетворять, – тогда начнется отвыкание от некоторых потребностей! А не то, может быть, удалось бы импортировать *китайцев*, которые привезли бы с собою образ мыслей и жизненный уклад, подобающие трудолюбивым муравьям. Мало того, они в целом смогли бы оказаться полезными в деле прививки беспокойной и изнуряющей себя Европе порции азиатского покоя и созерцательности, а также – что, наверное, нужнее всего – азиатской *долговечности*.

207

Отношение немцев к морали. – Немец способен на большие дела, да только никогда не случается, чтобы он их совершал: ведь он привык повиноваться, *где только можно*, потому что это приятно косному уму вообще. Если нужда заставляет его решать проблемы на свой страх и риск, отбросив косность, для него уже невозможно раствориться цифрою в общей сумме (в этом качестве ему очень далеко до французов и англичан), – тогда-то он и проявляет свои способности: становится опасным, злым, глубоким, дерзким и пробуждает спавшие в нем запасы энергии, которые носит в себе и о которых в иных обстоятельствах никто (в том числе и он сам) и не подумал бы. Если уж в таком случае немец и повинуется – а это бывает лишь в виде редчайшего исключения, – то делает это с такой же тяжеловесностью, неумолимостью и медлительностью, с какой обычно по-

винуется своему монарху или служебному долгу: вот тут-то, как сказано, ему становятся по плечу *большие* дела, никак не соотносимые со «слабохарактерностью», какую он видит в себе. Но обыкновенно он боится зависеть *только от себя*, то есть *импровизировать*: поэтому-то Германии нужно так много чиновников, так много чернил. – Легкомыслие ему чуждо, для него он слишком боязлив; но в положениях совершенно неожиданных, вытаскивающих его из спячки, он становится *чуть ли* не легкомысленным; тогда он смакует необычность нового положения, словно хмель, а уж в хмеле-то он разбирается! Поэтому в политике немцы сегодня чуть ли не легкомысленны: если предрассудок об основательности и тут играет им на руку и они широко используют его в политических сношениях с другими державами, то в глубине души они все-таки преисполнены шаловливой мысли вдруг размечтаться, засбоить и удариться в авантюры, меняя людей, партии и надежды, словно маски. – Немецкие ученые, доселе внушавшие к себе почтение как немцы образцовые, были и остаются, может быть, на одном уровне с немецкими солдатами, потому что питают глубокое, почти детское уважение к послушанию во всем, что касается поведения, и испытывают неодолимую тягу занимать в науке сугубо особую позицию и очень многое на себя брать; если они умеют добиться гордости, простоты и терпеливости, а также отстраниться от политического шутовства во времена, когда ветер начинает дуть в другую сторону, то, надо думать, они способны и на большее: в своем нынешнем (или былом) виде они являют собою эмбриональное состояние чего-то *более высокого*. – Выигрышной и слабой сторонами немцев доселе было то, что суеверие и веролюбие им свойственны больше, нежели иным народам; их пороки, и прежде, и теперь, – пьянство и склонность к самоубийству (последнее – признак умственной неуклюжести, в мгновение ока способной сорваться с цепи); для них опасно все то, что сковывает рассудок и расковывает аффекты (как, скажем, неумеренное потребление музыки и духовных напитков): ведь немецкий аффект направлен против собственного блага и разрушает себя, как аффект пьянчуги. Даже воодушевление в Германии стоит меньшего, чем где бы то ни было, потому что оно бесплодно. Если немцы

где и вершили большие дела, то бывало это в чрезвычайных ситуациях, когда они впадали в отвагу, стискивали зубы, напрягали рассудок, а часто и великодушие. – Пожалуй, можно рекомендовать с ними водиться, ведь у каждого немца есть что *дать*, если сумеешь довести его до того, что он *отыщет, откопает* это (а он внутренне неряшлив). – И вот когда такой народ займется моралью, то какова же будет мораль, удовлетворяющая именно его? Первым делом, несомненно, в ней будет идеализирована его сердечная склонность к послушанию. «У человека должно быть то, чему он смог бы *безусловно повиноваться*» – это у немцев в характере, это немецкая логика: ее можно углядеть в самой основе всех немецких моральных догм. Совершенно другое впечатление производит мораль античная, взятая в ее целом! Все эти греческие мыслители, сколь разными ни представали бы они перед нами, в качестве моралистов кажутся похожими на учителя гимнастики, призывающего ученика: «Пойдем-ка со мной! Учись у меня! Слушайся меня! Тогда, может быть, ты дорастешь до того, чтобы стяжать всеэллинскую награду!». Персональное отличие – это и есть античная добродетель. Гнуть спину, идти по готовой колее, не скрываясь или тайком, – это добродетель немецкая. – Задолго до Канта с его категорическим императивом Лютер, руководствуясь тем же чувством, сказал: должно быть существо, к которому человек мог бы питать полное доверие, – это было его *доказательством бытия Бога*, он, на более простецкий и мужицкий лад, чем Кант, требовал подчинения не понятию, а личности; да в конце концов и Кант предпринял свой обходной маневр вокруг морали лишь для того, чтобы прийти к *личному послушанию*: это и есть культ немцев, и в тем большей мере, чем меньше у них остается от культа в религии. Греки и римляне смотрели на вещи иначе, а услышав таковое «*должно быть* какое-то существо», только язвительно расхохотались бы: сама их южная душевная раскрепощенность велела им удерживаться от «безусловного доверия» и оставлять себе в самом укромном уголке сердца каплю скепсиса в отношении всего и вся, будь то бог, человек или понятие. Вот вам античный философ! *Nil admirari*[1] – вся

---

1 Ничему не удивляться (*лат.*) – Гораций. Послания. I 6, 1.

философия для него в этом принципе. Немец же, а именно Шопенгауэр, заходит в противоположную сторону так далеко, что заявляет: *admirari id est philosophari*[1]. – Ну а что же будет, если немцы вдруг, как это бывает, окажутся в состоянии, когда им по плечу *большие дела*? Если пробьет час для исключения из правил, час непослушания? – По-моему, Шопенгауэр не прав, утверждая, будто единственное преимущество немцев перед другими народами в том, что среди них больше атеистов, чем где бы то ни было: я-то думаю, что уж коли немцы окажутся в состоянии, когда им по плечу большие дела, *они всякий раз будут подниматься над моралью*! Почему бы и нет? Сегодня они должны сделать что-то новое, а именно приказать – себе или другим! Но их немецкая мораль не научила их приказывать! О приказах-то она и забыла!

---

1 Удивляться – значит философствовать (*лат.*). См. прим.

Книга четвертая

208

Вопрос совести. – «Ну, а in *summa*, чего вы, собственно, хотите сделать нового?» – Мы больше не хотим делать причины грешниками, а следствия – палачами.

209

О пользе строжайших теорий. – Человеку прощают множество моральных слабостей, но при этом орудуют грубым решетом, предполагая, что он всегда исповедует строжайшую из *моральных теорий*! А вот жизнь моралиста-вольнодумца всегда рассматривают через микроскоп – с задней мыслью, что осечка жизни есть надежнейший довод против непрошеного познания.

210

«Само по себе». – Прежде задавались вопросом: «Что такое смешное?», будто вне нас существуют вещи, которым присуще качество смешного, и до потери сил гадали об этом (один теолог даже думал, что это – «наивность в греховности»). Сегодня задаются вопросами: «Что такое смех? Как возникает смех?» Поразмыслив, наконец заключили, что не бывает ничего доброго, прекрасного, возвышенного, злого самого по себе, а бывают только душевные состояния, находясь в которых мы обозначаем такими словами вещи вне и внутри нас. Мы *забрали* у вещей назад предикаты – или по крайней мере вспомнили, что дали им предикаты взаймы: будем внимательны, чтобы, поняв это, не утра-

тить *способности* давать взаймы и чтобы в одно и то же время становиться *богаче* и *скупее.*

211

Мечтающим о бессмертии. – Так вы, стало быть, желаете, чтобы *вечно длилось* это ваше распрекрасное «я»? Ну не бесстыдство ли это? А не забыли ли вы обо всех других вещах, которым пришлось бы тогда *терпеть* вечно *вас*, как доселе вы терпели себя с более чем христианскою выдержкой? Или вы думаете, будто сможете внушить им вечную симпатию к себе? А ведь хотя бы одного-единственного бессмертного человека на земле хватило бы, чтобы наскучить всему остальному до повального желания умереть, повеситься! И вы, жители земли, со своим понятьицем, существующим несколько тысяч минут времени, хотите вечно обременять собою вечное всеобщее существование! Это же верх назойливости! – И напоследок: будем милосердны к семидесятилетним существам! – они не смогли воспользоваться воображением, чтобы представить себе *собственную* «вечную скуку»: им не хватило времени!

212

Как узнать, на что ты способен. – Животное, едва завидев другое животное, внутренне соизмеряет себя с ним – точно так же поступали и люди в доисторическое время. Из этого следует, что каждый человек узнает себя тут почти исключительно в отношении своих способностей к обороне и атаке.

213

Люди с незадавшейся жизнью. – Одни слеплены из такого *теста*, что общество может *делать* из них что угодно: при этом они будут чувствовать себя хорошо в любых обстоятельствах, не сетуя на свою незадавшуюся жизнь. Другие созда-

ны из слишком особенного материала – поэтому ему даже не надо быть каким-то особенно благородным, пусть он будет только необычным, – чтобы не чувствовать себя плохо, за одним исключением, когда они умеют согласовывать жизнь со своей единственной целью: во всех прочих случаях обществу от этого один ущерб. Ведь все, что такому человеку кажется незадавшейся, неудачной жизнью, все это бремя уныния, бессилия, недомогания, возбудимости, похоти, он проецирует на общество, благодаря чему вокруг последнего образуется скверная, спертая атмосфера или в самом лучшем случае грозовое облако.

214

Снисходительность? Еще чего! – Вы страдаете и требуете, чтобы мы проявляли к вам снисходительность, когда, страдая, вы обижаете вещи и людей! А что толку в нашей снисходительности! Это вам следует быть *предусмотрительными* ради себя же! Вот прекрасный способ вознаградить себя за страдание так, чтобы заодно *ущемить себе суждение*! Клевеща на что-нибудь, вы рикошетом получаете обратно свою месть; зрение мутится *у вас же*, а не у других: а вы приучаете себя *глядеть не туда и косо*!

215

Мораль жертвенных животных. – «С восторгом отрекаться от себя», «приносить себя в жертву» – вот лозунги вашей морали, и я охотно верю, что вы, по собственным вашим словам, «совершенно искренни»: но я-то знаю вас лучше, чем вы сами, когда ваша «искренность» оказывается способной идти рука об руку с такой моралью. С ее горних высей вы смотрите вниз, на другую, более трезвую мораль, требующую самообладания, суровости, повиновения. Вы, наверное, называете ее даже эгоистической, да и понятно почему – вы *искренни* с собою, когда она вам не нравится, – она и *должна* вам не нравиться! Ведь с восторгом отрекаясь от себя и принося себя в жертву, вы пьянеете от мысли,

что отныне будете заодно с власть имущими, будь то бог или человек, которому вы преданно служите: вы отдаетесь чувству его власти, которая, в свою очередь, подтверждена жертвой. А на самом деле вам только кажется, что вы жертвуете, вы скорее мысленно преображаете себя в богов и наслаждаетесь собою в таком виде. С точки зрения такого наслаждения какою слабой и бедной видится вам та, другая, «эгоистическая» мораль повиновения, долга, рассудительности: она вам не нравится, потому что тут действительно нужно жертвовать и отрекаться, причем жертвователь *не* мнит себя преображенным в бога, как мните вы. Короче говоря, *вам* нужны опьянение и чрезмерность, а та, презираемая вами мораль, *замахивается* на опьянение и чрезмерность, – я охотно верю вам в том, что она доставляет вам неудобство!

216

Злые и музыка. – Неужто все блаженство любви, состоящее в *безусловном доверии*, может когда-либо выпасть на долю иных людей, чем глубоко недоверчивых, злых и желчных? Ведь они вкушают в ней чудовищное, несбыточное для ума и невероятное *исключение* из своей души! В один прекрасный день на них снисходит то безбрежное, снoподобное ощущение, от которого так отличается вся их остальная, и скрытая и явная, жизнь: оно подобно драгоценной тайне и чуду, полными золотого сияния и выходящими за пределы всех слов и образов. Тот, кто питает безусловное доверие, нем как рыба; мало того, в этой блаженной немоте есть даже страдание и тяжесть, потому-то и такие, придавленные счастьем души бывают обыкновенно более благодарными музыке, чем все другие, лучшие: ведь сквозь музыку, словно через цветной дым, они видят и слышат свою любовь словно *отдалившейся*, более трогательной и менее тяжкой; музыка для них – единственный способ *наблюдать* за своим чрезвычайным состоянием, впервые увидев его со своего рода отчужденностью и облегчением. Каждый любящий, слушая музыку, думает: «Она говорит обо мне, она говорит вместо меня, *она знает все*!»

217

Художник. – Немцы хотят благодаря художнику войти в состояние своего рода выдуманной страсти; итальянцы хотят отдохнуть благодаря ему от своих настоящих страстей; французы ждут, что он даст им удобную возможность доказать свое мнение и случай высказаться. Так вот: будем же справедливы!

218

Управляться со своими слабостями, как художник. – Если мы, положим, обладаем одними слабостями, а в конце концов вынуждены даже признать их своими законами, то я пожелаю каждому хотя бы столько художнической силы, чтобы он сумел сделать из слабостей фон для своих добродетелей, чтобы благодаря своим слабостям он сумел заставить нас жаждать своих добродетелей: это то, что в столь необычной мере понимали великие композиторы. Как часто в музыке Бетховена звучит грубость, своеволие, нетерпеливость, у Моцарта – жовиальность славного малого, которою и приходится в какой-то мере довольствоваться нашему сердцу и уму, у Рихарда Вагнера – слабовольное и назойливое смятение, от которого и самого терпеливого так и тянет *сразу* впасть в уныние: но *тут* он возвращается к своей силе, точно так же, как и те; все они своими слабостями пробудили в нас волчий голод по своим добродетелям и сделали наши языки в десять раз более чувствительными к каждой капле звучащего духа, звучащей красоты, звучащей доброты.

219

Обман самоуничижения. – Своей глупостью ты причинил ближнему глубокое горе и безвозвратно разрушил его счастье – и вот тщеславие заставляет тебя пойти к нему, ты унижаешься перед ним, рвешь на себе волосы, каясь в своей глупости, и мнишь, будто после этой неприятной, крайне тягостной для тебя сцены все, в сущности, снова в полном

порядке: твоя добровольная потеря чести компенсирует недобровольную потерю счастья тем, другим: с таким чувством ты возвращаешься домой довольный и с восстановленной добродетелью. Но другой-то страдает от своего глубокого горя, как и прежде, и для него нет ровно ничего утешительного в том, что ты глуп и признаешь это; мало того, он вспоминает мучительную сцену, которую ты разыграл перед ним, когда рвал на себе волосы, как новую рану, нанесенную тобою, – но он не думает о мести и не понимает, есть ли вообще какие-нибудь пути *примирения* между вами. В сущности, ты исполнил эту сцену перед собой и для себя: для этого ты пригласил зрителя, и опять-таки ради себя, не ради него, – не обманывай же себя!

220

Почести и трусость. – Церемонии, служебные и сословные костюмы, серьезные мины, торжественные лица, медленная поступь, витиеватые речи и вообще все, что зовется почестями: да ведь это способ притворства тех, что, по сути дела, трусливы, – они хотят внушать этим страх (перед собой или тем, от имени чего выступают). Людям бесстрашным, а изначальное значение этого слова – всегда и безусловно внушающие страх, – почести и церемонии ни к чему; они сами делают славными, а еще больше бесславными и честность, и прямоту в словах и поступках, эти признаки человека, уверенного в том, что внушает страх.

221

Моральность жертвы. – Моральность, определяемая самопожертвованием, стоит на ступени полуварварской. Разум тут одержал лишь трудную и кровавую победу внутри души, и нужно еще разгромить мощные противоположные влечения; без некоторой жестокости, как при жертвоприношениях, какие требуют себе каннибальские боги, тут никак не обойтись.

223

Устрашающий взгляд. – Ничего не боятся художники, поэты и писатели так сильно, как того взгляда, который видит их *маленький обман*, который задним числом замечает, сколько раз они стояли на перепутье, откуда могли пойти либо к невинному наслаждению собой, либо к желанию произвести эффект; который ловит их на том, что дешевое они пытались сбыть втридорога, что хотели возвыситься и украситься, не будучи возвышенными сами; который сквозь все обманы их искусства улавливает его идею в таком виде, в каком она предстала им вначале, – то ли как восхитительная сияющая фигура, а то ли как всесветный плагиат, как обыденная мысль, которую им пришлось растягивать, урезать, подкрашивать, закутывать, присаливать, дабы сделать из нее что-то – и это вместо того, чтобы она сделала что-то из них самих, – ох уж этот взгляд, не спускающий вашим творениям всех ваших смятений, вашего подсматриванья и жадной зависти, желанья сравняться и перещеголять (и сравняться-то – только из зависти), знающий цену краске стыда, заливающей ваши лица, так же хорошо, как и вашему искусству скрывать ее и про себя придавать ей совсем другой смысл!

224

«Утешение» в беде ближнего. – Он в беде, и вот к нему приходят, чтобы «сострадать»; гости принимаются на все лады расписывать ему беду; наконец, довольные и возвысившиеся душою, уходят прочь: они полюбовались на ужас бедняги, как и на собственный ужас, и хорошо провели послеобеденное время.

225

Способ быстро ославиться. – Человек, говорящий быстро и много, сильно теряет в наших глазах уже после самого короткого разговора, даже если говорит дело, – и не только

в том смысле, что надоедает нам, но и гораздо глубже. Ведь мы догадываемся, сколь многим он уже надоел, и к досаде, которую он вызывает, добавляем предполагаемое пренебрежение к нему других.

226

Об общении со знаменитостями. – А: Что же ты избегаешь этого великого человека? – Б: Я вовсе не желаю с ним раззнакомиться, но наши изъяны несовместимы: я близорук и недоверчив, а он носит свои фальшивые бриллианты с таким же удовольствием, как и настоящие.

227

Те, что на цепи. – Осторожней со всеми цепными умами! К примеру, с рассудительными женщинами, что приковали свою жизнь к мелкому, затхлому окружению и стареют в нем. На первый взгляд, вот они греются на солнышке, вялые и подслеповатые: но стоит раздаться чужим шагам, стоит появиться чему-нибудь нежданному, они вскакивают, чтобы укусить, они мстят всему, что не попало в их собачью конуру.

228

Месть через похвалу. – Вот страница, сверху донизу исписанная похвалами, и вы назовете ее пошлой: но как только поймете, что за этими похвалами кроется месть, сразу найдете написанное чуть ли не утонченным, безмерно восхищаясь всем этим изобилием крохотных смелых линий и фигур. Не человек – его месть столь изощренна, обильна и находчива, но сам он об этом и ведать не ведает.

229

Гордость. – Ах, никому из вас не ведомо то чувство, какое владеет подвергнутым пытке, когда его несут обратно в камеру – и его тайну вместе с ним! – ее он всегда удерживает, крепко стиснув зубы. Откуда вам знать о ликовании человеческой гордости!

230

«Утилитарно». – Сегодня царит такой разброд в подходах к вопросам морали, что для одного человека мораль своей полезностью обоснована, а для другого как раз этой же полезностью опровергнута.

231

О немецкой добродетельности. – Каким ублюдочным должен был сделаться вкус народа, какое раболепие перед почестями, званиями, костюмами, блеском и роскошью должно было выработаться в народе, чтобы *скромное* он расценивал как *скверное*, скромного человека – как человека скверного! Моральное высокомерие немцев надо всегда тыкать в нос этим словечком «скверное», да и только!

232

Фрагмент одного диспута. – А: Дружище, Вы заговорились до хрипоты! – Б: Ну, значит, я проиграл. Не будем больше об этом!

233

«Добросовестные». – Обращали ли вы внимание, какого рода люди превыше всего ценят неукоснительную добросовестность? Те самые, что знают за собой множество убогих

чувств, робко мыслят о себе и робко мыслят вообще, робеют перед другими, те, что хотят как можно глубже упрятать свою душу, – проявляя эту неукоснительную добросовестность и сурово исполняя долг, они стараются *хорошо выглядеть в своих глазах* – благодаря впечатлению неукоснительности и суровости, какое должно остаться от них у других (в особенности у подчиненных).

234

Робость перед славой. – А: Чтобы человек уклонялся от своей славы, чтобы он намеренно оскорблял своих льстецов, чтобы он робел, слыша, как о нем судят, потому что робеет перед хвалою, – *такое можно встретить, такое бывает,* хотите верьте, хотите нет! – Б: Таким можно стать, все это вполне реально! Не хватает совсем немногого, юнкер Спесивец!

235

Отклонять благодарность. – Можно прекрасно отклонить просьбу, но невозможно отклонить благодарность (или, что то же, принять ее холодно и формально). Это глубоко оскорбляет – а, собственно, почему?

236

Наказания. – Удивительная вещь эти наши наказания! Они не очищают преступника, они – вовсе не *ис*купление: наоборот, они пятнают больше, чем само преступление.

237

Одна из партийных бед. – В каждой партии есть одна смешная, но небезопасная печаль: от нее страдают все те, что годами были верными, доблестными борцами за партийную позицию – и вдруг, в один прекрасный день, замечают,

что кто-то намного более могущественный начал трубить громче, чем они. Ну как же им стерпеть, что их заставили смолкнуть! И вот они вопят во все горло, иногда даже на новый лад.

238

Стремление к изящному. – Если сильная натура не склонна к жестокости и не всегда занята собою, она непроизвольно стремится к *изящному*: это ее отличительная черта. А вот характеры слабые любят судить о вещах строго – они пристраиваются к хулителям человечества, к религиозным или философским очернителям бытия либо уходят в область строгих нравов и неудобных «жизненных призваний»: таким путем они стремятся выработать в себе хоть какой-то характер и некое подобие силы. И тоже делают это непроизвольно.

239

Полезный пример для моралистов. – Наши композиторы совершили великое открытие: *отвратительное, но интересное* возможно и в их виде искусства! И вот они, как пьяные, бросаются в этот вновь открытый океан отвратительного, и оказывается, что писать музыку никогда еще не было так легко. Лишь теперь они получили общий, мрачного цвета фон, на котором даже тоненький лучик красивой музыки начинает сиять золотом и смарагдом; лишь теперь можно отважиться доводить слушателя до бури негодования, когда он не находит слов от возмущения, *чтобы* потом, на мгновенье погрузив его в покой, даровать ощущение счастья, ощущение, вообще-то способствующее одобрению музыки. Они обнаружили действие контраста: лишь теперь стали возможны самые сильные эффекты – и притом *дешевые*, ведь никто больше не интересуется хорошей музыкой. А вам надо бы поспешить! Каждому искусству отпущен лишь краткий срок, когда оно только еще стоит на пороге этого открытия. – Ах, если б у наших мыслителей были уши, чтобы вслу-

шаться в души наших композиторов через их музыку! Сколько еще нужно ждать, пока снова не представится такая возможность – застукать творческие натуры на злодеянии и на непонимании того, что это злодеяние! Ведь нашим композиторам и во сне не снилось, что они выражают в музыке собственную историю, историю обезображивания души. Прежде хорошему композитору чуть ли не приходилось ради своего искусства делаться хорошим человеком. – А теперь!

240

О моральности сцены. – Кто думает, будто театр Шекспира оказывал моральное воздействие, и созерцание Макбета неукоснительно отвращало от такого зла, как тщеславие, тот ошибается: и он ошибается вдвойне, если верит, что сам Шекспир смотрел на это так же. Тот, кто и впрямь одержим бешеным честолюбием, глядит на этот свой образ с *наслаждением*; а коли герой гибнет от своей страсти, то в бурлящем напитке такого наслаждения как раз это-то и есть самая пряная приправа. И разве поэт глядел на эти вещи иначе? Как благородно, а вовсе не мошеннически идет своим путем его честолюбец, уже совершив крупное преступление! Лишь с этого момента он становится «демонически» притягательным, подзуживая к подражанью сходные натуры, – демонически тут значит: *вопреки* выгоде и жизни, в пользу своей идеи и влечения. А вы думаете, Тристан и Изольда стали поводом для нравоучений *против* прелюбодеяния потому, что оба от него и погибли? Если так, это значит выворачивать поэтов наизнанку: тех, что, в особенности как Шекспир, влюблены в сами страсти, а далеко не в присущие им подчас настроения *обреченности* – те, в которых сердце держится за жизнь не сильнее, чем капля за перевернутый бокал. Волнует их не вина и ее худые последствия, и Шекспира не больше, чем Софокла (в фигурах Аякса, Филоктета, Эдипа): сколь легко в названных случаях было бы сделать вину главной пружиною действия, столь же решительно они этого избегают. Не в большей мере и трагик, создавая образы жизни, старается отвратить зрителя от

жизни! Напротив, он призывает: «Ведь это же самое манящее, что бывает на свете, – эта заставляющая напрягаться, переменчивая, опасная, мрачная, а часто пронизанная солнцем жизнь! Жизнь – это *приключение*: становитесь в ней на ту или на другую сторону, она не перестанет быть такой!» – Его голос звучит из той мятежной и полной сил эпохи, что наполовину пьяна и оглушена избытком крови и энергии, – из эпохи более злой, чем наша: потому-то мы и нуждаемся в том, чтобы лишь привести в *порядок* и вернуть *порядочность* цели, какую ставит перед собою Шекспирова драма, иными словами, в том, чтобы не понимать ее.

241

Страх и разумность. – Если правда то, что нынче говорят со всей определенностью, а именно, что причину пигмента, окрашивающего кожу в черный цвет, следует искать *не* в свете: то, может быть, это конечный результат частых, скопившихся за тысячи лет припадков ярости (и подкожного кровотока)? В то время как у других, *более разумных* племен, члены которых столь же часто пугались и бледнели, в конце концов по этой причине развился белый цвет кожи? – Ведь способность пугаться – верный признак разумности: а частые припадки слепого бешенства – знак того, что животное состояние совсем еще близко и пытается вновь утвердить себя. – Тогда, вероятно, изначальным цветом людей был коричнево-серый: что-то от обезьяны, а что-то от медведя, как и должно быть.

242

Независимость. – Независимость (в ее слабейшей дозе называемая «свободомыслием») есть форма отречения, в каковое в конце концов ударяется властолюбец – так долго искавший, над чем бы захватить власть, и не нашедший ничего, кроме себя самого.

243

Два направления. – Если мы попробуем рассматривать зеркало само по себе, то в итоге не найдем в нем ничего, кроме вещей. А если захотим постичь вещи, то в конце концов придем опять-таки ни к чему иному, как к зеркалу. – Вот история познания в самом общем виде.

244

Наслаждение реальным. – Нашу нынешнюю тягу к наслаждению реальным – а она у нас почти у всех – можно понять только как результат того, что мы так долго и уже до тошноты наслаждались нереальным. Сама по себе эта тяга, какой она проявляется сегодня, неразборчивая и грубая, небезопасна: и самая малая опасность, какую она с собою несет, – это безвкусица.

245

Тонкость чувства власти. – Наполеона раздражало, что он плохо говорит, и в этом он был прав: но его властолюбие, не пропускавшее ни одного случая поговорить и более тонкое, нежели его тонкий ум, заставляло его говорить еще хуже, *чем он мог.* Так он мстил собственному раздражению (он ревновал все свои аффекты, потому что у них была *власть*) и наслаждался своим самодержавным *произволом.* И потом он наслаждался этим произволом еще раз, если иметь в виду слух и оценки слушателей: в том смысле, что как с ними ни говори, все будет достаточно хорошо. Мало того, про себя он ликовал при мысли о том, что громами и молниями высшего авторитета – каковой заключается в союзе власти и гения, – он может притуплять суждения и портить вкус окружающих; а в это самое время то и другое в нем холодно и гордо настаивало на правде: говорит он *плохо.* – Наполеон как доведенный до полного совершенства тип влечения принадлежит к античной разновидности человека, признаки которой – простое строение, изобретательная

разработка и выдумывание одного или нескольких мотивов – нетрудно различить.

246

Аристотель и брак. – Дети великих гениев страдают безумием, дети великих героев добродетели – слабоумием, замечает Аристотель. Так что же, он хотел этим поощрить людей исключительных к браку?

247

Происхождение скверного темперамента. – Неточность и неуравновешенность в характере многих людей, их разбросанность и безудержность суть конечный итог бесчисленных логических ошибок, выводов, взятых с потолка или слишком поспешных, в которых повинны их предки. А вот люди с хорошим темпераментом происходят из рассудительных и основательных родов, высоко ценивших разум, – а какие у них были цели, похвальные или дурные, не столь уж и важно.

248

Притворство как долг. – Доброта вырабатывалась по большей части благодаря длительному притворству, стремившемуся прикинуться добротой: всюду, где была большая власть, люди осознавали необходимость именно в этом виде притворства – ведь оно внушает уверенность и доверие и во сто крат увеличивает действительный капитал физической власти. Ложь – если и не мать, то хотя бы кормилица доброты. Честность тоже по большей части выросла под сенью потребности создавать впечатление честности и добропорядочности: в наследственных аристократиях. После долгого упражнения в притворстве качество становится наконец *естественным*: в итоге притворство упраздняется само, а органы и инстинкты – это нежданные плоды в саду лицемерия.

249

Как уж тут быть одиноким! – Человек боязливый не знает, что такое одиночество: за его стулом всегда стоит враг. – Ах, кто поведает нам историю того тонкого чувства, что зовется одиночеством!

250

Ночь и музыка. – Ухо, этот орган страха, смогло развиться в таком совершенстве, как оно развилось, лишь в ночи и полумраке темных лесов и пещер, в соответствии с образом жизни человека боязливого, то есть наиболее длительной исторической эпохи, какая только была: при свете дня ухо не так нужно. Отсюда характер музыки как искусства ночи и полумрака.

251

На стоический лад. – Бывает невозмутимость стоика, чувствующего себя стесненным церемониалом, который он установил для своего образа жизни; тут он наслаждается собою как хозяином положения.

252

Стоило бы подумать! – Тот, кого наказывают, – это уже не тот, кто совершил преступление. Он всегда – козел отпущения.

253

Очевидность. – Плохо дело! Плохо дело! То, что силятся доказать во что бы то ни стало, и само бросается в глаза. Но у большинства нет глаз, чтобы разглядеть это. Ах, какая скука!

254

Забегающие вперед. – То, что отличает поэтические натуры, но и несет с собою для них опасность, – это их *исчерпывающее* воображение: оно забегает вперед того, что происходит и может произойти, оно предвкушает, оно заранее претерпевает, а когда происходящее, когда дело окончательно свершается, оно уже *исчерпалось*. Лорд Байрон, прекрасно знавший все это, записал в дневнике: «Если бы у меня был сын, я сделал бы из него что-нибудь совершенно прозаическое – юриста или пирата».

255

Диалог о музыке. – А: Ну, что скажете об этой музыке? – Б: Она овладела мною полностью, я могу только молчать. Чу! Вот она начинает звучать снова! – А: Тем лучше! Постараемся же на этот раз *сами* овладеть ею. Что, если я скажу несколько слов об этой музыке? А кстати изображу Вам и драму, которую Вы, может быть, не изволили заметить при первом прослушивании? – Б: Прекрасно! У меня есть два уха, а если надо, то и больше. Придвиньтесь же поближе! – А: Это пока еще не то, что *он* хочет нам сказать, покамест он только обещает сказать нам что-то, нечто неслыханное, на что и намекает этими жестами. Ведь это всё – жесты. Какие он подает знаки! Как тянется на цыпочках! простирает руки! И вот, кажется, настал миг высшего напряжения: еще две фанфары, и он проводит свою тему, роскошную и разодетую, словно позвякивающую самоцветами. Красивая ли это женщина? Или красивая лошадь? Всё, вот он восхищенно глядит кругом, ведь он должен притянуть к себе взгляды восхищенья, – лишь теперь тема нравится ему вполне, теперь он становится изобретательным, отваживается на новые, смелые мелодические линии. Как он модулирует свою тему! Ух! Обратите внимание – он дока не только в нарядах, но и в *гриме*! Да, он знает, какого цвета здоровье, и он мастер гримировать под него, – его знание себя тоньше, чем я думал. А теперь он убежден в том, что убедил своих слушателей, он подает свои находки так, будто это наиважней-

шие вещи на свете, он с бесстыдством показывает пальцем на свою тему, намекая, что она слишком хороша для мира сего. – Ух, как он недоверчив! И все только для того, чтобы не наскучить нам! Вот он заваливает свои мелодии сладостями – а теперь даже взывает к нашим более грубым чувствам, чтобы возбудить нас и снова взять под свою власть. Послушайте, как он заклинает стихии бурных и громовых ритмов! А теперь, когда он понял, что эти ритмы нас сковали, задушили и почти раздавили, он отваживается вновь впустить свою тему в игру стихий и *внушить* нам, наполовину оглушенным и потрясенным, будто мы оглушены и потрясены именно его чудо-темой. И с этого момента слушатели верят ему на слово: стоит ей зазвучать, и в них встает воспоминание об этом потрясающем чувства воздействии стихий – сейчас это воспоминание теме только на руку, ведь она делается «демонической»! Ах, ах, какой он знаток душ! Он повелевает нами с помощью приемов настоящего демагога. – Но музыка смолкает! – Б: И слава Богу! А то мне уже становится тошно слушать *Вас*! Да мне лучше *дать* себя десять раз *обмануть*, чем *один* раз узнать истину на Ваш лад! – А: Вот это-то я и хотел от Вас услышать. Нынче лучшие таковы же, как Вы: они довольны, когда дают себя обмануть! Они являются с ушами грубыми и похотливыми, для слушанья у них нет совести искусства, они выбросили по дороге свою *разборчивую порядочность*! А тем самым испортили искусство и людей искусства! Рукоплеща и ликуя, они всегда держат в руках совесть художников – и горе, если те замечают, что они не умеют отличить музыку невинную от виновной! Я, разумеется, не имею в виду «хорошую» и плохую» музыку – той и другой достаточно в обоих ее видах! Я просто называю *невинной музыкой* ту, что всегда и везде думает только о себе, верит только в себя и через себя забыла о мире, – это самозвучание глубочайшего одиночества, говорящего с собою о себе и позабывшего, что где-то там вовне есть слушатели, подслушиватели, воздействия, непонимание и провалы. – Я заканчиваю: музыка, которую мы только что прослушали, *принадлежит* именно к этому благородному и редкому роду, а все, что я о ней сказал, было ложью, – простите, если сможете, мои злые слова! – Б:

Ах, так, значит, Вы тоже любите *эту* музыку? Ну, тогда Вам прощается множество грехов!

256

Счастье злых. – Есть в этих тихих, мрачных, злых людях что-то такое, чего вы не можете за ними не признать, – редкостное и странное наслажденье в *dolce far niente*[1], вечерний и закатный покой, знакомый лишь тем сердцам, что так часто бывали снедаемы, разрываемы, отравляемы аффектами.

257

Слова, что в нас наготове. – Мы всегда выражаем свои мысли словами, которые оказываются под рукой. Или, чтобы до конца выразить мое подозренье: в каждый миг в нашей голове есть лишь та мысль, для которой у нас под рукой находятся слова, приблизительно способные ее выразить.

258

Польстить собаке. – Стоит только погладить эту собаку по шерсти, и она начинает трещать и сыпать искрами, как любой другой льстец, – на свой лад и собака остроумна. Почему бы нам не принимать ее такою!

259

Бывший панегирист. – «Обо мне он уже замолчал, хотя теперь знает всю правду и мог бы ее высказать. Но она прозвучала бы как месть – а для него правда имеет уж такое высокое достоинство, для этого достойного!»

---

1 Блаженной праздности (*ит.*).

260

Амулет для подневольного. – У того, кто безусловно зависит от повелителя, должно быть то, чем он мог бы внушать страх и держать своего повелителя в узде, к примеру, порядочность, или искренность, или злой язык.

261

К чему так возноситься! – О, я знаю это зверье! Оно, разумеется, нравится себе больше, когда вышагивает на двух ногах, «как Бог», – но когда оно снова падает на все четыре ноги, то нравится больше *мне*: ведь это положение несравненно более для него естественно!

262

Демон власти. – Не естественные потребности, не страсти, нет, а любовь к власти – вот демон, владеющий людьми. Дай им все – здоровье, питание, жилище, общество – они все равно останутся несчастными и удрученными: этот демон ждет своего часа, он хочет насытиться. Отними у них все, но насыть его: и они будут чуть ли не счастливы – так счастливы, как только могут быть счастливы именно люди и демоны. Но зачем я все это говорю? Лютер уже это сказал, и лучше меня, в таких стихах: «Отнимут дом, жену, детей; пусть умрем до срока – Царство будет наше!» Ну да! Вот именно! «Царство»!

263

Противоречие во плоти и в душе. – Есть в так называемом гении одно физиологическое несоответствие: с одной стороны, в нем идет множество процессов диких, беспорядочных, произвольных, а с другой – наоборот, множество процессов в высшей степени целенаправленных, – при этом ему свойственно иметь зеркало, отражающее оба ряда про-

цессов параллельно и вперемешку, но довольно часто и во встречном движении. Это зрелище часто заставляет его страдать, а когда он оказывается на вершине блаженства – именно во время творчества, – то это происходит от забвения того, что как раз сейчас он с высшей степенью целенаправленности делает – должен делать – нечто фантастическое и противоразумное (а это и есть искусство).

264

Желание промахнуться. – Люди завистливые, но с тонким чутьем, не пытаются узнать своих соперников получше, чтобы сохранить за собою ощущение превосходства.

265

Театру свое время. – Когда воображение народа сдает, в нем зарождается тяга услышать и увидеть свои легенды со сцены, и теперь он *терпит* грубые эрзацы воображения; а вот в эпоху эпических рапсодов театр и переодетый героем актер – тормоза, а не крылья для воображения: все это слишком близко, слишком определенно, слишком тяжеловесно, и во всем этом слишком мало мечты и птичьего полета.

266

Без обаяния. – Ему не хватает обаяния, и он это знает: о, как он умеет замаскировать такую нехватку! Суровой добродетелью, сумрачностью взгляда, усвоенным недоверием к людям и к жизни, грубыми шутками, презрением к утонченному образу жизни, пафосом и изречениями, цинической философией – и вот это стало характером из-за неотвязного понимания нехватки.

267

Чем же тут гордиться! – Характер благородный отличается от пошлого тем, что *не имеет под рукой* кучу готовых привычек и точек зрения, как тот: для него они случайны, не унаследованны и не привиты воспитанием.

268

Сцилла и Харибда ораторов. – Как трудно было в Афинах говорить так, чтобы настроить слушателей *в пользу* дела, не отталкивая их *формой* или не отвлекая ею *от* дела! Как трудно и сейчас во Франции – так писать!

269

Больные и искусство. – Против любого рода горестей и душевных невзгод для начала всегда надо пробовать вот что: изменение диеты и тяжелый физический труд. Но люди привыкли в таких случаях хвататься за опьяняющие средства. К примеру, за искусство – на беду свою и искусства! Разве вы не замечали, что когда вы, болея, обращались к искусству, то делали больными и тех, кто вам его давал?

270

Мнимая терпимость. – Всё это хорошие, благожелательные, разумные речи о науке и в пользу науки, и однако! однако! Я вижу *за* ними эту вашу терпимость в отношении науки! В глубине души, несмотря на все это, вы думаете, *будто она вам не нужна*, будто с вашей стороны признавать ее, даже защищать ее – акт великодушия, тем более что наука-то отнюдь не проявляет такового в отношении ваших мнений! А знаете ли вы, что у вас вообще нет права на такое упражнение в терпимости? Что этот жест любезности – более тяжкое оскорбление науки, чем откровенная хула на нее, которую позволяет себе иной заносчивый священник или

художник? У вас нет строгой совести в подходе к тому, что истинно и действительно, вас ничто не мучит, не пытает, когда наука расходится с вашими ощущениями, вам не знакома страстная тяга к познанию как властвующий над вами закон, вы не видите долга в жажде лично присутствовать везде, *где* происходит познание, не растерять ничего из того, *что* познано. Вы *не знаете того*, с чем обращаетесь столь терпимо! А надевать маски такого милосердия вам удается только *потому*, что вы этого не знаете! Вы, именно вы метали бы злобные и фанатичные взгляды, если б науке хоть раз захотелось сверкнуть вам *своими* очами! – Так какая нам печаль, если вы проявляете терпимость – в отношении *фантома*! даже не в отношении нас! Эх, да разве в нас дело!

271

Праздничное настроение. – Именно тем людям, что стремятся к власти решительнее других, бывает неописуемо приятно почувствовать, как что-то *одолело* их! Внезапно и глубоко погрузиться в чувство, словно в водоворот! Почувствовать, как поводья вырываются из рук, и глядеть, как их несет – Бог весть куда! Кто или что бы это ни было – то, что оказывает нам такую услугу, – услуга эта велика: мы счастливы, у нас перехватывает дыханье, мы чувствуем, что вокруг абсолютная тишина, словно в глубочайших недрах земли. Наконец-то никакой власти! И мы – игралище первозданных сил! Есть в этом счастье какая-то разрядка, сваливанье с себя огромного бремени, откат назад без всяких усилий, как повиновение слепым силам тяготенья. Это сновиденье горовосходителя – хотя его *цель* и наверху, но в пути он от глубокой усталости вдруг засыпает на ходу и видит сон *о счастье совсем обратного* – то есть о легчайшем скольжении назад, вниз. – Я описываю тут счастье, каким я вижу его, думая о нашем нынешнем торопливом, рвущемся к власти обществе Европы и Америки. Там и сям их так и тянет вдруг шатнуться назад, в *безвластие* – такое наслаждение предлагают им войны, искусства, религии, гении. Если человек однажды на время поддался этому всё поглощающему и всё сминающему впечатлению – а это и есть современное *праздничное*

настроение! – то он вновь становится свободней, здоровее, холоднее, строже и неустанно стремится дальше в противоположную сторону: к *власти*. –

272

Очищение расы. – Нет, вероятно, рас чистых, – есть только очистившиеся, да и те встречаются очень редко. Общий случай – расы смешанные, у которых наряду с дисгармоничностью в строении тела (к примеру, когда глаза и губы не подходят друг к другу) должны наблюдаться и дисгармонии в привычках, в представлении о ценностях. (Ливингстон слышал такое высказывание: «Бог создал белых и черных, а дьявол – метисов») Смешанные расы – это всегда и смешанные культуры, смешанные виды морального поведения: они, как правило, более злы, жестоки, активны. А чистота – это конечный итог бесчисленных актов прилаживанья, впитыванья и выделения, и продвижение к чистоте сказывается в том, что имеющийся у расы запас сил все больше *ограничивается* отдельными, отобранными функциями, в то время как раньше он уходил на слишком многие и часто противоречащие друг другу функции: такая ограниченность всегда выглядит заодно и как *оскудение*, почему о нем надо судить осторожно и разборчиво. Но в конце концов, когда процесс очищения завершается удачно, в распоряжении всего организма оказывается весь тот запас сил, который прежде тратился на борьбу дисгармонирующих качеств: вот почему расы очистившиеся всегда становились и более *сильными* и *красивыми*. – Греки дают нам образец очистившейся расы и культуры: и можно надеяться, что когда-нибудь станет чистой и некая европейская раса и культура.

273

Похвала. – Вот и он, и по виду его ты замечаешь, что он вот-вот начнет тебя *хвалить*: ты прикусываешь губу, и сердце ноет – о, только бы миновала тебя чаша *сия*! А он не уходит, он все ближе! Ну так выпьем это сладкое бесстыдство хва-

лителя, преодолеем отвращение и глубокое презрение к скрытой сути его хвалы, задрапируем лицо складками благодарной радости! – ведь он-то хотел нас облагодетельствовать! А теперь, когда все уже позади, мы знаем, что возвысившимся чувствует себя он, одержавший над нами победу – ну да! но заодно и над собой, собака! – ему ведь было ох как нелегко выдавить из себя эту хвалу.

274

Право и привилегия человека. – Мы, люди, – единственные создания, которые в случае неудачи готовы перечеркнуть себя, словно неудачную фразу, – и все равно, делаем ли мы это в честь человечества, из сострадания нему или из отвращения к нашему племени.

275

Преображенный. – Теперь он усваивает себе добродетель, и только для того, чтобы причинить этим боль другим. Не глядите на него так уж пристально!

276

Как часто! Как неожиданно! – Какое множество женатых мужчин переживало утро, когда в их уме начинало брезжить, что их юной супруге скучно, да только она об этом не знает! Совсем уже не говоря о тех женщинах, чья плоть послушна, а дух слаб!

277

Добродетели теплые и холодные. – Мужество как холодную отвагу и непоколебимость и мужество как пылкую, полуслепую смелость – то и другое называют одним именем! Но как сильно *добродетели холодные* отличаются от *теплых*! И

глупцом был бы тот, кто думал бы, будто «доброте» непременно присуща теплота, а глупцом не меньшим – тот, кто наделял бы добротой лишь холодность! А правда в том, что человечество находило весьма полезным и теплое, и холодное мужество, да к тому же достаточно редким, чтобы не относить обе его расцветки к благородным камням.

278

Обязывающая память. – Тот, кто занимает высокое место, сделает правильно, обзаведясь обязывающей памятью, то есть такой, которая запоминает и берет на заметку все хорошее, что есть в людях: это держит их в приятной зависимости. Таким же образом человек может поступать и с собою: от того, есть ли у него обязывающая память, зависит в конечном счете, как он относится к себе, – с благородством, добротою или с недоверием, когда наблюдает свои склонности и замыслы, и опять-таки в конечном счете от этого зависит характер самих склонностей и замыслов.

279

Где мы становимся художниками. – Кто превращает другого в свой идол, тот пытается оправдать себя в собственных глазах, возвышая его до идеала; тут он становится художником, дабы иметь чистую совесть. Если он страдает, то страдает не от *неведения*, а от самообмана, от того, что будто бы не ведает. – Душевное горе и счастье подобного человека – а таковы все охваченные любовною страстью – не вычерпать обычными ведрами.

280

По-детски. – Кто живет, как дети, – то есть не заботясь о хлебе насущном и не думая, что его поступки должны иметь окончательную значимость, – тот на всю жизнь остается ребенком.

281

«Я» хочет все иметь. – Сдается, человек действует только для того, *чтобы* завладеть: по крайней мере, эту мысль внушают языки, которые смотрят на всякое совершенное действие так, словно, совершая его, мы чем-то завладеваем («я *имел* сказать, бороться, победить»: это значит, теперь я владею своей речью, борьбой, победой). Какою корыстью веет при этом от человека! Не упускать из рук даже прошлое, стремиться *обладать* вот именно даже им!

282

Опасная красота. – Эта женщина красива и умна: но ах, насколько умнее она была бы, не будь она красивой!

283

Мир в семье и мир в душе. – Наше обычное настроение зависит от настроения, в котором мы умеем удерживать окружающих.

284

Преподносить новое как старое. – Многих явно раздражает, когда они слышат новости, – они чувствуют перевес, который новость дает тому, кто знал ее раньше.

285

Где кончается «я»? – Большинство людей берут под свой покров вещь, которую они *знают*, – как будто знание уже превращает ее в собственность. Жажде присвоения, свойственной ощущению своего «я», нет границ: выдающиеся люди говорят так, словно воплощают в себе всю эпоху, словно они – голова этого длиннющего тела, а порядочные женщины считают своей заслугой красоту своих детей, своих платьев,

своих собак, своего врача, своего города, и только не отваживаются сказать «все это – я». *Chi non ha, non*[1] – говорят в Италии.

286

Домашние, комнатные животные и тому подобное. – Есть ли на свете что-нибудь более отвратительное, чем сентиментальные чувства к растениям и животным со стороны твари, которая с самого начала свирепствовала среди них как лютый враг, а теперь еще и притязает на нежность к своим ослабевшим и растерзанным жертвам! К такого рода «природе» человеку подобает относиться с полной *серьезностью*, если он вообще человек мыслящий.

287

Два друга. – Они были друзьями, но теперь они уже не друзья, каждый со своей стороны развязал узы дружбы в одно время с другим, один, потому что думал, будто уж очень не признает себя, а другой, потому что думал, будто слишком хорошо себя узнал, – и оба в этом ошиблись! – ведь каждый из них знал себя недостаточно.

288

Комедия благородных. – Те, кому не дается благородная сердечная теплота, пытаются прозрачно намекнуть на благородство своей натуры, демонстрируя сдержанность и строгий нрав, а также некоторое пренебрежение к теплым чувствам: как будто их сильному сердечному чувству было стыдно себя обнаружить.

---

1 У кого нет, тот не считается (*ит.*), букв.: кто не имеет, того нет.

289

Когда лучше не оспаривать добродетели. – Среди трусов считается дурным тоном нападать на храбрость, таких они презирают; а люди беззастенчивые приходят в бешенство, если при них нападают на сострадание.

290

Расточительство. – У натур возбудимых и порывистых первые слова и действия по большей части *нехарактерны* для их подлинного характера (их внушают обстоятельства, они словно подражают духу обстоятельств), но раз уж они были сказаны и сделаны, то те слова и действия, что приходят задним числом и выражают подлинный характер, часто приходится *тратить* на возмещение или на заглаживание и изглаживание из памяти тех, первоначальных.

291

Надменность. – Надме нность – это наигранная и напускная гордость; а суть гордости-то как раз в том, что она не может и не хочет ни играть, ни притворяться, ни лицемерить, – в этом смысле надменность есть симуляция неспособности к лицемерию, разыграть ее очень трудно, и чаще всего это не удается. Но если, положим, надменный человек выдает себя, как обычно и случается, то его ждет тройная неприятность: на него сердятся, потому что он хотел обмануть, сердятся, потому что он хотел показать свое превосходство, – а напоследок еще и смеются над ним, потому что ни то, ни другое ему не удалось. Итак, следует во что бы то ни стало удерживать людей от надменности!

292

Своего рода непризнание. – Когда мы слышим чью-нибудь речь, часто бывает достаточно звука одного согласного (скажем,

«*эф*»), чтобы внушить нам сомнение в честности чувств говорящего: *мы-то* не привыкли к такому звучанию, и нам надо его *сделать* волевым усилием – ведь и оно звучит для нас «деланно». Тут открывается область вопиющего непризнания, и то же относится к стилю писателя, обладающего привычками далеко не общепринятыми. Его «естественность» слышна только ему самому, но он нравится и вызывает доверие как раз тем, что́ сам ощущает как «деланное», потому что тут он когда-то пошел вслед за модой и так называемым «хорошим вкусом».

293

Благодарность. – Немножко пересолишь с благодарностью и пиететом – и страдаешь от этого, как от чего-то порочного, со всею своей самостоятельностью и порядочностью попадая под власть нечистой совести.

294

Святые. – Те, что бегут от женщин и вынуждены мучить плоть, – это и есть *самые чувственные* мужчины.

295

Тонкости служенья. – Одна из деликатнейших задач в великом искусстве служенья – служить человеку с необузданным честолюбием, который, правда, эгоистичен во всем до предела, но отнюдь не хочет таким прослыть (и это как раз составная часть его честолюбия), который стремится всем помыкать по своему хотению, но только так, чтобы это выглядело, будто он жертвует собою и почти никогда не требует чего-то для себя лично.

296

Дуэль. – Я считаю прекрасной возможность биться на дуэли, если уж мне приспичит, сказал кто-то; ведь кругом всегда полно бравых приятелей. Дуэль – последний из оставшихся путей покончить с собою исключительно честно-благородно; правда, этот путь, увы, обходной и даже не вполне надежный.

297

Порча. – Самый надежный способ испортить юношу – показать ему, что выше следует ценить не инакомыслящего, а единомыслящего.

298

Культ героев и его фанатики. – Фанатик идеала полнокровного обыкновенно бывает прав, покуда *отрицает*, и в этом он страшен: то, что он отрицает, он знает не хуже себя – по той простой причине, что оттуда-то он и вышел, что там его вотчина, и в душе он постоянно боится, что ему придется когда-нибудь вернуться восвояси, – способом, каким он отрицает, он хочет закрыть себе дорогу назад. Но как только он принимается утверждать, глаза его наполовину смыкаются, и он начинает идеализировать (часто только для того, чтобы насолить этим оставшимся дома –); в этом, говорят, есть, пожалуй, что-то артистическое – верно, но также и что-то нечестное. Тот, кто идеализирует личность, видит ее из такой дали, что ни о какой точности тут и речи быть не может, – а то, что видит, перетолковывает как «прекрасное», иными словами, как симметричное, обтекаемое, аморфное. А поскольку он отныне хочет еще и поклоняться своему витающему вдали и в вышине идеалу, то от защиты от *profanum vulgus*[1] ему требуется построить и храм, чтобы в нем и поклоняться. Сюда он сносит все ценимые и освя-

[1] Невежественной черни (*лат.*) – из Оды III (I, 1) Горация.

щенные предметы, какие у него еще остались, дабы их очарование шло на пользу и идеалу, дабы он от такого *питания* рос и становился все более божественным. В конце концов бог у него действительно выходит – но, увы, есть кое-кто, знающий, как это вышло, – его интеллектуальная совесть; и есть еще кое-кто, протестующий против этого совершенно бессознательно, а именно сам обожествленный, который отныне – вследствие культа, хвалебных песней и ладана – становится невыносим и отвратительно проявляет себя как откровенно небожественный и откровенно слишком человеческий. Тут для нашего фанатика остается только один выход: он терпеливо позволяет издеваться над собою и себе подобными, все-таки интерпретируя все это безобразие *in majorem dei gloriam*[1] – посредством нового вида самообмана и благородной лжи: он выступает против себя самого, переживая – как перенесший издевательства и как интерпретатор – что-то подобное мученичеству: и здесь он добирается до вершины самомнения. – Люди такого сорта окружали, к примеру, *Наполеона*: и даже, может быть, как раз он-то и был тем, кто вложил в душу нашего столетия романтическую, чуждую духу просвещения прострацию перед лицом «гения» и «героя», он, кому Байрон не постыдился сказать, что чувствует себя, «словно червь в сравнении с таким существом». (Формулы для подобной прострации были найдены тем старым заносчивым путаником и брюзгой, Томасом Карлейлем, который потратил долгую жизнь на то, чтобы сделать романтическим рассудок своих англичан: но тщетно!)

299

Видимость героизма. – Броситься в гущу врагов – это может быть и признаком трусости.

---

[1] К вящей славе Божьей (*лат.*).

300

Любезность к льстящим. – Высшая хитрость ненасытно честолюбивых состоит в том, чтобы скрывать свое презрение к людям, которое вызывает у них один вид льстецов: наоборот, они желают казаться любезными и к ним, словно бог, не ведающий ничего, кроме любезности.

301

«С характером». – «Если уж я что-то обещал, то делаю», – тех, кто так высказывается, считают людьми с характером. Сколько поступков совершается не потому, что мы предпочитаем их как самые разумные, а потому, что когда они пришли нам в голову, то каким-то образом возбудили наше честолюбие и тщеславие, и вот мы стоим на этом, слепо их совершая! Так мы укрепляем в себе веру в собственный характер и собственную чистую совесть, то есть, в общем и целом, приумножаем свою *силу*: а вот предпочти мы совершить самое разумное, это вызвало бы недоверие к нам и потому поддерживало бы в нас ощущение своей слабости.

302

Верно, дважды и трижды верно! – Люди лгут неимоверно часто, но солгав, не думают об этом, да и вообще в это не верят.

303

Развлечение знатока душ. – Он мнит, будто знает меня, и чувствует себя тонким и солидным, когда строит со мною отношения так-то и так-то: а я стараюсь его не разочаровывать. Иначе мне пришлось бы поплатиться за это, а ведь сейчас он *благоволит* мне, потому что я обеспечиваю ему чувство превосходства через знание. – А вот другой: он боится, что я воображаю, будто знаю его, и расценивает свое положение как унизительное. Тогда он начинает вести себя

странно и неожиданно, пытаясь ввести меня в заблуждение относительно себя, – чтобы снова возвыситься надо мною.

304

Мироистребители. – Вот этому что-то не удалось; в результате он возмущенно восклицает: «Да пропади весь мир пропадом!» Это отвратительное чувство – вершина зависти, строящей умозаключение: если я не могу иметь *чего-то*, так и ни у кого не должно быть *ничего*! Пусть уж все *будут* ничем!

305

Алчность. – Наша алчность при покупке товаров возрастает по мере их удешевления – почему бы это? Может, потому, что чем меньше скидка, тем меньше открыт глаз алчности?

306

Греческий идеал. – Что восхищало греков в Одиссее? Главным образом – способность лгать и коварно, страшно расплачиваться с врагами; приноравливаться к обстоятельствам; если надо, казаться благороднее самых благородных; умение быть тем, *чего от него ждут*; геройское упорство; умение пускать в ход все средства; хитроумие – приводившее в восторг богов, которые улыбались, вспоминая о нем: вот это все и есть греческий *идеал*! Но самое удивительное тут то, что в нем совершенно не ощущается противоположности между видимостью и бытием, а значит, она и не учитывается нравственно. Ну где еще встретишь таких прожженных лицедеев?

307

Факты! Да факты-то – фикции! – Историки имеют дело не с тем, что произошло в действительности, а лишь с собы-

тиями мнимыми: ведь *впечатление производили* только они. А равно и с героями лишь мнимыми. Их тема, так называемая всемирная история, складывается из мнений о мнимых поступках и их мнимых мотивах, каковые в свой черед дают повод для мнений и поступков, реальность которых, однако, тотчас испаряется и *производит впечатление* лишь в виде пара, – это какое-то беспрестанное зачатие и беременность фантомами над глубокими туманами неисследимой реальности. Все историки рассказывают о вещах, которых никогда не было, кроме как в представлении.

308

Благородно не разбираться в торговле. – Кто продает свою доблесть лишь по самой высокой цене, а то и вовсе пускает ее в рост, будь то учитель, служащий, художник, – тот из гениальности и таланта делает лавочку. *Мудрость* не имеет ничего общего с *хитроумием*!

309

Страх и любовь. – Страх больше способствовал обычному пониманию человеческой природы, чем любовь, ведь страх заставляет разгадывать, кто такой другой, на что он способен, чего хочет: если дать тут маху, то это может означать для нас опасность и урон. А у любви, наоборот, есть тайное побуждение видеть в другом как можно больше прекрасного или как можно выше поднять его в своих глазах: дать тут маху было бы для нее наслаждением и выигрышем – так она и поступает.

310

Добродушные. – Добродушные обязаны своим характером владевшему их предками постоянному страху перед насилием со стороны других, – они задабривали, улещивали, упрашивали, отводили от себя в сторону, отвлекали, льсти-

ли, сгибались, прятали боль и обиду, тотчас делали довольное лицо – и в конце концов передали весь этот тонкий и хорошо отлаженный механизм в наследство своим детям и внукам. А тем их лучший жребий не давал никакого повода к такому постоянному страху: и все-таки они постоянно играют на своем отлаженном инструменте.

311

Так называемая душа. – Сумму внутренних движений, которые даются человеку с легкостью, а потому он выполняет их с охотой и артистизмом, называют его душой; и его же считают бездушным, когда можно заметить затрудненность и косность его внутренних движений.

312

Забывчивые. – Во взрывах страстей, в продуктах фантазии сновидений и безумия человек все вновь открывает предысторию свою и всего человечества: свою *звериную природу* с ее дикими гримасами; его память способна заходить довольно далеко в прошлое, в то время как его же цивилизованность развивается из забвения этих исконных переживаний, то есть из игнорирования памяти. Кто, будучи забывчивым высшего типа, постоянно игнорировал все это, тот *не понимает людей*, – но все остаются в выигрыше, если там и сям встречаются такие отдельные люди, которые «их не понимают», которые словно зачаты божественным семенем и рождены разумностью.

313

Друг, с которым больше не хочется дружить. – Если ты уже не можешь оправдать надежд своего друга, то предпочитаешь, чтобы он стал твоим врагом.

314

Из мира мыслителей. – Посреди океана становления пробуждаемся мы на островке, что не больше челна, мы, искатели приключений и перелетные птицы, и несколько мгновений глядим кругом: а делаем мы это с такой поспешностью и любознательностью, на какие только способны, ведь как быстро может сдуть нас отсюда ветер или смыть волна, перехлестнувшая через островок, так что ни следа от нас не останется! Но тут, на этом скудном клочке суши, мы застаем других перелетных птиц и слышим рассказы о прежних – и вот в течение драгоценной минуты познания и разгадки мы живем бок о бок под радостное хлопанье крыльев и щебетанье, и отважно заносимся умом в океан, не менее гордые, чем он сам.

315

Поступаться. – Бросить что-то из собственности, отказаться от неотъемлемых прав – это отрадно, если говорит о большом богатстве. Сюда относится великодушие.

316

Слабые секты. – Секты, которые чувствуют, что слабеют, устраивают охоту на отдельных интеллектуальных приверженцев, стремясь качеством возместить потери в количестве. Для интеллигентов тут кроется немалая опасность.

317

Как судит вечер. – Кто размышляет о делах своего дня, своей жизни, подойдя к самому концу и утомившись, тот обыкновенно впадает в меланхолическое настроение: но причина этого не в дне и не в жизни, а в утомленности. – В раже творчества мы обыкновенно не удосуживаемся выносить суждения о жизни и существовании, равно как и в раже наслажде-

ния: а уж если вдруг до этого доходит, мы больше не слушаем того, кто ждал седьмого дня и отдыха, дабы обнаружить, что все сущее хорошо весьма, – он упустил *наиболее благоприятное* для этого мгновенье.

318

Берегись систематиков! – Бывает, систематики разыгрывают комедию: стараясь завершить свою систему и замкнуть вокруг нее горизонт, они считают долгом попробовать изложить свои слабые стороны в стиле наиболее сильных, – им хочется предстать перед всем светом натурами, наделенными завершенностью и собранными в кулак силами.

319

Гостеприимство. – Смысл, скрытый в обычаях гостеприимства: парализовать в чужаке враждебность. Там, где в чужаке уже не видят прежде всего врага, гостеприимства все меньше; оно цветет, покуда цветет зло как его предпосылка.

320

О погоде. – Погода в высшей степени необычная и нежданная заставляет людей испытывать недоверие и друг к другу; тут они впадают в новолюбие, поскольку вынуждены отходить от своих привычек. Поэтому деспоты так любят все земли, где погода моральна.

321

Опасная невинность. – Люди невинные становятся жертвами во всех отношениях, поскольку их неведение не дает им отличать меру от излишества и вовремя проявлять осторожность к себе самим. Так невинные, то есть неведающие молодые женщины привыкают к частому наслаждению афро-

дизиаками, которых позже, когда их мужья болеют или преждевременно увядают, им сильно не хватает; как раз такое безобидное и легковерное воззрение, будто это их частое употребление есть нечто законное и общепринятое, доводит их до потребности, из-за которой они потом подвергаются сильнейшим соблазнам и кое-чему похуже. А если говорить в общем и совершенно серьезно, тот, кто любит человека или вещь, не зная его или ее, становится добычею того, что он никак не любил бы, если б только видел насквозь. Всюду, где требуются опытность, осторожность и взвешенные шаги, именно невинные гибнут вернее всего, ведь им приходится вслепую пить самые ядовитые подонки всякого дела. Глянем на дела всех этих князей, церквей, сект, партий, товариществ: ведь в качестве сладчайшей наживки во всех наиболее опасных и гиблых случаях всегда используют невинного! Вот так и Одиссей использовал невинного Неоптолема, чтобы выманить лук со стрелами у старого больного отшельника и злыдня с Лемноса. – Христианство с его презрением к миру сделало из неведения *добродетель*, христианскую невинность, может быть, потому, что результатом этой невинности чаще всего бывают именно, как я намекнул, вина, чувство вины и отчаяние, – то есть добродетель, которая по обочине ада выводит к небесам: ведь только теперь могут открыться мрачные пропилеи христианского спасения, только теперь действует обетование посмертной *второй невинности* – одного из хитрейших изобретений христианства!

322

По возможности обходиться без врача. – Мне так и кажется, будто больной проявляет б льшую беспечность, обращаясь к врачу, чем заботясь о своем здоровье самостоятельно. В первом случае ему достаточно строго придерживаться всех предписаний; во втором случае мы относимся к тому, на что нацелены эти предписанья, к нашему здоровью, с бóльшим пристрастием, замечая куда большее, требуя от себя и запрещая себе куда большее, чем по распоряжению врача. – Так действуют все правила: отвлекают от цели, стоящей

за правилом, и внушают беспечность. – А уж до каких степеней необузданности и тяги к разрушению возросла бы беспечность человечества, если бы оно когда-нибудь на полном серьезе отдало все на руки Божества как своего врача, согласно выражению «да будет по воле Божьей»! –

323

Помрачение небес. – Знакома ли вам месть людей застенчивых, что ведут себя в обществе так, словно их руки и ноги – ворованные? Месть смиренных, христианского покроя душ, что всегда лишь тайком крадутся по миру? Месть тех, что судят всегда сплеча и всегда сплеча попадают впросак? Месть пьянчуг всех сортов, для коих утро – самое жуткое время дня? И равным образом – хворенькиx всех сортов, болезненных и подавленных, у которых нет уже духа, чтобы выздороветь? Число этих мелких мстителей, а уж тем более – их мелких мщений чудовищно; вся атмосфера беспрестанно кипит от выпущенных ими стрел и стрелок своей злобы, которые и помрачают солнце и небеса жизни, и не только для них самих, но и более того, для нас, других, всех остальных: а уж эта неприятность похуже той, что они слишком часто царапают нам кожу и душу. Так не *отвергаем* ли мы порой солнце и небо уже просто потому, что так долго не видели их? – Следовательно: одиночество! Еще и поэтому одиночество!

324

Психология актеров. – Есть у больших актеров такая блаженная иллюзия – будто у исторических лиц, которых они изображают, на душе было в действительности так же, как у них самих во время игры: но в этом они сильно ошибаются – их способность подражать и отгадывать, столь охотно выдаваемая ими за некое ясновидение, заходит в глубину как раз лишь настолько, чтобы истолковать жесты, голоса и взгляды, да и вообще все внешнее; иными словами, они схватывают тень души великого героя, государственного

деятеля, воина, честолюбца, ревнивца, человека отчаявшегося, они подходят к самой душе, но не к духу своих объектов. Хорошеньким было бы открытием, что для проникновения в глубины *сущности* какого-либо состояния нужны не все эти мыслители, знатоки, специалисты, – а всего лишь ясновидящий актер! Когда раздаются звуки подобных поползновений, не будем все-таки забывать, что актер – это же идеальная обезьяна, обезьяна до такой степени, что даже не в состоянии поверить в «сущность» и в «существенное»: все для него всегда будет игрой, звуком, жестом, сценой, кулисой и публикой.

325

Жить в стороне и верить. – Способ сделаться пророком и чудотворцем своей эпохи и сегодня таков же, каков был искони: надо жить в стороне, мало зная, имея несколько мыслей и очень много самомнения, – в конце концов мы начинаем верить, что человечеству без нас вперед не продвинуться, *ведь мы-то совершенно явно* продвигаемся вперед без него. Как только возникает эта вера, тут как тут и вера. Напоследок – совет тому, кто захочет им воспользоваться (Уэсли получил его от своего духовного наставника Бёлера): «Проповедуй веру, покуда она у тебя есть, и тогда ты будешь ее проповедовать, потому что она у тебя есть!» –

326

Знать свои обстоятельства. – Мы можем оценивать свои силы, но не свою силу. Обстоятельства не только прячут и показывают нам ее, нет! – они ее увеличивают и уменьшают. Надо считать себя переменной величиной, мощность которой при благоприятных обстоятельствах может сравняться с высочайшей на свете: стало быть, надо размышлять об обстоятельствах и не жалеть сил, наблюдая за ними.

327

Басня. – Дон Жуан в познании: такого не обнаружил еще ни один философ и поэт. В нем нет любви к вещам, которые он познает, но есть мужество, кураж и наслаждение в охоте и интригах познания, несущие его до высочайших и отдаленнейших звезд познания – покуда наконец у него не остается иной добычи, кроме абсолютно *болезненной стороны* познания, в чем он подобен пьянице, напоследок пьющему абсент и царскую водку. И вот в самом конце его тянет к аду – это последнее познание, что его *соблазняет.* Может быть, разочарует его и оно, как и все познанное! Тогда ему придется остановиться на веки вечные, потому что разочарование наложит на него оковы, и он сам станет Каменным гостем, жаждущим только одного – последней вечери познания, которое ему уже не суждено! – ведь вся вселенная вещей уже не может дать этому голодному ни куска.

328

О чем может говорить наличие идеалистических теорий. – Вернее всего идеалистические теории найти у безоглядных практиков; ведь такой ореол нужен им, чтобы поддерживать свою репутацию. Они хватаются за эти теории инстинктивно, отнюдь не думая при этом, будто лицемерят: так и англичане со своими христианскими убеждениями и соблюдением воскресенья не чувствуют себя лицемерами. И наоборот: натурам созерцательным, вынужденным воздерживаться от всяких выдумок и избегающим репутации праздных фантазеров, потребны только строго реалистические теории: они хватаются за них с такою же инстинктивной тягой, не поступаясь при этом своей честностью.

329

Клеветники веселья. – Люди, глубоко раненные жизнью, всегда подозревали всякое веселье в том, что за ним кроется наивность и ребячество, в конце концов глупость, при виде

которой испытываешь только жалость и растроганность, как при виде смертельно больного ребенка, еще обнимающего на своей кроватке игрушки. Такие люди за всеми розами видят скрытые и утаенные могилы; развлечения, праздничная суматоха, веселая музыка предстают им решительным самообманом тяжелобольного, желающего еще раз в течение минуты посмаковать хмель жизни. Но такое мнение о веселье – не что иное, как преломление его лучей на мрачном дне утомленности и болезни: оно само есть нечто трогательно глупое (и потому возбуждает сострадание), даже нечто наивное и ребяческое, но связанное с тем *вторым детством*, которое приходит вместе со старостью и предшествует смерти.

330

Далеко не достаточно! – Далеко не достаточно доказать нужность какого-нибудь дела, требуется еще подбить или подбодрить к нему людей. Поэтому человеку знающему надо учиться, как *выражать* свою мудрость: и нередко следует делать это так, чтобы она *звучала* как глупость!

331

Право и граница. – Аскетизм – правильный образ мыслей для тех, кому приходится искоренять свои чувственные инстинкты, потому что таковые суть взбесившиеся хищные звери. Но – только для них!

332

Надутый стиль. – Художник, желающий не выпускать в произведении пар из своего разбухшего чувства и получать таким образом облегчение, а скорее наоборот, передавать именно это чувство набухания, становится высокопарным, а его стиль – надутым стилем.

333

«Быть человеком». – Мы не считаем животных существами моральными. Но неужто вы думаете, будто животные считают нас моральными существами? – Если бы какое-нибудь животное обладало даром речи, оно сказало бы: «Быть человеком – это предрассудок, которым по крайней мере мы, животные, не страдаем».

334

Благотворитель. – Благотворитель, творя добро, удовлетворяет свою душевную потребность. Чем сильнее эта потребность, тем меньше он входит в положение того, кто служит ему для ее утоления, он становится неделикатным, а при случае способным и на оскорбление. (Такая молва идет о благотворительности и милосердии евреев – как известно, у них они проявляются куда более пылко, чем у других народов.)

335

Ощущать любовь как любовь. – Нам нужно быть честными с собою и знать себя очень хорошо, чтобы проявлять по отношению к другим то человеколюбивое притворство, которое зовется любовью и добротой.

336

На что мы способны? – Один человек был так измучен за целый день своим непутевым и злобным сынком, что вечером убил его, а остальным домашним с облегчением сказал: «Ну вот, теперь и спать можно спокойно!» – Откуда мы знаем, к чему нас *могут* подтолкнуть обстоятельства?

337

«Естественность». – Естественность хотя бы в огрехах – это, может быть, высшая похвала в адрес художника искусственного и во всем остальном лицедействующего, полуподдельного. Поэтому такое существо будет дерзко козырять именно своими огрехами.

338

Заменитель совести. – Один человек – воплощенная совесть другого: а важно это, в особенности когда у другого совсем ее нет.

339

Перипетии долга. – Когда долг перестает быть в тягость, когда по длительном упражнении он превращается в отрадную склонность и потребность, тогда и права тех, к кому относится наш долг, а теперь склонность, становятся чем-то другим: а именно поводами для наших приятных переживаний. Благодаря своим правам другой становится отныне милым нашему сердцу (а не почтенным и страшным, как прежде). Мы стараемся получить *наслаждение*, когда теперь признаем и поддерживаем границы его власти. Когда квиетисты сняли бремя со своего христианства, обретя в Боге лишь наслаждение, они выдумали для себя девиз: «Все для благочестия!»: что бы они ни делали в этом духе, все это было уже не жертвой; это означало то же самое, что «Все для нашего удовольствия!» Требовать, чтобы долг всегда был чем-то тягостным, как это делал Кант, значит требовать, чтобы он не превратился в привычку и обычай: в таком требовании остается толика лютого аскетизма.

340

Видимость – против историков. – Есть один хорошо засвидетельствованный факт – что люди появляются на свет из материнской утробы: а вот для взрослых детей, стоящих рядом со своими матерями, эта гипотеза явно нелепа; против нее говорит видимость.

341

Нераспознание как преимущество. – Некто сказал о себе: в детстве он так презирал кокетливые причуды меланхолического темперамента, что до середины жизни так и не понял, какой же темперамент у него самого: оказалось, как раз меланхолический. Он заявил, что это – лучший из возможных видов невежества.

342

Не путать одно с другим! – Так-то вот! Он рассматривает вещь со всех сторон, а вы-то думаете, будто это – настоящий человек познания. А ему надо только одно – сбить цену: он хочет купить эту вещь!

343

Якобы моральные. – Вы не желаете быть недовольными собою, страдать от себя – и называете это своей моральной склонностью! А вот кто-то другой назовет это трусостью. Но в любом случае верно одно: вам никогда не совершить путешествия вокруг света (каковой есть вы сами!), в вас никогда не будет места случаю, риску сорваться! Неужто вы думаете, будто мы, слепленные из другого теста, только по чистой глупости пустились в путешествие по внутренним пустыням, болотам и горным ледникам, добровольно взяв на себя и страдания, и скуку, подобно столпникам?

344

Промахи как мудрость. – Если Гомер, как говорят, порою засыпал, то он все же был умнее, чем все творцы с бессонным честолюбием. Поклонникам следует давать возможность передохнуть, время от времени превращая их в своих хулителей; ведь никому не под силу поддерживать в себе непрерывно сияющее и неусыпное одобрение; и мастер, который на него рассчитывает, будет не благодетелем, а расхаживающим перед нами и ненавистным надзирателем.

345

Наше счастье – не аргумент за или против. – Многие люди способны лишь на скромное счастье: и это так же мало говорит против их мудрости – мол, не смогли добыть с ее помощью счастья побольше, – как и соображение, что, дескать, одни люди вообще неизлечимы, а другие все время хворают, говорит против медицины. Пусть каждому выпадет большое счастье найти как раз то жизненное воззрение, при котором он в состоянии добиться *своей* высшей степени счастья: все равно его жизнь может оказаться жалкой и не слишком достойной зависти.

346

Женоненавистники. – «Женщина – враг наш» – если мужчина говорит так мужчинам, то он выражает разнузданное влечение, ненавидящее не только себя, но свои средства.

347

Школа для оратора. – Кто молчит в течение года, разучается болтать и научается говорить. Пифагорейцы были лучшими государственными деятелями своего времени.

348

Чувство власти. – Надо хорошенько различать следующее: кто еще только хочет получить чувство власти, тот хватается за все средства и не брезгует никакой пищей для него. А у кого оно уже есть, в том развился вкус взыскательный и благородный; редко бывает, чтобы что-то сразу удовлетворяло его.

349

Совсем не так уж и важно. – Всякий раз, когда стоишь у чьего-нибудь смертного ложа, напрашивается мысль, которую из ложного чувства приличия тотчас в себе подавляешь: что акт умирания не столь уж многозначителен, как обычно считают из почтения к смерти, и что при жизни тот, кто теперь умирает, утратил, вероятно, куда более важные вещи, нежели то, что вот-вот утратит. Конец тут – конечно, не цель. –

350

Как лучше всего обещать. – Когда звучит обещание, то содержится оно не в словах, а в том невысказанном, что стоит за словами. Мало того, слова обессиливают обещание, потому что разряжают и потребляют силу, каковая есть часть силы той, что обещает. Так протяните же просто руку, но палец возложите на уста, – это и будет самый нерушимый из всех обетов.

351

Что обычно понимают не так. – В ходе разговора можно заметить, как один старается расставить ловушку для другого, и не со злобы, как можно подумать, а чтобы насладиться собственной ловкостью; еще – тех, что подготавливают остро́ту, которую произносит другой, и тех, что завязывают

узлы, чтобы их развязали другие: и не из благожелательности, как можно подумать, а со злобы и из презрения, свойственным грубым умам.

352

Центр. – Чувство, гласящее: «Я – средоточие мира!», проявляется очень сильно, когда на нас внезапно нападает стыд; мы стоим, словно со всех сторон оглушенные грохотом, и чувствуем себя прикованными к одному огромному оку, что отовсюду глядит на нас и сквозь нас.

353

Свобода слова. – «Следует говорить правду, пусть даже весь мир провалится в тартарары», – громогласно вещает великий Фихте! – А то мы не знали! Но ведь для начала-то надо эту правду иметь! – Однако он полагает, что каждый обязан высказывать свое мнение, пусть даже все пойдет кувырком. На этот счет с ним надо бы еще поспорить.

354

Мужество страдать. – Мы, нынешние, можем переварить довольно большое количество отвращения, и наш желудок готов принимать такую тяжелую пищу. Может быть, не будь ее, трапеза жизни показалась бы нам пресной: а без готовности к боли нам пришлось бы распрощаться со слишком многими радостями!

355

Поклонники. – Кто поклоняется так, что готов растерзать любого равнодушного, тот принадлежит к числу палачей собственной партии – люди стараются не подавать ему руки, даже если сами из той же партии.

356

Как действует счастье. – Первое действие счастья – *чувство власти*: оно хочет *обнаружиться* все равно против кого, нас самих ли, других людей, представлений или воображаемых существ. Его наиболее обычные способы обнаружиться таковы: одаривать, глумиться, уничтожать – и все три ведомы одним общим, основным влечением.

357

Кусачие мухи морали. – Те моралисты, которым недостает любви к познанию и которые умеют наслаждаться, только причиняя боль, отличаются провинциальным складом ума, провинциальной скукой; их сколь жестокое, столь же и жалкое удовольствие состоит в том, чтобы следить за соседом и тайком подкладывать иголку так, чтобы он укололся. Из них так и не вышли дурные манеры маленьких мальчиков, которые места себе не находят, пока не погоняют и не помучают что-нибудь живое или мертвое.

358

Основания и их неосновательность. – Ты питаешь к нему отвращение и приводишь множество оснований – а я верю только в твое отвращение, но не в основания! Это ведь способ льстить самому себе – представлять себе и мне как разумное решение то, что совершается инстинктивно.

359

Когда совершается одобрение. – Брак одобряют, во-первых, потому, что еще не знают, каков он на деле, во-вторых, потому что с ним уже свыклись, в-третьих, потому что его заключили, – то есть почти во всех случаях. Но это решительно ничего не говорит о том, что брак удачен.

360

Отнюдь не утилитарии. – «Сила, которой причиняют много зла, на которую держат много зла, гораздо лучше бессилия, которой делают только добро», – так чувствовали дело греки. Иными словами: ощущение силы они ценили выше, чем какую бы то ни было пользу или доброе имя.

361

Казаться безобразным. – Посредственное считает себя прекрасным; оно не виновато в том, что в глазах необычайного выглядит грубым и прозаичным, а следовательно – безобразным.

362

Такая разная ненависть. – Некоторые ненавидят, только когда чувствуют себя слабыми и утомленными: обычно же они справедливы и склонны ничего не замечать. Другие ненавидят, лишь когда у них есть случай отомстить: обычно же они избегают впадать во всякий гнев, подавленный или явный, и, если только есть такая возможность, стараются не думать о нем.

363

Люди случая. – Самое главное в любом изобретении делает случай, но этот случай проходит мимо большинства людей.

364

Выбор окружения. – Не стоит жить среди людей, с которыми нельзя ни достойно молчать, ни поделиться самым заветным, так что втуне остаются наши жалобы и пени, да и вся история наших бедствий. Здесь человек делается недоволь-

ным собой, недовольным этим окружением, его берет досада, оттого что он постоянно чувствует себя жалующимся – вдобавок к досаде от той беды, на которую жалуется. А жить надо там, где люди *стыдятся* говорить о себе и где в этом не нуждаются. – Да разве кто думает о таких вещах, о *разборчивости* в таких вещах! Говорят о своем «злом роке», демонстрируют свою широкую спину и вздыхают: «Эх, разнесчастный я Атлант!»

365

Незаметность. – Желание быть на людях ничтожным есть страх показаться оригинальным, то есть нехватка гордости, но не всегда нехватка оригинальности.

366

О чем тужит преступник. – Разоблаченный преступник страдает не из-за того, что натворил, а от стыда или злости на себя за сделанную глупость, или от того, что лишен привычной стихии, и нужна чуткость, которая встречается редко, чтобы различать эти вещи. Всякий, кто много общался с обитателями тюрем и каторог, бывал поражен тем, сколь редко увидеть там явные «угрызения совести»: зато тем чаще – тоску по старому злому милому преступлению.

367

Всегда казаться счастливым. – Когда философия выступала предметом публичных ристаний (в Греции третьего столетия), находилось немало философов, торжествовавших от задней мысли, что другие, жившие по иным принципам и оттого страдавшие, вероятно, удручены их счастьем: они думали, будто их счастье – лучший аргумент в споре против тех, других, а чтобы он имел силу, им было довольно всегда казаться счастливыми, – но ведь при этом им приходилось

и впрямь прочно *становиться* счастливыми! Таков был, к примеру, удел киников.

368

Обычная причина непризнания. – Моральный склад человека с растущими душевными силами отличается радостью и непоседливостью; моральный склад человека с убывающими душевными силами – на исходе дня или у больных и старых – отмечен чертами страдания, желания покоя, созерцательности, меланхолии и даже нередко угрюмости. В зависимости от того, какой склад преобладает в человеке, он не понимает, не признает противоположный склад, а в ближнем часто истолковывает его как безнравственность и изъян.

369

Возвыситься над собственным убожеством. – Вот это, я понимаю, лихие ребята – те, что для восстановления чувства собственного достоинства и важности всегда нуждаются прежде всего в других, на которых можно наорать, которых можно ударить: то есть таких, перед которыми из-за их бессилия и трусости можно безнаказанно делать возвышенные и яростные телодвижения! И вот им нужно убожество окружающих, чтобы на мгновение возвыситься над собственным убожеством! – У одного для этого есть собака, у второго друг, у третьего жена, у четвертого партия, а у очень и очень немногих – целая эпоха.

370

В каком отношении мыслитель любит врага своего. – Никогда не отбрасывай и не обходи в себе молчанием того, что́ можно помыслить против твоей мысли! Дай себе в этом зарок! Ведь без этого не бывает честного мышления. А еще – каждый день ты обязан идти войною на себя самого. Победа

или взятый окоп – дело уже не твое, а истины, – но зато и поражение уже не твое дело!

371[1]

Злость от силы. – Насилие как следствие страсти, к примеру гнева, физиологически следует трактовать как попытку предотвратить грозящий приступ удушья. Бесчисленные действия, продиктованные желанием покуражиться, которое надо разрядить на окружающих, бывают производными от внезапных приливов крови из-за сильных сокращений мускулов: и, возможно, на весь феномен «злости от силы» нужно смотреть под этим углом. (Злость от силы причиняет другому боль, не думая, – она просто *должна* высвободиться; злость от слабости *хочет* делать больно и видеть признаки страданья.)

372[2]

В честь знатоков. – Лишь только кто-то, не будучи знатоком дела, начнет разыгрывать судью, следует немедля возмутиться, будь это *он* или *она*. Энтузиазм и восхищение вещью или человеком – отнюдь не аргументы; отвращение и ненависть к ним – тоже.

373

Предательский изъян. – «Он не знает людей» – в устах одного это значит: «Он не ведает низости», в устах другого – «Ему неведомо необычное, но слишком хорошо ведома низость».

374

Ценность жертвы. – Чем меньше за государством и монархами признается право приносить в жертву отдельных людей (как, скажем, при судопроизводстве или призыве на

военную службу), тем выше будет ценность добровольного принесения в жертву себя.

375

Говорить слишком отчетливо. – Артикулировать свою речь слишком отчетливо можно по разным причинам: во-первых, от неверия в свои силы, когда говоришь на чужом языке, не имея опыта, а во-вторых, и от неверия в других – по причине их глупости или тугого понимания. Так же дело обстоит и в сфере духа: порой наши высказывания бывают слишком отчетливы, слишком педантичны, потому что те, кому мы их адресуем, иначе нас не поймут. Следовательно, стиль отточенный и легкий *дозволен* лишь перед лицом отточенной аудитории.

376

Много спать. – Что делать, чтобы взбодрить себя, если ты устал и по горло сыт собою? Один советует отправиться в игорный дом, другой – прильнуть к христианству, третий – полечиться электрическим шоком. Но всего лучше, милый мой меланхолик, есть и будет вот что: *много спать*, в прямом и переносном смысле слова. Вот и снова доживешь до утра! Весь фокус житейской премудрости в том и состоит, чтобы знать, в какое время на какой лад спать.

377

О чем может говорить наличие фантастических идеалов. – Там, где залегают наши изъяны, прогуливаются наши болезненные грезы. Внушенное ими положение «возлюбите врагов ваших» изобрели, уж верно, евреи, лучшие ненавистники, какие только были на свете, а самые красивые восхваления невинности сочинялись теми, что провели свою юность в распутстве и мерзости.

378

Чистые руки, чистые стены. – Не стоит малевать на стене ни бога, ни черта. А не то испортишь и стену и отношения с соседом.

379

Вероятное и невероятное. – Одна женщина втайне любила одного мужчину, ставила его гораздо выше себя и в глубине души тысячу раз говорила себе: «Если б меня полюбил такой мужчина, то оказал бы мне милость, за которую мне стоило бы пасть перед ним ниц!» – А у мужчины было то же самое чувство, и притом как раз к этой женщине, и в глубине души он тоже говорил себе именно эти слова. И когда наконец у обоих отверзлись уста и они выложили друг другу все, что лежало на сердце и за сердцем, оба вдруг замолчали и глубоко задумались. Потом женщина остывшим голосом сказала: «Да, вот теперь все и выяснилось! Оба мы не то, что любили! Если ты такой, как следует из твоих слов, и не больше того, значит, напрасно я унижалась, любя тебя; демон попутал меня, и тебя тоже». – Сия весьма вероятная история все никак не может разыграться – отчего бы это?

380

Испытанный совет. – Из всех утешений никакое не действует так хорошо на горемык, как заявление, что их случай безутешен. Оно дает им такую привилегию, что они сразу поднимают выше голову.

381

Знать свои «приметы». – Мы слишком легко забываем, что глазам посторонних, которые видят нас впервые, мы предстаем чем-то совершенно иным, нежели то, чем привыкли себя считать: и, как правило, не более как бросающейся в

глаза отдельной приметой, которая и формирует все впечатление. Скажем, человек милейший и справедливейший, если только он носит толстые усы, вполне может оказаться, и надежно оказаться, словно бы в их тени – дюжинные глаза увидят в нем лишь *принадлежность* толстых усов, иначе говоря, солдатский, склонный к вспыльчивости, а то даже и к насилию характер, – и будут обращаться с ним в полном согласии с таким впечатлением.

382

Садовник и сад. – Из сырых, мрачных дней, из одиночества, из холодных слов в нас, точно грибы, вырастают *выводы*: наутро они тут как тут, неизвестно откуда взялись и кисло, угрюмо нашаривают нас. Горе мыслителю, что хочет быть не садовником, а только почвой для своих порослей!

383

Комедия сострадания. – Как же мы все-таки любим принимать участие в каком-нибудь горемыке: при нем мы всегда немного ломаем комедию, умалчиваем многое из того, чт думаем и как мы это думаем, – словно врач, щадящий тяжелобольного на его ложе.

384

Странные святые. – Есть такие малодушные, которые ни во что не ставят свои лучшие творения и дела, затрудняясь о них рассказать или дать отчет: зато, чтобы на свой лад отомстить, они ни во что не ставят и симпатии других к себе – или вообще не верят в симпатию; им стыдно показаться увлеченными собою, а вызвать смех доставляет им упрямое удовольствие. – Таковы некоторые душевные черты художников меланхолического склада.

385

Суетность. – Мы словно витрины, за которыми сами же беспрестанно перекладываем, прячем или выставляем на обозрение мнимые качества, которые приписывают нам другие, – и все для того, чтобы обмануть *себя.*

386

Патетика и наивность. – Эта привычка может быть и весьма пошлой – не упускать ни одного случая разыграть патетические чувства, и все ради наслаждения представить себе зрителя, который бьет себя в грудь, ощущая собственное убожество и никчемность. Следовательно, глумиться над патетическими ситуациями, напуская на себя вид пошляка, – может быть и признаком благородства. Таковы были понятия о благородстве и изысканности у старой воинственной французской знати.

387

Образчик рассуждений еще не женатого. – Положим, она будет меня любить: ох, тогда не будет для меня конца такой докуке! А положим, она меня разлюбит: как же она станет мне бесконечно докучать после этого! – И все дело лишь в двух разных видах докуки: так давайте жениться!

388

Жульничество с чистой совестью. – Когда в лавке тебя обсчитывают, то в некоторых местностях, к примеру, в Тироле, это так неприятно оттого, что помимо несправедливой сделки получаешь вдобавок зрелище озлобленного лица и грубой алчности, не говоря уже о нечистой совести и тупой враждебности к тебе у обманывающего приказчика. А вот в Венеции шельма-продавец от всего сердца радуется удачному надувательству, вовсе не испытывая враждебности к

обсчитанному, мало того, он даже склонен оказать ему любезность, а именно посмеяться вместе с ним, если у того есть к этому охота. – Короче говоря, для жульничества нужны еще кураж и чистая совесть: это почти примиряет обманутого с обманом.

389

Слишком серьезные. – Люди очень даже славные, да только немного слишком серьезные, чтобы быть светски любезными, стараются тотчас ответить на чужую любезность, тяжеловесно предлагая свои услуги или тратя свои душевные силы. Трогательно видеть, как они робко протягивают свои червонцы в ответ на позолоченные гроши, полученные от других.

390

Скрывать свой ум. – Когда мы ловим кого-то на том, что он скрывает от нас свой ум, мы считаем его злым, и притом тем больше, чем сильнее сердит нас то, что к этому его побудили любезность и человеколюбие.

391

Это злосчастное мгновенье. – Люди бедовые лгут лишь какое-то мгновенье: потом они, обманув себя, по-прежнему остаются внутренне цельными и правдивыми.

392

Условие учтивости. – Учтивость – штука очень хорошая и поистине одна из четырех главных добродетелей (хотя и последняя): но чтобы она не докучала ни одному из двоих, тот, с кем я имею дело, должен быть чуточку более или чу-

точку менее учтив, чем я, – иначе мы ни шагу не ступим, и елей не просто смажет, а намертво склеит нас.

393

Опасные добродетели. – «Он ничего не забывает, зато все прощает.» – Тогда он должен вызывать ненависть вдвойне, ведь и стыд он вызывает вдвойне – своею памятью и своим великодушием.

394

Без суетности. – Люди страстные мало думают о том, о чем думают другие, их душевное состояние поднимает их над суетностью.

395

Созерцательность. – У одного мыслителя свойственное ему созерцательное состояние всегда следует за состоянием страха, у другого – всегда за состоянием алчного желания. Первому поэтому созерцательность кажется связанной с чувством *безопасности*, второму – с чувством *насыщения* – а это значит: первый входит тут в настроение бодрости, второй – пресыщенности и безразличия.

396

На охоте. – Тот выходит на охоту, чтобы добыть приятные истины, этот – чтобы добыть неприятные. Но первый, кроме того, испытывает больше удовольствия от охоты, чем от добычи.

397

Воспитание. – Воспитание – это продолжение зачатия, а часто – своего рода его приукрашивание задним числом.

398

Как распознать более горячего. – Двое борются, или любят друг друга, или восхищаются друг другом – и тот из них, кто горячей, всегда оказывается в более неудобном положении. То же верно и относительно двух народов.

399

Самозащита. – У иных людей есть полное право поступать так-то и так-то; но когда они это право защищают, другие в него уже не верят – и ошибаются.

400

Моральная изнеженность. – Встречаются морально тонкокожие натуры, стыдящиеся всякого успеха и испытывающие угрызения совести при всякой неудаче.

401

Самый опасный вид отвыкания. – Некоторые начинают с того, что отвыкают любить других, а кончают тем, что уже не видят в себе ничего достойного любви.

402

Еще одна терпимость. – «Полежать на пылающих углях минуткой дольше и немного *поджариться* – такое не повредит ни людям, ни каштанам! Эта легкая горечь и жесткость толь-

ко и позволяют распробовать сладкую и мягкую сердцевину». – Вот так. Это ваши слова, вы, потребители! Вы, утонченные людоеды!

403

Такая разная гордость. – Женщины – это они бледнеют при мысли, что их возлюбленный, наверное, их не стоит; мужчины – это они бледнеют при мысли, что их возлюбленные, наверное, их не стоят. Речь тут идет о полноценных женщинах, о полноценных мужчинах. Такие мужчины, будучи в *обычном* состоянии людьми в себе уверенными, проникнутыми чувством власти, в состоянии страсти испытывают стыд, неуверенность в себе; а вот такие женщины в обычном состоянии неизменно чувствуют себя слабыми, готовыми уступить, но в страсти, этом возвышенном *исключении*, они проявляют гордость и чувство власти – которое задает вопрос: так кто же достоин *меня*?

404

Кому редко воздают по заслугам. – Некоторые не способны увлечься чем-нибудь хорошим и великим, не проявляя крайней несправедливости к нему в каком-нибудь отношении: таков *их* лад быть моральными.

405

Роскошь. – Склонность к роскоши коренится в глубине человеческой натуры: и эта склонность свидетельствует о том, что излишки и неумеренность – те воды, в которых душе лучше всего плывется.

406

Обессмертить. – Кто хочет убить своего врага, должен подумать, не похоронит ли его у себя именно этим.

407

Вопреки характеру. – Если истина, которую мы собираемся изречь, противоречит нашему характеру – а так бывает нередко, – то ведем себя при этом так, словно не умеем врать, а это возбуждает в людях недоверие.

408

Когда особенно нужна снисходительность. – У некоторых натур есть только один выбор: быть либо явно – злодеями, либо втайне – жертвами.

409

Болезнь. – Под болезнью следует понимать вот что: несвоевременное наступление старости, безобразия и пессимистических мыслей: все эти вещи – одного поля ягоды.

410

Боязливые. – Именно создания внутренне грубые и боязливые особенно склонны наносить смертельные побои: им незнакома минимально необходимая самооборона или месть, их ненависть по недостатку духа и присутствия духа не ведает иного выхода, кроме убийства.

411

Без ненависти. – Ты хочешь расстаться со своей страстью? Так и сделай, но только *без ненависти* к ней! А иначе получишь другую страсть. – Душа христианина, избавившаяся от греха, потом обыкновенно гибнет из-за ненависти к греху. Загляни в лица великих христиан! Эти лица излучают великую ненависть.

412

Остроумие и ограниченность. – Он не умеет ценить ничего, кроме себя; а когда ему хочется ценить других, ему постоянно приходится превращать их в себя и только в себя. Однако в этом он проявляет остроумие.

413

Обвинители частные и публичные. – Приглядись ко всякому, кто обвиняет и допрашивает, – делая это, он раскрывает свой характер, и притом характер нередко более скверный, чем у жертвы, по следам преступления которой он идет. Обвинитель совершенно невинно считает, что противник злодеяния и злодея уже как таковой непременно обладает хорошим характером или слывет хорошим, – и вот он дает себе полную волю, а это значит – *срывается* с цепи.

414

Самоослепление. – Бывает такая горячечно-восторженная, доходящая до крайности преданность личности или партии, говорящая о том, что втайне мы считаем себя стоящими выше их и потому недовольны собою. Мы словно сами ослепляем себя в наказание за то, что слишком многое узнали.

415

Remedium amoris[1]. – От любви в большинстве случаев все еще помогает старое доброе радикальное средство: ответная любовь.

416

Где твой злейший враг? – Кто хорошо умеет делать свое дело и уверен в нем, тот, как правило, готов примириться со своим противником. Но думать, что твое дело правое, и знать, что ты толком *не* сможешь его защитить, – это рождает в душе яростную и непримиримую ненависть к врагу твоего дела. – Вот теперь и рассудите, где искать своих злейших врагов!

417

Предел всякого смирения. – До смирения, которое говорит: *credo quia absurdum est*[2], и предлагает в жертвы свой разум, доходили, верно, многие: но никто, насколько я знаю, не доходил до смирения, которое находится лишь одним шагом дальше и гласит: *credo quia absurdus sum*[3].

418

Игры в правду. – Бывают люди, искренние не потому, что им претит разыгрывать чувства, а потому что знают: попробуй они только притворяться – и никто не поверит. Короче говоря, такие не доверяются своему актерскому дару, предпочитая честность, «игры в правду».

---

1 Лекарство от любви (*лат.*) – ссылка на поэму Овидия «Средства от любви» («Remedia amoris»).

2 Верю, ибо это нелепо (*лат.*).

3 Верю, ибо я нелеп (*лат.*).

419

Дух в партии. – Бедные овцы говорят своему взводному: «Ты только давай иди впереди, а уж у нас всегда хватит духу идти за тобой». А бедняга взводный думает про себя: «Вы только давайте идите за мной, а уж у меня всегда хватит духу вести вас вперед».

420

Хитрость жертвы. – Встречается у людей такая печальная хитрость, когда они предпочитают обманывать себя относительно того, кому собою пожертвовали, давая ему возможность показаться жертвам таким, каким они хотели бы его видеть.

421

Сквозь других. – Есть люди, которые не хотят, чтобы их видели никак иначе, чем когда они просвечивают сквозь других. И в этом много благоразумия.

422

Доставлять радость другим. – Почему радость радовать других выше всех радостей? – Потому что так человек одним махом доставляет радость пятидесяти собственным влечениям. Каждая из таких радостей сама по себе может быть ничтожной: но если взять их все в руку, рука будет полнее, чем всегда, – и сердце тоже! –

Книга пятая

423

В великом безмолвии. – Вот и море, здесь мы можем забыть о городе. Правда, сейчас его колокола еще отзванивают вечерню – это знакомый, мрачный и глупый, но сладостный шум на перепутье дня и ночи, – но подожди еще мгновенье! И вот уже все молчит! Море лежит в бледном сиянии, оно не может говорить. Небо ведет свою вечную закатную немую игру красным, желтым и зеленым, оно не может говорить. Малые валуны и сростки скал, что вбежали в море, словно чтобы найти место, где всего одиноче, – все они не могут говорить. Эта чудовищная немота, что внезапно обрушивается на нас, прекрасна и страшна, ею переполняется сердце. – Проклятье двуличию этой немой красоты! Ведь могла бы она говорить по-доброму, да и по-злому тоже, если б только захотела! Ее окаменевший язык, смесь счастья и страдания в ее лике – это коварство, это тайное глумленье над твоим сочувствием! – Хорошо, пусть даже так! Мне не стыдно, что надо мною глумятся такие силы. Но я жалею тебя, Природа, потому что тебе приходится молчать, даже если тебе связывает язык только твоя злоба: да, я жалею тебя за твою злобу! – Ах, тишина еще глубже, и снова переполняется мое сердце: оно испугано новой истиной – *оно тоже не может говорить*, оно и само глумится вместе с Природой, когда уста выкрикивают что-то в эту красоту, оно и само наслаждается сладостной злобой своего молчанья. Я начинаю ненавидеть слово, даже мысль: разве я не слышу, как за спиною каждого слова смеются заблужденье, морок, призрак безумия? Не поглумиться ли мне над своим сочувствием? Над своим глумлением? – О море! О вечер! Вы плохие наставники! Вы учите человека *больше не быть* человеком! Быть может, он должен броситься в вас? Быть может, он должен стать таким, как вы сейчас, бледно-сияющим,

немым, чудовищным, над собою лежащим в покое? Над собой вознесенным?

424

Для кого существует истина. – Заблуждения были доселе силами самыми утешительными: теперь того же действия ожидают от добытых истин, и ожидание уже несколько затянулось. А что, если как раз именно это – утешать – истины не в состоянии? – Разве это может служить доводом против истин? Что общего у них с душевными состояниями людей страдающих, искалеченных, больных, благодаря чему они могли бы принести пользу именно им? Конечно, если установлено, что какое-то растение не может служить для излечения человека, то это вовсе не аргумент против *истины* растения. Но прежде люди были до такой степени убеждены в том, будто человек – цель природы, что без колебаний соглашались с мыслью: и познание не может обнаружить ничего, кроме целительного и полезного для человека; мало того, никаких других вещей оно вообще *не может, не должно* и *давать.* – Может быть, из всего этого следует вывод, что истина *как нечто целое* и связное существует лишь для душ могущих и в то же время кротких, исполненных радости и покоя (какова была душа Аристотеля), и что точно так же, верно, лишь эти души и будут в состоянии *заниматься ее поиском*: ведь другие-то ищут *лекарства* для себя, как бы они ни гордились своим разумом и его свободой, – они ищут *не* истину. Получается, что эти другие обретают мало настоящей радости от науки и потому упрекают ее в холоде, сухости и бесчеловечности: так больные судят об играх здоровых. – Греческие боги тоже не умели утешать; когда наконец сделались больными все люди греческого склада души, это стало причиной гибели этого склада богов.

425

Мы – боги в изгнании! – Впав в *заблуждения* относительно своего происхождения, своей исключительности, своего пред-

назначения и проникнувшись *притязаниями*, основанными на этих заблуждениях, человечество высоко занеслось и старалось «превосходить себя» все снова и снова: но благодаря тем же самым заблуждениям на свет субъективно и объективно явилось море страданий, взаимной травли, подозрений, непризнания, а еще больше горя для отдельных людей. Люди сделались *страдающими* созданиями из-за своей морали: а что́ они такою ценой купили – это в общем и целом ощущение, будто, в сущности, они слишком хороши и ценны для этой земли и пребывают на ней исключительно временно. «Страдающее высокомерие» пока все еще остается высшим человеческим типом.

426

Цветовая слепота мыслителей. – Совершенно иначе, чем мы, видели греки природу, если приходится признать, что их глаза были слепы на синий и зеленый цвета, и вместо первого они видели темно-коричневый, а вместо второго – желтый (если они, стало быть, называли одним словом цвет темных волос, васильков и южного моря, и опять-таки одним словом – цвет сочнейшей зелени растений и человеческой кожи, меда и желтой смолы, так что их величайшие художники убежденно передавали свой мир только черной, белой, красной и желтой красками), – совершенно иной и намного более близкой к человеку должна была являться им природа, ведь в их глазах человеческие цвета преобладали и в природе, отчего та словно плыла в цветовом эфире человечества! (Синий и зеленый цвета обесчеловечивают природу больше, чем что-либо другое.) Из почвы этого *изъяна* пышно произросла характерная для греков способность играючи представлять себе природные процессы в виде богов и полубогов, то есть в человекоподобном облике. – Но все сказанное было лишь метафорическим зачином для следующего предположения. Любой мыслитель рисует себе мир не всеми красками, *какие есть*, и на некоторые из них он слеп. Это не только изъян. Благодаря такому неразличению и упрощению он мысленно привносит *в вещи* сочетания красок, обладающие большой притяга-

тельностью и способные обогатить природу. Быть может, таким был даже путь, на котором человечество впервые научилось *наслаждаться* зрелищем всего сущего: поначалу это сущее рисовалось ему одним или двумя цветовыми оттенками и благодаря этому гармонизировалось; люди словно разучивали эти немногие тона, прежде чем перейти к большему разнообразию. И сегодня некоторые люди по причине частичной цветовой слепоты тем самым обогащают свое зрение и способность различать: при этом, однако, они не только обретают новые наслаждения – им *приходиться отказываться* от некоторых из прежних и *утрачивать* их.

427

Приукрашивание науки. – Как садовое искусство рококо возникло из чувства, выраженного словами «Природа безобразна, дика, скучна – ну так что ж! Приукрасим ее!» (*embellir la nature*[1]), – так из чувства, выраженного словами «Наука безобразна, суха, безутешна, трудна, скучна – так что ж! Позвольте нам ее приукрасить!» постоянно возникает то, что называет себя *философией*. Она хочет того же, чего хотят все искусства и выдумки, – главным образом *развлекать*: но хочет она этого, по своей наследственной гордости, на более благородный и высокий лад, перед собранием отборных умов. Разработать для нее некое садовое искусство, главная прелесть коего, как и «обычного», – *обман зрения* (возникающий благодаря беседкам, видовым площадкам, гротам, лабиринтам, водопадам, – говоря метафорически), представить науку в конспекте, но со всяческими странными и неожиданными подсветками, подмешав в нее так много неопределенности, глупости и мечтательства, чтобы можно было гулять по ней, «как по первозданной природе», но только без усилий и скуки, – в таком замысле немало честолюбия: его авторы грезят даже о том, чтобы таким путем сделать ненужной религию, каковая у прежнего человечества превратилась в высший жанр развлекательного искусства. – Все это идет своим чередом и в один прекрасный день за-

---

1 Приукрасить природу (*фр.*).

топит все вокруг: уже сейчас начинают раздаваться голоса против философии, призывающие: «Назад к науке! К природе и к естественности науки!» – а тем самым, может быть, *нарождается* новый век, который обнаружит самую дивную красоту именно в «диких, безобразных» уголках науки, подобно тому как лишь со времен Руссо люди ощутили вкус к красоте высокогорья и пустынь.

428

Два вида моралистов. – Впервые увидеть, и увидеть целиком, то есть *доказать*, закон природы (к примеру, законы свободного падения тел, отражения света и звука) – это нечто иное, чем *объяснить* такой закон; это дело других умов. Так и те моралисты, которые видят и вскрывают человеческие законы и привычки – моралисты с тонким слухом, нюхом, зрением, – совершенно отличны от тех, что объясняют результаты наблюдений. Эти последние обязаны быть прежде всего *изобретательными* и наделенными воображением, *раскрепощенным* проницательностью и знанием.

429

Новая страсть. – Почему мы боимся и ненавидим возможность возвращения к варварству? Потому ли, что оно сделает людей более несчастными, чем они есть? Да нет же! Во все времена варвары были *более* счастливы – не будем себя обманывать! – А дело в том, что наше *влечение к познанию* слишком сильно, чтобы мы ценили счастье без познания или счастье сильной устойчивой иллюзии; даже помыслить такие состояния нам мучительно тяжело! Раж открытия и отгадки стал для нас таким же привлекательным и необходимым, какой бывает неразделенная любовь для любящего: ведь он ни за какую цену не променяет ее на душевное безразличие; – да и, кстати, может быть, мы тоже любим *неразделенной* любовью! Познание превратилось у нас в страсть, не боящуюся никаких жертв, да и вообще ничего не боящуюся, кроме собственного угасания; мы искренне верим, что

под напором и бичом *этой* страсти все человечество чувствует себя более возвышенным и обнадеженным, чем прежде, когда оно еще не могло преодолеть зависти к грубейшим удовольствиям, сопровождающим варварство. Может даже случиться, что человечество погибнет от этой страсти к познанию! – Но нам нипочем и эта мысль! Разве христианство когда-либо пугали подобные мысли? Разве любовь и смерть – не близнецы? Да, мы ненавидим варварство – все мы предпочтем, чтобы человечество погибло, лишь бы не отступило назад познание! И наконец: если человечество не погибнет от *страсти*, то оно погибнет от слабости, – так что же лучше? Вот он, главный вопрос. Какую смерть ради ответа на него мы выберем: в огне и свете – или в песке?

430

Разновидность героизма. – Делать вещи самые постыдные, такие, о которых не принято и говорить, но которые полезны и нужны, – это тоже героизм. Греки не погнушались ввести в число подвигов Геракла даже очистку от навоза некоей конюшни.

431

Мнения оппонентов. – Чтобы судить о том, насколько тонки или тупы от природы даже самые сообразительные, надо посмотреть, как они относятся к мнениям своих оппонентов и как их пересказывают: тут-то и выясняются природные свойства любого ума. – Совершенный мудрец, сам того не желая, делает своего оппонента идеальным, очищая его возражения от всех неловкостей и случайностей: и лишь когда благодаря этому тот превращается в бога в сияющем доспехе, он начинает с ним бороться.

432

Исследователи и испытатели. – В науке нет метода, который только один и способен давать знание! Нам приходится обращаться с вещами методом проб и ошибок, вести себя с ними то по-доброму, то по-злому, и проявлять к ним по очереди справедливость, страсть и холодность. Один говорит с вещами, как полицейский, другой – как исповедник, третий – как любопытствующий путешественник. От них добиваются чего-то то симпатией, то насилием; одного ведет вперед, к пониманию, почтение перед их таинствами, другого же, в объяснении этих таинств, – страсть к разглашению и кураж. Мы, исследователи, как и все завоеватели, первооткрыватели, мореходы, искатели приключений, отличаемся дерзким нравом, и мы, так уж и быть, согласимся прослыть в общем злыми.

433

Взглянуть другими глазами. – Предположим, что под красотою в искусстве всегда понимается *воспроизведение существа счастливого*, – а в таком виде я готов признать это истиной, – в зависимости от того, как эпоха, народ, отдельная великая, самовластная личность представляют себе счастливого человека: что тогда можно будет сказать о счастье нашей эпохи судя по так называемому *реализму* современных художников? Это, несомненно, *его* разновидность красоты – ее-то мы сегодня и умеем воспринимать и наслаждаться ею с такой легкостью. Следовательно, не приходится ли думать, что нынешнее, свойственное *нам*, счастье заключается в реализме, в как можно более четком восприятии и правильной оценке действительности, и, стало быть, не в реальности, а в *знании о реальности*? Вот какой глубины и охвата уже достигло влияние науки, если художники столетия, сами того не желая, превратились в прославителей «благ» науки самих по себе!

434

Заступничество. – Местности непритязательные созданы для великих пейзажистов, зато броские и причудливые – для пейзажистов малых. Ведь великим вещам природы и человечества приходится заступаться за всех своих малых, посредственных и честолюбивых поклонников – *великий* же заступается за вещи *скромные.*

435

Погибнуть не без следа. – Не *вдруг,* а мало-помалу дробятся, рассыпаются наши способности, достигнутое нами величие; мелкая растительность, прорастающая в любых щелях, умеющая зацепиться за что угодно, разрушает все, что в нас есть великого, – эта ежедневная, ежечасная неприметная убогость нашего окружения, тысячи корешков того или другого мелкого и мелочного чувства, вырастающего из отношений с соседями, сослуживцами, приятелями, из нашего распорядка дня. Если не замечать эти мелкие сорняки, мы незаметно начнем гибнуть от них! – А если уж вы непременно хотите погибнуть, то лучше сделайте это *одним махом,* внезапно: тогда, может быть, от вас останутся *благородные развалины*! А не пугающие холмики над кротовьими норками, как сейчас! И трава, и плевелы на них, эти мелкие победители, скромные, как прежде, и слишком жалкие даже для триумфа!

436

Запутанный случай. – Есть одна злосчастная альтернатива, на которую не всякому достанет отваги и характера: положим, ты плывешь на корабле и вдруг обнаруживаешь, что капитан и рулевой делают опасные ошибки, а ты понимаешь в мореходном деле лучше их, – и вот спрашиваешь себя: что, если поднять бунт и арестовать обоих? Разве ты не обязан это сделать, потому что умеешь править кораблем лучше? А разве они, в свой черед, не вправе посадить тебя,

потому что ты подрываешь дисциплину на борту? – Это метафора ситуаций более общих и более страшных – тут напоследок всегда остается вопрос о том, чем в таких случаях обеспечено для нас наше превосходство, наша уверенность в себе. Успехом? Но тогда нужно, чтобы мы уже *сделали* вещь, несущую в себе все опасности, и опасности не только для нас, но и для корабля.

437

Преимущественные права. – Тот, кто на деле себе хозяин, иными словами, тот, кто окончательно себя *покорил*, считает отныне своим преимущественным правом – карать себя, миловать себя, жалеть себя: ему не надо признавать таких прав ни за кем другим, но он может добровольно вручить их кому-то другому, другу, например, – а все же он сознает, что этим делегирует *право* и что права можно делегировать, только обладая *властью.*

438

Человек и вещи. – Почему человек не видит вещи? Потому что сам себе мешает: он заслоняет вещи.

439

Признаки счастья. – Две вещи свойственны всем ощущениям счастья: *полнота* чувства и его *озорство*, когда человек, как рыба, чувствует вокруг родную стихию и в ней резвится. Добрые христиане поймут, что такое христианское веселие духа.

440

Не отрекаться! – Сказать миру прости, не зная его, подобно монашенке, – значит, оказаться в одиночестве бесплодном,

а может быть, и унылом. Тут нет ничего общего с одиночеством мыслителя, избравшего *vita contemplativa*: выбирая *ее*, он отнюдь не хочет отрекаться; скорее, отречением, унынием, потерей себя для него была бы необходимость терпеливо переносить *vita practica*[1]: но он отрекается от нее потому, что знает ее, потому, что знает себя. Так он прыгает в *свою* воду, так он обретает *свое* веселье.

441

Отчего ближайшее постоянно от нас удаляется. – Чем больше мы думаем обо всем, что было и будет, тем бледнее для нас то, что есть именно сейчас. Если мы живем одной жизнью с умершими, если умираем их смертью, какое нам тогда дело до «ближних»? Мы делаемся более одинокими – и притом *потому, что* вокруг нас бурлит весь поток человечества. Наш внутренний жар, относящийся ко *всему* человеческому, все время растет – и *поэтому* на окружающее мы смотрим так, словно оно стало более безразличным и призрачным. – Но наш холодный взгляд *оскорбляет*!

442

Правило. – «Правило мне всегда интересней, чем исключения» – кто чувствует так, тот далеко продвинулся в познании, тот принадлежит к посвященным.

443

О воспитании. – Для меня постепенно прояснилось, каков всеобщий изъян образования и воспитания на наш лад: никто не учится, никто не размышляет напряженно, никто не учит – *как выносить одиночество.*

---

1 Практическую жизнь (*лат.*).

444

Такая странная преграда. – Нам что-то стало ясным как день – и вот мы уже думаем, будто теперь оно для нас не преграда, а потом еще удивляемся, что видеть-то мы сквозь нее видим, но пройти не можем! Это та же самая глупость и то же самое удивление, в каких муха оказывается перед любым стеклом.

445

Просчет благородных сердец. – В конце концов человеку дают предмет его заветных дум, его сокровище – и вот у любви больше ничего не осталось: но тот, кто берет, получает, разумеется, предмет не *своих* заветных дум, а, стало быть, не проявляет той полной и последней благодарности, на которую рассчитывает дающий.

446

Иерархия. – Существуют мыслители, во-первых, поверхностные, во-вторых, глубокие – такие, что доходят до глубин предмета, – в-третьих, мыслители основательные, те, что доходят до самой основы, – а это куда больше, чем спуститься только до глубин! – и наконец такие, что суют голову в болото: а ведь это, кажется, не признак ни глубины, ни основательности! Таковы милейшие вскрыватели подоснов.

447

Учитель и ученики. – Гуманность учителя подразумевает, что он предостерегает учеников от самого себя.

448

Уважать действительное. – Разве можно без слез и без сочувствия смотреть на эту ликующую толпу? Раньше мы относились к предмету ее ликования с пренебрежением и продолжали бы так относиться к нему, *если бы* не пережили его! Вот до чего могут довести нас переживания! И что там наши мнения! Чтобы не потерять себя, чтобы не потерять свой *разум*, надо бежать прочь от переживаний! Так Платон бежал от действительности, возжелав созерцать вещи лишь как призрачные умозрения; он был полон чувств и понимал, с какой легкостью волны чувств заливали его разум. – Значит ли это, что мудрому следует в этом духе сказать: «Я хочу уважать *действительность*, но при этом спиной к ней, *потому что* знаю ее и боюсь»? – Не поведет ли он тогда себя так же, как ведут себя африканские племена перед лицом своих правителей: приближаются к ним спиною вперед, тем самым умудряясь выказать зараз и почтение, и страх?

449

Где же они, взалкавшие духа? – Ах, как же мне претит *навязывать* свои мысли другому! И как я радуюсь всякий раз, когда во мне возникает некое настроение – и вот происходит скрытое отступление от себя, наделяющие *чужие* мысли правами перед лицом моих собственных! А временами наступает и еще более высокий праздник, когда вдруг *дозволяется раздарить* все свое духовное достояние, подобно исповеднику, алчно ждущему в своем углу, когда придет *взалкавший* исповеди и поведает о нужде своих мыслей, а он вдруг снова наполнит его сердце и *облегчит* мятущуюся душу! Он не только не ждет за это никакой славы – он предпочел бы увернуться даже от благодарности, ведь она так назойлива и не боится нарушить одиночество и молчание. Нет, жить в безвестности, даже подвергаясь легким насмешкам, слишком скромно, чтобы пробуждать зависть и вражду, с ясной, без лихорадки, головою, с горстью знаний и котомкой, полной опыта, быть как бы врачом для бедных духом, помогая любому, чей ум *поврежден мнениями*, но не давая ему заметить,

кто помог! Не демонстрировать перед ним свою правоту, не стремиться одержать над ним победу, а говорить с ним так, чтобы, следуя еле уловимому намеку, вскрытому противоречию, он сам нашел правое и ушел, гордясь собою! Быть подобным маленькому горному приюту, радушно открытому для всех, кто нуждается в нем, но который после забывают или вышучивают! Не держать ничего только для себя, ни лучшей пищи, ни более чистого воздуха, ни большей теплоты, – а отдавать, возвращать, сообщать, беднеть! Занимать скромное положение, чтобы быть доступным для многих и никого не заставлять чувствовать унижение! Быть предметом множества несправедливых мнений, быть источенным червями всех видов заблуждений, чтобы держать открытым вход для множества неизвестных душ на их неведомых путях! Всегда быть в состоянии любви и всегда в состоянии эгоизма и наслаждения от себя! Держать в руках власть и в то же время оставаться неведомым и от всего отрешенным! Постоянно греться в мягких солнечных лучах изящества, но не понаслышке знать и крутые тропы к возвышенному! – Вот это была бы жизнь! Это было бы доводом в пользу долгой жизни!

450

Соблазн познания. – Взгляд сквозь врата науки действует на страстные умы подобно волшебной приманке; при этом они, вероятно, становятся выдумщиками, а в лучшем случае поэтами: так сильно их страстное стремление к счастью познания. Разве не заполняет он все ваше существо – этот звук сладостного соблазна, с которым наука возгласила свою благую весть, в сотне слов и в сто первом, прекраснейшем: «Устрани заблуждение! Тогда исчезнет и “горе мне!”; а с ним вместе исчезнет и горе вообще» (Марк Аврелий).

451

Кто нуждается в придворном шуте. – Люди очень красивые, очень добрые, очень могущественные почти никогда не

узнают полной и общепринятой правды о происходящем – ведь другие при них невольно привирают, поскольку испытывают их воздействие, а в итоге излагают правду, которую могли бы сообщить, в *приноровленном* виде (то есть изменяют оттенки и степени реального, опускают или добавляют детали, а уж то, что вообще не поддается приноровлению, и вовсе держат за зубами). Если люди такого сорта несмотря ни на что и во что бы то ни стало хотят слышать правду, то им надо завести себе *придворного шута* – создание, привилегия которого в том, чтобы не приноравливаться.

452

Нетерпение. – Бывает у людей дела и мысли нетерпение столь сильное, что при неудаче оно заставляет их тотчас заняться чем-то прямо противоположным, всячески в нем усердствовать и пускаться во все тяжкие, – пока и оттуда их не выгонит долгое отсутствие успеха: так, ища приключений и со страстью, блуждают они по множеству практических областей и характеров, а в конце концов, завладев полным знанием людей и обстоятельств, оставленным в них чудовищными странствиями и опытами, и несколько утолив свое влечение, становятся выдающимися практиками. Так изъян характера превращается в школу гениальности.

453

Моральное interregnum[1]. – Кто уже сегодня сумел бы описать то, что́ когда-нибудь *придет на смену* моральным чувствам и суждениям! Ведь так очевидно, что все их основания заложены с ошибками, а здание в целом уже не подлежит ремонту: их обязательность должна убывать со дня на день, поскольку не убывает только обязанность быть разумным! Заново выстроить законы жизни и действия – чтобы взяться за такую задачу, наши науки (физиология, медицина, учение об обществе и об одиночестве) еще не вполне уверены

1 Междуцарствие (*лат.*), временное отсутствие власти.

в себе: а ведь только у них можно получить камни для фундамента под новые идеалы (хотя, правда, и не сами новые идеалы). И вот мы живем, *забегая вперед* или *волочась следом*, в зависимости от вкуса и способностей, и самое лучшее, что мы можем сделать, – изо всех сил стараться быть собственными *reges*[1] в этом *interregnum*, закладывая маленькие *опытные государства*. Мы – эксперименты: так будем же ими добровольно!

454

В скобках. – Книга, подобная этой, не должна читаться от начала до конца, не должна читаться вслух, а должна раскрываться в разных местах, особенно на прогулках и в поездках; надо уметь окунать в нее голову, всякий раз поднимая ее, чтобы не найти вокруг ничего привычного.

455

Первая природа. – При нашем нынешнем воспитании мы сперва получаем *вторую природу*: и мы ею обладаем, если общество признаёт нас зрелыми, совершеннолетними, полезными. Лишь немногие из нас в достаточной мере змеи, чтобы сбрасывать с себя эту кожу будней: такое возможно, если у них под внешней оболочкой вызрела *первая природа.* У большинства от этого сохнет костный мозг.

456

Одна растущая добродетель. – Такие заявления и обещания, какие звучали из уст античных философов относительно единства добродетели и блаженства, или христианское «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» – никогда не были полностью честными, но все же неизменно обходились и без нечистой совести:

1 Царями, правителями (*лат.*).

такие положения, истина которых была горячо желанной, отважно выдавались за истину вопреки очевидности, причем ни религиозные, ни моральные угрызения совести не ощущались – ведь делавшие их выходили за пределы действительности *in honorem majorem*[1] добродетели или Бога без малейших корыстных мыслей! На этой ступени *правдивости* все еще находятся многие порядочные люди: если они *в собственных глазах* бескорыстны, то думают, будто с истиной дозволено *вести себя несколько беспечней*. И вот что интересно: *честность* не встречается ни среди сократических добродетелей, ни среди христианских: это одна из самых юных добродетелей, еще незрелая, ее еще часто путают с чем-то другим, принимают не за то, что она есть, да она и сама-то еще себя не чувствует, – она только еще растет, и мы можем либо помогать, либо мешать ей в этом, смотря по тому, как мы устроены.

457

И наконец замолчать. – С некоторыми бывает, как с кладоискателями: случайно они обнаруживают вещи, которые чужая душа держала в тайне, и узнают такое, что вынести нередко трудно! Иногда можно довольно хорошо узнать живых и мертвых – и тогда почувствовать, что говорить о них с другими было бы тошно: тут любое слово рискует оказаться нескромностью. – Я могу представить себе, как и на мудрейшего историка внезапно нападает немота.

458

Великий жребий. – Вот вещь редчайшая, но достойная восхищения: человек, наделенный прекрасно скроенным интеллектом, обладающий характером, склонностями, *а также и переживаниями*, хорошо подходящими к такому интеллекту.

---

1 К вящей славе (*лат.*).

459

Щедрость мыслителя. – Руссо и Шопенгауэр – оба были достаточно горды, чтобы избрать девизом своей жизни *vitam impendere vero*[1]. И оба, опять-таки, – что́ они такого будто бы выстрадали в своей гордости, если им так и не удалось *verum impendere vitae! – verum*[2], как каждый из них это понимал, – если их жизнь бежала рядом с их познанием, словно капризный бас, никак не гармонирующий с мелодией! – Но плохи были бы дела познания, если бы оно отмерялось каждому мыслителю лишь той мерой, какая ему как раз впору! И плохи были бы дела мыслителей, если бы их тщеславие было так огромно, что переносить его могли только они сами! Тем-то и блистает прекраснейшая добродетель великого мыслителя, щедрость, что как человек познания он без колебаний, часто со стыдом, часто с благородной иронией и улыбкой приносит в жертву себя и свою жизнь.

460

Использовать часы опасности. – Человек и душевное состояние предстают совершенно иными, когда в каждом их движении для нас и наших близких кроется опасность имуществу, чести и жизни: к примеру, Тиберий, должно быть, глубже задумывался о скрытых пружинах души кесаря Августа и его власти и больше знал об этом, чем мыслимо для самого мудрого историка. Нынче мы все живем в относительно слишком большой безопасности, чтобы сделаться хорошими знатоками человеческих душ: один предается познанию как хобби, другой – со скуки, третий – по привычке; никому не говорят: «Познай – или погибнешь!». Пока истины не втыкаются в нашу плоть ножами, у нас остается тайная пренебрежительная оговорка против них: они все еще кажутся нам слишком подобными «окрыленным снам», как если бы мы могли их иметь, а могли и не иметь, – словно

---

1 За правду пожертвовать жизнью (*лат.*) – Ювенал, «Сатиры», 1, IV, 91.

2 Принести истину в жертву жизни – истину (*лат.*).

что-то в них зависит от нас, словно мы смогли бы *пробудиться* и от этих наших истин!

461

Hic Rhodus, hic salta[1]. – Наша музыка, способная превращаться во что угодно – и обязанная превращаться, потому что она, подобно морскому демону, лишена собственной природы, – эта музыка прежде плелась в хвосте у *христианских ученых*, умея переводить в звуки их идеал; так почему бы ей в конце концов не найти и то более светлое, жизнерадостное и общечеловеческое звучание, что соответствует *идеальному мыслителю*? Быть музыкой, умеющей парить *как у себя дома* лишь под высокими сводами *его души*? – Наша музыка была доселе такой великой, такой доброй: для нее не было ничего невозможного! Так пусть же она покажет, что для нее возможны три вещи: ощутить зараз возвышенное, глубокий и теплый свет и блаженство величайшей последовательности!

462

Затяжные виды лечения. – Хронические болезни души, как и болезни тела, очень редко возникают только из-за отдельных грубых прегрешений против разума тела и души, а обычно – из-за бесчисленных незаметных, мелких небрежностей. – Если кто, к примеру, день за днем вдыхает воздух хотя бы совсем немного слабее, из-за чего его легкие испытывают недостаток в воздухе и как целостный орган стимулируются и упражняются недостаточно, тот в результате становится хроническим легочным больным: в таком случае он не сможет излечиться никаким другим способом, кроме как если начнет упражняться в противоположном, незаметно приобретая другие привычки, к примеру, если станет следовать правилу каждые четверть часа в течение

1 Здесь Родос, здесь и прыгай (*лат.*), т. е. покажи на деле, на что способен.

всего дня начинать вдыхать воздух сильно и глубоко (по возможности лежа на полу; полку с часами, отзванивающими каждую четверть часа, следует при этом избирать в спутницы своей жизни). Все такие виды лечения – *затяжные* и связанные с мелочами; и если кто хочет излечить свою душу, должен подумать об изменении самых мелких своих привычек. Есть люди, которые десять раз на дню говорят окружающим гадости, ничуть при этом не задумываясь, в особенности о том, что спустя несколько лет эта привычка превратится в царящий над ним *закон*, уже *принуждающий* его десять раз на дню делать окружающим гадости. Но ведь он мог бы предаться и другой привычке – десять раз на дню делать им что-то приятное!

463

В день седьмой. – «Вы восхваляете вон то, потому что это мое *творение*? А ведь я только избавился от того, что меня тяготило! Моя душа возвысилась над тщеславием творящего. – Вы восхваляете вот это, потому что оно мне *безразлично*? Я только избавился от того, что меня тяготило! Моя душа возвысилась над тщеславием безразличного.»

464

Стыдливость дарящих. – Ах, как это неблагородно – постоянно играть роль дающего и дарящего, не скрывая при этом своего лица! Нет, – давать, дарить, утаивая и имя свое, и щедрость! Или не иметь имени вовсе, как природа, в которой мы больше всего и наслаждаемся-то как раз невозможностью встретить решительно никого дарящего и дающего, никакого «лика щедрости»! – Разумеется, вы упускаете и такое наслаждение – ведь вы всунули в эту природу какого-то бога, и теперь все снова сковано, придавлено! Как? Неужто уже нельзя остаться наедине с собою? Нельзя быть никем не охраняемым, защищаемым, опекаемым, наделяемым? Если вокруг нас всегда кто-то другой, то никто в мире уже никогда не проявит высшего мужества, высшей добро-

ты. Как тут не осатанеть из-за этой назойливости небес, из-за этого неизбежного сврхприродного соседа! – Но нет, не нужно сатанеть, ведь это был всего лишь сон! Давайте просыпаться!

465

Разговор при встрече. – А.: Ты куда глядишь? Что-то долго ты стоишь на месте, как истукан. – Б.: Да вот вечно одно и то же! Когда надо помочь в каком-то деле, я вовлекаюсь в него так далеко и глубоко, что наконец дохожу до самого дна – и вижу, что оно того вовсе не стоило. Результат таких приключений всегда – своего рода печаль и оцепенение. Я всякий день переживаю нечто подобное самое малое по три раза.

466

Слава как проигрыш. – Какое неоценимое благо – иметь воз- нашей добродетели» отнимают у нас боги, когда отнимают у нас инкогнито и делают известными.

467

Двойное терпение. – «Ты причиняешь этим боль множеству людей.» – Знаю, знаю; знаю и то, что мне приходится страдать за это дважды – во-первых, сострадая их горю, а во-вторых, от мести, которую они мне учиняют. Но то, что я делаю, не становится от этого менее нужным.

468

Границы красоты – шире. – По лону природы мы блуждаем с веселым лукавством, чтобы во всем открыть присущую только ему красоту, словно застав с поличным, подобно тому как то при солнечном свете, то под грозовым небом, то в сереющих сумерках мы пытаемся увидеть каждый клочок

морского берега со скалами, заливчиками, масличными деревьями и пиниями так, как подобает его совершенству и мастерству: точно так же нам надо блуждать и среди людей – их открывателями и соглядатаями, неся им добро и зло, чтобы проявилась свойственная только им красота, полностью выявляясь у одного солнечно, у другого грозоподобно, а у третьего – лишь в полуночи и при обложенном дождевыми тучами небе. Разве запрещено *наслаждаться злым* человеком как дикой местностью с ее неповторимыми смелыми линиями и световыми эффектами, если тот же самый человек, покуда он показывает себя добрым и законопослушным, предстает перед нашим взглядом плохо нарисованным, карикатурным и, пятная природу, заставляет нас страдать в душе? – Само собой разумеется, это запрещено: до сих пор разрешалось искать красоту только в *морально-добром*, – каковой причины было достаточно, чтобы находки оказывались столь малочисленными, а нам приходилось так часто оглядываться кругом в поисках воображаемых бескостных красот! – Если верно, что у злых людей есть множество видов счастья, о которых и не подозревают добродетельные, то так же верно и то, что у них столько же видов красоты: и многие из них все еще не обнаружены.

469

Бесчеловечность мудрого. – Когда мудрый идет своим тяжким, вседробящим шагом, подобный, согласно буддийскому гимну, «одиноко бредущему носорогу», – то время от времени возникает нужда в знаках примиряющей и умягчающей человечности: и притом не только в более легкой походке, в учтивых, открытых для общения жестах духа, не только в остроумии и известной степени самоиронии, но даже прямо-таки в противоречивости, во временных впадениях в кромешную нелепицу. А чтобы не уподобиться катку, сметающему, как рок, все на своем пути, мудрый, если он хочет учить, должен для собственного оправдания использовать свои *ошибки*, и, говоря: «Не обращайте на меня внимания!», он просит о соизволении быть заступником некоей притязательной истины. Он хочет вести вас в горы, и, навер-

ное, он подвергнет вашу жизнь опасности: зато он, и прежде, и потом, покорно примет от вас как должное месть такому вожатаю, – это и есть та цена, которой он доставляет себе удовольствие *идти впереди*. – Вы еще помните, что было у вас на душе, когда некогда он провел вас через темную пещеру по скользким тропинкам? Как ваше сердце стуча и ворчливо говорило себе: «Вот уж нечем этому вожатаю заняться, кроме как ползать туда-сюда! Он из числа любопытствующих праздных гуляк; не слишком ли много мы оказываем ему чести, когда, кажется, вообще кем-то его считаем, потому что *следуем* за ним?»

470

Среди множества застольцев. – Какое счастье питаться, как птицы, которых кто-то кормит, не приглядываясь к каждому, не думая, стоит ли каждый этого! Жить, как птица, прилетающая и улетающая, и без всякого имени на клюве! Питаться среди множества застольцев на такой манер – вот для меня радость.

471

Иная любовь к ближнему. – Натура возбужденная, шумная, порывистая, нервная – нечто прямо противоположное *великой страсти*: та, словно тихий темный жар, пылающий внутри и собирающий вокруг себя все горячее и пылкое, заставляет человека смотреть вовне холодно и равнодушно, придавая его чертам известное бесстрастие. Такие люди, бывает, вполне способны на *любовь к ближнему* – только она у них иного рода, нежели у людей общительных и желающих нравиться: это ненавязчивое, сосредоточенное, невозмутимое дружелюбие; они словно выглядывают из окон своего замка – а он для них крепость и как раз поэтому темница, – взгляд на внешнее, на волю, на *другое* дает им несравненное блаженство!

472

Не оправдываться. – А.: Да почему ты не желаешь оправдываться? – Б.: Я мог бы, и тут, и в сотне других дел, да презираю удовольствие, заключенное в оправдании: все эти дела для меня недостаточно важны, и уж лучше пусть на мне будут пятна, но я не доставлю хамского удовольствия мелким душонкам, которые скажут: «Значит, для него эти дела все-таки очень важны!» А ведь это как раз неправда! Может быть, и надо бы мне придавать себе большее значение – тогда на мне лежал бы долг исправлять неверные представления о себе, – но я слишком равнодушен и вял по отношению к себе, а, стало быть, и к тому, что делается через меня.

473

Где строить себе дом. – Если в одиночестве ты чувствуешь себя великим и способным на многое, то в обществе друзей умаляешься и пустеешь, и наоборот. Властная снисходительность, отцовская снисходительность: где тебя охватывает это ощущение, там и строй себе дом, все равно, среди суеты или в тишине. *Ubi pater sum, ibi patria*[1].

474

Единственные пути. – «Диалектика – единственный путь, ведущий к божественной сущности и за пределы явлений», – Платон объявляет об этом так же помпезно и страстно, как Шопенгауэр – об антиподе диалектики: и оба они не правы. Поскольку вообще не *существует* того, в направлении чего они хотят показать нам путь. – А разве все великие страсти человечества не были доселе такими вот страстями вокруг пустоты? И все их помпезности – помпезностями по поводу пустоты?

---

1 Где я отец, там и [мое] отечество (*лат.*). См. прим.

475

Возросшая тяжесть. – Вы его не знаете: он может взять на себя множество тяжестей, но все тяжести заберет с собою в высоты. А вы, по малому размаху своих крыльев, думаете, будто он предпочтет остаться *внизу*, *потому что* взял на себя эти тяжести!

476

На празднике урожая духа. – Все это копится день ото дня, набухает: опыт, переживания, мысли о них и мечты об этих мыслях – неизмеримое, восхитительное богатство! Глянешь на него – и голова кругом пойдет; я просто не понимаю, как можно восхвалять *блаженство* нищих духом! – Но подчас я им завидую – это бывает, когда я устаю: ведь тяжкое дело *управлять* таким богатством, и эта тяжесть нередко подавляет все мое счастье. – Эх, если бы было достаточно только смотреть на него! Если бы можно было оставаться лишь скупцом, сидящим на своем познании!

477

Избавление от скепсиса. – А: Из тотального морального скепсиса другие выходят в расстроенных чувствах, ослабевшими, изглоданными червем, очервивевшими насквозь, даже наполовину съеденными, – а я более бодрым и здоровым, чем раньше, с вновь обретенными инстинктами. Где дует режущий ветер, где море ходит горами и наверняка есть немалая опасность, – там-то мне и хорошо. Я не сделался червем, хотя нередко мне и приходилось работать и рыть, как червь. – Б: Да ведь ты на самом деле *перестал* быть скептиком! Ты же *отрицаешь*! – А: И тем самым я снова научился *утверждать*.

478

Пройдем мимо! – Пощадите его! Оставьте его одного! Или вы хотите разбить его до конца? В нем уже трещина, словно в стакане, куда одним махом влилось что-то слишком горячее, – а ведь он был таким превосходным стаканом!

479

Любовь и правдивость. – От любви мы совершаем над истиной тяжкие преступления, мы, бывалые укрыватели и воры, мы наделяем истинностью большее, чем нам кажется истинным, – поэтому мыслитель должен время от времени все снова гнать от себя тех, кого он любит (это не всегда будут те, что любят его самого), чтобы они показали свои когти, свой злой норов и прекратили его *соблазнять.* Тогда доброта мыслителя станет подобной растущему и умирающему месяцу.

480

Неизбежное. – Переживите что угодно: тот, кто к вам не очень-то расположен, увидит в вашем переживании повод умалить вас! Познайте глубочайшие перевороты чувства и познания, а в конце концов, словно выздоравливающий, с болезненною улыбкой прорвитесь в состояние свободы и светлой тишины – и все-таки кто-нибудь скажет: «Этот принимает свою болезнь за аргумент, свою немощь – за доказательство всеобщей немощи; у него хватает тщеславия, чтобы заболеть, а тем самым ощутить свое превосходство как страдающего». – А теперь представим себе, что кто-то порвал собственные цепи и при этом тяжко ранил себя: и вот уже другой показывает на него с насмешкой. «Как он, однако, неуклюж! – скажет он. – Так и надо человеку, привыкшему к своим цепям и достаточно глупому, чтобы их порвать!»

481

Два немца. – Если сравнить Канта и Шопенгауэра с Платоном, Спинозой, Паскалем, Руссо, Гёте – не по уму, а по душе, то первые из названных мыслителей окажутся в проигрыше: их идеи не вписаны в страстную историю души, в них невозможно угадать роман, кризисы, катастрофы и смертные часы, их мышление не составляет заодно неявной биографии души, а, в случае Канта, есть история *ума*, в случае же Шопенгауэра – описание и отражение характера («неизменного») и наслаждение самим «зеркалом», то есть отменным интеллектом. Кант, когда он проступает сквозь свои мысли, оказывается человеком степенным и почтенным в лучшем смысле слова, но незначительным: у него нет размаха, нет силы; он пережил не слишком многое, а его манера работать отнимает у него *время*, чтобы что-то пережить, – я имею в виду, разумеется, не грубые внешние «события», а роковые повороты и конвульсии, которым подвержена и самая одинокая, самая молчаливая жизнь, полная досуга и горящая в страсти мышления. Шопенгауэр его опережает: в нем по крайней мере есть некоторое *изрядное безобразие* характера – ненависть, алчность, тщеславие, скептицизм – он по натуре немного буйный, и для этого буйства у него находятся и время, и досуг. А вот чего ему не хватало, так это «эволюции», как ее не хватало в сфере его мышления; у него нет никакой «истории».

482

Искать общество по себе. – Неужто мы ищем слишком многого, когда ищем общества мужей, ставших мягкими, благоуханными и питательными, словно каштаны, в нужный момент положенные в огонь и в нужный момент из него вынутые? Тех, что ждут от жизни малого, воспринимая ее скорее как подарок, чем как заслугу, как если бы ее принесли им птицы и пчелы? Тех, что слишком горды, чтобы хоть раз почувствовать себя вознагражденными? И слишком серьезны в своей страсти к познанию и честности, чтобы находить время и охоту еще и для славы? – Таких мужей мы

назвали бы философами; а сами они нашли бы себе куда более скромное название.

483

По горло сыт людьми. – А: Я занят познанием! Согласен! Но только как человек! Как? Всегда видеть одну и ту же комедию, играть в одной и той же комедии? И не суметь взглянуть на вещи иначе, чем вот *этими* глазами? А ведь есть, наверное, неисчислимое множество существ, чьи органы лучше годятся для познания! Что познаёт человечество в конце любого своего познания? – Собственные органы! А это, может быть, означает невозможность познания! Это ужасно, это отвратительно! – Б: Ну, вот и страшный припадок – на тебя напал *разум*! А назавтра ты снова с головой уйдешь в познание, а, стало быть, с головой и в глупость, иначе говоря, в *наслаждение* чем-то сугубо человеческим. Пойдем-ка лучше к морю! –

484

Собственный путь. – Когда мы делаем решающий шаг, становясь на путь, который называют «собственным», нам внезапно открывается одна тайна: любой, кто был с нами в дружеских и близких отношениях, доселе воображал, будто нас превосходит, и теперь чувствует себя оскорбленным. Лучшие из них проявляют снисходительность и терпеливо ждут, что мы все-таки вернемся на «верный путь» – уж они-то его знают! Другие иронизируют и ведут себя с нами так, как будто мы на время сошли с ума, или злорадно указывают, кто сбил нас с пути. Те, что не так добры к нам, объявляют нас пустыми глупцами, пытаясь представить наши мотивы в черном свете, а самый злой видит в нас своего злейшего врага, жаждущего мести за длительную зависимость, и потому нас боится. – Так что же делать? Мой совет: начать свое самовластие с того, что на год вперед гарантировать всем своим знакомым амнистию за грехи любого рода.

485

В дальних перспективах. – А: Что это ты от всех отвернулся? – Б: Да ни на кого я не сержусь. Но мне сдается, я вижу яснее и притом более красивыми своих друзей, когда я один, чем когда с ними; а в то время, когда я сильнее всего любил и чувствовал музыку, я держался от нее подальше. Я, вероятно, пользуюсь дальними перспективами, чтобы думать о вещах хорошее.

486

Золото и голод. – Там и сям встречаются люди, превращающие в золото все, к чему ни притронутся. В один прекрасный злополучный день они обнаруживают, что самим-то им при этом приходится голодать. Вокруг них все – сверкающее, великолепное, идеально-неприступное, и вот они тоскуют по вещам, которые *им совершенно невозможно* превратить в золото, – и *как* они тоскуют! Как голодный тоскует по пище! – Так за что же им хвататься?

487

Стыд. – Вот стоит прекрасный конь, роя землю и фыркая, он страстно хочет скакать, он любит того, кто обычно на нем скачет, – но, о стыд! – тот сегодня не может вскочить на коня, он устал. – Так усталый мыслитель стыдится перед лицом собственной философии.

488

Против расточительной любви. – Не краснеем ли мы, ловя себя на сильном отвращении к кому-то? А ведь надо бы делать это и при сильных симпатиях – из-за несправедливости, заключенной и в них! Даже более того: есть люди, чувствующие себя как бы стесненными, с камнем на душе, когда кто-нибудь дарит их своей расположенностью, но *только*

лишая ее при этом других. Когда мы слышим, что избрали, предпочли именно *нас*! Ох, нет у меня никакой благодарности за такое избранничество, я замечаю за собой, что не прощаю его тому, кто хотел почтить меня на такой лад: не должен он любить меня *за счет* других! Я уж лучше буду довольствоваться собой! И тогда нередко оказывается, что душа моя полна, что у меня есть причины для высокомерия, – тому, кто чувствует вещи так, не надо давать то, что нужно *другим*, в чем они остро нуждаются!

489

Друзья – в беде. – Иногда мы замечаем, что один из наших друзей предпочитает нам другого, что его чувство такта подвергается в этом выборе мучительному испытанию, а его эгоизму такой выбор не по плечу: тогда мы должны облегчить выбор, *оттолкнув его от себя обидой.* – Это же нужно сделать и в том случае, когда мы меняем образ мыслей на другой, для него пагубный: наша любовь к нему велит нам обеспечить ему чистую совесть для разрыва с нами – путем несправедливости, которую мы берем на себя.

490

Эти малые истины! – «Все это вы знаете, но никогда не пережили, – поэтому я отвергаю ваше свидетельство. Эти “малые истины”! – они кажутся вам малыми, потому что вы не добыли их ценой своей крови!» – А разве они превратятся в великие, потому что за них уплачена *слишком большая* цена? Ведь кровь-то – это всегда слишком много! – «Вы так думаете? Эх, как же вы скупы на кровь!»

491

Одиночество – и по этой причине! – А: Так ты снова собрался в свою пустынь? – Б: Я не спешу, мне надо дождаться себя – проходит всякий раз много времени, пока вода из колод-

ца моего глубинного «я» поднимется к свету дня, и нередко мне приходится страдать от жажды дольше, чем хватает моего терпения. Потому я и ухожу в одиночество – чтобы не пить из тех бочек, из которых пьет каждый. Среди многих я живу, как многие, и думаю не так, как думаю я; но тогда вскоре я всегда начинаю чувствовать, будто меня хотят изгнать из меня самого и лишить меня души – и вот я на каждого зол, каждого боюсь. Тогда, чтобы снова подобреть, мне и бывает нужна пустынь.

492

Под южными ветрами. – А: Не пойму, что со мной творится! Еще вчера на душе было так бурно, но при этом так тепло, так солнечно – и светло до рези в глазах. А нынче! Все неподвижно, широко, печально, темно, как Венецианская лагуна: мне ничего не хочется, и я глубоко вздыхаю от облегчения, но все же втайне меня раздражает это безволие. Так колышутся волны в озере моей меланхолии. – Б: Ты тут толкуешь об одной мелкой и приятной болезни. Ближайший норд-ост унесет ее от тебя прочь! – А: С какой стати!

493

С собственного дерева. – А: Я не получал так много удовольствия от чьих-либо идей, как от своих собственных: это, разумеется, ничего не говорит об их ценности, но я был бы глупцом, если бы отбрасывал вкуснейшие для меня плоды только потому, что они невзначай с моего собственного дерева! – Но однажды я и впрямь оказался таким глупцом. – Б: А у других бывает и наоборот: но и это ничего не говорит о ценности их идей, а уж тем более – об их собственной ценности.

494

Последний довод смельчака. – «В этих кустах змеи.» – Ладно, я пойду в кусты и убью их. – «Но тогда, может быть, как раз ты станешь их жертвой, а не они – твоей!» – Да разве во мне дело!

495

Наши наставники. – В юности мы выбираем себе наставников и вожатаев среди современников и в тех кругах, в которых вращаемся сами: мы бездумно верим, будто в наше время должны быть наставники, которые годятся для нас больше, чем для любого другого, и будто мы найдем их без больших усилий. Позднее за это ребячество приходится уплачивать огромный выкуп: *своих наставников приходится искупать самими собой.* Тогда человек, бывает, отправляется на поиски настоящих вожатаев по всему миру, включая мир прошлого, – но оказывается, что уже слишком поздно. А в худшем случае мы обнаруживаем, что они жили во времена нашей юности – и что тогда мы промахнулись в выборе.

496

Злое начало. – Платон прекрасно описал ситуацию, когда философски мыслящий человек в любом из существующих обществ поневоле слывет верхом всякой мерзости: ведь как критик всех нравов он оказывается антиподом нравственного человека, и если он не доводит дело до того, чтобы стать законодателем новых нравов, в памяти людей остается «злым началом». Исходя из этого мы можем догадаться, какой вклад довольно либеральные и падкие на все новое Афины внесли в славу Платона при его жизни: что удивительного, если он – с его, как он сам говорит, прирожденным «влечением к политике» – трижды предпринял такую попытку на Сицилии, где тогда как раз, казалось, зарождалась общегреческая средиземноморская держава? В ее рамках и с ее помощью Платон думал сделать для всех греков

то, что позже сделал для своих арабов Магомет: установить большие и малые обычаи, а в особенности – повседневный образ жизни для каждого. Его идеи были настолько же *воплотимыми*, насколько воплотимыми были идеи Магомета: оказались же воплощенными гораздо более невероятные идеи христианства! Несколькими случайностями меньше и несколькими другими случайностями больше – и мир пережил бы платонизацию европейского Юга; а если, скажем, это положение вещей длилось бы и по сию пору, то, вероятно, в лице Платона мы чтили бы «доброе начало». Ему не хватило только одного – успеха: и вот за ним закрепилась слава выдумщика и утописта – характеристики более жесткие погибли вместе с древними Афинами.

497

Очистительный взгляд. – О «гении» стоило бы говорить прежде всего применительно к таким людям, у которых ум, как у Платона, Спинозы и Гёте, выступает *слабо привязанным* к характеру и темпераменту, как бы крылатым существом, способным с легкостью отделиться от таковых, а потом и подняться высоко над ними. Зато живее всех о своем «гении» говорили именно те, что *не освободились* от темперамента, сумев дать ему самое духовное, самое высокое, самое общее, а подчас даже космическое выражение (как, к примеру, сделал Шопенгауэр). Эти гении не смогли воспарить над собою, но верили, что обнаружат себя, вновь найдут себя всюду, куда бы ни полетели, – это и *есть их* «величие», и оно *может* считаться величием! – У других, к кому следует прилагать это слово в собственном смысле, был *чистый, очистительный взгляд*, не порожденный, как кажется, их темпераментом, а свободный от них и направленный на мир, как и на Бога (и любящий этого Бога) в смягченном противоречии с ними самими. Но такой взгляд и им не достался одним махом: было упражнение, была подготовительная школа зрения, и кто наделен верной удачей, тот в верное время находит и наставника в чистом зрении.

498

Не требуйте! – Вы его не знаете! Да, он охотно и добровольно подчиняется людям и обстоятельствам, он добр к тем и другим; единственная его просьба – чтобы его оставили в покое, – но лишь *пока* люди и обстоятельства не *требуют* его подчинения. Любые требования делают его гордым, робким и воинственным.

499

Злыдень. – «Лишь одинокий зол!», воскликнул Дидро: и Руссо тотчас почувствовал себя смертельно оскорбленным. А это значит, про себя он признал, что Дидро прав. На самом же деле любой злой порыв в обществе или в компании так сильно себя гасил, надевал так много личин, так часто укладывал себя в прокрустово ложе добродетели, что с полным на то правом можно говорить о мученичестве злыдней. В одиночестве же все это исчезает. Кто зол, тот в одиночестве зол больше всего: а также лучше всего – и, следовательно, в глазах того, кто всюду видит лишь комедию, еще и прекраснее всего.

500

Против шерсти. – Иной мыслитель многие годы принуждает себя мыслить против своей шерсти: и я думаю, это потому, что он следует не тем мыслям, которые напрашиваются изнутри, а тем, к которым, видимо, его обязывает служба, предписанный распорядок дня, вымученное прилежание. Но в конце концов он заболевает: ведь такая мнимо моральная победа над собою губит его нервную энергию так же основательно, как это способно делать только упорное, длительное распутство.

501

Души смертны! – В отношении познания наиболее, может быть, ценное достижение состоит в том, что упразднена вера в бессмертие души. Теперь человечество смеет ждать, теперь ему больше не нужно в спешке давиться, глотая полупережеванные идеи, как ему приходилось делать прежде. Ведь тогда спасение бедной «вечной души» зависело от ее познаний в течение краткой жизни, ей приходилось постоянно *решаться* – «познание» обладало ужасающей важностью! Мы вновь завоевали себе бодрость для заблуждений, поисков, гипотез – все это не так уж и важно! – и как раз поэтому индивиды и поколения могут теперь настраиваться на задачи грандиозных масштабов, которые прежним эпохам показались бы безумием, заигрыванием с невозможным. Мы можем ставить эксперименты над собою! Даже человечество может это делать! Величайшие жертвы познанию еще не приносились – само собой разумеется, ведь прежде сочли бы кощунством и отказом от вечного спасения души даже *нащупывать* такие идеи, которые теперь ведут за собой наши дела.

502

Слово в пользу трех различных душевных состояний. – В состоянии страсти у одного на свободу вырывается дикое, мерзкое, несносное животное; другой благодаря ей поднимается до возвышенных, величественных и красивых жестов, рядом с которыми его прежняя жизнь кажется убогой. Третий, насквозь облагороженный ею, испытывает и благороднейшее состояние бури и натиска, становясь в нем *натурою первозданно-прекрасной*, лишь на ступень *более глубокой*, чем натура покойно-прекрасная, какую он обычно являет собой: но люди лучше понимают его в состоянии страсти, почитают его больше именно ради этих моментов – ведь тогда он на один шаг ближе, родственней им. Видя такого человека, они ощущают восторг и ужас, – и *как раз тогда* называют его божественным.

503

Дружба. – Аргумент против философской жизни – что друзья в ней *не нужны* – никогда не пришел бы в голову современному человеку: это аргумент античный. Древность глубоко и сильно проживала, промысливала и чуть ли не брала с собою в гроб дружбу. В этом она превосходит нас: зато мы достигли идеализации половой любви. Все великие доблести античного человека опирались на то, что *рядом с мужчиною был мужчина*, а женщина не смела притязать на роль ближайшего, высочайшего и уж тем более единственного предмета его любви (как учит чувствовать половая страсть). Может быть, наши деревья не росли бы так высоко, если бы не хотели поднять вместе с собою плющ и виноград.

504

Примирять! – Разве задача философии – не *примирять* между собой то, чему научился *ребенок* и то, что познал *мужчина*? Не должна ли философия быть задачей именно юношей, поскольку они стоят между ребенком и мужчиной и нуждаются в чем-то среднем? Так и подмывает признать это правдоподобным, если задуматься над тем, в каком возрасте философы нынче обычно приходят к своим концепциям: когда для веры уже поздно, а для знания еще слишком рано.

505

Люди дела. – Нам, мыслителям, сначала приходится устанавливать, что все вещи *хороши на вкус*, а потом, если надо, и постановлять это. В конце концов люди дела заимствуют оценки у нас, их зависимость от нас невероятно велика, являя собой смешнейшую в мире комедию, хотя они почти ничего о ней не знают и с такой гордостью любят рассуждать о нас, непрактичных, пренебрежительно: мало того, они стали бы презирать свою деловую жизнь, если бы презирать ее заблагорассудилось нам: а нас там и сям могла бы соблазнять к этому охота немного отомстить.

506

Необходимая усушка всего хорошего. – Как? Надо смотреть на произведение точно так же, как смотрела на него породившая его эпоха? Но ведь больше радости, больше изумления, а также и больше поучения в том, чтобы смотреть на него как раз не так! Разве вы не замечали, что всякое новое хорошее произведение представляет наименьшую ценность как раз до тех пор, покуда хранится во влажном воздухе своей эпохи – именно потому, что еще так обильно несет в себе аромат рынка и брани, последних толков и всего исчезающего за ночь? Позже оно усыхает, «печать времени» с него изглаживается – и лишь тогда оно обретает свое глубокое сияние и благоухание, даже, если уж на то пошло, свой спокойный взор вечности.

507

Против тирании истины. – Окажись мы даже настолько безумны, чтобы считать истинными все свои мнения, нам все же не пришлось бы по нраву, если бы кроме них не существовали никакие другие: не могу представить себе, зачем желать безраздельного владычества и всемогущества истины; мне было бы довольно, если б у нее была *великая сила*. Но она должна уметь *сражаться*, иметь противников, и надо уметь иногда *отдыхать* от нее в неистине – иначе она станет для нас скучной, вялой и пресной, да и нас самих сделает такими же.

508

Без патетики. – То, что мы делаем для собственной пользы, не должно стяжать нам никаких моральных славословий, ни от других, ни от себя самих; это же относится к тому, что мы делаем, чтобы *гордиться* собой. В таких случаях отклонять от себя все патетическое и самому воздерживаться от всякой патетики – *хороший тон* воспитанного человека: и кто приучил себя к нему, тому снова даруется *наивность*.

509

Третий глаз. – Как! Тебе все еще нужен театр? Ты все еще так мал? Возьмись-ка за ум, поищи трагедии и комедии там, где их исполняют получше! Где всё интереснее, где ты и сам заинтересованнее! Да – не слишком-то легко оставаться тут только зрителем: но этому надо научиться! И тогда почти во всех тяжелых и мучительных для тебя ситуациях ты найдешь отдушину для радости и убежище, даже если на тебя навалятся твои собственные страсти. Распахни свой глаз для театра, тот большой третий глаз, что глядит на мир через два других!

510

Сбежать от собственных добродетелей. – Что толку в мыслителе, если он не умеет, когда надо, сбежать от своих добродетелей! Ведь он должен быть «не только моральным существом»!

511

Искусительница. – Честность – великая искусительница всех фанатиков. То, что, как казалось Лютеру, приближается к нему в облике черта или красивой женщины и что он прогонял от себя на столь мужицкий манер, было, вероятно, честностью, а может быть, в более редких случаях, даже истиной.

512

Мужество в делах. – Кто по натуре своей услужлив или робок с людьми, но отважен в делах, тот страшится новых и близких знакомств и ограничивает себя в старых: он делает это, чтобы его инкогнито и грубость срослись в истине.

513

Границы и красота. – Ты ищешь людей с *прекрасной* культурой? А тогда сделай так, чтобы тебе нравились и *ограниченные* виды и взгляды, как если бы ты искал прекрасные ландшафты. – Есть, конечно, и люди-панорамы, и они, конечно, поучительны и удивительны, словно местности с панорамным обзором: но не прекрасны.

514

К более сильным. – Вы, умы более сильные и надменные, только об одном вас стоит умолять: не нагружайте нас, других, новым бременем, а возьмите на себя часть нашего груза, ведь на то вы и сильнее! А вы так любите делать обратное: потому что *вам* хочется полета, и вот нам приходится взваливать на себя еще и ваше бремя – а это значит, что *нам* приходится ползать!

515

Больше красоты. – Почему с ростом цивилизации становится все больше красоты? Потому что человеку цивилизованному все реже и реже выпадает случай проявить свое безобразие: во-первых, наиболее дикие вспышки аффектов, во-вторых, крайнее физическое напряжение, в-третьих, необходимость внушать своим видом ужас, необходимость настолько сильная и нередкая на более низких ступенях культуры с их более опасной жизнью, что на ее основе даже устанавливаются определенные жесты и церемонии, а безобразие вменяется в *долг.*

516

Не спускать своего демона на ближних! – Останемся все-таки верными своей эпохе в том, что хороший человек – тот, кто желает добра и делает добро; только давайте добавим:

«Лишь в том случае, если прежде всего он поступает так *с собою*!». Ведь без этого – когда он бежит от себя, ненавидит себя, причиняет себе вред – он, безусловно, отнюдь не добрый человек. В таком случае он спасается лишь *в других* – от себя самого: а уж дело этих других – глядеть, чтобы не остаться тут внакладе, каким бы хорошим он ни старался перед ними предстать! – Но как раз это – избегать, ненавидеть свое *ego*, жить в других, для других – столь же бездумно, сколь и доверчиво и считали прежде *«неэгоистическим», а, следовательно, «добрым»*.

517

Соблазнять к любви. – Того, кто себя ненавидит, надо бояться, ведь мы можем стать жертвами его злобы и мести. Стало быть, постараемся путем соблазна заставить его полюбить самого себя!

518

Резиньяция. – Что такое покорность? Это наиболее удобная поза больного, которого долго швыряло от пытки к пытке, прежде чем он *нашел* ее, и который от этого *устал* – но вот он наконец-то ее и нашел!

519

Быть обманутым. – Если вы хотите действовать, закройте дверь перед сомнением, – сказал один человек действия. – А ты не боишься, что, действуя так, будешь *обманут*? – спросил человек созерцания.

520

Нескончаемое поминовение. – Кому-то могло бы, верно, показаться, будто он слышит, как по-над всей историей звучит

непрекращающаяся нагробная речь: люди хоронили и все время хоронят самое драгоценное, свои мысли и надежды, а за это обретали и обретают гордость, *gloria mundi*[1], иными словами, пышность некролога. Будто бы это вернет все утраченное! А надгробный оратор продолжает оставаться величайшим общественным благодетелем!

521

Тщеславие исключительного. – Он, на свою радость, наделен одним счастливым свойством: по остаткам собственного существа – а чуть ли не все в нем остатки! – его взгляд скользит с презрением. А отдыхает он от себя, входя как бы в свое святилище; уже один путь туда кажется ему как бы подъемом по широким и мягким ступеням: а вы, жестокие, называете его поэтому тщеславным!

522

Мудрость без ушей. – Стараться всякий день ловить ухом, что о нас было сказано, а то и вовсе докапываться, что о нас подумали, – это погубит и сильнейшего мужчину. Потому-то другие и пьют за наше здоровье – чтобы всякий день подтверждалась их правота относительно нас! Ведь мы сделались бы для них несносными, если бы оказывались, а то даже и просто *хотели быть*, правыми относительно них! Короче говоря, давайте принесем жертву, примиряющую нас друг с другом, – не станем прислушиваться, когда о нас судачат, нас хвалят, бранят, высказывают нам пожелания и надежды, не станем даже и думать об этом!

---

1 Славу мирскую (*лат.*), часть выражения «sic transit gloria mundi» (так проходит слава мирская).

523

Метить в скрытое. – Обо всем, на что тот или другой человек направляет внимание, стоило бы спросить: а что может за ним крыться? От чего оно, вероятно, отводит наши глаза? Какой предрассудок, должно быть, вызывает к жизни? А потом спросить еще: насколько хитроумно такое притворство? И в чем человек из-за него промахивается?

524

Ревность одиноких. – Между натурами общительными и одинокими есть такое различие (если, конечно, те и другие не обделены умом!): первые довольны или почти довольны делом, каким бы оно ни было, начиная с того мгновения, когда они выдумали удачное словцо о нем, которым можно поделиться с другими, – тогда им и сам черт не брат! А вот одинокие восхищаются чем-нибудь или терзаются из-за него про себя, они не любят с блистательным остроумием выставлять напоказ свои сокровеннейшие проблемы, как не любят видеть на своей возлюбленной слишком изысканный наряд: на него они смотрят с тяжестью в душе, так, будто их точит подозрение, что возлюбленная хочет понравиться другому! Вот она, ревность всякого одинокого мыслителя и страстного мечтателя к *esprit*[1].

525

Как действует похвала. – Одни от большой похвалы краснеют, другие наглеют.

526

Отказываться быть символом. – Жаль мне владетельных особ: им не позволено на время выключаться из беседы, и они

---

1 Остроумию (*фр.*).

знакомятся с людьми, только находясь в неудобных для себя положениях и притворяясь; неизменная необходимость что-то означать в конце концов и впрямь превращает их в торжественные нули. – Вот так бывает и со всеми, кто видит свой долг в том, чтобы быть символами.

527

Те, что в тени. – Так вы еще никогда не встречали тех людей, что приковывают к себе, заставляют сжиматься и ваши восхищенные сердца, но предпочитают молчать, лишь бы не утратить стыд перед чувством меры? – А тех, неугодных, но часто таких добротных, вы тоже еще никогда не встречали – тех, что бегут известности, неизменно стирая свои следы на песке, тех, что даже играют роль обманщиков, и перед другими, и перед собою, лишь бы остаться в тени?

528

Редкостная сдержанность. – Нежелание судить о другом, стремление избегать мыслей о нем – это часто изрядный признак человечности.

529

Отчего блистают люди и народы. – Какое множество поступков подлинно *индивидуальных не совершаются* потому, что прежде чем на них решиться, человек понимает или подозревает: их не поймут (а это именно те поступки, которые вообще хоть как-то *ценны*, и в хорошем, и в плохом)! Стало быть, чем выше ценит индивидуумов эпоха, народ, чем больше за ними признают правоты и превосходства, тем больше поступки такого рода рискуют выйти на солнце, – и вот наконец над целыми эпохами и народами восходит сияние честности, непритворности и в хорошем, и в плохом, так что они, как, к примеру, греки, еще через тысячи лет после своей гибели испускают свет, подобно некоторым светилам.

530

Обиняки мышления. – Бывает, общий ход мышления у некоторых людей суров и неумолимо смел, мало того, иногда жесток к себе, но в частностях они мягки и гибки; они десять раз обойдут свой предмет, благожелательно медля, но в конце концов идут дальше своим суровым путем. Есть такие реки – у них множество излучин и укромных отшельнических затонов; встречаются в их течении места, где река играет с собою в прятки – течет какое-то краткое время идиллически тихо, где есть островки, деревья, гроты и водопады: и вдруг снова рванется дальше, мимо скал, пуская себя по россыпям острейших камней.

531

Искусство чувствовать иначе. – С того момента, когда жизнь твоя становится отшельнически-общительной, изнуряющей и изнуренной, с глубокими плодотворными мыслями, исключающими все остальное, – от искусства либо уже вообще ничего не требуешь, либо требуешь чего-то совершенно иного, чем прежде, – иными словами, твои вкусы меняются. Ведь раньше через врата искусства ты хотел на миг окунуться как раз в ту стихию, в которой теперь уже давно и живешь; раньше мечтал вступить через них в восхищенное владение – и вот уже владеешь. Да и вообще, на время отбрасывать то, чем теперь владеешь, и воображать себя ребенком, нищим и шутом – вот что отныне может иногда приводить нас в восторг.

532

«Любовь равняет». – Любовь стремится избавить другого, на которого направлена, от всякого чувства *чужеродности*, а значит, в ней полным-полно притворства и уподобления, она постоянно обманывает и разыгрывает тождество, которого в действительности нет. И происходит это настолько инстинктивно, что любящие женщины отрицают такое

притворство и непрестанное нежнейшее надувательство, отважно заявляя, что любовь *равняет* (иными словами, совершает чудо!). – Этот процесс прост, если одна сторона *позволяет себя любить*, и притом не находит нужным притворяться, а напротив, предоставляет делать это другой, любящей стороне: но нет лицедейства более запутанного и непроглядного, чем если оба пылают друг к другу сильнейшей страстью, и значит, каждый отказывается от себя, желая стать на место другого и уподобиться только ему, – в конце концов ни один из них уже не понимает, чему должен подражать, чем притворяться, что из себя разыгрывать. Прекрасное безумие этого театра слишком хорошо для нашего мира и слишком изысканно для человеческих глаз.

533

Мы, новички! – Чего только не угадывает, чего только не подмечает один актер, наблюдая игру другого! Он видит, как отдельный мускул плохо работает при выполнении жеста, он замечает мелкие, разученные движения, каждое из которых хладнокровно отрепетировано перед зеркалом, а теперь они не желают слушаться, он чувствует, как актер поражен собственной внезапной находкой, сделанной прямо на сцене, и как от неожиданности он ее *губит*. – Как опять-таки по-своему живописец смотрит на движения какого-нибудь человека! Главным образом он тотчас многое *добавляет* к ним от себя, чтобы довести видимую картину до полной завершенности действия; он пробует в уме разные способы освещения одного и того же предмета, он делит результат наложения эффекта на его домысленную противоположность. – Если бы только нам научиться смотреть глазами этого актера и живописца в области человеских душ!

534

В малых дозах. – Если патология явно идет вглубь не на шутку, то надо предписывать лекарство в мельчайших дозах, но его прием должен быть неукоснительным и длительным!

Разве великое можно создать *одним махом*? Так поостережемся же опрометчиво и насильственно менять то состояние морали, к которому мы привыкли, на новый способ наделять вещи ценностью, – нет, давайте еще долго, долго будем жить в нем, покуда, и наверное очень поздно, не поймем, что этот *новый способ наделения ценностью* стал в нас доминирующей силой и что его малые дозы, *от коих нам впредь придется себя отучать*, зародили в нас новую природу. – Возникает понимание и того, что последняя попытка великой альтерации способов ценить, а именно в сфере политики, – «великая революция» – была не более чем патетическим и кровавым *шарлатанством*, посредством внезапных кризисов сумевшим внушить верующей Европе надежду на *внезапное* выздоровление, – и тем самым сделавшим всех политических больных вплоть до настоящего момента *нетерпеливыми и опасными*.

535

Истина нуждается в силе. – Сама по себе истина – вовсе не сила, как бы ни привыкли льстивые просветители утверждать прямо противоположное! – Ей, скорее, приходится перетягивать силу на свою сторону или самой перемётываться на сторону силы, иначе она все снова и снова будет гибнуть! Доказательств этому уже более чем достаточно!

536

Тиски для пальцев. – Это, наконец, возмутительно – всякий раз видеть, как люто каждый приписывает несколько своих частных добродетелей другим, у которых их случайно нет, как он давит и мучит ими других. Так давайте гуманно займемся тем же и с «любовью к честности», ведь она наверняка может послужить тисками, чтобы до крови поприжать пальцы всем этим напыщенным себялюбцам, которые все еще хотят навязать всему миру свою веру: эти тиски мы испробовали на себе!

537

Мастерство. – Мастерство достигнуто, когда все делаешь без ошибок и *без раздумий.*

538

Моральное помешательство гения. – У великих умов известного рода можно наблюдать картину, вызывающую мучительную неловкость, а отчасти и страшную: моменты их наибольшей плодотворности, их полеты ввысь и вдаль кажутся совсем не соответствующими их общей конституции и както выходят за пределы доступных им сил, так что в отдельные моменты возникают сбои, а *машина в целом работает со сбоями* постоянно; но такую картину, в свою очередь, у людей столь высокого ума, как те, о которых идет речь, можно распознавать гораздо вернее во всякого рода моральных и интеллектуальных симптомах, нежели в физических недомоганиях. Поэтому все то поразительно робкое, мелкое, зловредное, завистливое, ограниченное и ограничивающее, чтó внезапно начинает от них исходить, все это слишком личное и незрелое у таких натур, каковы натуры Руссо и Шопенгауэра, могло, конечно, быть следствием и периодического сердечного недомогания: но это следствие нервного недомогания, а оно, наконец, – следствие – –. Покуда в нас жив гений, мы люди мужественные, даже словно одержимые, и не считаемся ни с жизнью, ни со здоровьем, ни с честью; мы весь день летаем вольнее орла, а во мраке – увереннее совы. Но вот внезапно гений нас покидает, и столь же внезапно на нас находит глубокая боязливость: мы перестаем себя понимать, мы страдаем от всего пережитого, от всего непережитого, мы чувствуем себя словно бы среди голых скал, при надвигающейся буре, и в то же время – словно жалкие детские души, пугающиеся шорохов и теней. – Три четверти всего зла, что творится в мире, идет от боязливости, а она – прежде всего процесс физиологический!

539

Знаете ли вы еще и то, чего хотите? – Не мучились ли вы когда-нибудь от страха, что, может быть, вовсе не годитесь для того, чтобы узнать, какова истина? От страха, что вы слишком тупы и что даже чуткость вашего зрения еще слишком невелика? Когда вы вдруг замечаете, что́ за желание подспудно управляет вашим зрением? К примеру, что вчера вы хотели видеть *больше*, чем кто-то другой, сегодня хотите видеть *иначе*, чем этот другой, или что вы с самого начала жаждете найти соответствие или несоответствие тому, что́ люди ошибочно стремились найти прежде! Ах вы, постыдные алчные желания! Вы так и выискиваете взглядом чего-нибудь сильнодействующего, а нередко успокоительного – как раз потому, что устали! Всегда-то вы полны тайных установок – на то, *какой* должна быть истина, чтобы вы, именно вы, смогли ее принять! Или вы мните, будто сегодня, когда вы мерзлы и сухи, как ясное зимнее утро, и ничто вас не тревожит, глаза ваши более остры? Разве, чтобы обеспечить идее *законность*, не нужны теплота и пламенная мечтательность? – *Но ведь именно это и значит видеть!* А вы словно вообще не *можете* общаться с идеями иначе, чем с людьми! В этом общении – та же моральность, та же степенность, та же задняя мысль, та же дряблость, та же трусость: все ваше такое разлюбезное и отвратительное «я»! Ваша физическая истощенность даст вещам тощие краски, ваша горячка сделает из них что-то чудовищное! Разве ваш рассвет бросает на вещи тот же самый свет, что и ваш закат? Разве вы не боитесь в пещере каждого познания наткнуться на свой собственный призрак, словно на паутину, которую надела на себя истина, чтобы спрятаться от вас? Ну не жуткая ли это комедия, в которой вы столь безрассудно хотите принять участие? –

540

Учиться. – Микеланджело видел в Рафаэле штудии, а в себе – природу: там – *учебу*, тут – *дар*. А между тем это педантство, будь сказано со всем почтением к великому педанту. Что же

иное есть дар, если не имя для *более древней* части учебы, опыта, разучивания, усвоения, поглощения, будь то на ступени наших предков или даже раньше! И наоборот: кто учится, тот *одаряет себя*; только не такое-то это легкое дело – *учиться*, и зависит оно не от одного нашего желания; нужно еще *уметь* учиться. У художника этому часто противится зависть – или та гордость, что тотчас выставляет шипы, как только он чувствует что-то чуждое, либо непроизвольно переходит в состояние обороны вместо состояния учебы. То и другое было чуждо Рафаэлю, как и Гёте, – потому-то они и были *великими учащимися*, а не просто копателями тех рудных жил, что уже истощились от давки и истории их предков. Ревностно усваивая то, что его великий соперник назвал *своей* «природой», Рафаэль перестает быть для нас учащимся: каждый день он уносил с собою что-то новое, этот благороднейший из воров; но он умер, так и не успев переносить в себя всего Микеланджело, – а последняя серия его творений как *начало* нового учебного плана не так совершенна, а просто хороша, именно потому, что смерть помешала великому учащемуся справиться с труднейшим заданием, и он унес с собою в могилу всё оправдывающую конечную цель, которую уже искал глазами.

541

Как надо каменеть. – Долго, долго твердеть, как драгоценный камень, – и наконец замереть, оставшись лежать на радость вечности.

542

Философ и старость. – Тот, кто позволяет закату судить о полудне, не поступает умно: ведь тогда утомление слишком часто становится судьей над силою, успехом и рвением. И точно так же необходима величайшая осторожность в придирках к *старости* и ее суждениях о жизни, ведь старость, как и закат, любит рядиться в новую, восхитительную моральность и умеет посрамить идиллическую или томительную

тишину дня своей вечерней зарей и сумерками. Почтение, которое мы питаем к старому человеку, в особенности когда это старый мыслитель и мудрец, слишком легко ослепляет нас в отношении *старения его ума*, и надо всегда уметь вытягивать *признаки* такого старения и утомленности из их тайников, иными словами, вытягивать *физиологический* феномен из-под покровов моральных симпатий и антипатий, чтобы не дать одурачить себя пиетету и не нанести ущерба познанию. Ведь старый человек нередко предается иллюзии великого морального самообновления и перерождения и в русле этого ощущения начинает судить о своем творчестве и обо всей прожитой жизни, будто только теперь у него раскрылись глаза: но такое чувство благополучия и такой уверенный в себе приговор внушает ему не мудрость, а *утомленность*. Опаснейшим ее признаком можно, наверное, назвать *веру в гениальность*, веру, обыкновенно нападающую на великих и полувеликих мужей духа лишь около этой возрастной границы: веру в собственное исключительное положение и исключительные права. Искушаемый ею мыслитель отныне считает позволительным *относиться к себе снисходительней* и, на правах гения, не столько доказывать, сколько приказывать: но, вероятно, щедрейший источник этой веры – именно то влечение, которое усталый ум ощущает по *облегчению*, сильнейшему источнику этой веры, причем влечение предшествует ей во времени, хотя выглядит все совсем иначе. Кроме того, в этом возрасте, когда всем усталым и старым свойственна жажда наслаждений, появляется желание *наслаждаться* плодами своего ума, а не проверять их снова – и снова сажать в землю, и вот для этого-то надо их приготовить и сделать для себя съедобными, устранив их сухость, холодность и пресность; так и выходит, что старый мыслитель мнимо возвышается над трудом своей жизни, а на самом деле только губит его, примешивая к нему пустые грезы, подслащивая, подсаливая и напуская поэтического тумана и мистических бликов. Такое случилось в конце концов с Платоном, такое случилось в конце концов с тем великим честным французом, рядом с которым – как скрутившим и обуздавшим точные науки – немцам и англичанам этого столетия поставить просто некого, – с Огюстом Контом. Третий признак утомленно-

сти: то честолюбие, что бушевало в груди великого мыслителя, когда он был молод, и не угасимое тогда ничем, теперь тоже состарилось и, подобно человеку, который уже не может ждать, хватается за более грубые и неразборчивые средства утоления, то есть за средства, свойственные натурам деятельным, властным, склонным к насилию, к завоеваниям: отныне ему надо закладывать институты своего имени, а уже не здания мысли; что́ ему теперь эфирные победы и почести в царстве доказательств и опровержений! Что ему вечная жизнь в книгах и дрожь благоговейного ликования в душе читателя! А вот институт – храм, это он хорошо понимает; каменный же храм, храм долговечный, удержит своего бога при его жизни вернее, чем приношения нежных и редких душ. Бывает, в этом возрасте он впервые обретает и ту любовь, что больше подобает богу, а не человеку, и все его существо под лучами такого солнца становится сочным и сладким, словно осенний плод. Да, он становится божественней и прекрасней, этот великий старец, – но то, что *позволяет* ему на такой лад вызреть, утихнуть и упокоиться в сияющем идолопоклонстве женщины, – это все-таки старость и утомленность. Прошло его прежнее упрямое, более сильное, чем самолюбие, страстное желание иметь настоящих учеников, то есть настоящих продолжателей мысли, а это значит – настоящих противников: то желание порождалось еще не ослабшею силой, уверенной в себе гордостью, внушавшей ему мысль о возможности в любой миг оказаться даже противником, смертельным врагом собственного учения, – теперь ему подавай самоотверженных сторонников, беззаветных соратников, вооруженную охрану, герольдов, пышную свиту. А сейчас он уже вообще не выдерживает ужасной изоляции, в которой живет каждый летящий вперед, летящий впереди ум, отныне он окружает себя объектами почитания, общего согласия, умиления и любви, ему хочется напоследок пожить той же хорошей жизнью, какую ведут и все верующие, и чествовать в *общине* то, что для него обладает такой большой ценностью, мало того, с этою целью он изобретает религию, только чтобы найти себе общину. Так вот и живет старый мудрец, незаметно оказываясь при этом в такой плачевной близости к жреческим, поэтическим излишествам, что тут

уж невольно позабудешь о его мудрой и суровой молодости, о его тогдашней строгой моральности ума, о его истинно мужской робости перед озарениями и горячечными фантазиями. Если тогда он сравнивал себя с другими, прежними мыслителями, то делал это, чтобы честно измерить свои слабости их силой, чтобы стать к себе холоднее, свободнее от себя: теперь же – только чтобы дурманить себя иллюзиями в сравнениях с другими. Прежде он с надеждой думал о будущих мыслителях, мало того, он с восторгом догадывался, что некогда их более мощный свет затмит его сияние: теперь же его терзает опасение оказаться последним, он раздумывает о способах, подарив людям свое наследие, заодно ограничить суверенность их мышления, он боится и порочит гордость и жажду свободы, свойственные умам самостоятельным, – ему хочется, чтобы никто уже не давал полной воли своему интеллекту, хочется навсегда самому остаться стоять как бы береговой твердыней, о которую может биться прибой мышления вообще: вот каковы его тайные, а иногда даже и не тайные желания! Но за такими желаниями стоит прискорбный факт – он сам *поставил преграду* перед своим учением и в его лице воздвиг себе пограничный камень, свое «доселе – и не дальше». *Канонизировав* себя, он тем самым собственноручно выдал себе свидетельство о смерти: отныне его ум *не смеет* идти дальше, его время истекло, его час пробил. И если великий мыслитель собирается сделать из себя институт, связывающий по рукам и ногам будущее человечество, то с уверенностью можно предположить, что силы его пошли на убыль, и он, до предела утомленный, близок к своему закату.

543

Не превращать страсть в доказательство истины! – Ах вы, добросовестные и даже благородные фантасты, знаю я вас! Вам бы только настоять на своей правоте – перед собою, но и перед нами, хотя прежде всего перед собою! – а ведь легковозбудимая и тонкая нечистая совесть так часто язвит и гонит вас именно *против* собственного горячечного фантазерства! Какими хитроумными вы тогда становитесь, что-

бы перехитрить и оглушить свою совесть! Как вам ненавистны все честные, простые, опрятные, как вы избегаете их невинных глаз! То *лучшее знание*, которое представляете *вы* и голос которого, а именно сомнение в вашей вере, вы слышите в себе куда как громко, – как же вы силитесь поставить его под подозрение, что это – скверная привычка, болезнь эпохи, небрежение и заражение, поразившие ваше собственное душевное здоровье! Довóдите дело до ненависти к критике, к науке, к разуму! Вам приходится фальсифицировать историю, чтобы она свидетельствовала в вашу пользу, вам приходится отвергать добродетели, чтобы они не заслонили добродетели ваших идолов и идеалов! Пестрые образы, смысла которых еще надо поискать! Жар и сила выражений! Серебристые туманы! Напитанные амброзией ночи! Вы приноровились создавать освещение и затемнять, и затемнять *светом*! И впрямь, когда страсть в вас разбушуется, для вас наступает момент сказать себе: ну вот я и *завоевал* себе чистую совесть, вот теперь я благороден, мужествен, самоотвержен, величествен, вот теперь я честен! Как вы жаждете этих моментов, когда страсть дает вам в ваших собственных глазах полную, безусловную правоту и как бы невинность, когда борьба, опьянение, мужество, надежда выводят вас за ваши пределы и за пределы всех сомнений, когда вы объявляете: «Кто не вышел из себя, как мы, вообще не может знать, что такое истина и где ее искать!». Как вы жаждете найти в этом состоянии – а это состояние *интеллектуальной порочности* – людей вашей веры, чтобы запалить свой огонь от их жара! Черт побери ваше мученичество! Победу вашей канонизированной лжи! Почему бы вам не причинить *столько* горя самим себе? – Почему бы вам этого не *сделать*?

544

Как нынче занимаются философией. – Мне хорошо заметно, как наши философствующие юноши, дамы и художники требуют теперь от философии как раз *противоположного* тому, что видели в ней греки! Если кто-то не слышит беспрерывного ликования, которым пронизаны речи и ответ-

ные речи в диалогах Платона, ликования по поводу вновь открытого *разумного* мышления, – то чтó он понимает в Платоне, чтó – во всей древней философии? В те времена души пьянели, когда начиналась строгая и трезвая игра понятием, обобщением, опровержением, ограничением, – пьянели тем вином, вкус которого знали, может быть, и великие старые контрапунктисты строгого и трезвого стиля. В те времена в Греции на языке еще ощущали другой, более старый и прежде всего более всемогущий вкус: и на его фоне новое было столь обворожительным, что о диалектике, этом «божественном искусстве», пели и лепетали, как в любовной горячке. А старым было мышление в русле нравственности, для которого существовали только узаконенные суждения, узаконенные причины и не существовало никаких других опор, кроме опор авторитета, так что мышление оказывалось *передачей из уст в уста*, а все наслаждение речью и диалогом заключалось, вероятно, в *форме*. (Всюду, где содержание мыслится вечным и общезначимым, есть только *одно* великое очарование – очарование смены форм, то есть моды. Греки и в поэтах, еще со времен Гомера, а позже и в скульпторах, наслаждались не оригинальностью, а ее негативом.) Именно Сократ был тем, кто открыл противоположное очарование – очарование причин и следствий, обоснований и выводов: а мы, современные люди, так сильно привыкли к тому, что логика – наша естественная потребность, так исключительно воспитаны ею, что для нашего языка вкус у нее естественный, и как таковой он безусловно противен всем похотливым и чванным. Их восхищает все, что от него отличается: изощренное их честолюбие с большим удовольствием заставило бы себя поверить, что их собственные души суть исключения, что они – существа не диалектические и разумные, а – ну, скажем, «интуитивные существа», наделенные «внутренним чувством» или «интеллектуальным созерцанием». Но главным образом им хотелось бы быть «художническими натурами», с гением в голове и демоном в теле, а, значит, и с особыми правами на этот и на тот мир, особенно же – с божественной привилегией непостижимости. – *Вот что* нынче занимается в том числе и философией! Боюсь, в один прекрасный день они

заметят, что промахнулись: то, чего они так страстно жаждут, – это религия!

545

А мы вам не верим! – Выдавайте себя за знатоков человеческих душ сколько вам угодно – от нас вы все равно не уйдете! Неужто мы не заметим, что вы разыгрываете из себя более опытных, вдумчивых, заинтересованных, солидных, чем есть на самом деле? Мы чувствуем это же у художника, у которого уже в манере накладывать мазки заметна какая-то надменность; мы слышим это же у композитора, проводящего свою тему в такой манере, чтобы казаться более значительным, чем он есть. Пережили ли вы в себе *историю* – потрясения, землетрясения, затяжные, далеко заходящие горести, молниеносные блаженства? Глупели ли вы вместе с великими и малыми глупцами? Испытали ли на деле бред и боль хорошего человека? А впридачу – боль и своего рода счастье наихудшего? Если да, можете участвовать в разговоре о морали – но только тогда!

546

Раб и идеалист. – Человек в духе Эпиктета на самом деле не пришелся бы по вкусу тем, что нынче устремились за идеалом. Его неизменная целеустремленность, взгляд, неустанно обращаемый внутрь, неприступность, осторожность, несообщительность его глаз, если уж им приходится смотреть на мир вовне, а уж тем более безмолвие или скупость речей, – все это признаки суровейшей отваги; зачем она нашим идеалистам, вожделеющим прежде всего к *экспансии*! Да и, кроме того, он не фанатик, он ненавидит балаган и бахвальство наших идеалистов: как ни велико его высокомерие, оно все же не рассчитано на ущемление других, оно допускает известное ненавязчивое сближение и не собирается портить людям хорошее настроение – мало того, оно умеет смеяться! В этом идеале очень много от античной гуманности! Но самое в нем прекрасное – что он цели-

ком обходится без страха перед богом, что он строго держится веры в разум, что он не оратор покаяния. Эпиктет был рабом: его идеальный человек – вне сословий и возможен в любом из них, но главным образом его следует искать среди низких и низших слоев простого народа: это тихий, самодостаточный человек в стихии всеобщего порабощения, отстаивающий себя в битве с внешним миром и всегда живущий в душевном состоянии величайшей отваги. От *христианина* он отличается главным образом тем, что христианин живет в надежде, в чаянии «неизреченных великолепий», что он ожидает даров, а высшего блага ждет и принимает его не от себя самого, но от Божьей любви и благодати: а вот Эпиктет ни на что не надеется и не хочет получить свое благо – он им уже обладает, он смело держит его в своих руках и будет биться за него со всеми, если они захотят его отнять. Христианство было создано для иного рода античных рабов – для слабых волей и разумом, то есть для огромной рабской массы.

547

Тираны духа. – Шествие науки уже не остановит тот случайный факт, что предел жизни человеческой – приблизительно семьдесят лет, как он останавливал его на протяжении столь длительного времени. Прежде ученый стремился за отпущенный ему срок дойти в своем познании до конца, и методы познания устанавливались в соответствии с этим непреклонным желанием. Отдельные мелкие вопросы и эксперименты считались совершенно не важными – ученые жаждали кратчайшего пути, а поскольку все в мире казалось созданным *в расчете на человека*, они верили, будто на человеческие мерки времени рассчитана и познаваемость вещей. Все решить одним махом, одним словом – вот что было тайным желанием: задачу представляли себе чем-то вроде гордиева узла или колумбова яйца; никто не сомневался, что достичь цели и решить все вопросы *одним* ответом – на манер Александра или Колумба – возможно и в познании. «Надо разгадать *загадку*!» – такой предносилась цель жизни философам; сперва следовало сформулировать эту загадку,

втиснув проблему существования мира в простейшую форму загадки. Мечты мыслителей направлялись беспредельным честолюбием и восторгом от сознания того, что они могут «разгадать мировую загадку»: они не считали нужным тратить силы на то, что не было способом довести все *их* дело до конца! Поэтому философия оказывалась своего рода решающей схваткой в борьбе за тираническое господство в области духа – а что таковое ждет кого-то очень удачливого, хитроумного, находчивого, отважного, дерзкого – и притом единственного! – в этом не сомневался никто, и многие (напоследок даже Шопенгауэр) мнили, будто именно они-то и окажутся этим единственным. – Отсюда следует, что прежде наука в общем и целом отставала из-за *моральной ограниченности* своих адептов и что отныне ею надо заниматься, руководствуясь более высокой и *великодушной* душевной установкой. «Разве во мне дело!» – вот что написано над дверью мыслителей будущего.

548

Победа над силой. – Как подумаешь о том, что предметом всеобщего почитания доселе выступал «сверхчеловеческий ум», «гений», так и придешь к печальному выводу: вероятно, в целом разумность человечества была все же чем-то очень убогим и жалким, ведь как мало ума требовалось прежде, чтобы тотчас почувствовать себя значительно выше общего уровня! Увы, сколь дешевой была слава «гения»! Как скоро воздвигался для него престол, а поклонение ему делалось обычаем! Люди все еще падают ниц перед *силой* – по старой рабской привычке – и все же, если уж устанавливается градация *почитаний*, то решающей бывает *градация разума по силе*: надо измерить, насколько именно сила преодолена чем-то более высоким и отныне служит его инструментом и средством! Но для таких измерений пока еще слишком мало глаз, более того, уже само по себе измерение гениальности, как правило, считается кощунством. Вот так самое, может быть, прекрасное все еще вершится в потемках и, едва родившись, погружается в вечную ночь – это зрелище той силы, которую гений применяет *не к своим творени-*

ям, а *к себе как творению*, иными словами, к собственному укрощению, к очищению своего воображения, к упорядочиванию и отбору того, что приходит к нему в приливах задач и наитий. Великий человек все еще незрим, словно слишком далекое светило, и как раз в самом великом, что требует почитания: его *победа над силой* остается без свидетелей, а значит, и без песен и певцов. Все еще не установлена иерархия величия для всего человеческого прошлого.

549

«Бегство от себя». – Люди, подверженные интеллектуальным судорогам, нетерпимые к себе и удрученные собою, как Байрон и Альфред де Мюссе, и во всем, что ни делают, подобные горячим лошадям, да еще такие, кому собственное творчество дает лишь краткое наслаждение и жар, от которых кипит кровь, а потом – тем более морозную пустоту и уныние, – как таким людям оставить все это *в себе*! Они жаждут раствориться где-то «*вне себя*»; если человек с такою жаждой – христианин, то ему нужно растворение в Боге, нужно «полное единение с Ним»; если человек – Шекспир, то ему достаточно лишь раствориться в образах заполненной сумасшедшими страстями жизни; если он – Байрон, то жаждет *дел*, ведь они отвлекают нас от себя еще сильнее, чем мысли, чувства и творчество. Так что же – быть может, порыв к действию, в сущности, есть бегство от себя? – так спросил бы нас Паскаль. А ведь и впрямь! Это положение можно доказать на величайших примерах порыва к действию: вспомним (применяя, как и положено, знания и опыт психиатра) о том, что четверо из самых жадных до действия за всю историю – это эпилептики (а именно Александр, Цезарь, Магомет и Наполеон), и что Байрон тоже был подвержен этому заболеванию.

550

Познание и красота. – Если люди словно приберегают свое восхищение, свое преклонение перед удачей для творений

воображения и притворства (а они делают так всегда еще и доселе), то вовсе не удивительно, что противоположное воображению и притворству они воспринимают с холодом и отвращением. Восхищение, охватывающее человека уже при виде малейшего надежного и окончательного шага и продвижения в понимании, столь обильно и уже на столь многих излучающееся наукою в нынешнем ее виде, – это восхищение покамест *недостоверно* в глазах всех тех, что привыкли неизменно восхищаться только одним – уходом от действительности, прыжком в глубины миража. Они полагают, будто действительность отвратительна – но при этом не думают о том, что прекрасно познание и самой отвратительной действительности, а равно и о том, что тот, кто познаёт часто и много, в конце концов становится очень далек от отвращения к великой вселенной действительности, открытие которой всегда дарило его ощущением счастья. Счастье познающего множит красоту мира, заставляя сиять ярче все, что в нем есть; познание не только окружает вещи своей красотой, но и навсегда излучает ее в сами вещи; пусть человечество в будущем докажет этот тезис на деле! А мы тем временем обратимся к одному старому душевному переживанию: два столь совершенно разных человека, как Платон и Аристотель, сходились в том, чтó такое *величайшее счастье* – не только для них самих или для людей вообще, но счастье само по себе, даже для самих блаженных богов: оба видели его *в познании*, в деятельности хорошо вышколенного, находчивого и изобретательного *ума* (а вовсе *не* в «интуиции», как немецкие полутеологи и целые теологи, *не* в визионерском экстазе, как мистики, а равным образом и *не* в деле, как все практики). Подобное думали Декарт и Спиноза: как же все они, должно быть, *наслаждались* познанием! И какое тут искушение для честности – стать в этом упоении панегиристом вещей! –

551[1]

О добродетелях будущего. – Как это только выходило, что чем понятней становился мир, тем меньше в нем оставалось торжественности любого рода? Может, это оттого, что страх

в столь большой степени составлял ядро того почтения, которое охватывало нас при виде всего неизвестного и таинственного и учило нас падать ниц перед непостижимым, прося его о пощаде? Разве мир не потерял для нас и в очаровании именно потому, что мы стали менее боязливы? Не уменьшилось ли вместе с нашей боязливостью и наше собственное достоинство, наша торжественность, *наша собственная способность внушать ужас*? Может быть, мы меньше чтим мир и самих себя, с тех пор как научились мыслить о нем и о себе мужественнее? Может быть, есть вариант будущего, в котором это мужество мышления вырастет настолько, что, превратившись в крайнее высокомерие, почувствует себя вознесенным *над* людьми и вещами, – где мудрец как наиболее мужественный будет яснее всех видеть самого себя и все сущее под собою? – В человечестве доселе *не было* этого рода мужества, недалекого от безудержного великодушия. – Ах, если б только поэтам заблагорассудилось вновь стать теми, кем они некогда, вероятно, и были: *ясновидящими*, рассказывающими нам что-то о *возможном*! Стать ими теперь, когда из их рук все больше изымается и должно изыматься настоящее и прошлое, – ведь время невинных фальшивок пришло к концу! Пусть бы они дали нам хоть краем глаза посмотреть, на что похожи *добродетели будущего*! Или добродетели, каких никогда на земле не будет, хотя они могут быть где-то в космосе, – пылающие пурпуром созвездия и целые галактики красоты! Ну где же вы, астрономы идеала?

552

Идеальный эгоизм. – Существует ли состояние более торжественное, чем беременность? Когда все, что делается, делается в тихой вере: каким-то образом оно пойдет на пользу тому существу, что в нас растет! Каким-то образом оно *повышает* его таинственную ценность, о которой мы думаем с восторгом! Человек в этом состоянии многого избегает, но для этого ему не надо себя насиловать! Тогда он удерживается от запальчивых слов, примирительно протягивает руку: это дитя вырастет только на всем самом мягком

и лучшем. Нам становится жутко от собственной резкости и вспыльчивости: так, словно она по каплям вливает злополучье в чашу жизни этого горячо любимого неизвестного существа! Все прикрыто завесой, все полно предчувствия; неизвестно, как и что происходит; нужно выжидать и стараться быть *готовым.* При этом в нас царит чистое и очистительное чувство глубокой безответственности, почти как у зрителя перед опущенным занавесом, – *оно* растет, *оно* выходит на свет дня, а у *нас* нет ничего, чтобы установить его размеры и точный час рожденья. Единственное, что нам доступно, – это всякие косвенные воздействия, благотворные и защитные. «Растет что-то более великое, чем мы» – вот наша сокровенная надежда: и мы готовим для этого существа все, чтобы оно благополучно явилось на свет, – не только все полезное, но и все сокровища и венцы своей души. – В *этом высокоторжественном состоянии* и нужно жить! Можно жить! И будь ожидаемое мыслью, будь оно делом – у нас нет к любому важнейшему свершенью иного отношения, чем отношение беременности, а надменные речи о «стремлении» и «деле» нам надо пропускать мимо ушей! Это и есть настоящий *идеальный эгоизм:* постоянно печься, постоянно бдеть, держать душу в покое готовности, чтобы довести до *прекрасного завершения* нашу плодотворность! Вот так, на такой косвенный лад, мы печемся и бдим ради *пользы всех;* а настроение, в котором мы живем, это гордое и мягкое настроение, есть елей, изливающийся далеко вокруг нас и на беспокойные души. – Ну и *странны* же эти беременные! Так будем же странными и мы – и не станем упрекать в этом других, если и им случится быть странными! Даже если это приведет к чему-то скверному и опасному: не отстанем же в почтении перед всем растущим от мирского суда, запрещающего судье и палачу трогать беременных!

553

На окольных путях. – На что рассчитана вся эта философия со всеми своими окольными путями? Способна ли она на большее, чем словно бы перевести в разум одно постоянное

и сильное влечение – влечение к мягкому солнцу, светлому и подвижному воздуху, южной растительности, дыханью моря, скромной мясной, яичной и фруктовой диете, кипяченой воде для питья, тихим блужданьям день-деньской, немногословию, редкому и осторожному чтению, уединенному жилью, опрятным, простым и едва ли не солдатским привычкам, – короче говоря, ко всем тем вещам, что больше всего по вкусу именно мне, что больше всего пригодны именно для меня? Та философия, что, в сущности, есть инстинкт личной диеты? Инстинкт, что окольным путем моего разума ищет моего воздуха, моей высоты, моего климата, моего склада здоровья? Есть множество иных и, разумеется, в том числе более высоких возвышенностей в философии, и не только таких, что мрачнее и притязательнее моих, – так, может быть, и они, вместе взятые, – не что иное, как интеллектуальные окольные пути такого рода личных влечений? – Между тем я новыми глазами смотрю на укромный и одинокий полет бабочки высоко по скалистому берегу моря, где растет множество хороших растений: она летает кругом, не заботясь о том, что всей жизни ей отпущен лишь *день* и что ночь будет слишком холодна для ее окрыленной бренности. Можно было бы, верно, и для нее подобрать какую-нибудь философию: правда, она может оказаться и не моей. –

554

Прогресс. – Когда прославляют прогресс, тем самым прославляют лишь движение и тех, что не дают нам застрять на одном месте, – и, конечно, иногда это значит многое, особенно если живешь среди египтян. Но в подвижной Европе, где движение, как говорится, «само собой разумеется», – эх, если б нам хоть что-нибудь в этом уразуметь! – для меня достойны похвал *продвижение* и идущие вперед, то есть те, что все вновь оставляют себя позади, вовсе не думая о том, идет ли кто следом. «Когда я останавливаюсь, то нахожу только себя: так на что мне остановки! Диким местам впереди конца не видно!» – вот что чувствует такой идущий вперед.

555

Хватает и самых незначительных. – Надо избегать событий, если знаешь, что даже *самые незначительные* из них сказываются на нас довольно сильно, – а все-таки и от них не уклониться. – У человека мыслящего должен быть наготове примерный список всех тех вещей, которые он вообще *хотел бы* еще *испытать* на себе.

556

Великолепная четверка. – *Честность* с собою и со всем *остальным*, что нам симпатично; *отвага* перед лицом врага; *великодушие* к побежденным; *учтивость* – всегда: такими нас хочет видеть четверка кардинальных добродетелей.

557

Вперед, на врага! – Как хорошо звучат плохая музыка и плохие причины, когда идешь на врага!

558

Но не прятать и своих добродетелей! – Люблю я людей, подобных прозрачной воде, тех, что, говоря словами Поупа, «дают видеть и нечистоты на дне своих волн». Но даже и у них есть свое тщеславие, правда, редкостное и утонченное: некоторым из них нужно, чтобы видны были только нечистоты, а прозрачность воды, благодаря которой это возможно, как бы не существовала. Формулу тщеславия этих немногих выдумал не кто иной, как сам Гаутама Будда: «Не прячьте грехов ваших от людей, скрывайте свои добродетели!». Но ведь это значит лишить мир прекрасного спектакля – а стало быть, погрешить против вкуса.

559

«Ничего сверх меры!» – Как часто кому-нибудь советуют поставить перед собою цель, которая для него недостижима, ему не по силам, – чтобы он сделал хотя бы посильное для себя при крайнем напряжении! А разве это и впрямь так уж желательно? Разве лучшим людям, живущим по этому правилу, не приходится лучшие свои поступки совершать через силу и перекосив лицо от чрезмерного напряжения? И разве унылый отсвет *неудачи* не ложится на мир из-за того, что всюду видишь только выступления атлетов, чудовищные жесты и нигде – увенчанного и торжествующего победителя?

560

Что в наших руках. – Можно управляться со своими саженцами подобно садовнику и, о чем знают немногие, вытаскивать из почвы зародыши гнева, сострадания, резиньяции, тщеславия с такой же урожайностью и пользой, как овощи с грядки; можно делать это с хорошим или плохим садовничьим вкусом и как бы во французской, английской, голландской или китайской манере, а можно и позволить хозяйничать природе, лишь там и сям кое-что украшая и подправляя, можно, наконец, и, ничего не зная и ни о чем не раздумывая, предоставить своим саженцам самим расти себе на пользу или на вред, соперничая друг с другом, – да и вообще, можно получать удовольствие от такого одичания и даже стремиться к этому удовольствию, если одичание для тебя – еще и необходимость. Все это в наших руках: да только многие ли знают о том, что это в наших руках? Разве большинство людей не *верят* в *себя* как в свершившиеся, полностью *выросшие факты*? Разве и великие философы со своей стороны не скрепили своей печатью этот предрассудок, выдумав учение о неизменности характера?

561

Позволить своему счастью и засиять. – Как живописцы, у которых никак не получается передать глубокий сияющий тон настоящего неба, вынуждены на несколько тонов приглушать краски своего ландшафта в сравнении с красками природы, – как они с помощью такого приема все же достигают какого-то сходства в освещении и некоторой гармонии тонов, соответствующих природным: так же приходится выкручиваться и поэтам с философами, для которых остается недостижимым сияющий блеск счастья; когда они малюют все вещи на несколько ступеней темнее, чем те суть на самом деле, то освещение, в коем они знают толк, почти подобно солнечному и напоминает свет полного счастья. – Пессимист, дающий всем вещам самые безотрадные и мрачные краски, пользуется лишь языками пламени да молниями, небесными сияньями и всем, что отличается слепящею яркостью, делая зрение нечетким; а свет ему нужен только для того, чтобы углубить ужас, заставив подозревать в вещах больше страшного, чем в них есть.

562

Оседлые и свободные. – Лишь в подземном мире нам показывают кое-что из мрачного фона счастья всех любителей приключений, словно свечение ночного моря ложащееся на Одиссея и ему подобных, – того фона, который после этого уже не выкинешь из головы: мать Одиссея умерла от тоски, от желания увидеть свое дитя! Одного что-то гонит с места на место, а у другого, *оседлого* и нежного, от этого разрывается сердце: вот так оно всегда и бывает! Горе рвет сердца тем, которые убедились на своем опыте, что именно самый их дорогой человек уходит от их мыслей, от их веры, – и место этому в трагедии, *играемой* свободными умами, – иногда они даже *знают* об этом! Тогда в один прекрасный день им приходится, подобно Одиссею, спуститься к мертвым, чтобы утолить их тоску и дать пищу их нежности.

563

Химера нравственного миропорядка. – *Нет никакой вечной необходимости*, требующей, чтобы каждой вине соответствовали раскаяние и расплата, – такое требование было ужасной и лишь совсем немного полезной химерой: а равным образом химерично, будто вина – все то, что человек чувствует *как вину*. Не *вещи*, а представления о *вещах, которых не существует в принципе*, – вот что так сильно сбило с толку человечество!

564

Прямо там, где кончается опыт! – И великие умы на свой лад умеют считать лишь до пяти, и их *опыт* ограничен – сразу за его границами их размышления кончаются: начинается их бесконечная пустота и глупость.

565

Союз важности и невежества. – Когда нам все понятно, мы становимся милыми, счастливыми, умелыми, и всюду, где мы хоть чему-нибудь научились и *навострили* себе глаза и уши, душа наша проявляет больше гибкости и грации. Но вот нам почти ничего не ясно, а наша осведомленность плачевна – и тогда редко бывает, чтобы мы заключали предмет в объятия, да еще с любезностью: скорее, мы деревянно и нечувствительно проходим по городу, по природе, по истории, наигрывая себе эту повадку и холодность – так, будто они выражают наше превосходство. Да уж, наше невежество и скудная жажда знаний отлично знают толк в том, как шествовать с важностью, создавая видимость характера.

566

Жить без затрат. – Стиль жизни наиболее беззатратный и безобидный – стиль жизни человека мыслящего: ведь – сра-

зу скажем самое главное – ему нужны, как правило, именно те вещи, на которые другие не обращают внимания, на которые они и смотреть не желают. – А еще ему мало надо для радости, он не знает дорогих путей к удовольствиям; труд его не изматывает, он работает словно на лоне южной природы; угрызения совести не портят ему ни дней, ни ночей; он ходит, ест, пьет и спит в свою меру, а именно – чтобы дух его становился все спокойней, крепче и ясней; он получает удовольствие от своего тела, не видя причин его бояться; он не нуждается в шумных компаниях, разве что время от времени, чтобы потом тем нежнее обнять свое одиночество; мертвые заменяют ему живых, заменяют даже друзей – те, лучшие, что когда-либо жили на земле. – А теперь поразмыслим, не обратные ли вожделения и привычки – то, что делает человеческую жизнь такой затратной, а следовательно, тягостной, а часто и невыносимой. – Правда, в некотором другом смысле жизнь человека мыслящего – самая разорительная: уж очень он разборчив, требуя хорошего; а не получить *самого лучшего* было бы для него *невыносимым* лишением.

567

В полевых условиях. – «Надо нам глядеть на вещи веселей, чем они того заслуживают; а тем более потому, что мы долго глядели на них серьезней, чем они того заслуживают». – Так говорят бравые солдаты познания.

568

Поэт и птица. – Птица Феникс показала поэту горящий и обугливающийся свиток. «Ты только не пугайся, – сказала она, – но это твоя работа! В ней нет духа времени, а тем более духа тех, что против времени: следовательно, ее нужно сжечь. Но это добрый знак. Ведь такими разными бывают утренние зори!»

569

Одиноким. – Если мы в разговорах с собою не щадим достоинство других так же, как в разговорах с людьми, то мы люди неприличные.

570

Утраты. – Есть утраты, в которых душа обретает благородство, удерживающее ее от стенаний, – тогда она словно молча идет под высокими черными кипарисами.

571

Полевой лазарет души. – Какое лекарство действует сильнее всех? – Победа.

572

Нас успокоит жизнь. – Если жить, подобно человеку мыслящему, по большей части в полноводном потоке мысли и чувства и даже по ночам, во сне, плыть с этим потоком, то покоя и тишины ждешь от *жизни*, – а другие, предаваясь медитациям, как раз от нее-то и хотят отдохнуть.

573

Менять кожу. – Змея, которая не может сменить кожу, гибнет. То же и с умами, которым мешают менять мнения: они перестают быть умами.

574

Чтобы не забыть! – Чем выше мы поднимаемся, тем меньшими кажемся людям, не умеющим летать.

Мы, воздухоплаватели духа! – Все эти отважные птицы, что улетели в дали, в самые дальние дали, – где-то они наверняка выбьются из сил и сядут на мачту какого-нибудь корабля или на крошечную скалу, едва выглядывающую из волн, – да еще с такой благодарностью за жалкое это убежище! Но кто посмеет сделать отсюда вывод, что перед ними уже *нет* беспредельной вольной тропы, что они долетели до края, что дальше лететь *нельзя*! Все наши великие наставники и предтечи в конце концов останавливались, и не самый благородный, изысканный жест – тот, с которым велит останавливаться усталость: вот так же придется и нам с тобою! Но что нам с тобою до этого! *Другие птицы полетят дальше!* Это наше твердое знание, наша истовая вера полетит вперегонки с ними вперед и вверх, она поднимется ввысь прямо над нашей головою и над нашим бессилием, и оттуда глянет в дали, увидит впереди стаи птиц, гораздо более мощных, чем мы, что полетят туда, куда летели и мы, и где кругом только море, море и море! – Куда ж нам лететь? Летим ли мы *через* моря? Куда влечет нас эта мощная тяга – нечто для нас гораздо большее, чем любое наслаждение? Почему ж влечет нас именно в ту сторону – туда, где доселе *заходили* все солнца человечества? Быть может, некогда пойдет о нас молва, что и мы, *правя на запад, чаяли добраться до некоей Индии,* – но что уделом нашим стало – потонуть в этой безбрежности? Или нет, братья? Или нет? –

Мессинские идиллии[1]

1 Из восьми стихотворений, составляющих этот цикл, мы публикуем здесь четыре. Остальные были почти без изменений включены Н. в приложение к *ВН*, в составе которого и публикуются нами. См. в конце данного тома прим. к *МИ* и к «Песням принца Фогельфрай» в *ВН*.

Маленький бриг по прозванию «Ангелок»[1]

Ангелок: меня зовут –
Нынче бриг, была девчонкой,
Ах, во многом я девчонка!
Ведь вокруг любовных пут
Вертится штурвальчик тонкий.

Ангелок: меня зовут –
Мой наряд из ста флажочков,
Милый капитан-дружочек
У руля стоит, надут,
Как сто первый из флажочков.

Ангелок: меня зовут –
В даль стремлюсь, туда, где свечка
Для меня горит, овечкой,
Страстною тоской живу.
Я всегда была овечка.

Ангелок: меня зовут –
Верите ль, собачкой лаю,
И мой ротик извергает
Дым и пламя там и тут?
Кто мой чёртов ротик знает!

Ангелок: меня зовут –
Бросила в сердцах словечко,
И к последнему местечку
Друга быстренько ведут:
Да, он умер от словечка!

Ангелок: меня зовут –
С горя прыгнула с причала

---

1 Пер. Е. Зейферт. Н. вдохновил на это стихотворение корабль «Angiolina», названный, согласно местной легенде, по имени девушки, из-за несчастной любви бросившейся в море.

В море, рёбрышко сломала,
А душа нашла приют:
Да, сквозь рёбрышко сбежала!

Ангелок: меня зовут –
Кошечкой душа упорно
В пять прыжочков через волны
На кораблик – тут как тут!
Лапки у неё проворны.

Ангелок: меня зовут –
Нынче бриг, была девчонкой,
Ах, во многом я девчонка!
Ведь вокруг любовных пут
Вертится штурвальчик тонкий.

Ночная тайна[1]

Ночью, только мир уснул,
И в проулках с непонятным
Вздохом ветер промелькнул,
Не раскрыл мне сон объятий,
Хоть со мной невинность дум,
И постель, и мак приятный.

Бросил думать я о сне
И пошёл на берег, к волнам.
Мягкий свет, и при луне –
Чёлн и человек был сонный: –
Агнец, пастырь. На челне
Он отчалил в мир огромный.

Быстро час прошёл иль два,
Или год? – вдруг улетели,
В безразличии осели
Мысли, чувства и слова,

---

1 Пер. Е. Зейферт.

И разверзлась без пределов
Бездна: – вот уж будет вам! –

Утро. Зыбок у причала
Чёлн на чёрной глубине...
Что случилось? Так вскричал я,
Сотня – в крик: здесь крови нет? – –
Ничего! Мы спали, спали
Все – как сладко быть во сне!

«Pia, caritatevole, amorosissima»[1]
(на campo santo)

Рука ягненка гладит,
Взор светел огневой.
Кто устоит, кто сладит
С невинностью такой?
Всех краше и милее,
Ты искренность сама,
Всех набожней, нежнее,
Amorosissima!

Но кто, скажи, до срока
Цепочку не сберег?
Ты любишь? Кто жестоко
Тобою пренебрег?
Слезу едва скрываешь,
Но – искренность сама –
Молчишь... И умираешь,
Amorosissima?

1 Пер. И. Эбаноидзе. Название (буквально: «благочестивая, милосердная, любимейшая») повторяет надпись на надгробии, стоящем на кладбище в Стальено, рядом с Генуей. Рельеф на надгробии изображает девушку с ягненком.

Мнение птицы[1]

Я в теньке, для передышки,
Под листвой сидел на днях.
«Тук-тук-тук» – тихонько слышу,
Вкрадчивое, как в стихах.
Рассердившись поначалу,
Ритму уступил и вдруг,
Как поэт, я сам случайно
Начал говорить – тук-тук...

И пока мой стих резвился –
Слог за слогом, гоп-ца-ца,
Смех напал – я веселился
С четверть часа без конца,
Ты поэт? А ты поэт?
Ненароком ты не спятил? –
«Да, мой сударь! Вы поэт!»
– Так сказала птица дятел.

---

1 Пер. Е. Зейферт.

Веселая наука
(«la gaya scienza»)

«Для поэта и мыслителя все вещи и события дружественны и близки, все переживания полезны, все дни священны, все люди божественны».
Эмерсон
[Эпиграф к изданию 1882 г.]

Хозяин в собственном своем дому,
Я никому ни в чем не подражал.
Чтя мастеров, смеюсь я лишь тому,
Что мастер сам себя не осмеял.
Над моей входной дверью
[Эпиграф к изданию 1887 г.]

Предисловие ко второму изданию

1

Этой книге, быть может, недостаточно только *одного* предисловия, и все-таки остается под большим вопросом, могут ли помочь предисловия тому, кто сам не пережил чего-либо подобного, приблизиться к *переживаниям* этой книги. Она словно написана на языке весеннего ветра: в ней есть заносчивость, беспокойство, противоречивость, мартовская погода, нечто постоянно напоминающее как о близости зимы, так и о *победе* над зимой, победе, которая будет одержана, должна быть одержана, уже, быть может, одержана... Благодарность непрестанно бьет из нее ключом, словно случилось как раз самое неожиданное, благодарность выздоравливающего, – ибо *выздоровлением* и было самое неожиданное. «Веселая наука» – это означает сатурналии духа, который терпеливо противостоял ужасно долгому гнету – терпеливо, строго, хладнокровно, не сгибаясь, но и не питая иллюзий, – и который теперь сразу прохватывается надеждой, надеждой на здоровье, *опьянением* выздоровления. Что же удивительного, если при этом обнаруживается много неблагоразумного и дурачливого, много шаловливых нежностей, растраченных и на такие проблемы, которые одеты в колючую шкуру и которым нипочем любые соблазны и приманки. Вся эта книга и есть не что иное, как веселость после долгого воздержания и бессилия, ликование возвращающейся силы, пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близких авантюр, наново открытых морей, вновь дозволенных, вновь поволенных целей. А чего только не оставил я позади себя! Это подобие пустыни, истощение, неверие, оледенение в самом разгаре юности, эта не к месту вставленная старость, эта тирания страдания, которую все еще превосходила тирания гордости, отклонившей *выводы* страдания, – а

выводы и были самим утешением, – это радикальное одиночество, как необходимая оборона от ставшего болезненно ясновидческим презрения к человеку, это принципиальное сосредоточение на всем, что есть горького, терпкого, причиняющего боль в познании, как то предписывало отвращение, постепенно выросшее из неосмотрительной духовной диеты и изнеженности – ее называют романтикой, – о, кто бы смог сопережить это со мною! А если бы кто и смог, он наверняка зачел бы в мою пользу даже нечто большее, чем эту толику дурачества, распущенности, «веселой науки», – к примеру, горсть песен, которые приложены на этот раз к книге, – песен, в которых поэт непростительным образом потешается над всеми поэтами. – Ах, отнюдь не на одних поэтов с их прекрасными «лирическими чувствами» должен излить свою злость этот вновь воскресший: кто знает, какой жертвы ищет он себе, какое чудовище пародийного сырья привлечет его в скором времени? «Incipit tragoedia» – говорится в заключение этой озабоченно-беззаботной книги: держите ухо востро! Что-то из ряда вон скверное и злое предвещается здесь: «Incipit parodia», в этом нет никакого сомнения...

2

Но оставим господина Ницше: что нам до того, что господин Ницше снова стал здоровым?.. В распоряжении психолога есть мало столь привлекательных вопросов, как вопрос об отношении между здоровьем и философией, а в случае, если он и сам болеет, он вносит в собственную болезнь всю свою научную любознательность. Ибо предполагается, что тот, кто есть личность, имеет по необходимости и философию своей личности: но здесь есть одно существенное различие. У одного философствуют его недостатки, у другого – его богатства и силы. Первый *нуждается* в своей философии, как нуждаются в поддержке, успокоении, лекарстве, избавлении, превозношении, самоотчуждении; у последнего она лишь красивая роскошь, в лучшем случае – сладострастие торжествующей благодарности, которая в конце концов должна космическими прописными буква-

ми вписываться в небо понятий. Но в других, более обыкновенных случаях, когда философия стимулируется бедственным положением, как это имеет место у всех больных мыслителей – а больные мыслители, пожалуй, преобладают в истории философии, – что же выйдет из самой мысли, подпадающей *гнету* болезни? Вот вопрос, касающийся психолога, и здесь возможен эксперимент. Совершенно так же, как путешественник, предписывающий себе проснуться к назначенному часу и затем спокойно предающийся сну, так и мы, философы, в случае, если мы заболеваем, предаемся на время телом и душою болезни – мы как бы закрываем глаза на самих себя. И подобно тому, как путешественник знает: что-то *не* спит нечто, что-то отсчитывает часы и вовремя разбудит его, так и мы знаем, что решительный момент застанет нас бодрствующими, – что тогда воспрянет это самое нечто и поймает дух с *поличным*, т.е. уличит его в слабости, или в измене, или в покорности, или в ожесточении, или в помрачении и как бы там еще не назывались все болезненные состояния духа, которые в здоровые дни сдерживаются его *гордостью* (ибо как гласит старая поговорка: «Три гордых зверя делят трон – гордый дух, павлин и конь»). После такого самодознания и самоискушения учишься смотреть более зорким взором на все, о чем до сих пор вообще философствовали; разгадываешь лучше, чем прежде, непредусмотренные околицы, плутания, пригретые *солнцем* привалы мысли, вокруг которых вращаются и которыми совращаются страждущие мыслители именно в качестве страждущих; теперь уже знаешь, куда больное *тело* и его нужда бессознательно теснит, вгоняет, завлекает дух – к солнцу, покою, кротости, терпению, лекарству, усладе любого рода. Каждая философия, ставящая мир выше войны, каждая этика с отрицательным содержанием понятия счастья, каждая метафизика и физика, признающие некий финал, некое конечное состояние, каждое преобладающее эстетическое или религиозное взыскание постороннего, потустороннего, внележащего, вышестоящего – все это позволяет спросить, не болезнь ли была *тем*, что вдохновляло философа. Бессознательное облечение физиологических потребностей в мантию объективного, идеального, чисто духовного заходит до ужаса далеко, – и до-

вольно часто я спрашивал себя, не была ли до сих пор философия, по большому счету, лишь толкованием тела и *превратным пониманием тела*. За высочайшими суждениями ценности, направлявшими доныне историю мысли скрывалось превратное понимание телесности, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны сословий и целых рас. Позволительно рассматривать все эти отважные сумасбродства метафизики, в особенности ее ответы на вопрос о *ценности* бытия, как симптомы определенных телесных состояний, и ежели подобные мироутверждения или мироотрицания, в научном смысле, все до одного не содержат и крупицы смысла, то они все же дают историку и психологу тем более ценные указания в качестве симптомов, как уже сказано, тела, его удачливости и неудачливости, его избытка, мощи, самообладания в объеме истории или, напротив, его заторможенности, усталости, истощенности, предчувствия конца, его воли к концу. Я все еще жду, что когда-нибудь *врач* от философии – в исключительном смысле слова способный проследить проблему общего здоровья народа, эпохи, расы, человечества, – наберется мужества обострить до крайности мое подозрение и рискнуть на следующее положение: во всяком философствовании дело шло доныне вовсе не об «истине», а о чем-то другом, скажем о здоровье, будущности, росте, силе, жизни.

3

Вы догадываетесь, что я не без благодарности хочу распрощаться с временем тяжкой хвори, выгоды которой еще и по сей день не оскудели для меня: равным образом догадываетесь вы и о том, что мне достаточно хорошо известные преимущества, которыми я при моем шатком здоровье наделен в сравнении со всякими мужланами духа. Философ, прошедший и все еще проходящий сквозь множество здоровий, прошел сквозь столько же философий: он и не *может* поступать иначе, как всякий раз перелагая свое состояние в духовнейшую форму и даль, – это искусство трансфигурации и *есть* собственно философия. Мы, философы, не вольны проводить черту между душой и телом, как это

делает народ, еще менее вольны мы проводить черту между душой и духом. Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с с вмонтированными в них холодными потрохами – мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им все, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок. Жить – значит для нас постоянно превращать все, что мы суть, в свет и пламя, а также все, с чем мы соприкасаемся, – мы и не *можем* иначе. Что же касается болезни, разве мы в силах удержаться от вопроса, можем ли мы вообще обойтись без нее? Только великое страдание есть последний освободитель духа, как наставник в *великом подозрении*, которое из всякого U делает X, подлинное, действительное X, т.е. предпоследнюю букву перед последней... Только великое страдание, то долгое, медленное страдание, которое делает свое дело, никуда не торопясь, в котором нас сжигают как бы на сырых дровах, вынуждает нас, философов, прогрузиться в нашу последнюю глубину и отбросить всякое доверие, все добродушное, заволакивающее, кроткое, среднее, во что мы, быть может, до этого вложили нашу человечность. Я сомневаюсь, чтобы такое страдание «улучшило», но я знаю, что оно *углубляет* нас. Все равно, учимся ли мы противопоставлять ему нашу гордость, нашу насмешку, силу нашей воли, уподобляясь индейцу, который, как бы жестоко его ни истязали, облегчает свои муки, язвя своего истязателя словами; все равно, отступаем ли мы перед страданием в это восточное Ничто – его называют Нирваной, – в немую, оцепенелую, глухую покорность, самозабвение, самоугасание, – из таких долгих опасных упражнений в господстве над собою выходишь другим человеком, с большим количеством вопросительных знаков, прежде всего с *волей* спрашивать впредь больше, глубже, строже, тверже, злее, тише, чем спрашивали до сих пор. Доверие к жизни исчезло; сама жизнь стала *проблемой*. – Пусть не думают, впрочем, что непременно становишься от этого сычом! Даже любовь к жизни еще возможна – только любишь иначе. Это любовь к женщине, которая вызывает в нас сомнения... Но прелесть всего проблематичного, ликование по поводу X у таких более духовных, более одухотворенных людей столь велики, что

это ликование, словно светлый жар, временами захлестывает поверх всяческой потребности в проблематичном, поверх всяческой опасности ненадежного, даже поверх ревности любящего. Нам ведомо новое счастье...

4

Наконец, чтобы не умолчать о самом существенном: из таких пропастей, из такой тяжкой хвори, также из хвори тяжкого подозрения, возвращаешься *новорожденным*, облупленным, более чувствительным к щекотке, более злобным, с более истонченным вкусом к радости, с более нежным языком для всех хороших вещей, с более веселыми чувствами, со второй, более опасной невинностью в радости, одновременно более ребячливым и во сто крат более рафинированным, чем был когда-нибудь до этого. О, как противно теперь *тебе* наслаждение, грубое, тупое, смуглое наслаждение, как его обычно понимают сами наслаждающиеся, наши «образованные», наши богатые и правящие! С какой злобой внемлем мы теперь той оглушительной ярмарочной шумихе, в которой «образованный человек» и обитатель большого города нынче позволяет насиловать себя искусством, книгой и музыкой во имя «духовных наслаждений», с помощью духовных напитков! Как режет нам теперь слух театральный крик страсти, как чужд стал нашему вкусу весь романтический разгул и неразбериха чувств, которую любит образованная чернь, вместе с ее стремлениями к возвышенному, при поднятому, взбалмошному! Нет, если мы, выздоравливающие, еще нуждаемся в искусстве, то это *другое* искусство – насмешливое, легкое, летучее, божественно безнаказанное, божественно искусное искусство, которое, подобно светлому пламени, возносится в безоблачное небо! Прежде всего: искусство для художников, только для художников! Мы после этого лучше понимаем, что *для этого* прежде всего нужно: веселость, *всякая веселость*, друзья мои! даже в качестве художника – я хотел бы это доказать. Мы теперь знаем кое-что слишком хорошо, мы, знающие; о, как мы теперь учимся хорошо забывать, хорошо *не* слишком-знать, как художники! И что касается нашего будущего, нас

вряд ли найдут снова на стезях тех египетских юношей, которые ночами проникают в храмы, обнимают статуи и во что бы то ни стало хотят разоблачить, раскрыть, выставить напоказ все, что не без изрядных на то оснований держится сокрытым. Нет, этот дурной вкус, эта воля к истине, к «истине любой ценой», это юношеское помешательство на любви к истине – опротивели нам вконец: мы слишком опытны, слишком серьезны, слишком веселы, слишком прожжены, слишком глубоки для этого... Мы больше не верим тому, что истина остается истиной, если снимают с нее покрывало; мы достаточно жили, чтобы верить этому. Теперь для нас это дело приличия – не стремиться все видеть обнаженным, при всем присутствовать, все понимать и «знать». «Правда ли, что боженька находится везде? – спросила маленькая девочка свою мать. – Но я нахожу это неприличным» – намек философам! Следовало бы больше уважать *стыд*, с которым природа спряталась за загадками и пестрыми неизвестностями. Быть может, истина – женщина, имеющая основания не позволять подсматривать своих оснований? Быть может, ее имя, говоря по-гречески, Баубо?.. О, эти греки! Они умели-таки *жить*; для этого нужно храбро оставаться у поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии! Эти греки были поверхностными – от *глубины!* И не возвращаемся ли мы именно к этому, мы, сорвиголовы духа, взобравшиеся на самую высокую и самую опасную вершину современной мысли и оглядевшиеся оттуда, посмотревшие оттуда *вниз*? Не являемся ли мы именно в этом – греками? Поклонниками форм, звуков, слов? Именно поэтому – художниками?

Рута близ Генуи,
осенью 1886 года

«Шутка, хитрость и месть»

Прелюдия в немецких рифмах

1

Приглашение

Не угодно ли, гурманы,
Яств моих отведать пряный
Вкус, усладу и изыск!
Вам еще? Тогда закатим
Старых семь моих вкуснятин
В семикратно новый риск.

2

Мое счастье

Когда искать не стало сил,
Я за находки взялся.
Когда мне ветер путь закрыл,
Я всем ветрам отдался.

3

Неустрашимый

Рой поглубже, где стоишь!
Там первопричина!
Пусть кричат невежи лишь:
«Глубже – чертовщина!»

4

Диалог

А. Был я болен? Исцелился?
Мой рассудок помутился!
Что за врач меня лечил?
Б. Верю я – ты исцелился:
Тот здоров, кто все забыл.

5

Добродетельным

И добродетели наши должны иметь легкие ноги,
Словно Гомера стихи, приходить и тотчас
уходить!

6

Светский ум

Не стой среди равнины
И не тянись в эфир!
Как раз посередине
Прекрасен этот мир.

7

Vademecum – Vadetecum

Тебя пленяет говор мой,
Ты по пятам идешь за мной?
Иди-ка лучше за собой: –
И будешь – тише! тише! – мой!

8

При третьей смене кожи

Уже пуды переварив
Земли и кожу скинув,
Змея во мне – один порыв
К земле прильнуть и сгинуть.
Уже ползу я под травой
Голодным гибким следом,
Чтоб есть змеиный хлеб земной,
Тебя, земля, поедом!

9

Мои розы

Да! Я счастья расточитель,
Счастья благостный даритель!
Эти розы – ваши... рвите!
Только прежде вам придется
На колючки напороться,
Больно-больно уколоться!
Ибо счастье – любит слезы!
Ибо счастье – любит козни! –
Ну, так рвите эти розы!

10

Высокомерный

Вечно валит все и бьет
И слывет высокомерным.
Кто из чаши полной пьет,
Тот всегда и льет, и бьет, –
Но вину, как прежде, верен.

11

Пословица говорит

Грубо-нежно, пошло-редко,
Грязно-чисто, тупо-метко,
Глупый с умным – та же клетка.
Всем этим быть хочу и я:
Змея, и голубь, и свинья!

12

Любителю света

Чтоб не лишиться чувств и зренья,
Как солнце, спрячься ты за тенью![1]

13

Танцору

Гладкий лед –
Райский грот,
Если танец твой – полет.

14

Бравый

Лучше враг из цельного куска,
Чем друг, приклеенный слегка!

1 Пер. И. Эбаноидзе.

15

Ржавчина

Нужна и ржавчина: когда, как бритва, нож,
Ворчат всегда: «Уж эта молодежь!»

16

Наверх

«Как лучше всего мне на гору взойти?» –
«Взбирайся наверх и не думай в пути!»

17

Девиз насильника

Не проси! Оставь стенанья!
Брать всегда – твое призванье!

18

Скудные души

От скудных душ меня бросает в дрожь:
В них и добро, и зло – на грош.

19

Обольститель поневоле

Стрельнул, не целясь, словом он пустым,
Глядь, женщина упала перед ним.

20

На смекалку

Двойная боль не столь уж невтерпеж,
Как просто боль: ну, как? ты не рискнешь?

21

Против чванства

Не раздувайся слишком вширь:
Кольнут – и лопнешь, как пузырь.

22

Мужчина и женщина

«Похить ее, ту, что тебя чарует!»
Так поступает он: она – ворует.

23

Интерпретация

Толкуя сам себя, я сам себе не в толк,
Во мне толмач давно уж приумолк.
Но кто ступает собственной тропой,
Тот к свету вынесет и образ мой.

24

Лекарство для пессимиста

Тебе бы хныкать все да ныть,
Все те же старые причуды:
От несваренья и простуды
Ворчать, злословить и скулить.
Мой друг, чтоб мир переварить
Во всех его опасных блюдах,
Решись, ты должен вмиг и чудом
Одну лишь жабу проглотить.

25

Просьба

Я в многих людях знаю толк,
И лишь себя узнать не смог!
К глазам своим стою впритык,
Не отдаляясь ни на миг,
Коль не хочу с собой разлада,
Мне от себя подальше надо.
Хоть не настолько, как мой враг,
Ближайший друг далек – и как!
Меж нами точка, где мы братья!
О чем прошу я, угадайте!

26

Моя суровость

Я по ступенькам этим должен
Пройти, но вы всегда о том же:
«Ты что, за камень принял нас?»
Нужны ступеньки мне, но кто же
Захочет ими быть из вас?

27

Странник

«Уж нет пути! Вокруг зияет бездна
Ты сам хотел того! Небезвозмездно?
Смелее, странник! Здесь или нигде!
Погибнешь ты, подумав о беде.

28

Утешение новичкам

Вот малыш, а рядом свиньи,
Пальцы ног ему свело!
Весь от слез и всхлипов синий,
Плюхается, как назло.
Не робейте! Близки сроки,
Быть ему и плясуном!
Лишь бы встал на обе ноги,
Ну а там – хоть кувырком.

29

Эгоизм звезд

Когда, как круглый ролик, я
Вращался б не вокруг себя,
Как смог бы я, не вспыхнув ярко,
Бежать за этим солнцем жарким?

30

Ближний

Ближнего близко нельзя подпускать:
Взять бы его да подальше убрать!
Будет тогда он звездой мне сиять!

31

Переодетый святой

Силясь скрыть избранность Божью,
Корчишь чертову ты рожу
И кощунствуешь с лихвой.
Дьявол вылитый! И все же
Из-под век глядит святой!

32

Несвободный

А. Стоит и внемлет он: ни слова.
Какой-то шум ему все снова
Пронзает душу до костей.
Б. Как тот, кто был хоть раз закован,
Он слышит всюду – лязг цепей.

33

Одинокий

Мне чужды и ведомый, и водитель.
Послушник? Нет! Но нет и – повелитель!
Не страшен тот, кто *сам себе* не страшен:
А страх и есть над судьбами властитель.
Я и себе не склонен быть – водитель!

Люблю я, словно зверь, искать укрытий,
Найти себе пустынную обитель,
Блуждать в себе мечтательно и сладко
И издали манить себя загадкой,
Чтоб был себе и сам я – соблазнитель.

34

Seneca et hoc genus omne[1]

Все пишет он свой нестерпи-
мо мудрый вздор в угаре,
Как будто primum scribere,
Deinde philosophari[2].

35

Лед

Да! Готовлю я и лед:
Лед полезен для сваренья!
И при вашем несваренье
Все глотать бы вам мой лед!

36

Юношеские сочинения

Вся, включая даже крохи,
Мудрость мне звучала в них!
А теперь – глухие вздохи,
Только ахи, только охи
Слышу юных лет своих.

---

1 Сенека и ему подобные (*лат.*).

2 Во-первых писать, во-вторых философствовать (*лат.*).

37

Осторожность

Ты едешь? Я в напутствие одно сказать могу:
При всем своем уме, будь вдвое начеку!
Тебя своим восторгом задушат там они,
Фанатики, – затем, что просто неумны!

38

Набожный говорит

Бог любит нас, *как* наш создатель! –
«Но Бог, – так вы, – был нами создан!»
Тогда ответьте, Бога ради,
Какой же, к черту, созидатель
Не любит то, что сам он создал?

39

Летом

Мы в поте нашего лица
Должны есть хлеб? Но потный –
Твердят врачи нам без конца –
Ест хлеб свой неохотно.
Созвездье Пса уже с крыльца
Нам просветляет души:
Мы в поте нашего лица
Бокал вина осушим!

40

Без зависти

Он чтим за то, что зависти лишен?
Но к вашим почестям бесчувствен он;
Его орлиный взор для далей создан,
Он вас не зрит! – он видит звезды, звезды!

41

Гераклитизм

Все земное счастье,
Други, лишь в борьбе!
Порох – вот причастье
К дружбе и судьбе!
Триедины други:
С недругом равны,
Братья, где недуги,
В гибели – вольны!

42

Принцип слишком щепетильных

Лучше уж на цыпочках,
Чем на четвереньках!
Лучше через ситечко,
Чем вразлет о стенку!

43

Наставление

Ты ищешь славы? в добрый час!
Так знай же вместе,
Что предстоит тебе отказ
От чести!

44

Основательный

Философ я? Когда бы так! –
Я просто *тучен* – весом!
И вечно бухаюсь впросак
На основанье весь я!

45

Навсегда

«Мне нынче прок прийти сюда», –
Сказал, а прибыл навсегда.
И толки откликом гудят:
«Ты всякий раз да невпопад!»

46

Суждения усталых

Ругая солнце в истощеньи,
В деревьях ценят только – тени!

47

Нисхождение

«Он падает!» – на смех вам и на радость;
Но падает он – к вам, в ваш жалкий рой!
Ему его блаженство стало в тягость,
И свет его влечется вашей тьмой.

48

Против законов

Моченым шнуром вновь и вновь
Стянул мне горло шум часов;
Мерцанье звезд, петуший крик,
И свет, и тень – исчезли вмиг,
И все, что знал я, стало вдруг
Глухой, немой, ослепший круг –
Во мне остался мир без слов
Под шум закона и часов.

49

Мудрец говорит

Чужой и все же нужный этим людям,
То солнцем, то грозой веду свой путь я –
И вечно недоступный людям!

50

Потерявший голову

Она теперь умна. Взялась за ум сама?
Мужчину одного свела с ума.
И голова его, отдавшись этой хляби,
Пошла к чертям – да нет же! нет же! к бабе!

51

Благочестивое желание

«Вот бы разом слаженно
Все ключи исчезли
И в любые скважины
Лишь отмычки лезли!»
Так вот, по привычке,
Мыслят все – отмычки.

52

Писать ногою

Рука рукою, но легка
В соавторстве мне и нога.
И вот бежит, не бег, а свист,
То через луг, то через лист.

53

«Человеческое, слишком человеческое». Книга

Печально робкая, когда глядишь назад;
Когда вперед – доверья полон взгляд:
О, птица, кто ты? я назвать тебя бессилен:
Орел иль баловень Минервы, фи-фи-филин?

54

Моему читателю

Хороших челюстей и доброго желудка
Тебе желаю я!
Когда от книги сей тебе не станет жутко,
Тогда со мною переваришь и себя!

55

Художник-реалист

«Во всем природе верность сохранять!» –
Таки во всем? Да, но с чего начать?
Природа – бесконечность и искус! –
Он, наконец, на свой рисует *вкус*,
И, значит, то, что *может* срисовать!

56

Тщеславие поэта

Дай мне клею, я из мысли
Что угодно получу!
Рифмы парные осмыслить
Не любому по плечу!

57

Избирательный вкус

Если б дали, не мешая,
Выбор сделать мне скорей,
Я б отдал середку рая
За местечко у дверей.

58

Нос крючком

Упрямо вперся в землю нос
Ноздрею вздутой, он дорос
И до тебя, гордец, что смог
Стать носорогом минус рог!
Их не разнимешь и силком,
Прямую гордость, нос крючком.

59

Мои каракули

Перо царапает: вот черт!
Одно проклятье – эти кляксы! –
И лист бумаги распростерт,
Как будто весь измазан ваксой.
Но даже так, с какой душой
Перо за мыслью поспевает!
Пусть манускрипт неясен мой –
Что толку! Кто его читает?

60

Высшие люди

Хвала идущему все выше!
Но тот, другой идет все ниже!
Он и хвалы самой превыше,
Он *дан* нам свыше!

61

Скептик говорит

Уже полжизни на часах,
Душа сдвигается со стрелкой!
Как долго ей еще впотьмах
Блуждать и биться дрожью мелкой?
Уже полжизни на часах:
И каждый час, как недуг, длинный!
Что ищешь ты? *Зачем же?* Ах,
Причину этой вот причины!

62

Ecce Homo

Мне ль не знать, откуда сам я?
Ненасытный, словно пламя,
Сам собой охвачен весь.
Свет есть все, что я хватаю,
Уголь все, что отпускаю:
Пламя – пламя я и есмь!

63

Звездная мораль

В твоей предзаданной судьбе,
Звезда, что этот мрак тебе?
Стряхни блаженно цепь времен,
Как чуждый и убогий сон.
Иным мирам горит твой путь,
И ты о жалости забудь!
Твой долг единый: чистой будь!

Первая книга

1

Учителя о цели существования. – Каким бы взглядом, добрым или злым, ни смотрел я на людей, я вижу, что они все и каждый в отдельности всегда поглощены *одной* задачей: делать то, что способствует сохранению рода человеческого. И вовсе не из чувства любви к этому роду, а просто потому, что в них нет ничего, что было бы старше, сильнее, беспощаднее, непреодолимее этого инстинкта, – ибо инстинкт этот как раз и есть *сущность* нашей породы и нашего стада. И хотя люди с присущей им близорукостью, доставляющей на пять шагов, довольно быстро привыкают тщательно делить своих ближних на полезных и вредных, добрых и злых, все-таки, беря в больших масштабах и по более длительному размышлению о целом, становишься недоверчивым к этой тщательности и этому разделению и вконец утверждаешься в своем сомнении. Даже вреднейший человек есть, быть может, все еще полезнейший в том, что касается сохранения рода, ибо он поддерживает в себе или, посредством своего воздействия, в других влечения, без которых человечество давно ослабло бы и обленилось. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и что бы еще ни называлось злым – часть удивительной экономии сохранения рода, разумеется дорогостоящей, расточительной и в целом весьма глупой экономии, которая, однако, до сих пор *убедительным образом* сохраняла наш род. Я и не знаю, *можешь* ли ты, милый мой сородич и ближний, вообще жить в ущерб роду, стало быть, «неразумно» и «дурно»; то, что могло бы повредить роду, пожалуй, вымерло уже много тысячелетий назад и принадлежит теперь к невозможным даже для самого Бога вещам. Отдайся своим лучшим или худшим влечениям и прежде всего погибни! – в обоих случаях ты, по-видимому, окажешься в некотором смысле все еще покровителем и

благодетелем человечества и сможешь на основании этого обрести своих хвалителей – равно как и пересмешников! Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы в полной мере высмеять тебя, отдельного человека, во всей твоей красе, кто смог бы в достаточной для тебя мере и сообразно действительности проникнуться твоим безграничным мушиным и лягушачьим убожеством! Смеяться над самим собой так, как следовало бы смеяться, чтобы высмеяться *по всей правде,* – для этого до сих пор лучшим людям недоставало чувства правды, а одареннейшим гениальности! Быть может, и у смеха есть еще будущее! Оно наступит тогда, когда положение «род есть все, некто есть всегда никто» станет плотью и кровью для людей, и каждому в любое время будет открыт доступ к этому последнему освобождению и безответственности. Тогда, быть может, смех соединится с мудростью, быть может, из всех наук останется лишь «веселая наука». А пока дело обстоит еще совершенно иначе, пока комедия существования не «осознала» еще себя самое – нынче царит все еще время трагедии, время нравоучений и религий. Что означает непрерывно новое появление этих основателей моральных учений и религий, этих зачинщиков борьбы за нравственные оценки, этих наставников в угрызениях совести и религиозных войнах? Что означают эти герои на этой сцене? – ибо до сих пор и не было иных героев, а все прочее, лишь временами мелькающее и выпирающее, служило всегда лишь подспорьем этих героев, все равно, в качестве ли технического оборудования сцены и кулис или в роли доверенных лиц и камердинеров. (Поэты, например, всегда были камердинерами какой-нибудь морали.) Само собой разумеется, что и эти трагики работают в интересах *рода,* хотя бы им при этом и мнилось, что работают они в интересах Бога и как его посланцы. Они ведь тоже способствуют жизни рода, *способствуя вере в жизнь.* «Жить стоит, – так восклицает каждый из них, – она что-нибудь да значит, эта жизнь, жизнь имеет что-то за собою, под собою, учтите это!» То влечение, которое в равной мере господствует в самых высоких и самых пошлых людях, влечение к сохранению рода, выступает время от времени в качестве разума и *духовной* страсти; тогда оно окружает себя блистательной свитой оснований и изо всех сил тщится предать

забвению, что оно является, по сути, влечением, инстинктом, глупостью, беспочвенностью. Жизнь *должна* быть любима, *ибо*! Человек *должен* быть полезным себе и своему ближнему, *ибо*! И как бы еще ни назывались ныне и присно все эти «должен» и «ибо»! Для того, чтобы происходящее по необходимости и всегда, само по себе и без всякой цели отныне казалось целеустроенным и светило человеку, как разум и последняя заповедь, – для этого выступает этический наставник в качестве учителя о *«цели существования»;* для этого изобретает он второе и иное существование и с помощью своей новой механики снимает это старое будничное существование с его старых будничных петель. Да! Он отнюдь не хочет, чтобы мы *смеялись* над существованием, да и над самими собой – тем более над ним; для него некто всегда есть некто, нечто первое и последнее и неслыханное, для него не существует никакого рода, никаких сумм, никаких нулей. Как бы глупы и химеричны ни были его вымыслы и оценки, как бы ни недооценивал он хода природных событий и ни отрицал его условий – а все этики были до сих пор настолько глупы и противоестественны, что от каждой из них человечество сгинуло бы, овладей они человечеством, – тем не менее! всякий раз, когда «герой» вступал на подмостки, достигалось нечто новое, до жути противоположное смеху, то глубокое потрясение множества индивидуумов при мысли: «Да, жить стоит! Да, и я стою того, чтобы жить!» – жизнь, и я, и ты, и все мы вместе снова на некоторое время становились себе *интересными*. – Нельзя отрицать, что до сих пор над каждым из этих великих учителей цели *надолго* воцарялись и смех, и разум, и природа: короткая трагедия в конце концов переходила всегда в вечную комедию существования, и «волны несметного смеха» – говоря словами Эсхила – напоследок сметали даже величайших из названных трагиков. Но при всем этом исправительном смехе все же непрерывно новое появление учителей о цели существования в целом изменяло человеческую природу – *теперь у нее стало одной потребностью больше*, именно, потребностью в непрерывно новом появлении таких учителей и учений о «цели». Человек понемногу стал фантастическим животным, обремененным в своем существовании одним условием больше, чем любое другое:

человеку *должно* время от времени казаться, что он знает, *почему* он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни! без веры в *разум, присущий жизни!* И снова время от времени будет человеческий род постановлять: «есть нечто, над чем абсолютно нельзя больше смеяться!» А наиболее осмотрительный друг людей добавит к этому: «не только смех и веселая мудрость, но и трагическое со всем его возвышенным неразумием относится к числу необходимых средств сохранения рода!» – И следовательно! Следовательно! Следовательно! О, понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? И у нас есть свое время!

2

Интеллектуальная совесть. – Я постоянно прихожу к одному и тому же заключению и всякий раз наново противлюсь ему, я не хочу в него верить, хотя и осязаю его как бы руками: *подавляющему большинству недостает интеллектуальной совести;* мне даже часто кажется, что тот, кто притязает на нее, и в самых населенных городах пребывает одиноким, как в пустыне. Каждый смотрит на тебя чужими глазами и продолжает орудовать своими весами, называя это хорошим, а то плохим; ни у кого не проступит на лице краска стыда, когда ты даешь ему понять, что гири эти не полновесны, – никто и не вознегодует на тебя: возможно, над твоим сомнением просто посмеются. Я хочу сказать: *подавляющее большинство* не считает постыдным верить в то или другое и жить сообразно этой вере, не найдя прежде последних и достовернейших доводов за и против, даже не утруждая себя поиском таких доводов, – самые одаренные мужчины и самые благородные женщины принадлежат все еще к этому «подавляющему большинству». Что, однако, значат для меня добросердечие, утонченность и гений, если человек, обладающий этими добродетелями, позволяет себе вялость чувств в мнениях и суждениях, если *взыскание достоверности* не является для него внутреннейшей страстью и глубочайшей потребностью – как то, что отделяет высших людей от низших! Я подмечал у иных благочести-

вых людей ненависть к разуму и был им за это признателен: по крайней мере здесь выдавала себя еще хоть злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этой rerum concordia discors[1], среди всей чудесной неопределенности и многосмысленности существования и *не вопрошать*, не трепетать от страсти и удовольствия самого вопрошания, даже не испытывать ненависти к вопрошающему, а разве что, в лучшем случае, вяло над ним потешаться – вот что ощущаю я *постыдным*, и именно этого ощущения ищу я прежде всего в каждом человеке: какое-то сумасбродство убеждает меня все снова и снова, что каждый человек, будучи человеком, испытывает его. Это и есть мой род несправедливости.

3

Благородное и пошлое. – Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия: они хлопают глазами, слыша о подобных чувствах, и как бы желают сказать: «наверное, здесь кроется какая-то большая выгода, нельзя же всего знать» – они питают подозрение к благородным, как если бы те окольными путями искали себе выгоды. Если же они воочию убеждаются в отсутствии своекорыстных умыслов и прибылей, то благородный человек кажется им каким-то глупцом: они презирают его в его радости и смеются над блеском его глаз. «Как можно радоваться собственному убытку, как можно с открытыми глазами очутиться в проигрыше! С благородными склонностями должна быть связана какая-то болезнь ума» – так думают они и при этом поглядывают свысока, не скрывая презрения к радости, которую сумасшедший испытывает от своей навязчивой идеи. Пошлая натура тем и отличается, что незыблемо блюдет собственную выгоду и что эта мысль о цели и выгоде в ней сильнее самых сильных влечений: не соблазниться своими влечениями к нецелесообразным поступкам – такова ее мудрость и ее самолюбие. В сравнении с нею высшая натура оказывается *менее разумной*, ибо благородный, велико-

1 Сочетание противоречивых вещей (*лат.*).

душный, самоотверженный уступает на деле собственным влечениям и в лучшие свои мгновения дает разуму *передышку*. Зверь, охраняющий с опасностью для жизни своих детенышей или следующий во время течки за самкою даже на смерть, не думает об опасности и смерти; его ум равным образом делает передышку, ибо удовольствие, возбуждаемое в нем его приплодом или самкою, и боязнь лишиться этого удовольствия в полной мере владеют им; подобно благородному и великодушному человеку, он делается глупее прежнего. Чувства удовольствия и неудовольствия здесь столь сильны, что интеллект в их присутствии должен замолкнуть либо пойти к ним в услужение: тогда у такого человека сердце переходит в голову, и это называется отныне «страстью». (Конечно, временами выступает и нечто противоположное, как бы «страсть наизнанку», к примеру, у Фонтенеля, которому кто-то сказал однажды, положив руку ему на грудь: «То, что у Вас тут есть, мой дорогой, это тоже мозг»). Неразумие или косоразумие страсти и оказывается тем, что пошлый презирает в благородном, в особенности когда оно обращено на объекты, ценность которых кажется ему совершенно фантастичной и произвольной. Он злится на того, кто не в силах совладать со страстями брюха, но ему все же понятна прелесть, которая здесь тиранит; чего он не понимает, так это, к примеру, способности поставить на карту свое здоровье и честь во исполнение познавательной страсти. Вкус высшей натуры обращается на исключения, на вещи, которые по обыкновению никого не трогают и выглядят лишенными всяческой сладости; высшей натуре присуще уникальное мерило ценностей. При этом большей частью она и не предполагает, что в идиосинкразии ее вкуса наличествует это уникальное мерило; скорее, она принимает собственные представления о ценности и никчемности за общезначимые и упирается тем самым в непонятное и непрактичное. Крайне редкий случай, когда высшая натура в такой степени обладает разумом, что понимает обывателей и обращается с ними, как они есть; в большинстве случаев она верит в собственную страсть как в нечто неявно присущее всем людям, и именно эта вера исполняет ее пыла и красноречия. Если же и такие исключительные люди не чувствуют себя исключениями, то как им понять

пошлые натуры и достойным образом оценить правило, исключениями из которого они являются! — и вот сами они разглагольствуют о глупости, негодности и нелепости человечества, изумляясь тому, сколь безумны судьбы мира и почему он не желает сознаться себе в том, что «ему нужно». – Такова извечная несправедливость благородных.

4

Сохраняющее род. – Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества: они непрестанно воспламеняли засыпающие страсти – всякое упорядоченное общество усыпляет страсти, – они непрестанно пробуждали чувство сравнения, противоречия, взыскания нового, рискованного, неизведанного, они принуждали людей выставлять мнения против мнений, образцы против образцов. Это делалось оружием, ниспровержением межевых знаков, чаще всего оскорблением благочестия, – но и новыми религиями и нравоучениями! Каждому учителю и проповеднику *нового* присуща та же «злость», которая дискредитирует завоевателя, хотя она и обнаруживается более утонченно, без моментального перехода в мышечные реакции, и именно поэтому не столь дискредитирующим образом! Новое, однако, при всех обстоятельствах есть *злое*, нечто покоряющее, силящееся ниспровергнуть старые межевые знаки и старые формы благочестия, и лишь старое остается добрым! Добрыми людьми во все времена оказываются *те*, кто поглубже зарывает старые мысли и удобряет ими плодоносную ниву, – земледельцы духа. Но каждая земля в конце концов осваивается, и все снова и снова должен появляться лемех злого. – Нынче существует одно основательное лжеучение морали, особенно чествуемое в Англии: согласно этому учению, понятия «добро» и «зло» являются результатами опытных наблюдений над «целесообразным» и «нецелесообразным»; согласно ему, то, что называется «добрым», содействует сохранению рода, а то, что называется «злым», вредит ему. На деле, однако, злые влечения целесообразны, родоохранительны и необходимы не в меньшей степени, чем добрые, – лишь функция их различна.

5

Безусловные обязанности. – Все люди, которые испытывают нужду в наиболее сильных словах и звучаниях, в красноречивейших жестах и позах, чтобы *вообще* воздействовать, – революционные политики, социалисты, проповедники покаяния с христианством или без него, все те, для которых неприемлем всякий половинчатый успех, – все они говорят об «обязанностях», и только об обязанностях, носящих безусловный характер, – без таковых они не имели бы никакого права на свой большой пафос: это отлично известно и им самим! Так, хватаются они за нравственные философии, проповедующие какой-нибудь категорический императив, или они принимают в себя толику религии, как это сделал, например, Мадзини. Поскольку им хочется внушить к себе безусловное доверие, им необходимо прежде всего безусловно доверять самим себе, на почве какой-нибудь последней непререкаемой и в себе возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они себя чувствуют и выставляют. Здесь мы имеем самых естественных и большей частью весьма влиятельных противников нравственного просвещения и скепсиса – но они встречаются редко. Напротив, очень обширный класс этих противников наличествует всюду, где интерес учит подчинению, в то время как репутация и честь, казалось бы, запрещают подчинение. Тот, кто чувствует себя обесчещенным при одной лишь мысли, что он является *орудием* в руках какого-либо правителя или какой-либо партии и секты, или даже денежной власти, и будучи, к примеру, отпрыском старой гордой фамилии, тем не менее хочет или вынужден быть в своих собственных глазах и в глазах общественности этим орудием, тому необходимы патетические принципы, которые в нужный момент всегда окажутся на кончике языка, – принципы безусловного долженствования, которым можно подчиняться в открытую, без всякого стыда. Любое более утонченное раболепие крепко держится за категорический императив и является смертельным врагом тех, кто силится отнять у долга его безусловный характер: этого требует у них приличие, и не только приличие.

6

Утрата достоинства. – Размышление утратило все свое достоинство формы; церемониал и торжественные жесты размышляющего человека сделались предметом насмешек, и теперь уже едва ли кто-либо вынес бы мудреца старого стиля. Мы мыслим слишком быстро, мимоходом, попутно, между всяческих дел и занятий, даже когда мыслим о самом серьезном; мы мало нуждаемся в подготовке, даже в покое: дело обстоит так, словно бы мы несли в голове безостановочно вращающуюся машину, продолжающую работать даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Некогда по каждому было видно, что он намеревался мыслить – это ведь являлось исключением! – что он хотел стать мудрее и выказывал готовность к какой-нибудь мысли: лица вытягивались как бы в молитвенном выражении, и замедлялся шаг; случалось, что часами останавливались на улице, когда «приходила» мысль, – на одной или на двух ногах. Так это больше «приличествовало делу»!

7

Нечто для трудолюбивых. – Кто нынче вознамерится посвятить себя изучению моральных вопросов, тому откроется неслыханное поприще для работы. Все виды страстей должны быть продуманы в розницу, прослежены в прогоне через эпохи; народы, большие и малые, весь их разум и все их оценки и разъяснения вещей выведены на свет Божий. До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости? Даже сравнительная история права или хотя бы только наказания полностью отсутствует до сих пор. Делались ли уже предметом исследования различия распорядков дня, следствия правильного распределения труда, празднеств и досуга? Известны ли моральные воздействия продуктов питания? Существует ли философия питания? (Уже постоянно возобновляемый шум за и против вегетарианства доказывает, что таковой философии покуда нет!) Собраны ли уже опытные наблюдения

над совместной жизнью, например, наблюдения над монастырями? Описана ли уже диалектика брака и дружбы? Нравы ученых, торговцев, художников, ремесленников – нашли ли они уже своих мыслителей? А думать об этом предстоит так много! Разве уже исследовано окончательно все то, что люди рассматривали до сих пор как «условия их существования», и все разумное, страстное и суеверное в самом этом рассмотрении? Одно лишь наблюдение различного роста, которого, в зависимости от различий морального климата, достигали и могут еще достигнуть человеческие влечения, предлагает колоссальную работу для трудолюбивейшего; понадобились бы целые поколения, и при этом планомерно сотрудничающие поколения, ученых, чтобы исчерпать здесь все точки зрения и материал. Аналогично обстоит дело и с доказательством оснований различных моральных климатов («*отчего* здесь светит одно солнце морального принципа и критерия – а там другое?»). И вновь это оборачивается новой работой, устанавливающей ложность всех подобных оснований и всего существа прежних моральных суждений. Если допустить, что названные труды были бы осуществлены, тогда на передний план выступил бы наиболее щекотливый из всех вопросов: способна ли наука *полагать* цели поступкам, после того как она доказала, что она может отнимать и уничтожать таковые, – и тогда уместным оказалось бы экспериментирование, в котором всякий вид героизма мог бы получить удовлетворение, – затянувшееся на столетия экспериментирование, сумевшее бы оставить в тени все великие свершения и самопожертвования прежней истории. Наука покуда не выстроила еще своих циклопических построек; и этому настанет время!

8

Неосознанные добродетели. – Все свойства человека, сознаваемые им, – в особенности, если он предполагает их явность и очевидность и для своего окружения, – подчиняются совершенно иным законам развития, чем те свойства, которые ему неизвестны или плохо известны и которые, вследствие их тонкости, скрыты от взгляда более утонченного

наблюдателя и умеют прятаться как бы за кажущимся ничто. Так выглядит это в тонкой резьбе на чешуйках рептилий: было бы заблуждением предположить в них какое-либо украшение или оружие, ибо они видны лишь через микроскоп, стало быть, через искусственно усиленное зрение, отсутствующее у тех животных, *для* которых это могло бы означать нечто вроде украшения или оружия! Наши зримые моральные качества, в особенности те, которые мы *считаем* таковыми, идут своим путем, а вполне одноименные незримые качества, которые в наших отношениях с другими людьми не выглядят ни украшением, ни оружием, *также идут своим путем*, по-видимому, совершенно иным, – все с теми же линиями, тонкостями и резьбой, которые, пожалуй, могли бы доставить удовлетворение какому-нибудь божеству, обладающему божественным микроскопом. У нас, к примеру, есть свое прилежание, свое честолюбие, свое остроумие: весь мир знает об этом, – и, кроме того, у нас, вероятно, есть еще раз *свое* прилежание, *свое* честолюбие, *свое* остроумие: но для этих наших чешуек не изобретено еще микроскопа! – И здесь друзья инстинктивной нравственности скажут: «Браво! Он, по крайней мере, допускает возможность неосознанных добродетелей, – нам и этого довольно!» – О, вы, довольные!

9

Наши извержения. – Неисчислимые качества, усвоенные человечеством на ранних ступенях развития, но в столь слабой и зачаточной форме, что никому не удавалось воспринимать их как усвоенные, выявляются внезапно, спустя длительное время, быть может, по прошествии столетий: в промежутке они и стали сильными и зрелыми. Некоторым эпохам, как и некоторым людям, по-видимому, совершенно недостает того или иного таланта, той или иной добродетели, но пусть тот, у кого есть время ждать, дождется только внуков и правнуков, – они уж вынесут на свет душевные глубины своих дедов, те самые глубины, о которых деды и знать не знали. Часто уже сын оказывается предателем своего отца: этот последний понимает себя самого лучше, с тех пор

как у него есть сын. Во всех нас есть скрытые сады и насаждения, а если употребить другое сравнение, все мы – нарастающие вулканы, которые дожидаются часа своего извержения, – насколько, однако, близок или далек этот час, этого, конечно, никто не знает, даже сам «Господь Бог».

10

Некий род атавизма. – Редкостных людей какого-либо времени я охотнее всего понимаю как внезапно появляющихся отпрысков прошедших культур и их сил: словно атавизм некоего народа и его нравов – в них и в самом деле есть еще нечто такое, что следовало бы *понять!* Теперь они выглядят чужими, редкими, необыкновенными, и тот, кто чувствует в себе эти силы, вынужден выхаживать, защищать, чтить, взращивать их вопреки противящемуся чужому миру; тогда он станет либо великим человеком, либо свихнувшимся чудаком, если только вообще не погибнет вовремя. Прежде эти редкие свойства были обыкновенным явлением и, стало быть, считались чем-то вполне обыденным: они никак не выделялись. Быть может, само наличие их требовалось и предполагалось; достичь с их помощью величия было невозможным уже по одному тому, что отсутствовала опасность стать с их помощью безумным и одиноким. *Охранительные* поколения и касты народа суть преимущественно те, в которых налицо такие отпрыски старых влечений, тогда как подобный атавизм едва ли еще возможен там, где налицо слишком быстрая смена рас, привычек, оценок. В развитии народов темп имеет то же значение, что и в музыке; в нашем случае абсолютно необходимо Andante развития, как темп страстного и неторопливого духа, – а таков именно дух консервативных поколений.

11

Сознание. – Сознательность представляет собою последнюю и позднейшую ступень развития органического и, следовательно, также и наиболее недоделанное и немощное в нем.

Из сознательности происходят бесчисленные промахи, вследствие которых зверь, человек гибнет раньше времени – «сверх рока», как говорит Гомер. Не будь смирительная рубашка инстинктов гораздо более могущественной, она не служила бы в целом регулятором: человечество должно было бы погибнуть от своих извращенных суждений и бредов наяву, от своей неосновательности и легковерия, короче, от своей сознательности; да, оно погибло бы, или, скорее, его бы давно уже не существовало! Прежде чем какая-либо функция образуется и достигает зрелости, она представляет собою опасность для организма: хорошо, если она на время как следует подавляется! Так изредка подавляется и сознательность – и не в последнюю очередь тем, что ею гордятся! Думают, что здесь и заключается *сущность* человека; устойчивое, вечное, последнее, изначальное в нем! Считают сознательность какой-то единожды данной величиной! Не признают ее роста, ее перебоев! Принимают ее за «единство организма»! – Эта жалкая переоценка и непонимание сознания приводит к весьма полезным последствиям, так как тем самым *предотвращалось* слишком скорое формирование его. Поскольку люди мнили себя сознательными, они прилагали мало усилий к тому, чтобы приобрести сознательность, – еще и теперь дело обстоит не иначе! Это все еще совершенно новая и лишь едва брезжущая, еще смутно различимая *задача – органически усвоить знание* и сделать его инстинктивным, – задача, открытая лишь тем, кто понял, что до сих пор нами органически усваивались лишь *заблуждения* и что вся наша сознательность покоится на заблуждениях!

12

О цели науки. – Как? Последняя цель науки в том, чтобы доставлять человеку как можно больше удовольствия и как можно меньше неудовольствия! А что, если удовольствие и неудовольствие так тесно связаны друг с другом, что тот, кто *хочет* иметь возможно больше первого, *должен* иметь возможно больше и второго, – что тот, кто хочет преуспеть в «небесном восхищении», *должен* быть готовым и к «смертной скорби»? И, пожалуй, так оно и есть! Стоики, по крайней

мере, полагали, что так оно и есть, и были последовательны, когда стремились к возможно меньшему количеству удовольствий, дабы получить от жизни как можно меньше неудовольствий. (Когда произносили изречение: «Добродетельный – самый счастливый», это было не только школьной вывеской для массы, но и казуистической тонкостью для утонченных.) И сегодня все еще вам дано на выбор: либо *возможно меньше неудовольствия*, короче, отсутствие страданий – в сущности, социалистам и политикам всех партий не следовало бы, по-честному, обещать своим людям большее, – либо *возможно больше неудовольствия* в качестве расплаты за избыток тонких и малоизведанных удовольствий и радостей! Если вы решитесь на первое, если вы вознамеритесь таким образом подавить и уменьшить страдания человека, ну, так вам придется подавить и уменьшить также и *способность к наслаждениям*. В самом деле, можно *с помощью науки* содействовать достижению как одной, так и другой цели! Пока еще наука, возможно, больше славится способностью уничтожать наслаждения человека и делать его более холодным, более статуеобразным, более стоическим! Но она могла бы предстать и как великая *даятельница страданий* – и тогда, быть может, открылось бы одновременно и ее противодействие, ее неимоверная способность освещать новые звездные миры радостей!

13

К учению о чувстве власти. – Благодеянием и злодеянием упражняются в своей власти над другими – большего при этом и не желают! *Злодеянием* мы достигаем этого с теми, кому впервые должны дать почувствовать нашу власть, ибо страдание в этом отношении гораздо более впечатляющее средство, чем удовольствие: страдание всегда спрашивает о причине, тогда как удовольствие склонно оставаться при самом себе и не оглядываться. *Благодеяние* и благожелательность мы распространяем на тех, кто уже находится в какой-нибудь зависимости от нас (т.е. привык думать о нас, как о своей причине); мы желаем приумножить их власть оттого, что таким образом приумножаем свою собственную, или

мы хотим показать им всю выгоду того, что значит – быть в нашей власти, – тогда они в большей мере довольствуются своим положением и с большей враждебностью и боевой готовностью относятся к врагам *нашей* власти. Приносим ли мы при благо- или злодеяниях какие-либо жертвы, это ничуть не изменяет значимости наших поступков; даже если мы отдаем этому свою жизнь, как мученик ради своей церкви, эта жертва приносится *нашему* стремлению к власти или с целью сохранения нашего чувства власти. Ибо тот, кто чувствует: «я обладаю истиной», – какими владениями он не поскупится, дабы сохранить это ощущение! Чего только он не вышвырнет за борт, чтобы удержаться «наверху», – т.е. *над* другими, лишенными «истины»! Разумеется, состояние, при котором мы причиняем зло, редко бывает столь приятным, столь беспримесно-приятным, как то, при котором мы делаем добро, – это означает, что нам все еще недостает власти, или выдает нашу досаду на эту недостачу; отсюда проистекают новые опасности и неопределенности в отношении нашей наличной власти, обволакивающие наш горизонт перспективами мести, насмешки, наказания, неудачи. Лишь для самых ненасытных сластолюбцев чувства власти может быть приятнее придавить строптивого печатью власти: для тех, кому тягостен и скучен вид уже порабощенного (который, в качестве такового, и есть предмет благоволения). Все сводится к тому, как привыкли мы *приправлять* свою жизнь; это дело вкуса – какой именно прирост власти нам больше по душе: медленный или внезапный, надежный или рискованный и отчаянный – та или иная приправа ищется сообразно темпераменту. Легкая добыча кажется гордым натурам чем-то презренным, они испытывают наслаждение лишь при виде несломленных людей, которые могли бы стать им врагами, и равным образом при виде всех труднодостижимых сокровищ; к страждущему они часто бывают суровы, ибо он недостоин их стремления и гордости, – но тем предупредительнее они с *равными,* борьба и состязание с которыми, при малейшем поводе, была бы для них во всяком случае почетна. В сладостном предчувствии *этих* перспектив привыкли люди рыцарского сословия к изысканной вежливости во взаимоотношениях. – Сострадание есть самое приятное чувство у тех, кто ли-

шен гордости и всяких притязаний на великие завоевания: им легкая добыча – а таков и есть каждый страждущий – представляется чем-то восхитительным. Люди славят сострадание, как добродетель публичных женщин.

14

Все, что называется любовью. – Алчность и любовь: сколь различны наши ощущения при каждом из этих слов! – и все же они могли бы быть одним и тем же влечением, дважды названным: первый раз поносимым с точки зрения людей уже имущих, в которых влечение несколько приутихло и которые теперь боятся за свое «имущество»; второй раз с точки зрения неудовлетворенных, жаждущих, и посему прославляемым как нечто «хорошее». Наша любовь к ближним – разве она не есть стремление к новой *собственности?* И равным образом наша любовь к знанию, к истине? и вообще всякое стремление к новинкам? Мы постепенно пресыщаемся старым, надежно сподручным и жадно тянемся к новому; даже прекраснейший ландшафт, среди которого мы проживаем три месяца, не уверен больше в нашей любви к нему, и какой-нибудь отдаленный берег дразнит уже нашу алчность: владение большей частью делается ничтожнее от самого овладения. Наше наслаждение самими собой поддерживается таким образом, что оно непрерывно преобразует *в нас самих* нечто новое, – это как раз и называется обладанием. Пресытиться обладанием – значит пресытиться самим собою. (Можно страдать даже от излишка, и даже необузданная страсть к расточительству может присвоить себе почетное имя «любви».) Когда мы видим кого-то страдающим, мы охотно пользуемся предоставившимся поводом овладеть им; это делает, например, благотворящий и сострадательный; и он называет пробудившуюся в нем похоть к новому обладанию «любовью», испытывая при этом удовольствие, как при всяком новом манящем его завоевании. Но яснее всего выдает себя, как стремление к собственности, любовь полов: любящий хочет безусловного и единоличного обладания вожделенной особою, он хочет столь же безусловной власти над ее душою, как и над ее телом, он хочет один быть люби-

мым и жить и властвовать в чужой душе как нечто высшее и достойнейшее желаний. Если возьмут в толк, что это и есть не что иное, как *лишить* весь мир некоего драгоценного имущества, счастья и наслаждения; если примут во внимание, что любящий только и стремится к оскудению и обделению всех прочих домогателей и хотел бы стать драконом своего золотого руна, как самый беззастенчивый и себялюбивый из всех «завоевателей» и обирал; если, наконец, сообразят, что самому любящему весь остальной мир предстает чем-то безразличным, бледным, никчемным и что он готов принести любую жертву, нарушить любой порядок, оттеснить любые интересы, – то не перестанут удивляться, что эта дикая алчность и несправедливость половой любви прославлялась и обожествлялась во все времена – настолько, что из нее даже позаимствовали понятие самой любви в противоположность эгоизму, тогда как именно она, пожалуй, и является непосредственнейшим выражением эгоизма. Здесь, очевидно, творцами этого словоупотребления были неимущие и алчущие, – в них ведь во все времена не было недостатка. Те, кому в этой области было отпущено много обладания и насыщения, роняли, правда, временами словцо о «бешеном демоне», как тот любезнейший и любимейший из афинян, Софокл; но Эрос всякий раз посмеивался над такими охальниками – они-то и были всегда его самопервейшими любимцами. – Правда, на земле еще встречается своего рода продолжение любви, при котором то корыстное стремление двух лиц друг к другу уступает место новому желанию и алчности, *общей* высшей жажде стоящего над ними идеала: но кто знает эту любовь? Кто ее пережил? Ее настоящее имя – *дружба*.

15

Издали. – Эта гора придает всей местности, над которой она возвышается, особое очарование и значительность; сказав себе это в сотый раз, мы испытываем к ней столь неразумную благодарность, что принимаем ее, виновницу этого очарования, за самое очаровательное место во всей этой местности, – и вот мы взбираемся на нее и испытыва-

ем разочарование. Внезапно и сама она, и весь обстающий нас внизу ландшафт выглядят точно расколдованными; мы забыли, что иное величие, как и иная доброта, смотрится лишь на определенной дистанции, и конечно же снизу, не сверху, так только и *действует оно*. Может быть, ты знаешь людей в твоем окружении, которые и сами должны смотреть на себя лишь с определенного расстояния, чтобы вообще чувствовать себя сносными или притягательными и излучающими силу; самопознание им противопоказано.

16

Через тропинку. – Общаясь с людьми, которые стыдятся своих чувств, надо уметь притворяться; они испытывают внезапную ненависть к тому, кто уличает их в каком-то нежном или мечтательном и взволнованном чувстве, словно бы подсматривая их секреты. Кто захочет сделать для них что-либо в такие мгновения, пусть рассмешит их или обронит какую-нибудь холодную злую шутку: их чувство остынет от этого, и они вновь овладеют собою. Я, впрочем, рассказываю мораль прежде самой истории. – Некогда мы были так близки друг другу, что, казалось, ничто уже не в силах было помешать нашей дружбе и нашему братству, и лишь одна узкая тропинка пролегала между нами. Как раз в тот момент, когда ты захотел вступить на нее, я спросил себя: «Ты хочешь перейти ко мне через тропинку?» – и тебе тотчас же расхотелось это: когда же я снова спросил тебя, ты уже погрузился в молчание. С тех пор горы и бурные потоки пролегли между нами, и все, что разделяет и отчуждает, и, если бы мы даже хотели подойти друг к другу, мы не смогли бы больше это сделать! Но, вспоминая нынче ту узкую тропинку, ты уже не находишь слов – только рыдания и удивление.

17

Мотивировать свою бедность. – Мы, конечно, не можем никаким фокусом превратить бедную добродетель в богатую и изобильную, но мы, пожалуй, можем превосходно истол-

ковать ее бедность в терминах необходимости, так что ее вид не будет уже причинять нам боли, и мы не будем корчить из-за нее року полные упреков рожи. Так поступает умный садовник, который заставляет скудную водичку своего сада изливаться через руку какой-нибудь нимфы источника и таким образом мотивирует ее скудность: и кто только, подобно ему, не нуждается в нимфах!

18

Античная гордость. – Нам недостает античной окраски благородства, потому что в нашей душе отсутствует понятие об античном рабе. Грек благородного происхождения находил между высотой своего положения и самым низким положением такое чудовищное количество промежуточных ступеней и такое расстояние, что едва ли мог отчетливо видеть раба: даже Платон не вполне уже видел его. Иное дело мы, привыкшие *к учению* о равенстве людей, хотя и не к самому равенству. Существо, не способное распоряжаться собою и лишенное всяческого досуга, нисколько не выглядит в наших глазах чем-то презренным; в каждом из нас, быть может, есть слишком много такого рабства, сообразно условиям нашего общественного порядка и деятельности, которые существенным образом отличаются от порядка и деятельности древних. – Греческий философ проходил через жизнь с тайным чувством, что рабов гораздо больше, чем кажется, – именно, что каждый человек есть раб, если он не философ; гордость распирала его, когда ему приходило в голову, что и могущественнейшие властители земли принадлежат к числу его рабов. И эта гордость чужда нам и невозможна для нас: даже как сравнение слово «раб» лишено для нас своей полной силы.

19

Зло. – Исследуйте жизнь лучших и плодотворнейших людей и народов и спросите себя, может ли дерево, которому суждено гордо прорастать ввысь, избежать дурной погоды и бурь,

и не принадлежат ли неблагоприятное стечение обстоятельств и сопротивление извне, всякого рода ненависть, ревность, своекорыстие, недоверие, суровость, алчность и насилие к *благоприятствующим* обстоятельствам, без которых едва ли возможен большой рост даже в добродетели? Яд, от которого гибнет слабая натура, сильному только придает сил – и он даже не называет его ядом.

20

Достоинство глупости. – Еще несколько тысячелетий по пути последнего столетия! – и во всем, что делает человек, обнаружится высочайшая смышленость; но как раз тем самым смышленость и потеряет все свое достоинство. Тогда хоть и будет необходимым быть умным, но в столь обычном и общем смысле, что более благородный вкус воспримет эту необходимость как *пошлость*. И подобно тому, как тирания истины и науки была бы в состоянии высоко поднять цены на ложь, так и тирания смышлености смогла бы вызвать новый вид благородства. Быть благородным – будет, возможно, означать тогда: иметь в голове глупости.

21

Учителям самоотверженности. – Добродетели человека оцениваются положительно не с точки зрения действий, которые они оказывают на него самого, а с точки зрения действий, которые мы ожидаем от них для нас и для общества, – в восхвалении добродетелей с давних пор выказывали слишком мало «самоотверженности», слишком мало «неэгоистичности»! Иначе пришлось бы увидеть, что добродетели (скажем, прилежание, послушание, целомудрие, благочестие, справедливость) большей частью *вредны* для их обладателей, как влечения, которые слишком пылко и ненасытно господствуют в них и не позволяют разуму уравновешивать себя другими влечениями. Если у тебя есть добродетель, действительная, цельная добродетель (а не одно лишь влеченьице к добродетели!), значит, ты – ее *жертва!* Но сосед

именно поэтому хвалит твою добродетель! Хвалят прилежного, хотя он этим прилежанием вредит своему зрению или самобытности и свежести своего ума; чтут и жалеют юношу, который «надорвался на работе», потому что судят следующим образом: «Для великого общественного целого потеря отдельных личностей, пусть даже лучших, есть небольшая жертва. Плохо, конечно, что эта жертва необходима. Но гораздо хуже, когда отдельная личность мыслит иначе и придает своему сохранению и развитию большую важность, чем своей работе на службе у общества!» Этого юношу, стало быть, жалеют не ради него самого, а потому, что смерть отняла у общества столь преданное и самоотверженное *орудие* – так называемого «честного человека». Возможно, еще обратят внимание на то, что в интересах общества выгоднее было бы, если бы он трудился менее самоотверженно и дольше сохранил бы себя, – эту выгоду, разумеется, признают, однако считают более крупной и продолжительной ту другую выгоду, что *жертва* принесена и что умонастроение жертвенного животного еще раз *наглядно* подтвердилось. Собственно говоря, когда восхваляются добродетели, то этим восхваляется их свойство быть орудиями и еще это слепо властвующее в каждой добродетели влечение, не позволяющее ограничивать себя рамками общей выгоды индивидуума, короче: то неразумие в добродетели, силою которого отдельное существо послушно превращается в функцию целого. Похвала добродетели есть похвала чему-то личностновредному – похвала влечениям, отнимающим у человека его благороднейшее себялюбие и силу высшего надзора за самим собою. – Разумеется, чтобы воспитать и привить добродетельные навыки устраивают целый смотр тех воздействий добродетели, где добродетель и личная выгода выглядят соединенными братскими узами, – и действительно, узы эти существуют! Например, слепое неистовое прилежание, эта типичная добродетель инструмента изображается как путь к богатству и почестям и как целительнейший яд против скуки и страстей; но при этом замалчивают его опасность, его крайнюю рискованность. Воспитание всегда действует следующим образом: оно тщится рядом приманок и выгод настроить отдельную личность на такой образ мыслей и действий, который, став привычкой, влечением

и страстью, царит в ней и над ней *вопреки ее последней выгоде*, но «ко всеобщему благу». Как часто вижу я, что слепое неистовое прилежание хоть и приносит богатства и почести, но в то же время отнимает у органов ту самую утонченность, благодаря которой только и можно было бы наслаждаться богатством и почестями, а равным образом и что это основное средство против скуки и страстей в то же время притупляет чувства и делает дух невосприимчивым к новым соблазнам. (Наиболее прилежное из всех поколений – наше поколение – не способно употребить свое большое прилежание и свои деньги во что-нибудь иное, чем в приобретение новых денег и нового прилежания: нынче требуется больше гения для расточительства, чем для стяжательства! – Ну и что же, ведь у нас будут «внуки»!) Если воспитание достигает своей цели, то каждая добродетель отдельной личности оборачивается общественной пользой и частным убытком, в смысле высшей частной цели, – вероятно, какой-нибудь духовно-чувственной чахлостью или даже преждевременной гибелью: достаточно с этой точки зрения рассмотреть следующий ряд добродетелей: послушание, целомудрие, благочестие, справедливость. Похвала самоотверженному, жертвующему собой, добродетельному – стало быть, тому, кто обращает всю свою силу и разум не на *собственное* сохранение, развитие, возвышение, преуспеяние, расширение власти, а на то, чтобы относиться к самому себе скромно и вслепую, быть может, даже равнодушно или иронично, – эта похвала возникла во всяком случае не из духа самоотверженности! «Ближний» восхваляет самоотверженность, так как *имеет от нее свою выгоду*! Если бы ближний сам мыслил самоотверженно, он избежал бы этого упадка сил, этого ущерба ради *себя же самого*, он боролся бы с возникновением этих склонностей в себе и прежде всего засвидетельствовал бы свою самоотверженность тем именно, что назвал бы ее чем-то *нехорошим*! – Здесь проступает основное противоречие той морали, которая нынче в таком большом почете: *мотивы* этой морали противоречат ее *принципу*! То, чем эта мораль хочет доказать себя, она опровергает своим же критерием морального! Положение «ты должен отречься от самого себя и принести себя в жертву» должно было бы, во избежание конфликта с собственной моралью,

провозглашаться лишь таким существом, которое при этом отреклось бы от своей выгоды и, быть может, погибло бы в акте требуемого самопожертвования личности. Но покуда ближний (или общество) рекомендует альтруизм *ради пользы*, в силе остается прямо противоположное положение: «ты должен искать себе выгоды, даже за счет всех других», стало быть, здесь на одном дыхании проповедуется «ты должен» и «ты не должен».

22

L'ordre du jour pour le roi[1]. – Начинается день: начнем и мы устраивать на этот день дела и празднества нашего всемилостивейшего повелителя, который еще изволит почивать. Его Величество сегодня будет в дурном настроении: поостережемся назвать его дурным; не будем говорить о настроении – постараемся-ка сегодня устраивать дела торжественнее, а празднества праздничнее, чем когда-либо. Его Величество, возможно, даже болен: мы поднесем ему к завтраку последнюю хорошую новость вчерашнего вечера, прибытие господина Монтеня, который так приятно умеет шутить над своей болезнью – он страдает подагрой. Мы примем несколько персон (персон! – что сказала бы та старая надувшаяся лягушка, которая будет присутствовать среди них, услышь она это слово! «Я вовсе не персона, – сказала бы она, – я всегда сама вещь») – и прием будет длиться дольше, чем кое-кому хотелось бы: достаточное основание, чтобы рассказать о том поэте, который написал на своих дверях: «Кто войдет сюда, окажет мне честь; кто этого не сделает, доставит мне удовольствие». – Поистине это называется вежливо сказать невежливость! И, пожалуй, этот поэт по-своему имел полное право быть невежливым: говорят, что его стихи были лучше, чем сам кузнец рифм. Что ж, он мог сочинить еще много новых и хотел бы по возможности уединиться от мира: таков именно смысл его учтивой неучтивости! Напротив, повелитель всегда более достоин, чем его «стихи», даже если... однако что мы делаем? Мы

---

1 Распорядок дня для короля (*фр.*).

заболтались, а весь двор считает, что мы уже работаем и ломаем себе голову: ни в одном окне не зажглось огня раньше, чем в нашем. – Чу! Не колокол ли прозвонил? К черту! Начинается день и танец, а мы не знаем его туров! Итак, придется импровизировать – весь мир импровизирует свой день. Сделаем однажды это и мы, как весь мир! – И тут исчез мой причудливый утренний сон, вероятно, от резкого боя башенных часов, которые только что со всей присущей им важностью возвестили начало пятого часа. Мне кажется, на этот раз бог сновидений захотел потешиться над моими привычками – это моя привычка начинать день так, что я силюсь устроить его удобней и сноснее *для себя*, и, может статься, я часто делал это слишком официально, слишком по-княжески.

23

Признаки коррупции. – Обратите внимание на следующие признаки тех время от времени неизбежных состояний общества, которые обозначаются словом «коррупция». Стоит только где-нибудь наступить коррупции, как верх берут всевозможные *суеверия*, а прежняя общенародная вера, напротив, блекнет и чахнет: ведь суеверие – вольнодумство второго ранга; кто отдается ему, тот выбирает известные подходящие ему формы и формулы и оставляет за собою право выбора. Суеверный человек, по сравнению с религиозным, всегда в гораздо большей степени, чем последний, представляет собою «личность», и суеверным будет такое общество, в котором есть уже множество индивидов и тяга к индивидуальному. Рассмотренное с этой точки зрения, суеверие всегда оказывается *прогрессом* по отношению к вере и знаком того, что интеллект становится независимее и печется о своих правах. Тогда почитатели старой религии и религиозности начинают сетовать на коррупцию – они до сих пор определяли даже словоупотребление и плодили о суеверии кривотолки даже среди свободнейших умов. Будем же знать, что оно есть симптом *просвещения.* – Во-вторых, обвиняют общество, которое охвачено коррупцией, в *расслабленности;* в нем заметно падают акции войны и охота

воевать, и с тем же рвением, с каким прежде стремились к военным и гимнастическим почестям, начинают теперь гоняться за удобствами жизни. Но по обыкновению не замечают, что та былая народная энергия и страсть, которая столь великолепно смотрелась при войнах и военных играх, теперь переместилась в бесчисленные частные страсти и стала лишь менее заметной; может статься даже, что в состояниях коррупции сила и мощь растрачиваемой нынче энергии народа больше, чем когда-либо, и индивидуум проматывает ее так, как никогда прежде, – тогда он не был еще достаточно богат для этого!! И, стало быть, именно во времена «расслабления» кочует трагедия по домам и улицам, где рождаются великая любовь и великая ненависть, и пламя познания ярко вздымается к небесам. – В-третьих, как бы в возмещение за упрек в суеверии и расслаблении, периоды коррупции признаются обыкновенно более мягкими и гораздо менее жестокими по сравнению со старым, более религиозным и более сильным временем. Но и с такой похвалою не могу я согласиться так же, как и с указанным упреком: я могу согласиться лишь с тем, что теперь жестокость рядится в утонченные формы и что ее старые формы отныне не отвечают больше вкусу; но нанесение ран и пытка словом и взглядом достигают во времена коррупции своего апогея – теперь только и создается *злоба* и удовольствие от злобы. Коррумпированные люди остроумны и злоречивы, они знают, что есть еще другие способы убийства, чем кинжал и нападение, – они знают также, что во все *хорошо сказанное* верят. – В-четвертых, когда «падают нравы», начинают всплывать существа, которые называют тиранами: они суть предтечи и как бы скороспелые *первенцы индивидуумов*. Еще немного времени. И этот плод плодов висит уже зрелый и желтый на народном древе – а только ради этих плодов и существовало то древо! Когда упадок и равным образом усобицы между разного рода тиранами достигают своей вершины, непременно приходит цезарь, тиран, подводящий итоги, который кладет конец утомительной борьбе за единодержавие, вынуждая саму утомленность работать на себя. В его время индивидуум достигает обыкновенно самого зрелого состояния и, стало быть, «культура» – самого высокого и самого плодотворного: но отнюдь

не ради цезаря и не благодаря ему, хотя высшие люди культуры любят польстить своему цезарю тем, что выдают себя за дело *его* рук. Истина, однако, в том, что они нуждаются во внешнем покое, ибо беспокойство свое и свою работу держат при себе. В эти времена процветают продажность и предательство, поскольку любовь к только что открытому ego тогда гораздо сильнее любви к старому, изношенному, до смерти заболтанному «отечеству», и потребность как-нибудь обезопасить себя от ужасной амплитуды счастья открывает и более благородные ладони, стоит лишь могущественному и богатому выказать готовность ссыпать в них золото. Тогда бывает так мало уверенности в будущем: живут лишь сегодняшним днем – состояние души, при котором соблазнителям так легко делать свое дело, – но и соблазнять и подкупать позволяют себя лишь «на сегодня», сохраняя за собой право на будущее и на добродетель! Индивидуумы, эти настоящие вещи-в-себе и для-себя, как известно, больше заботятся о мгновении, чем их антиподы, стадные люди, потому что считают себя столь же непредвиденными, как и само будущее; равным образом они охотно водятся с сильными мира сего, потому что они считают себя способными на такие поступки и планы, которые не могут рассчитывать ни на понимание, ни на милость большинства, – но тиран или цезарь понимает право индивидуума даже в его выходках и заинтересован в том, чтобы заступиться за более отважную частную мораль и даже подать ей руку. Ибо он думает о себе и хочет, чтобы о нем думали то, что высказал однажды Наполеон в своей классической манере: «Я имею право всегда отвечать на все, в чем бы меня ни упрекали, словами: «Это я!» Я стою особняком от всего мира, я не принимаю ничьих условий. Я хочу, чтобы подчинялись даже моим фантазиям и находили вполне естественным, что я предаюсь тем или иным развлечениям». Так говорил Наполеон однажды своей супруге, когда та не без оснований поставила под сомнение его супружескую верность. – В эпохи коррупции падают яблоки с дерева: я разумею индивидуумов, носителей семян будущего, зачинщиков духовной колонизации и нового образования государственных и общественных союзов. Коррупция – это всего лишь бранное слово для осенней поры народа.

24

Различное недовольство. – Слабые и как бы по-женски недовольные люди изобретательны по части украшения и углубления жизни; сильные недовольные – мужчины среди них, продолжая говорить образно, – по части улучшения и обеспечения жизни. Первые обнаруживают свою слабость и женоподобие в том, что время от времени охотно дают себя обманывать и, хотя довольствуются уже малой толикой хмеля и мечтательности, в целом никогда не бывают удовлетворенными и страдают от неисцелимости своего недовольства; сверх того они покровительствуют всем тем, кто умеет создавать опийные и наркотические утешения, и именно поэтому питают злобу к тому, кто ценит врача выше священника, – тем самым они поддерживают *продолжительность* действительных бедственных состояний! Если бы в Европе со времен Средневековья не существовало колоссального количества недовольных этого рода, то возможно, что этой прославленной европейской способности к постоянному *преобразованию* не было бы и в помине; ибо притязания сильных недовольных слишком грубы и, по сути, слишком непритязательны, чтобы нельзя было однажды окончательно успокоить их. Китай являет пример страны, где недовольство в целом и способность к преобразованию вымерли много веков тому назад; но социалисты и прислужники государственных идолов Европы легко смогли бы с помощью своих мер по улучшению и обеспечению жизни создать и в Европе китайские порядки и китайское «счастье», при условии, что им удалось бы прежде искоренить те более болезненные, более нежные, женственные, покуда еще изобилующие недовольство и романтику. Европа – это больной, который в высшей степени обязан своей неизлечимости и вечному преобразованию своего страдания: эти постоянно сменяющиеся состояния, эти столь же постоянно сменяющиеся опасности, болячки и паллиативы породили наконец ту интеллектуальную чуткость, которая есть почти что гениальность, и во всяком случае мать всяческой гениальности.

25

Не предназначено для познания. – Существует некое отнюдь не редкое дурацкое смирение, погрязший в котором раз и навсегда оказывается непригодным к тому, чтобы быть учеником познания. Именно: в тот момент, когда человек этого типа воспринимает нечто необычное, он словно бы поворачивается кругом и говорит себе: «Ты ошибся! О чем ты только думал? Это не может быть истиной!» – вот же, вместо того, чтобы еще раз острее вглядеться и вслушаться, он бежит, словно в испуге, прочь от необычной вещи и старается как можно скорее выбросить ее из головы. Его внутренний канон гласит: «Я не хочу видеть ничего такого, что противоречит обычному мнению о вещах! Разве *я* создан для того, чтобы открывать новые истины? И старых уже предостаточно».

26

Что значит жизнь? – Жить – это значит: постоянно отбрасывать от себя то, что хочет умереть; жить – это значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас, и не только в нас. Жить – значит ли это, следовательно: быть непочтительным к умирающим, отверженным и старым? Быть всегда убийцею? – И все-таки старый Моисей сказал: «Не убий!»

27

Отрекающийся. – Что делает отрекающийся? Он стремится к более высокому миру, он хочет улететь дальше и выше, чем все положительные люди, – он *отбрасывает прочь многое*, что отяготило бы его полет, и, между прочим, многое, что ему дорого и мило: он жертвует этим своему стремлению ввысь. Эта жертва, это отбрасывание и есть то именно, что единственно заметно в нем: оттого и прозывают его отрекающимся, и вот он стоит перед нами, закутанный в свой капюшон и словно душа своей власяницы. Его, однако, впол-

не устраивает эффект, который он на нас производит: он хочет скрыть от нас свои желания, свою гордость, свои намерения взлететь *над* нами. – Да! Он умнее, чем мы думали, и так вежлив с нами – этот утверждающий! Ибо таков он, подобно нам, даже когда он отрекается.

28

Вредить лучшими своими качествами. – Наши сильные стороны временами увлекают нас так далеко вперед, что мы не в состоянии больше выдерживать своих слабостей и гибнем от них: мы даже предвидим этот исход и, несмотря на это, не желаем ничего иного. Тогда мы становимся жестокими к тому в нас, что хочет быть пощаженным, и наше величие есть само наше жестокосердие. – Такое переживание, которое мы в конечном счете должны оплатить собственной жизнью, оказывается символом для всего образа действий великих людей по отношению к другим людям и к их времени – именно лучшими своими качествами, тем, на что только они и способны, они губят множество слабых, неуверенных, становящихся, стремящихся людей и оттого вредны. Может даже случиться, что они в целом только вредят, ибо лучшее в них принимается и как бы испивается такими людьми, которые теряют от него, как от слишком крепкого напитка, рассудок и самолюбие: они пьянеют настолько, что ломают себе руки и ноги во всех закоулках, куда влечет их хмель.

29

Привиратели. – Когда во Франции начали оспаривать, а стало быть, и защищать Аристотелевы единства, можно было вновь заметить то, что так часто бросается в глаза и что, однако, видят столь неохотно: *выдумали себе причины,* ради которых эти законы должны были существовать, просто чтобы не признаться себе, что привыкли к их господству и не желают больше ничего другого. И так это делается, и делалось всегда, в каждой господствующей морали и рели-

гии: причины и намерения, скрытые за привычкой, привираются к ней всякий раз, когда иным людям приходит в голову оспаривать привычку и *спрашивать* о причинах и намерениях. Здесь коренится великая бесчестность консерваторов всех времен: они суть привиратели.

30

Комедия знаменитых. – Знаменитые люди, которые *нуждаются* в своей славе, как, скажем, все политики, никогда не выбирают себе союзников и друзей без задней мысли: от одного они хотят некоего подобия блеска и отблеска его добродетели, от другого способности внушать страх некоторыми опасными свойствами, которые каждый за ним признает, у третьего они крадут его репутацию праздного лежебоки, поскольку это годится для их собственных целей – казаться порою нерадивыми и косными; тем самым остается незамеченным то, что они всегда в засаде; им нужно иметь в своем окружении и как бы в качестве их наличного *я* то фантазера, то знатока, то мечтателя-мыслителя, то педанта, но пройдет время, и они уже не нуждаются в них! И так беспрестанно отмирают их окружения и фасады, в то время как все, казалось бы, так и норовит попасть в это окружение и стать их «характером»: в этом они схожи с большими городами. Их репутация, как и их характер, постоянно меняется, поскольку этой перемены требуют их изменчивые средства, выставляющие напоказ со сцены то одно, то другое действительное или мнимое свойство: их друзья и союзники, как было сказано, входят в реквизит этой сцены. Напротив, тем прочнее, тверже и блистательнее должно оставаться то, чего они желают, – хотя и это подчас нуждается в своей комедии и своем спектакле.

31

Торговля и дворянство. – Купля-продажа считается нынче столь же обычным делом, как искусство читать и писать; нынче каждый, даже не будучи купцом, обнаруживает в этом

достаточную смекалку и изо дня в день упражняется в этом навыке, – точно так же, как некогда, в более дикие времена, каждый был охотником и ежедневно упражнялся в искусстве охоты. Тогда охота была обычным занятием, но, подобно тому как она, в конечном счете, стала привилегией могущественных и знатных людей и утратила тем самым характер повседневности и расхожести – оттого именно, что перестала быть необходимой и сделалась предметом каприза и роскоши, – так могло бы однажды статься и с куплей-продажей. Можно вообразить себе такое состояние общества, когда ни что не покупается и не продается, а необходимость в этом навыке постепенно полностью отпадает; тогда, пожалуй, отдельные личности, менее подчиненные закону всеобщего распорядка, позволят себе куплю-продажу как некую роскошь ощущения. Тогда лишь стала бы торговля благородным занятием, и дворяне, возможно, предавались бы ей столь же охотно, как доселе – войнам и политике, в то время как оценка политики, напротив, могла бы совершенно измениться. Уже теперь она перестает быть делом рук дворянина, и не исключено, что в один прекрасный день ее сочтут столь пошлым занятием, что она, подобно всей партийной и злободневной литературе, очутится в рубрике «проституции духа»

32

Нежелательные ученики. – Что мне делать с этими обоими юношами! – воскликнул негодующе один философ, который «развращал» юношество так, как некогда развращал его Сократ, – я вовсе не желал бы себе таких учеников. Этот вот не может сказать «нет», а тот всему говорит «и да, и нет». Если они постигнут мое учение, то первый будет слишком *страдать*, ибо мой образ мыслей требует воинственной души, умения причинять боль, радости отрицания, закаленной кожи – он зачахнет от наружных и внутренних ран. А другой будет каждую занимающую его вещь гримировать под посредственность, превращая ее самое в посредственность, – такого ученика желаю я своему врагу!

33

Вне аудитории. – «Чтобы доказать Вам, что человек, в сущности, принадлежит к покладистым животным, я напомнил бы Вам, сколь легковерным был он в течение столь долгого времени. Только теперь, когда вышли все сроки, и после чудовищного самопреодоления, стал он *недоверчивым* животным – да! человек ныне злее, чем когда-либо». – Я не понимаю этого: с чего бы это человеку быть теперь недоверчивее и злее? – «Потому что теперь он имеет науку – нуждается в ней!»

34

Historia abscondita[1]. – У каждого великого человека есть сила, действующая вспять: ради него вся история наново кладется на весы и тысячи тайн прошлого выползают из ее закоулков – под *его* солнце. Нет никакой возможности предсказать заранее все то, что некогда будет историей. Может быть, само прошлое по сути все еще не открыто! Требуется еще так много действующих вспять сил!

35

Ересь и ведовство. – Мыслить иначе, чем принято, – с этим связано не столько действие более развитого интеллекта, сколько действие сильных, злых склонностей, отторгающих, изолирующих, перечащих, злорадствующих, коварных склонностей. Ересь есть подобие ведовства и, разумеется, в столь же малой степени, как и последнее, нечто безобидное или даже само по себе достойное почитания. Еретики и ведьмы суть два сорта злых людей: общее в них то, что и сами они чувствуют себя злыми, но при этом их неодолимо тянет к тому, чтобы сорвать свою злобу на всем доминирующем (будь то люди или мнения). Реформация – своего рода

---

1 Сокровенная история (*лат.*).

удвоение средневекового духа ко времени, когда он утратил уже чистую совесть, – порождала их в огромном количестве.

36

Последние слова. – Можно будет вспомнить, что император Август, этот страшный человек, который так же владел собою и так же умел молчать, как какой-нибудь мудрый Сократ, проболтался о себе своими последними словами: впервые с него упала маска, когда он дал понять, что носил маску и играл комедию, играл роль отца отечества и самой мудрости на троне, играл хорошо, до полной иллюзии! Plaudite amici, comoedia finita est[1]! – Мысль умирающего Нерона: qualis artifex pereo[2]! – была мыслью и умирающего Августа: тщеславие гистриона! болтливость гистриона! И прямая противоположность умирающему Сократу! – Но Тиберий умирал молча, этот самый измученный из всех самоистязателей, – вот *кто* был *искренним* и решительно не актером! Что могло прийти ему в голову в последний раз! Может быть, это: «Жизнь – это долгая смерть. Я-то, глупец, укоротивший ее столь многим! Был ли я создан стать благодетелем? Мне следовало бы дать им вечную жизнь: тогда бы я мог *видеть* их вечно *умирающими*. Для *этого* ведь дано было мне такое хорошее зрение: qualis spectator pereo![3]» Когда, однако, после долгой борьбы со смертью он, казалось бы, стал вновь приходить в себя, сочли целесообразным придушить его подушками – он умер двойной смертью.

37

Из трех заблуждений. – В последние столетия науке содействовали отчасти потому, что надеялись с нею и через нее как можно лучше постичь божественную благость и муд-

---

1 Рукоплещите, друзья, комедия окончена (*лат.*).

2 Какой артист умирает! (*лат.*) (согласно Светонию, последние слова Нерона).

3 Какой зритель умирает (*лат.*).

рость – основной мотив в душе великих англичан (например, Ньютона), – отчасти потому, что верили в абсолютную полезность познания, главным образом в сокровеннейшую связь морали, знания и счастья – основной мотив в душе великих французов (например, Вольтера), – отчасти же потому, что полагали найти и полюбить в науке нечто бескорыстное, безобидное, самодостаточное, по-настоящему невинное, нечто такое, к чему злые влечения человека не имеют никакого отношения, – основной мотив в душе Спинозы, который в качестве познающего чувствовал себя божественным, – итак, исходя из трех заблуждений!

38

Взрывчатые вещества. – Если учесть, как нуждается во взрывах сила молодых людей, то не подивятся грубости и неразборчивости, с какими они решаются на то или иное дело: что прельщает их, так это не само дело, а видимость азарта, разгорающегося вокруг дела, как бы видимость горящего фитиля. Тонкие соблазнители поэтому знают толк в том, как посулить им взрыв в будущем и воздержаться от мотивировки их дела: приводя мотивы, не перетянуть на свою сторону эти пороховые бочки!

39

Изменившийся вкус. – Изменение общего вкуса важнее, чем изменение мнений; мнения со всеми их доказательствами, возражениями и всем интеллектуальным маскарадом суть лишь симптомы изменившегося вкуса, а вовсе *не* его причины, за которые их все еще так часто принимают. Чем изменяется общий вкус? Тем, что отдельные могущественные, влиятельные люди без чувства стыда произносят и тиранически навязывают *свое hoc est ridiculum, hoc est absurdum*[1], стало быть, суждение своего вкуса и отвращения: тем самым они оказывают давление, из которого постепенно об-

1 Вот это смешно, вот это абсурдно (*лат.*).

разуется поначалу привычка все более многих, а в конечном счете *потребность всех.* А то, что сами эти отдельные личности ощущают и «вкушают» иначе, это коренится по обыкновению в специфике их образа жизни, питания, пищеварения, возможно, в излишке или недостатке неорганических солей в их крови и мозгу, короче, в физисе; они, впрочем, обладают мужеством сознаваться в своем физисе и вслушиваться в тончайшие тона его требований: их эстетические и моральные суждения и суть такие «тончайшие тона» физиса.

40

О нехватке благородной формы. – Солдаты и командиры все еще находятся в гораздо лучших отношениях друг к другу, чем рабочие и работодатели. По крайней мере, всякая основанная на милитаризме культура и поныне стоит выше всех так называемых индустриальных культур: последние в их нынешнем обличье представляют собою вообще пошлейшую форму существования из всех когда-либо бывших. Здесь действует просто закон нужды: хотят жить и вынуждены продавать себя, но презирают того, кто пользуется этой нуждою и *покупает* себе рабочего. Странно, что под гнетом могущественных, внушающих страх, даже ужасных личностей – тиранов и полководцев – порабощение ощущается далеко не столь мучительно, как под гнетом неизвестных и неинтересных личностей, каковыми являются все эти индустриальные магнаты: в работодателе рабочий видит по обыкновению лишь хитрого, сосущего кровь, спекулирующего на всяческой нужде пса в человеческом обличье, чье имя, вид, нравы и репутация ему совершенно безразличны. Фабрикантам и крупным торговым предпринимателям, по-видимому, слишком не хватало до сих пор всех тех форм и отличий *высшей расы,* благодаря которым только и становятся *личности* интересными; обладай они благородством потомственного дворянства во взгляде и осанке, может статься, и вовсе не существовало бы социализма масс. Ибо эти последние, по сути, готовы ко всякого рода *рабству,* при условии, что стоящий над ними постоян-

но удостоверяет себя как высшего, как *рожденного* повелевать, – и делает это благородством своей формы! Самый пошлый человек чувствует, что благородство не импровизируется и что следует чтить в нем долго вызревавший плод, – но отсутствие высшей формы и пресловутая вульгарность фабрикантов с их красными жирными руками наводят его на мысль, что здесь это было только делом случая и удачи – возвышение *одного* над другими: что ж, так решает он про себя, испытаем и *мы* однажды случай и удачу! Бросим и мы однажды игральные кости! – и начинается социализм.

41

Против раскаяния. – Мыслитель видит в своих собственных поступках попытки и вопросы разъяснить себе нечто: удача и неудача для него – прежде всего *ответы.* А сердиться на то, что нечто не удалось, или даже чувствовать раскаяние – это предоставляет он тем, которые делают что-то потому, что им приказано это, и которым приходится ждать порки, если милостивый хозяин будет недоволен результатом.

42

Работа и скука. – Искать себе работы ради заработка – в этом нынче сходны между собой почти все люди цивилизованных стран; для всех них работа – средство, а не сама цель; оттого они обнаруживают столь мало разборчивости в выборе работы, при условии, что она сулит им немалый барыш. Но есть и редкие люди, которые охотнее погибли бы, чем работали бы без *удовольствия* от работы, – те разборчивые люди, которых не заманишь хорошей прибылью, ежели сама работа не есть прибыль всех прибылей. К этой редкой породе людей принадлежат художники и созерцатели всякого рода, но также и те праздные гуляки, которые проводят жизнь в охоте, путешествиях или в любовных похождениях и авантюрах. Все они лишь в той мере ищут работы и нужды, в какой это сопряжено с удовольствием, будь это даже тяжелейший, суровейший труд. Иначе они остаются

решительными лентяями, хотя бы лень эта и сулила им обнищание, бесчестье, опасность для здоровья и жизни. Скуки они страшатся не столь сильно, как работы без удовольствия: им даже нужно изрядно скучать, чтобы лучше выполнять *свою* работу. Мыслителю и всем изобретательным умам скука предстает как то неприятное «безветрие» души, которое предшествует счастливому плаванию и веселым ветрам; он должен вынести ее, должен *переждать* в себе ее действие. – *Это* как раз и есть то, чего никак не могут требовать от себя более убогие натуры! Отгонять от себя скуку любым путем – пошло, столь же пошло, как работать без удовольствия. Азиатов, пожалуй, отличает от европейцев то, что они способны к более длительному, глубокому покою, чем последние; даже их наркотики действуют медленно и требуют терпения, в противоположность отвратительной внезапности европейского яда – алкоголя.

43

Что выдают законы. – Весьма ошибаются, когда изучают уголовные законы какого-нибудь народа так, как если бы они были выражением его характера; законы выдают не то, что есть народ, а то, что кажется ему чуждым, странным, чудовищным, чужеземным. Законы применяются к исключениям в сфере нравственной стороны нравов, и суровейшие наказания касаются того, что сообразно нравам соседнего народа, Так, у ваххабитов есть лишь два смертных греха: почитать иного Бога, чем Бога ваххабитов, и – курить (это называется у них «постыдным видом пьянства»). «А как обстоит дело с убийством и прелюбодеянием?» – удивленно спросил англичанин, узнав об этом. «Э! Бог милосерд и сострадателен!» – ответил старый вождь. – Так и у древних римлян существовало представление, что для женщин может быть лишь два смертных греха: во-первых, прелюбодеяние, во-вторых, винопитие. Старый Катон полагал, что поцелуи между родственниками лишь потому вошли в обычай, чтобы держать женщин в этом пункте под контролем; поцелуй дал бы понять: дотрагивалась ли она до вина? Женщин, уличенных в опьянении, и впрямь наказывали смер-

тью, и, разумеется, не потому лишь, что женщины под воздействием вина иной раз отучаются вообще отказывать; римляне боялись прежде всего оргиастического и дионисического существа, время от времени наведывающегося к женщинам европейского Юга в ту пору, когда вино было еще в Европе в новинку, видя в этом чудовищное преклонение перед иноземщиной, подрывающее основу римского мировосприятия; это было для них равносильно измене Риму, чужеземному вторжению.

44

Мотивы, взятые на веру. – Как бы ни было важно знать мотивы, по которым фактически действовало доныне человечество, для познающего, возможно, чем-то более существенным оказывается *вера* в те или иные мотивы, стало быть, то, что человечество само до сих пор подсовывало и воображало себе как действительный рычаг своих поступков. Внутреннее счастье и горе людей становились для них уделом как раз сообразно их вере в те или иные мотивы, а вовсе *не* через то, что было на деле мотивом! Последнее представляет второстепенный интерес.

45

Эпикур. – Да, я горжусь тем, что иначе ощущаю характер Эпикура, чем, пожалуй, кто-либо, и при всем, что я о нем слышу и читаю, наслаждаюсь послеполуденным счастьем древности, – я вижу, как его взор устремлен на широкое беловатое море, за прибрежные скалы, на которые садится солнце, в то время как большие и маленькие животные играют в его свете, надежно и спокойно, как этот свет и как тот самый взор. Такое счастье мог изобрести лишь долго страдавший человек, счастье взора, перед которым притихло море бытия и который никак не может насытиться его поверхностью и этой пестрой, нежной, трепетной морской шкурой: никогда до этого не бывало такого скромного наслаждения.

46

Наше удивление. – Глубокое и прочное счастье заключается в том, что наука познает вещи, которые *устойчивы* и которые все наново служат основанием для новых знаний: могло бы ведь быть иначе! Да, мы так убеждены в ненадежности и причудливости наших суждений и в вечном изменении всех человеческих законов и понятий, что это и впрямь повергает нас в удивление – *насколько же* устойчивы выводы науки! Прежде не ведали ничего об этой превратности всего человеческого, нравы нравственности[1] поддерживали веру в то, что внутренняя жизнь человека во всей ее полноте вечными скобами прикреплена к железной необходимости; тогда, может статься, ощущали схожее блаженство удивления, внемля сказкам и рассказам о феях. Чудесное было так любо этим людям, которых порой утомляли правила и вечность. Утратить однажды почву под ногами! Воспарить! Блуждать! Сумасбродствовать! – это было раем и сибаритством прежних времен, тогда как наше блаженство сродни блаженству потерпевшего кораблекрушение, который достиг берега и обеими ногами уперся в старую прочную землю, – дивясь тому, что она не колеблется.

47

О подавлении страстей. – Когда длительное время запрещают себе выражение страстей, как то, что под стать «низшим», грубым, бюргерским, мужицким натурам, и, стало быть, хотят подавлять не сами страсти, а лишь их язык и жесты, тогда тем не менее добиваются как раз нежелательного результата – подавления самих страстей, по крайней мере их ослабления и изменения, – поучительнейшим примером чему служит двор Людовика XIV и все, что находилось в зависимости от него. *Следующее* столетие, воспитанное в подавлении выражения страстей, лишилось уже самих страстей, заменив их грациозным, поверхностным, игривым поведением, – поколение, погрязшее в неспособности

---

1 die Sitte der Sittlichkeit.

быть неучтивым, – до такой степени, что даже оскорбление принималось и возвращалось не иначе как с любезными словами. Может быть, наше время являет разительнейший контраст этому – повсюду, в жизни и в театре и не в последнюю очередь во всем, что пишут, вижу я удовольствие от всяческих *грубых* выплесков и ужимок страсти: нынче требуется некое соглашение о том, что считать страстным – только не сама страсть! Тем не менее как раз этим путем *ее* в конце концов и достигнут, и наши потомки будут отличаться *подлинной дикостью*, а не одною лишь дикостью и своенравностью форм.

48

Знание нужды. – Быть может, ничто так не разъединяет людей и времена, как различная степень знания нужды, испытываемой ими, – нужды как душевной, так и телесной. По отношению к последней мы, нынешние люди, пожалуй, все без исключения, вопреки нашим недугам и недомоганиям, из недостатка в личном опыте, халтурщики и фантазеры одновременно – по сравнению с тем периодом страха – длительнейшим из всех периодов, – когда отдельный человек должен был сам защищать себя от насилия и ради этого сам быть насильником. Тогда мужчина проходил большую школу телесных мук и лишений и даже в известной суровости к самому себе, в добровольной выучке страданиям черпал необходимое средство самосохранения; тогда воспитывали свое окружение переносить боль, тогда охотно причиняли боль и наблюдали на других ужаснейшие ее реакции, не испытывая другого чувства, кроме чувства собственной безопасности. Что же касается душевной нужды, то я рассматриваю нынче каждого человека в зависимости от того, знает ли он ее по опыту или по описанию, считает ли он все еще необходимым симулировать это знание как своего рода признак более утонченного развития, или в глубине души он и вовсе не верит в большие душевные страдания, так что при упоминании о них ему мерещится нечто схожее с сильными телесными болями, скажем зубными или желудочными. Таковым видится мне теперь положение большинства. Из

всеобщей неискушенности в этой двоякой боли и непривычности вида страждущего человека вытекает одно важное следствие: нынешние люди ненавидят боль в гораздо большей степени, чем прежние, и злословят о ней сильнее, чем когда-либо; даже *саму мысль* о боли находят уже едва выносимой и делают отсюда вопрос совести и *упрек* всему существованию. Появление пессимистических философий отнюдь не является признаком великих страшных бедствий; эти вопросительные знаки о ценности всякой жизни ставятся, скорее, в те времена, когда существование утончается и облегчается до такой степени, что даже неизбежные комариные укусы, выпадающие на долю души и тела, считаются слишком кровавыми и злостными, и на фоне скудного опыта по части действительных страданий уже *томительное общее представление* о них с легкостью предстает страданием высшего рода. – Против пессимистических философий и гипертрофированной сверхчувствительности, которая кажется мне сущим «бедствием современности», есть один рецепт, – но, возможно, рецепт этот прозвучит слишком жестоко и сам будет причислен к признакам, на основании которых изрекают нынче суждение: «Существование есть зло». Что ж! Рецепт против «нужды» гласит: *нужда.*

49

Великодушие и все, что сродни ему. – Парадоксальные явления, как, скажем, внезапная холодность в поведении добряка, как юмор меланхолика, как – прежде всего – *великодушие* в форме внезапного отказа от мести, либо подавления зависти, наблюдаются у людей, которым свойственна мощная внутренняя сила расточительства, у людей внезапного пресыщения и внезапного отвращения. Их удовлетворение наступает столь быстро и столь сильно, что за ним тотчас же следует по пятам оскомина, отвращение и контрастная смена вкуса; в этой контрастности срабатывает судорога ощущения: у одного – через внезапную холодность, у другого – через смех, у третьего – через слезы и самоотверженность. Великодушный – по крайней мере, тот тип великодушного, который всегда производил наибольшее впечатление, – ви-

дится мне человеком с крайне выраженной жаждой мести, чье утоление не терпит отсрочки и осуществляется *уже в представлении* столь полно, основательно и до последней капли, что вслед за этим быстрым разгулом чудовищно быстро наступает отвращение, – теперь, как говорится, он возвышается «над собою» и прощает своему врагу, даже благословляет и чтит его, Но этим насилием над самим собой, этим издевательством над своим только что столь могучим чувством мести он лишь уступает новому влечению, уже овладевшему им (отвращению), и делает это так же нетерпеливо и необузданно, как незадолго до этого *предвосхищал* и как бы исчерпывал своей фантазией радость мести. В великодушии столько же эгоизма, сколько и в мести, только этот эгоизм другого качества.

50

Аргумент изоляции. – Упреки совести и у самого совестливого человека слабы по сравнению с чувством: «вот это и вон то противно хорошему тону *твоего* общества». Даже сильнейший все еще *боится* холодного взгляда, искривленного гримасой рта тех, среди которых и для которых он воспитан. Чего же тут, собственно, бояться? Одиночества! – этого аргумента, перед которым отступают даже наилучшие аргументы в пользу какой-нибудь личности или дела! – Так вещает в нас стадный инстинкт.

51

Чувство истины. – Мне по душе всякий скепсис, на который мне дозволено ответить: «попробуем это!» Но я не могу уже ничего слышать о всех вещах и вопросах, не допускающих эксперимента. Такова граница моего «чувства истины»: ибо там храбрость утрачивает свои права.

52

Что знают о нас другие. – То, что мы знаем и помним о самих себе, не столь существенно для счастья нашей жизни, как это полагают. В один прекрасный день разражается над нами то, что *другие* знают (или думают, что знают) о нас, – и тогда мы постигаем, что это гораздо сильнее. Легче справиться со своей нечистой совестью, нежели со своей нечистой репутацией.

53

Где начинается добро. – Там, где слабое зрение не способно уже разглядеть злое влечение, как таковое, из-за его рафинированности, человек полагает царство добра, и ощущение того, что отныне он пребывает в царстве добра, приводит все его влечения, до этого спугиваемые и ограничиваемые злым влечением, в возбуждение, которое переживается как чувство уверенности, удовольствия, благосклонности. Итак: чем тупее глаз, тем шире простирается добро! Отсюда вечная веселость народа и детей! Отсюда угрюмость и родственная нечистой совести тоска великих мыслителей!

54

Сознание видимости. – Как чудесно и неискушенно и в то же время как ужасно и иронично чувствую я себя со своим познанием по отношению ко всей полноте бытия! Я *открыл* для себя, что прежний человеческий и животный мир, да и вообще глубочайшая древность и прошлое всего ощутимого бытия продолжает во мне творить, любить, ненавидеть, завершать, – я внезапно пробудился среди этого сна, но пробудился лишь к сознанию. Что я именно сновижу и *должен* впредь сновидеть, дабы не сгинуть, подобно тому как должен пребывать во сне лунатик, дабы не сорваться. Чем же является для меня теперь «видимость»! Поистине не противоположностью какой-то сущности – разве же могу я высказать о какой-либо сущности нечно иное, кроме

самих предикатов ее видимости! Поистине не мертвой маской, которую можно было бы напялить на какой-то неизвестный икс, но и вполне содрать с него! Видимость для меня – это самое действующее и живущее, которое заходит столь далеко в своем самоосмеянии, что дает мне почувствовать, что здесь все есть видимость и блуждающий огонек и танец призраков и ничего больше, – что между всеми этими сновидцами и я, «познающий», танцую свой танец; что познающий – это только средство продлить земной танец и лишь постольку принадлежит к церемонимейстерам бытия и что возвышенная последовательность и взаимосвязь всяческого познания есть и будет, пожалуй, высочайшим средством обеспечить общность грез и взаимопонимания всех этих сновидцев и тем самым *длительность сновидения.*

55

Последнее благородство. – Что же делает «благородным»? Конечно, не то, что приносят жертвы: и буйный сладострастник приносит жертвы. Конечно, не то, что вообще предаются страстям: есть и постыдные страсти. Конечно, не то, что бескорыстно делают что-то другим: быть может, как раз в благороднейшем и явлена величайшая последовательность своекорыстия. – Но то, что страсть, охватывающая благородного, есть некая особенность, неведомая ему самому, – применение редкого и единичного масштаба, почти умопомешательство – чувство жара в вещах, предстающих всем другим холодными на ощупь, – разгадка ценностей, для которых еще не изобретено весов, – жертвоприношение на алтари, посвященные неведомому Богу, – храбрость без взыскания почестей – самоудовлетворенность, льющаяся через край и сообщающаяся людям и вещам. Словом, редкое качество и пребывание в неведении относительно этой редкости – вот что до сих пор делало благородным. Но пусть при этом примут во внимание, что таким путем были несправедливо оценены и в целом оклеветаны в пользу исключений все обычные, наиболее свойственные человеку и необходимые качества, короче, все содействующее сохранению рода и вообще всякое *правило.* Стать за-

щитником правила – вот что, пожалуй, могло бы быть последней формой и нюансом, в которой проявится на земле благородство.

56

Жажда страданий. – Когда я думаю о страстном желании что-либо предпринять, постоянно щекочущем и дразнящем миллионы юных европейцев, которые не могут выносить скуки и самих себя, я понимаю, что им должно быть присуще желание как-то пострадать, чтобы почерпнуть из этого страдания некое правдоподобное основание для поступков и действий. Нужна нужда! Отсюда крики политиков, отсюда все эти ложные, присочиненные, преувеличенные «бедствия» всевозможных классов и слепая готовность верить в них. Эта молодежь жаждет, чтобы *извне* нагрянуло или предстало взору – не счастье, нет, – а само несчастье, и ее фантазия уже наперед суетится в попытках создать из этого некое чудовище, с тем чтобы после было чудовище, с которым нужно бороться. Если бы эти нуждолюбцы чувствовали в себе силу изнутри приносить самим себе пользу, изнутри причинять самим себе зло, они сумели бы также изнутри сотворить себе собственную, самособственную нужду. Их открытия смогли бы тогда быть более утонченными, а их удовлетворение звучало бы как хорошая музыка, тогда как нынче они загружают мир своими криками о нужде и, стало быть, весьма часто уже и *чувством нужды*! Они не в силах ничего поделать с собой, – и вот они накликают несчастье на других: им всегда нужны другие! И всегда все новые другие! – Виноват, друзья мои, я рискнул накликать на себя *счастье*.

Вторая книга

57

Реалистам. – Вы, трезвые люди, чувствующие себя вооруженными против страстей и фантазерства и охотно старающиеся выдать свою пустоту за гордость и украшение, – вы называете себя реалистами и даете понять, что мир в действительности сотворен так, каким он предстает вам, – что лишь перед вами предстает действительность разоблаченной и что сами вы, пожалуй, составляете лучшую ее часть – о вы, возлюбленные Саисские изваяния! Но даже в самом разоблаченном состоянии не предстаете ли и сами вы все еще в высшей степени страстными и темными существами, сродни рыбам, и не слишком ли схожи вы все еще с влюбленным художником? – а что для влюбленного художника «действительность»! Вы все еще носитесь с оценками вещей, убегающих корнями в страсти и влюбленности прошедших столетий! Все еще прохвачена ваша трезвость сокровенным и неискоренимым опьянением! Ваша любовь к «действительности», например, – о, до чего же это старая-престарая «любовь»! В каждом ощущении, в каждом чувственном впечатлении явлен обломок этой старой любви, и равным образом сюда вплетены фантастика, предрассудки, неразумие, неведение, страх и мало ли что еще. Вот эта гора! Вон то облако! Что в них «действительного»? Стряхните-ка однажды с них иллюзию и всю человеческую *примесь*, вы, трезвые! Да если бы только вы смогли *это*! Если бы вам удалось забыть ваше происхождение, ваше прошлое, ваше детство – всю вашу человечность и животность! Для нас не существует никакой «действительности» – да и для вас тоже, вы, трезвые, – мы далеко не так чужды друг другу, как вы думаете, и, возможно, наша добрая воля выйти из опьянения в такой же степени заслуживает внимания, как и ваша вера в то, что вы вообще *неспособны* на опьянение.

58

Только как творящие. – Это стоило мне величайших усилий и все еще стоит мне величайших усилий – осознать, что несказанно большее содержание заключается в том, *как называются вещи,* чем в самих вещах. Репутация, имя и внешний облик, значимость, расхожая мера и вес какой-либо вещи – поначалу чаще всего нечто ложное и произвольное, наброшенное на вещь, как платье, и совершенно чуждое ее сущности и даже ее коже, – постепенно как бы прирастают к вещи и врастают в нее вследствие веры в них и их дальнейшего роста от поколения к поколению: первоначальная иллюзия почти всегда становится, в конечном счете, сущностью и *действует* как сущность! Каким бы глупцом был тот, кто возомнил бы, что достаточно указать на это происхождение и туманный покров этой химеры, чтобы *уничтожить* считающийся реальным мир, так называемую «*действительность*»! Лишь в качестве творящих можем мы уничтожать! – Но не забудем и того, что достаточно сотворить новые имена, оценки и вероятности, чтобы на долгое время сотворить новые «вещи».

59

Мы, художники! – Когда мы любим женщину, мы с легкостью проникаемся ненавистью к природе, вспоминая о всех отвратительных естественностях, которым подвержена каждая женщина; мы охотно обошли бы это вниманием, но, раз соприкоснувшись с этим, душа наша нетерпеливо вздрагивает и с презрением, как было сказано, взирает на природу: мы оскорблены, природа кажется нам вторгшейся в наши владения и осквернившей их неосвященными руками. Тогда затыкают уши от всякой физиологии и втайне решают про себя: «я не желаю ничего слышать о том, что человек состоит из чего-либо еще, кроме *души и формы!*» «Подкожный человек» для всех любящих – ужас и немыслимость, хула на Бога и любовь. – Ну так вот, то же самое, что ощущает нынче любящий по отношению к природе и естественности, некогда ощущал всякий почитатель Бога

и его «святого всемогущества»: во всем, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, видел он вмешательство в свое драгоценнейшее достояние и, стало быть, посягательство – и вдобавок к тому еще и бесстыдство посягателя! «Закон природы» – уже одно это выражение звучало для него богохульством; в сущности, ему очень хотелось бы видеть всякую механику сведенною к актам нравственной воли и произвола, – но, поскольку ни кто не мог оказать ему этой услуги, он по возможности сам *утаивал* от себя природу и механику и проводил жизнь в грезах. О, эти люди прошлого умели *грезить*, и для этого им даже не требовалось засыпать! – но и мы, люди настоящего, все еще слишком хорошо умеем это делать, при всей нашей доброй воле к бодрствованию и дневному свету! Достаточно лишь полюбить, возненавидеть, возжелать, вообще ощутить – на нас *тотчас* же нисходит дух и сила сна, и мы, с открытыми глазами и пренебрегая всяческой опасностью, взбираемся на самые рискованные стези, на крыши и башни бреда, без малейшего головокружения, словно бы рожденные лазать по высотам, – мы, лунатики дня! Мы, художники! Мы, утайщики естественности! Мы, сомнамбулы и богоманы! Мы, смертельно спокойные, безустанные странники по высотам, которые и видятся нам не высотами, а нашими равнинами, нашими уверенностями.

60

Женщины и их действие на расстоянии. – Есть ли у меня еще уши? Превратился ли я в слух и ни во что больше? Здесь стою я среди пожара морского прибоя, чье белое пламя лижет мои ноги, – со всех сторон доносятся до меня вой, угрозы, крики, пронзительные звуки, а тем временем в глубине глубин старый потрясатель земли тупо, словно ревущий бык, поет свою арию; он при этом отбивает ногами такой землетрясительный такт, что даже у этих обветренных скалистых чудищ трепещет сердце в груди. И тут, внезапно, словно из ничего, перед самими воротами этого адского лабиринта, всего в нескольких саженях от них, появляется – большое парусное судно, скользящее сюда, мол-

ча, как привидение. О, эта призрачная красота! Какими чарами охватывает она меня! Как? Неужели судно это загружено всем покоем и безмолвием мира? Неужели и само мое счастье занимает здесь свое тихое место, мое более счастливое *Я*, моя вторая увековечившаяся самость? Еще не мертвая, но и уже не живущая? Словно призрачное, тихое, созерцательное, скользящее, парящее полусущество? Подобное судну, порхающему своими белыми парусами по темному морю, как огромная бабочка! Да! Порхать *по* бытию! Именно так! В этом суть! – Кажется, этот шум сделал меня мечтателем? Всякий большой шум заставляет нас полагать счастьем тишину и даль. Когда мужчина стоит среди *своего* шума, среди прибоя своих бросков и набросков, тогда-то и видит он, как скользят мимо него тихие очаровательные существа, счастье и замкнутость которых исполняют его тоски, – *это женщины*. Он готов уже думать, что там, в женщинах, и живет лучший он сам, что в этих тихих уголках смолкает и самый шумный прибой и жизнь сама становится сном о жизни. И все же! И все же! Мой благородный мечтатель, даже на прекраснейшем паруснике бывает так много шума и галдежа, и, к сожалению, так много мелочного и жалкого галдежа! Волшебство и могущественнейшее воздействие женщин есть, говоря языком философов, действие на расстоянии, actio in distans: но для этого нужна сперва и прежде всего – *дистанция*!

61

К чести дружбы. – Что чувство дружбы считалось в древности самым высоким чувством, более высоким даже, чем прославленнейшая гордость самодостаточных и мудрых, и даже как бы единственным и более священным сородичем ее, – очень хорошо выражено в рассказе о том македонском царе, который подарил одному афинскому философу-мироненавистнику талант и получил от него свой подарок обратно. «Как, – воскликнул царь, – разве у него нет друга?» Он хотел этим сказать: «я уважаю эту гордость мудреца и независимого человека, но я еще выше уважал бы его человечность, если бы друг в нем одержал победу над гордо-

стью. Философ унизился передо мной, показав, что из двух самых высоких чувств он не ведает одного – и как раз более высокого!»

62

Любовь. – Любовь прощает любимому даже его вожделение.

63

Женщина в музыке. – Как это случается, что теплые дождливые ветры приносят с собою музыкальное настроение и радость сочинять мелодии? Разве это не те самые ветры, которые врываются в церкви и навевают женщинам любовные мысли?

64

Скептики. – Боюсь, что состарившиеся женщины в сокровеннейшем тайнике своего сердца скептичнее всех мужчин: они верят в поверхностность бытия как в его сущность, и всякая добродетель и глубина для них лишь покров этой «истины», весьма желательный покров некоего pudendum[1], – стало быть, вопрос приличия и стыда, не больше!

65

Преданность. – Есть благородные женщины с известной нищетою духа, которые, тщась *выразить* свою глубочайшую преданность, не умеют найти иного выхода из затруднительного положения, как предложить свою добродетель и стыд – высшее, что у них имеется. И часто подарок этот принимается, вовсе не обязывая ни к чему такому, что предполагают дарительницы, – очень печальная история!

---

1 Стыд (*лат.*).

66

Сила слабых. – Все женщины умеют очень тонко преувеличивать свои слабости, они даже изобретают себе слабости, чтобы выглядеть совершенно хрупкими украшениями, которым в тягость и пылинка: само их существование должно служить мужчине укором и напоминанием о его неотесанности. Так защищаются они против сильных и всякого «кулачного права».

67

Прикидываться самой собою. – Теперь она любит его и смотрит с тех пор на мир с таким спокойным доверием, точно корова, но увы! тем и очаровывала она его, что казалась сплошь изменчивой и непонятной! В нем же было чересчур много постоянной погоды! Не следовало бы ей прикинуться прежней, в прежнем своем характере? Притвориться нелюбящей? Не это ли ей советует – любовь? Vivat comoedia!

68

Воля и уступчивость. – Как-то привели к мудрецу одного юношу и сказали: «Смотри, вот один из тех, кого испортили женщины!» Мудрец покачал головой и улыбнулся. «Это мужчины, – воскликнул он, – портят женщин, и все, в чем грешат женщины, должно искупляться и улучшаться в мужчинах, ибо мужчина сотворяет себе образ женщины, а женщина создается по этому образу». – «Ты слишком снисходителен к женщинам, – сказал кто-то из стоявших рядом, – ты их не знаешь!» Мудрец ответил: «Свойство мужчины – воля, свойство женщины – уступчивость: таков закон полов, поистине суровый закон для женщины! Все люди не виноваты в том, что они таковы, а женщины и вдвойне не виноваты: у кого хватило бы на них бальзама и милосердия!» – «Как бальзама! Как милосердия! – вскричал кто-то еще из толпы. – Женщин надо лучше воспитывать!» – «Воспитывать лучше надо

мужчин», – ответил мудрец и кивнул юноше, чтобы тот последовал за ним. – Но юноше за ним не последовал.

69

Способность к мести. – Что кто-нибудь не может и, следовательно, не хочет защищаться, это, в наших глазах, вовсе еще не позорит его; но мы слишком низко ценим того, кто лишен как способности, так и готовности к мести, – безразлично, мужчина это или женщина. Разве смогла бы удержать нас (или, как говорят, «привязать») женщина, которую мы не считаем способной при случае пустить в ход кинжал (какой-нибудь вид кинжала) *против нас?* – или против себя: что в определенном случае было бы более ощутимой местью (китайской местью).

70

Госпожи господ. – Это глубокое могучее контральто, слышимое временами в театре, приподымает внезапно перед нами занавес возможностей, в каковые мы по обыкновению не верим: и вот мы сразу верим в то, что где-то в мире могут существовать женщины с высокими, героическими, царственными душами, способные и готовые к грандиозным противостояниям, решениям и жертвам, способные и готовые к господству над мужчинами, ибо в них лучшее, что есть в мужчине, поверх всякого там пола, стало воплощенным идеалом. Правда, в намерения театра отнюдь *не* входило, чтобы эти голоса давали именно такое представление о женщине: им приходится обычно изображать идеального любовника, например какого-нибудь Ромео; но, судя по моему опыту, театр и композитор, ожидающий от такого голоса подобных эффектов, как правило, просчитываются. В *этих* любовников не верят: в таких голосах по-прежнему звучит колорит матери и хозяйки дома, и больше всего тогда именно, когда в них слышна *любовь.*

71

О женском целомудрии. – Есть нечто совершенно удивительное и невероятное в воспитании благородных женщин, возможно даже, что не существует ничего более парадоксального. Все как сговорились воспитывать их по возможности в полном неведении in eroticis и внушать им глубокий стыд перед этими вещами, оборачивающийся крайним нетерпением и бегством при малейшем намеке на них. Вся «честь» женщины, в сущности, поставлена *здесь* на карту: чего только не простили бы им во всем прочем! Но здесь должны они всем существом пребывать в неведении: для этого их «зла» у них должны отсутствовать глаза и уши, слова и мысли – уже одно знание оказывается тут злом. И что же! Словно ужасным громовым ударом выбрасываются они в действительность и знание, вступая в брак, – и притом благодаря тем, кого они больше всего любят и кем больше всего дорожат: уличить в противоречии любовь и срам, ощутить воедино восхищение, уступку, долг, сострадание и ужас от неожиданного соседства Бога со зверем, и что еще! – тут действительно завязали себе такой душевный узел, равного которому не сыщешь! Даже сострадательное любопытство мудрейшего знатока людей окажется бессильным угадать, как удается той или иной женщине обрести себя в этом решении загадки и в этой загадке решения и какие ужасные, далеко простирающиеся подозрения должны при этом шевелиться в бедной, вышедшей из пазов душе, как наконец, именно в этом пункте бросает якорь последняя философия и скепсис женщины! – После этого – глубокое молчание, как и до этого: и часто молчание перед собою, закрывание глаз на себя. – Оттого молодые женщины весьма стараются выглядеть поверхностными и рассеянными; наиболее утонченные среди них напускают на себя некоего рода нахальство. – Женщины с легкостью воспринимают своих мужей как вопросительный знак своей чести, а своих детей как апологию или искупление – они нуждаются в детях и желают их себе в совершенно ином смысле, чем желает себе детей мужчина. – Короче, к женщинам нельзя быть достаточно снисходительным!

72

Матери. – Звери думают о самках иначе, чем мужчины; самка ценится ими как продуктивное вещество. Отцовской любви у них нет, но что-то вроде любви к детенышам своей возлюбленной и привычки к ним присуще им. Самки же получают в детях удовлетворение своего властолюбия, некую собственность, некое занятие, нечто вполне им понятное, с чем можно дать волю языку: все это вместе и составляет материнскую любовь – позволительно сравнить ее с любовью художника к своему произведению. Беременность сделала женщин более мягкими, более терпеливыми, более пугливыми, более смиренными; равным образом и духовная беременность формирует характер созерцательной натуры, который сродни женскому: это матери-самцы. – У животных прекрасным считается мужской пол.

73

Священная жестокость. – К одному святому подошел человек с новорожденным младенцем на руках. «Что делать мне с этим ребенком? – спросил он. – Он жалок, уродлив и недостаточно живой, чтобы умереть». «Убей его, – вскричал святой ужасным голосом, – убей его и держи его затем три дня и три ночи на руках, чтобы сохранить себе об этом память: тогда ты уже не родишь ребенка, покуда не придет и твое время рожать». – Услышав это, человек ушел разочарованный, и многие осуждали святого за жестокий совет убить младенца. «А разве не более жестоко оставить его в живых?» – сказал святой.

74

Неудачницы. – Никогда не везет бедным женщинам, которые в присутствии того, кого они любят, становятся неспокойными и неуверенными и слишком много говорят: ибо мужчины надежнее всего клюют на несколько таинственную и флегматичную нежность.

75

Третий пол. – «Маленький мужчина – это парадокс, но все-таки мужчина, – а вот маленькие женушки, в сравнении с высокими женщинами, кажутся мне принадлежащими к какому-то другому полу», – сказал один старый танцмейстер. Маленькая женщина никогда не бывает красива – сказал старина Аристотель.

76

Величайшая опасность. – Если бы во все времена не преобладали люди, считающие дисциплину ума – свою «разумность» – своей гордостью, обязанностью, добродетелью, которых, в качестве друзей «здравого смысла», не оскорбляло бы и не заставляло стыдиться всякое фантазирование и распутство мысли, то человечество давным-давно погибло бы! Над ним всегда витала и продолжает витать, как величайшая для него опасность, угроза вспышки *помешательства*, то есть как раз произвола в чувствовании, зрении и слухе, смакование умственной невоспитанности, радость безрассудства. Не истина и достоверность оказываются антиподом мира помешанных, но общность и общеобязательность какой-либо веры, короче, отсутствие своеволия в суждениях. И величайшей работой людей было до сих пор достичь единодушия во взгляде на множество вещей и наложить на себя узы *закона этого единодушия* – все равно, истинны эти вещи или ложны. Эта дисциплина ума и сохранила человечество, – но противоположные влечения все еще столь могущественны, что будущее рода человеческого, по существу, внушает мало доверия. Образ вещей все еще движется и расплывается, и, может быть, нынче больше и быстрее, чем когда-либо; как раз изысканнейшие умы противятся все еще этой общеобязательности – прежде всего исследователи *истины*! Вера, понятая как единоверие, все еще вызывает отвращение и новое сладострастие в более утонченных головах, и уже медленный темп, предписываемый ею всем духовным процессам, это подражание черепахе, признанное здесь за норму, делает художников и по-

этов перебежчиками – в этих-то нетерпеливых умах и разражается форменная тяга к помешательству, ибо помешательству свойствен такой веселый темп! Итак, требуются добродетельные интеллекты – ах! я хочу употребить самое недвусмысленное слово – требуется *добродетельная глупость*, требуется незыблемый метроном *медленного* ума, дабы приверженцы великой совокупной веры пребывали совместно и продолжали танцевать свой танец: этого властно требует самая первостепенная нужда. Мы, *прочие, суть исключение и опасность* – мы вечно нуждаемся в защите! – Что ж, и в пользу исключения можно сказать кое-что, *при условии, что оно никогда не хочет стать правилом*.

77

Животное с чистой совестью. – Пошлое во всем том, что нравится на юге Европы – будь это итальянская опера (например, Россини и Беллини) или испанский приключенческий роман (наиболее доступный нам во французском пересказе «Жиль Блаза»), – не ускользает от меня, но и не оскорбляет меня равным образом как и пошлость, с которою встречаешься, прогуливаясь по Помпее и даже, по сути, читая всякую античную книгу: отчего это происходит? Оттого ли, что здесь отсутствует стыд и все пошлое выступает столь же надежно и самоуверенно, как нечто благородное, прелестное и исполненное страсти в аналогичного рода музыке или романе? «Животное, как и человек, имеет свои права; пусть же оно бегает себе на воле, а ты, милый мой сородич, тоже еще животное, несмотря ни на что!» – таковой представляется мне практическая мораль и своеобразие южной человечности. Дурной вкус обладает своими правами, как и хороший, и даже некоторым преимуществом перед ним, в случае если он имеет больший спрос, гарантирует удовлетворение и пользуется как бы общим языком и безусловно понятными личинами и жестами; напротив, хороший, изысканный вкус всегда заключает в себе нечто ищущее, рискованное, нечто не вполне уверенное в своей понятности – он никогда не был и не может быть народным! Народною была и остается *маска!* Так пусть же резвится

себе весь этот маскарад в мелодиях и каденциях, в прыжках и забавах ритма этих опер! Совсем как в античной жизни! Разве понимают что-либо в ней, если не понимают наслаждения маской, чистой совести всего маскарадного! Здесь омовение и отдохновение античного духа – и, может статься, редким и возвышенным натурам древнего мира омовение это было необходимее, чем пошлым. – Напротив, какой-нибудь пошлый оборот в северных произведениях, скажем в немецкой музыке, оскорбляет меня несказанно. Здесь *стыд* всегда тут как тут; художник опускался ниже себя и не мог не краснеть при этом: мы стыдимся вместе с ним и чувствуем себя столь оскорбленными, так как догадываемся, что он счел необходимым опуститься ради нас.

78

За что мы должны быть благодарны. – Только художники, и в особенности художники сцены, привили людям зрение и слух, позволяющие им с некоторым удовольствием слышать и видеть, что каждый сам представляет из себя, сам переживает, сам хочет; только *они* научили нас ценить героя, скрытого в каждом из обыденных людей, и искусству – издали и как бы упрощенно и просветленно взирать на самого себя, как на героя, – искусству «инсценировать себя» перед собой. Лишь таким путем одолеваем мы некоторые присущие нам низменные детали! Без этого искусства мы были бы не чем иным, как передним планом, и жили бы полностью во власти той оптики, благодаря которой ближайшее и пошлейшее выглядит чудовищно укрупненным и как бы самой действительностью. – Быть может, аналогичная заслуга принадлежит и той религии, которая велела рассматривать греховность каждого отдельного человека через увеличительное стекло и превращала грешника в великого бессмертного преступника: расписывая человеку вечные перспективы, она учила его видеть себя издали и как нечто минувшее и целое.

79

Прелесть несовершенства. – Я вижу здесь поэта, который, подобно иным людям, больше привлекает своими несовершенствами, чем всем тем, что выходит из его рук в законченном и совершенном виде, – да, эта его неспособность сулит ему гораздо большую выгоду и славу, чем полнота его сил. Его произведения никогда не высказывают полностью того, что ему, собственно, хотелось бы высказать, что ему *хотелось бы увидеть* – так, словно у него всегда было предвкушение этого видения и никогда – самого видения: но в душе его осталась необыкновенная тяга к этому видению, и из нее черпает он свое столь же необыкновенное красноречие вожделения и волчьего аппетита. Ею возносит он своего слушателя над собственным творением и всеми «творениями» и дает ему крылья взлететь на такую высоту, куда еще никогда не взлетали слушатели: и вот, сами ставши поэтами и визионерами, платят они дань удивления виновнику их счастья, словно бы он непосредственно привел их к лицезрению своей святыни и последней тайны, словно бы он достиг своей цели и действительно *узрел* свое видение и сообщил его другим. Его слава выгадывает от того, что он, собственно говоря, не достигает цели.

80

Искусство и природа. – Греки (или, по крайней мере, афиняне) были небезразличны к красноречию – они даже испытывали к этому ненасытное влечение, которое больше, чем что-либо другое, отличает их от не-греков. Посему даже от сценической страсти требовали они красноречивости и охотно сносили неестественность драматических стихов – ведь в природе страсть столь скупа на слова! столь нема и стеснена! А когда она находит слова, то выглядит, к стыду своему, столь путаной и безрассудной! И вот все мы, благодаря грекам, привыкли к этой неестественности на сцене, как выносим мы, и выносим охотно, благодаря итальянцам, ту другую неестественность – *поющую* страсть. – Это стало нашей потребностью, которую мы не можем удовлет-

ворить через действительность, – слушать, как складно и обстоятельно говорят люди в труднейших положениях; нас восхищает теперь, когда трагический герой находит еще слова, доводы, красноречивые жесты и в целом ясность ума там, где жизнь приближается к бездне и где действительный человек чаще всего теряет голову и уж во всяком случае красноречие. Этот род *отклонения от природы* является, быть может, приятнейшим лакомством для гордости человека; из-за него-то и любит он вообще искусство, как выражение высокой, героической неестественности и условности. Драматического поэта справедливо осыпают упреками, если он не все претворяет в разум и слово, но всегда удерживает при себе какой-то остаток *молчания:* равным образом испытывают неудовлетворенность и оперным композитором, который способен подобрать для высшего аффекта не мелодию, а всего лишь эмоциональное «естественное» бормотание и выкрикивание. Здесь *следует* как раз противоречить природе! Здесь как раз пошлая привлекательность иллюзии *должна* уступить более высокой привлекательности! Греки зашли по этому пути далеко – до ужаса далеко! Подобно тому, как они в максимальной степени суживали сцену и запрещали себе всякое воздействие глубиною заднего плана, подобно тому, как они лишали актера возможности мимики и свободных движений и превращали его в торжественное, накрахмаленное, маскарадное чучело, так и у самой страсти отнимали они глубину заднего фона и предписывали ей закон изящного слова; они вообще делали все, чтобы противодействовать элементарному воздействию образов, возбуждающих страх и сострадание: *они как раз не хотели страха и сострадания* – честь и слава Аристотелю! но он, несомненно, не попал в бровь, не говоря уже о глазе, когда говорил о последней цели греческой трагедии! Пусть же рассмотрят греческих трагиков в том, *чем* главным образом возбуждалось их прилежание, их изобретательность, их соперничество – наверняка уж не намерением потрясать зрителей аффектами! Афинянин шел в театр *слушать изящные речи*! И для Софокла вся суть была в изящных речах! – да простится мне эта ересь! – Совсем иначе обстоит с *серьезной оперой:* все ее мастера хлопочут о том, чтобы придать своим действующим лицам большую непо-

нятность. «Случайно подобранное слово может прийти на помощь невнимательному слушателю; в целом же ситуация должна сама объяснять себя – *речи* сами по себе пусты!» – Так думают все они, и так все они валяют дурака со словами. Быть может, им недоставало лишь мужества полностью выразить свое последнее презрение к слову: еще чуточку нахальства у Россини, и он оставил бы для пения сплошное ля-ля-ля-ля, – и это было бы разумно! Оперным персонажам не следовало бы верить «на слово», с них вполне достаточно и тона! Вот то самое различие, та прекрасная *неестественность*, ради которой ходят в оперу! Даже recitativo secco не хочет, собственно говоря, быть выслушанным как слово и текст: этот род полумузыки должен, скорее, служить музыкальному уху маленькой передышкой (передышкой от *мелодии*, как самой утонченной, а стало быть, и самой утомительной услады этого искусства), – но очень скоро и чем-то другим, именно: возрастающим нетерпением, возрастающим сопротивлением, новым вожделением к *полной* музыке, к мелодии. – Как обстоит с этой точки зрения с искусством Рихарда Вагнера? Может быть, как-то иначе? Часто мне вот-вот казалось, что слова и музыку его творений следовало бы выучивать наизусть до исполнения: ибо без этого – так казалось мне – не будут *услышаны* ни слова, ни сама музыка.

81

Греческий вкус. – «Что же здесь прекрасного? – сказал тот землемер после представления «Ифигении». – Этим ничего не доказывается!» Были ли греки так уж далеки от этого вкуса? У Софокла, по крайней мере, «все доказывается».

82

L'esprit как нечто негреческое. – Греки во всем своем мышлении неописуемо логичны и просты; никогда, по крайней мере за все долгое время их процветания, они не пресыщались этим, что частенько случается с французами, которые весьма охотно делают маленькие прыжки в противоположную

сторону и, собственно, лишь в том случае ладят с духом логики, когда он множеством таких маленьких обратных прыжков выказывает свою *светскую* учтивость, свое светское самоотрицание. Логика представляется им необходимою, как хлеб и вода, но в то же время, подобно последним, оказывается для них некоторого рода тюремной пищей, когда смакуется в чистом и черством виде. В хорошем обществе никогда не следует выставлять себя полностью и единственно правым, как этого требует всякая чистая логика: отсюда маленькая доза неразумия во всяком французском esprit. – Чувство общительности у греков было гораздо менее развито, чем у французов теперь и когда-либо: отсюда так мало esprit у их остроумнейших людей, отсюда так мало остроумия даже у их острословов, отсюда – ах! уже и этим моим словам не поверят, а сколько еще подобных слов у меня на душе! – Est res magna tacere[1] – говорит Марциал вместе со всеми болтливыми.

83

Переводы. – Можно оценивать степень исторического чувства, которым обладает данная эпоха, по тому, как в эту эпоху делаются *переводы* и усваивается дух минувших эпох и книг. Французы времен Корнеля и даже еще времен Революции овладевали римской древностью способом, на который нам уже не хватило бы мужества – благодаря нашему более высокому историческому чувству. А сама римская древность: сколь властно и в то же время наивно накладывала она свою руку на все хорошее и высокое в более древней греческой древности! Как переводили они ее в самую гущу римской современности! Как умышленно и беспечно стирали они пыль с крылец бабочки-мгновения! Так, Гораций переводил местами Алкея или Архилоха, а Проперций – Каллимаха и Филета (поэтов одинакового ранга с Феокритом, если только мы *вправе* судить): что им было до того, что сам творец пережил в себе нечто и вписал в свое стихотворение знаки этого переживания! – как поэты, они были

1 Важная вещь – замолчать (лат.).

врагами антикварного вынюхивания, опережающего историческое чувство; как поэты, они не считались с этими совершенно личными вещами и именами и со всем, что, в качества национального костюма и маски, было свойственно какому-нибудь городу, какому-нибудь побережью, какому-нибудь столетию, но на лету подменяли их современным и римским. Они как бы спрашивают нас: «Неужели нам не следовало обновить для себя старину и уложиться в нее *самим?* Разве мы не вправе вдохнуть нашу душу в это мертвое тело? Ибо теперь оно уже мертво: как отвратительно все мертвое!» – Им было неведомо смакование исторического чувства; прошлое и чуждое было им в тягость и оказывалось для них как римлян стимулом к римскому завоеванию. На самом деле тогда, занимаясь переводами, завоевывали не только в том смысле, что пренебрегали историческим, – нет, в дело привносили намек на современное; прежде всего зачеркивали имя поэта и ставили на его место свое – без какого-либо ощущения воровства, но с чистейшей совестью imperii Romani.

84

О происхождении поэзии. – Любители всего фантастического в человеке, придерживающиеся в то же время учения об инстинктивной нравственности, судят следующим образом: «Если бы во все времена чтили пользу как высшее Божество, откуда тогда могла бы взяться во всем мире поэзия? – эта ритмизация речи, которая, скорее, препятствует, чем содействует, ясности высказывания и которая, несмотря на это, бурно произросла и продолжает расти по всей земле, словно некая насмешка над всякой полезной целесообразностью! Девственно прекрасное безрассудство поэзии опровергает вас, утилитаристы! Именно стремление *освободиться* однажды от пользы и возвысило человека, вдохновив его на нравственность и искусство!» Что ж, я должен здесь разок польстить утилитаристам – ведь им так редко доводится быть правыми, что просто жалость берет! В те старые времена, которые вызвали к жизни поэзию, дело шло все-таки о пользе, и при этом весьма большой пользе,

связанной с тем, что в речь вносили ритм, эту силу, наново упорядочивающую все атомы предложения, вынуждающую выбирать слова, придающую мысли новую окраску и делающую ее более темной, чуждой, отдаленной: разумеется, то было *суеверной полезностью.* С помощью ритма человеческая просьба должна была глубже запечатлеться в памяти богов, после того как заметили, что человек лучше запоминает стихи, чем бессвязную речь; равным образом рассчитывали с помощью ритмического отстукивания быть услышанными на более далекие расстояния; ритмизированная молитва, казалось им, быстрее доходила до слуха богов. Но прежде всего хотели извлечь пользу из той стихийной одержимости, которую человек испытывает на себе, слушая музыку: ритм есть принуждение; он вызывает неодолимую тягу уступить, согласиться; не только ноги, но и сама душа начинает идти в такт, – предполагалось, что и душа богов! Ритмом, стало быть, тщились *принудить* их и применить к ним насилие: поэзию набрасывали на них, как магический аркан. Существовало еще одно, более диковинное представление, – и, возможно, именно оно сильнее всего способствовало возникновению поэзии. У пифагорейцев оно появляется как философское учение и воспитательная уловка, но и задолго до философов в музыке видели силу, способную разряжать аффекты, очищать душу, смягчать ferocia animi[1] – и именно через ритмическое в музыке. Когда утрачивалась нормальное натяжение и гармония души, приходилось *танцевать* под такт певца – таков был рецепт этого врачевания. Им Терпандр утихомирил бунт, Эмпедокл унял бесноватого, Дамон очистил любострастного юношу; им же исцеляли и одичавших мстительных богов. Прежде всего тем, что доводили до крайности опьянение и распущенность их аффектов, стало быть, делая одержимого безумным, а мстительного упоенным местью: все оргиастические культы силятся внезапно разрядить ferocia какого-то божества и превратить ее в оргию, дабы вслед за этим оно чувствовало себя свободнее и спокойнее и оставило человека в покое. Мелос, по своему корню, означает успокоительное средство, не потому, что сам он спокоен, а потому, что успо-

1 Ярость души (*лат.*).

каивает его воздействие. – И не только в культовых, но и в мирских песнопениях древнейших времен наличествует предпосылка, что ритм оказывает магическое воздействие, скажем, при вычерпывании воды или гребле: песня есть заклинание действующих здесь демонов, она делает их сговорчивыми, связывает их в действиях и превращает в орудие человека. И при любом занятии имеется повод к пению – *всякое* занятие свершается при пособничестве духов: заговоры и заклинания – такова, кажется, первоначальная форма поэзии. Если стихи были в употреблении и у оракула – греки говорили, что гексаметр был изобретен в Дельфах, – то и здесь должен был ритм оказывать давление. Запросить пророчество означает первоначально (по кажущемуся мне вероятным выводку греческого слова): дать назначить себе нечто; люди надеются принудить будущее тем, что склоняют на свою сторону Аполлона, который, согласно древнейшему представлению, есть нечто гораздо большее, чем только провидящий бог. В момент, когда произносится формула, буквально и ритмически точно, она связывает будущее: формула же есть изобретение Аполлона, который, будучи богом ритмов, может связывать также богинь судьбы. – Рассматривая и спрашивая в целом: было ли для старого, суеверного людского рода вообще что-либо *более полезное,* чем ритм? С ним можно было достигнуть всего: магически содействовать работе; заставить какое-нибудь божество явиться, приблизиться, выслушать; приуготовить себе будущее по своему усмотрению; разрядить собственную душу от какого-либо излишка (страха, мании, сострадания, мстительности), и не только собственную душу, но и душу злейшего из демонов, – без стихов были ничем, со стихами становились почти богами. Это коренное чувство так и не было полностью искоренено, – и еще нынче, после тысячелетий тщания избавиться от подобного суеверия, даже мудрейший из нас оказывается при случае в дураках у ритма, хотя бы уже в том одном, что мысль *ощущается им более истинной,* когда она обладает метрической формой и приходит с божественным приплясом. Разве это не весьма забавно, что серьезнейшие философы, как бы строго ни относились они к этому вообще, все еще апеллируют к *поэтическим изречениям,* дабы сообщить своим мыслям силу и достоверность?

– а между тем для истины опаснее, когда поэт ее одобряет, чем когда он ей противоречит! Ибо, как говорит Гомер: «Много лгут поэты!»

85

Доброе и прекрасное. – Художники вечно *прославляют* – они и не делают ничего иного, – и прославляют как раз все те состояния и вещи, о которых идет молва, что при них и в них человек может однажды почувствовать себя добрым, или великим, или упоенным, или веселым, или благополучным и мудрым. Эти *отборные* вещи и состояния, значимость которых для человеческого счастья считается прочно установленной, и суть объекты художников: последние всегда начеку, чтобы открыть их и перетянуть в область искусства. Я хочу сказать, что не сами они являются оценщиками счастья и счастливого, но что они постоянно толкутся в окружении этих оценщиков, полные величайшего любопытства и желания тотчас же воспользоваться их оценками. Поскольку же они, кроме нетерпения, обладают вдобавок глубокими легкими герольдов и ногами скороходов, то они оказываются всегда в числе первых прославителей *нового* блага и зачастую *кажутся* людьми, впервые назвавшими его благом и оценившими его как благо. Но это, как сказано, заблуждение: они лишь более проворны и более крикливы, чем действительные оценщики. – Кто же они, эти действительные оценщики? – Богатые и праздные люди.

86

О театре. – Сегодняшний день вновь подарил мне сильные и высокие чувства, и будь мне этим вечером дано насладиться музыкой и искусством, я бы наверняка знал, какой музыки и какого искусства мне *не* хочется, именно: всякого такого, которое тщится опьянить своих слушателей и *взвинтить* их до мгновения сильного и высокого чувства – этих людей будничной души, схожих в вечерние часы не с победителями на триумфальных колесницах, а с усталыми мулами, ко-

торых жизнь слишком уж часто стегала плетью. Что вообще знали бы о «возвышенных настроениях» эти люди, не будь опьяняющих средств и идеальных подстегиваний плетью! – и вот же, у них есть свои вдохновители, подобно тому, как у них есть свои вина. Но что *мне* до их напитков и их опьянения! Зачем вдохновленному вино! Скорее, он смотрит с некоторым отвращением на средства и на посредников, которые призваны вызвать здесь какое-то действие без достаточного основания – обезьянье передразнивание высокого прилива души! – Как? Кроту дарят крылья и гордое воображение – перед сном, прежде чем он заползет в свою нору? Его посылают в театр и приставляют увеличительные стекла к его слепым и утомленным глазам? Люди, чья жизнь не «поступок», а только гешефт, сидят перед подмостками и глазеют на чужеродных существ, для которых жизнь есть нечто большее, чем гешефт? «Так оно и подобает, – говорите вы, – это так занимательно, этого требует образование!» – Что ж! Значит, мне слишком уж часто недостает образования, ибо слишком уж часто это зрелище вызывает во мне чувство гадливости. Кто в себе самом не испытывает недостатка в трагедии и комедии, тот предпочитает держаться подальше от театра; или, в виде исключения, весь ход событий – включая театр, публику и поэта – оборачивается для него собственным трагическим и комическим спектаклем, так что сама поставленная пьеса мало волнует его. Кто сам есть нечто вроде Фауста и Манфреда, что ему до театральных Фаустов и Манфредов! – разве что придет мысль о том, *что* в театре вообще изображаются подобные типы. *Сильнейшие* мысли и страсти перед теми, кто не способен ни к мысли, ни к страсти, – лишь к *опьянению! И первые* как средство к *последнему!* Театр, как и музыка, – европейское курение гашиша и жевание бетеля! О, кто расскажет нам всю историю наркотиков! – это почти история «образования», так называемого высшего образования!

87

О тщеславии художников. – Полагаю, что художники часто не знают, что им лучше всего удается, ибо они слишком тщес-

лавны, и их чувство обращено к чему-то более гордому, чем производить впечатление тех маленьких растений, которые умеют по-новому, причудливо, прекрасно, в действительном совершенстве расти на своей почве. Настоящий дар их собственного сада и виноградника оценивается ими кое-как, и их любовь принадлежит к иному порядку, чем их проницательность. Вот музыкант, который больше, чем какой-либо другой, обладает мастерством извлекать звуки из царства страждущих, угнетенных, измученных душ и одарять речью даже немых зверей. Никто не сравнится с ним в красках поздней осени, в неописуемо трогательном счастье последнего, ускользающего, мимолетнейшего наслаждения; ему ведомы звуки для тех таинственно зловещих полуночей души, когда, казалось бы, распадается связь между причиной и действием и в каждое мгновение может возникнуть нечто «из ничего»; он удачнее всех черпает с самого дна человеческого счастья и словно бы из опорожненного кубка его, где горчайшие и противнейшие капли за здравие и за упокой слились со сладчайшими; он знает, как устало влачится душа, которая уже не может прыгать и летать, не может даже ходить; у него робкий взгляд затаенной скорби, безутешного понимания, разлуки без объяснения; да, как Орфей всякого сокровенного убожества, он выше *кого-либо,* и им впервые было вообще внесено в искусство нечто такое, что до сих пор казалось невыразимым и даже недостойным искусства, что словами можно было только спугнуть, а не поймать, – нечто совсем крохотное и микроскопическое в душе: да, он мастер по части совсем крохотного. Но он *не хочет* быть им! Его *натура* любит, скорее, большие стены и отважную фресковую живопись! Он не видит того, что его *дух* обладает иным вкусом и склонностью и любит больше всего ютиться в уголках развалившихся домов: там, скрытый, скрытый от самого себя, пишет он свои подлинные шедевры, которые все очень коротки, часто длиною лишь в *один* такт, – там лишь становится он вполне искусным, великим и совершенным, может быть, только там. – Но он не знает этого! Он слишком тщеславен, чтобы знать это.

88

Серьезность в отношении истины. – Серьезность в отношении истины! Сколь много различного разумеют люди под этими словами! Одни и те же воззрения и способы доказательства и проверки, воспринимаемые каким-нибудь мыслителем как легкомыслие, которому он, к стыду своему, поддается в то или иное время, – эти же воззрения в каком-либо художнике, натолкнувшемся на них и временно увлекшемся ими, могут навести его на мысль о том, что теперь им овладела глубочайшая серьезность в отношении истины, и достойно удивления, что он, хотя и художник, выказывает столь серьезное стремление к тому, что противоположно видимости. Итак, вполне возможно, что *некто* именно пафосом своей серьезности выдает, сколь поверхностно и невзыскательно витал доселе его дух в царстве познания. – И разве не оказывается все то, что представляется нам *весомым*, нашим предателем? Оно показывает, чтó мы в состоянии взвесить и для чего именно мы не обладаем никакими весами.

89

Теперь и прежде. – К чему нам все наше искусство произведений искусства, если мы лишаемся того более высокого искусства – искусства празднеств! Прежде все произведения искусства выставлялись на большой праздничной улице человечества, как памятки и памятники высоких и блаженных моментов. Нынче же хотят произведениями искусства совлечь бедных, истощенных и больных с большой улицы страданий человечества ради одного похотливого мгновеньица; им предлагают маленькое опьянение и безрассудство.

90

Свет и тени. – Книги и записи у различных мыслителей совершенно различны: один собрал в книге свет, который он

наспех сумел похитить у лучей светящего ему познания и унести домой; другой передает только тени, серые и черные послеобразы того, что накануне встало в его душе.

91

Предостережение. – Альфьери, как известно, изрядно налгал, рассказывая удивленным современникам историю своей жизни. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, каковой он, к примеру, выказал, когда создавал собственный язык и тиранически вымучивал в себе поэта; в конце концов ему удалось найти строгую форму возвышенного, в которую он *втиснул* свою жизнь и свою память: должно быть, это стоило больших мучений. – Я нисколько не поверил бы и биографии Платона, им самим написанной; не больше, чем Руссо или Дантовой vita nuova.

92

Проза и поэзия. – Однако вспомните, что великие мастера прозы почти всегда были и поэтами, публично или только украдкой и «взаперти»; и поистине, хорошую прозу пишут только *перед лицом поэзии*! Ибо проза есть непрерывная учтивая война с поэзией: вся ее прелесть состоит в том, что она постоянно избегает поэзии и противоречит ей; каждая абстракция хочет обернуться плутовством в отношении поэзии и как бы насмешливым тоном; каждая сухость и холодность рассчитана на то, чтобы повергнуть милую Богиню в милое отчаяние; часто случаются сближения, мгновенные примирения и тотчас же внезапный отскок и хохот; часто подымается занавес и впускается резкий свет как раз в тот момент, когда Богиня наслаждается своими сумерками и приглушенными красками; часто срывают слово прямо с ее уст и распевают его на такой мотив, что она нежными руками придерживает нежные ушки, – и есть еще тысячи прочих удовольствий войны, включая поражения, о которых непоэтические, так называемые прозаичные люди и знать ничего не знают: на то они и пишут, и говорят только

дурной прозой! *Война есть мать всех хороших вещей,* война есть также мать хорошей прозы! – Это столетие насчитывает четырех весьма необычных и истинно поэтических писателей, достигших в прозе такого мастерства, для которого не созрело еще это столетие – из-за недостатка поэзии, как было указано. Отвлекаясь от Гёте, к которому по справедливости апеллирует породившее его столетие, я вижу только Джакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ралфа Уолдо Эмерсона и Уолтера Сэведжа Лендора, автора Imaginary conversations, как достойных называться мастерами прозы.

93

Так зачем же ты пишешь? – А: Я не принадлежу к тем, кто *мыслит* с непросохшим пером в руке, и еще менее к тем, кто полностью отдается страстям перед откупоренной чернильницей, сидя на своем стуле и глазея на бумагу. Я злюсь или стыжусь всякого писания; писание для меня естественная потребность – мне противно говорить об этом даже в сравнениях. Б: Так зачем же ты тогда пишешь? А: Н-да, мой дорогой, между нами говоря, я до сих пор не нашел еще другого средства *избавиться* от своих мыслей. Б: А зачем хочешь ты избавиться от них? А: Зачем я хочу? Хочу ли я? Я должен. – Б: Довольно! Довольно!

94

Посмертный рост. – Та маленькая отважная речь о нравственных делах, которую Фонтенель набросал в своих бессмертных «Разговорах в царстве мертвецов», считалась в его время собранием парадоксов и игрою неблагонадежного остроумия; даже высшие судьи вкуса и ума не принимали ее уже во внимание, – возможно, и сам Фонтенель. Теперь происходит нечто невероятное: эти мысли становятся истинами! Наука *доказывает* их! Игра принимает серьезный оборот! И мы читаем эти диалоги с иным ощущением, чем читали их Вольтер и Гельвеций, и невольно возводим их автора в иной и *гораздо более высокий* ранг

умов, чем это делали его современники, – правы ли мы? неправы ли?

95

Шамфор. – Что как раз такой знаток людей и толпы, как Шамфор, спешил на выручку толпе, а не оставался в стороне в философском самоотречении и обороне, это я могу объяснить себе не иначе как следующим образом: инстинкт в нем был сильнее его мудрости и никогда не был удовлетворен, инстинкт ненависти ко всякому знатному происхождению: быть может, старая, слишком понятная ненависть его матери, священно заговорившая в нем из любви к матери, – инстинкт мести, затаившийся в нем с детских лет и ждущий удобного момента отомстить за мать. И теперь жизнь и гений его и, ах! всего сильнее отцовская кровь в его жилах – в течение многих, многих лет – соблазняли его примкнуть именно к этой знати и сравняться с нею! В конце концов, однако, ему стал невыносим его собственный вид, вид «старого человека» при старом режиме; пылкое, страстное покаяние охватило его, и *в этом состоянии* он облачился в плебейскую одежду, как *своего* рода власяницу! Упущенная месть обернулась его нечистой совестью. Оставайся тогда Шамфор хоть на один градус больше философом, революция не получила бы своей трагической остроты и своего самого колючего жала: она выглядела бы гораздо более глупым событием и не оказалась бы таким соблазном для умов. Но ненависть и месть Шамфора воспитали целое поколение: эту школу прошли и сиятельнейшие особы. Подумайте-ка над тем, что Мирабо смотрел на Шамфора как на свое высшее и старшее *Я*, от которого он ждал побуждений, предостережений и приговоров, терпеливо снося их, – Мирабо, принадлежащий, как человек, к совершенно иному рангу величия, чем даже первые среди государственных величин вчерашнего и сегодняшнего дня. – Странно, что, несмотря на такого друга и заступника – сохранились даже письма Мирабо к Шамфору, – этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам, так же как и Стендаль, который, быть может, среди всех французов *этого* столетия

обладал умнейшими глазами и ушами. Оттого ли, что последний, в сущности, заключал в себе слишком много немецкого и английского, чтобы быть еще сносным для парижан? – тогда как Шамфор, человек, богатый душевными глубинами и подоплеками, угрюмый, страдающий, пылкий, – мыслитель, считавший смех необходимым лекарством от жизни и полагавший едва ли не потерянным каждый день, когда он не смеялся, – выглядит, скорее, итальянцем и кровным родственником Данте и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: «Ah! Mon ami, – сказал он Сьейесу, – je m'en vais enfim de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze»[1]. Это наверняка не слова умирающего француза!

96

Два оратора. – Из этих двух ораторов один лишь тогда в полной мере овладевает своим делом, когда предается страсти: только она перекачивает достаточно крови и жара в его мозг, чтобы принудить его высокую духовность к откровению. Другой силится временами достичь того же: произнести свою речь страстно, громко, пылко и увлекательно, – и терпит по обыкновению неудачу. В таких случаях он очень скоро начинает говорить темно и запутанно, преувеличивает, делает пропуски и возбуждает недоверие к разумности своей речи; он и сам ощущает это недоверие, и этим объясняются внезапные скачки к холодному и отталкивающему тону, который вызывает в слушателе сомнение в искренности его страстей. У него всякий раз ум затопляется страстью: возможно, потому что она в нем сильнее, чем у первого. Но он достигает высоты своих сил, когда противостоит бурному натиску чувства и как бы насмехается над ним: тогда и выступает весь его ум из засады – логичный, насмешливый, игривый и все-таки страшный ум.

---

1 Ах, мой друг ... я ухожу наконец из этого мира, где сердце должно разбиться или окаменеть (*фр.*).

97

О болтливости писателей. – Есть болтливость гнева – часто у Лютера, также у Шопенгауэра. Болтливость из чересчур большого запаса понятийных формул, как у Канта. Болтливость из любви ко все новым оборотам речи по поводу одного и того же предмета: ее можно найти у Монтеня. Болтливость язвительных натур: кто читает современные произведения, вспомнит при этом о двух писателях. Болтливость из любви к добротным словам и языковым формам: нередко в прозе Гете. Болтливость из чистой склонности к шуму и неразберихе чувств: например, у Карлейля.

98

Во славу Шекспира. – Самое прекрасное, что я мог бы сказать во славу Шекспира как *человека,* состоит в следующем: он поверил Бруту и не бросил ни одной соринки недоверия на этого рода добродетель! Ему он посвятил лучшую свою трагедию – она и поныне называется все еще ложным именем, – ему и ужаснейшему воплощению высокой морали. Независимость души – вот о чем идет здесь речь! Никакая жертва не может здесь быть слишком большой: нужно уметь принести в жертву этому даже лучшего друга, пусть даже он великолепнейший человек, украшение мира, гений, не имеющий равных себе, – пожертвовать им, если любишь свободу, как свободу великих душ, а от него *этой* свободе грозит опасность: нечто подобное должен был чувствовать Шекспир! Высота, на которую он возносит Цезаря, есть самая тонкая честь, какую он мог оказать Бруту: лишь таким образом возводит он его внутреннюю проблему в чудовищную степень, а равным образом и душевную силу, способную разрубить *этот узел*! – Но была ли то действительно политическая свобода, которая исполнила этого поэта сочувствия к Бруту – сделала его сообщником Брута? Или политическая свобода была лишь символикой чего-то невыразимого? Быть может, мы стоим перед каким-то неизвестным темным событием и авантюрой из жизни собственной души поэта, о чем он мог говорить только символами? Что значит вся гам-

летовская меланхолия в сравнении с меланхолией Брута! – и, может быть, и ее знал Шекспир, как он знал ту, из личного опыта! Может быть, и у него были свои мрачные часы и свой злой ангел, как и у Брута! – Но каковы бы ни были сходства и таинственные связи, перед цельностью облика и добродетелью Брута Шекспир падает ниц и чувствует себя недостойным и чуждым этого: свидетельство тому он вписал в свою трагедию. Дважды вывел он в ней поэта, и оба раза окатил его таким нетерпеливым и окончательным презрением, что это звучит как крик – крик презрения к себе. Брут, даже Брут теряет терпение, когда входит поэт, чванный, напыщенный, назойливый, какими поэты по обыкновению и бывают, словно некое существо, кажущееся битком набитым возможностями величия, в том числе и нравственного величия, и все же редко доводящее его в философии жизненных поступков хотя бы до обыкновенной честности. «Терплю я шутовство в другое время. Война не дело этих стихоплетов. – Любезный, прочь!» – восклицает Брут. Переведите эти слова обратно на язык души поэта, сочинившего их.

99

Последователи Шопенгауэра. – То, что доводится видеть при соприкосновении культурных народов с варварами, когда низшая культура поначалу последовательно заимствует у высшей ее пороки, слабости и излишества, затем отдается их соблазнам и, наконец, через посредничество усвоенных пороков и слабостей перенимает и некоторую толику подлинной силы высшей культуры, – это можно изучать и здесь, не путешествуя в варварские страны, конечно, в несколько утонченном, одухотворенном и не столь осязаемом виде. Что же обыкновенно и первым делом перенимают последователи *Шопенгауэра* в Германии от своего учителя? – те самые, которые сравнительно с его восходящей культурой должны казаться себе в достаточной степени варварами, чтобы чисто по-варварски поддаться на первых порах ее очарованию и соблазнам. Его ли незыблемая приверженность фактам, его ли взыскание ясности и ума, из-за кото-

рых он часто выглядит скорее англичанином, чем немцем? Или силу его интеллектуальной совести, *выдержавшую* пожизненное противоречие между бытием и волей и принуждавшую его постоянно и почти в каждом пункте противоречить себе и в сочинениях? Или его чистоту в вопросах церкви и христианского Бога? – ибо здесь он был чист, как ни один из немецких философов до него, так что он жил и умер «вольтерьянцем». Или его бессмертное учение об интеллектуальности созерцания, об априорности закона причинности, об орудийной природе интеллекта и несвободе воли? Нет, все это не очаровывает и не ощущается чарующим: но вот мистические увертки Шопенгауэра в тех местах, где опирающийся на факты мыслитель позволяет совращать и портить себя тщеславному влечению быть разгадчиком мира, недоказуемое учение о *единой воле* («все причины суть только случайные причины проявления воли в данное время на данном месте», «воля к жизни во всяком существе, даже самом ничтожном, наличествует вполне и безраздельно, столь же полно, как и во всех, которые когда-либо были, суть и будут, вместе взятых»), *отрицание индивида* («все львы суть, в сущности, лишь *один* лев», «множественность индивидов есть видимость»; в равной мере и *развитие* есть лишь видимость – он называет мысли Ламарка «гениальным абсурдным заблуждением»), грезы о *гении* («в эстетическом созерцании индивидуум не есть уже индивидуум, но чистый, безвольный, свободный от страдания и от времени субъект познания», «субъект, вполне растворяясь в созерцаемом предмете, становится сам этим предметом»), бессмыслица о *сострадании* и об осуществляемом в нем прорыве principii individuationis как источнике всякой моральности, добавим сюда и такие положения: «Смерть есть настоящая цель бытия», «a priori не может быть прямо отрицаема возможность магического действия, исходящего от уже умершего» – эти и подобные *распутства* и пороки философа всегда принимаются прежде всего и делаются предметом веры: пороком и распутствам всегда легче всего подражать, и они не требуют долгой подготовки. Но поговорим о знаменитейшем из живущих ныне шопенгауэрианцев, о Рихарде Вагнере. – С ним случилось то, что уже случалось со многими художниками: он ошибся в толковании

созданных им образов и не опознал невыраженную философию собственного искусства. Рихард Вагнер до самой середины своей жизни был сбиваем с толку Гегелем; с ним еще раз произошло то же самое, когда он позже вычитал учение Шопенгауэра из своих образов и начал формулировать самого себя в терминах «воли», «гения» и «сострадания». Несмотря на это, правда в том, что ничто не идет так вразрез с духом Шопенгауэра, как собственно вагнеровское в героях Вагнера, – я имею в виду невинность высочайшего себялюбия, веру в великую страсть как в нечто хорошее само по себе, одним словом, зигфридовское в облике его героев. «Все это пахнет скорее Спинозой, чем мною», – сказал бы, возможно, Шопенгауэр. Сколь бы достаточны ни были основания, по которым Вагнеру следовало высматривать себе как раз других философов, а не Шопенгауэра, очарование, которому он подпал в связи с этим мыслителем, сделало его слепым не только ко всем другим философам, но даже к самой науке; его искусство все больше стремится выдать себя за подобие и дополнение шопенгауэровской философии, и все выразительнее отрекается оно от более высокого честолюбия стать подобием и дополнением человеческого познания и науки. И к этому совращает его не только вся таинственная роскошь названной философии, которая совратила бы и какого-нибудь Калиостро: соблазнителями были всегда даже отдельные жесты и аффекты философов! Шопенгауэровской является, например, вагнеровская горячность в связи с порчей немецкого языка; и если это подражание следовало одобрить, то не может быть умолчано и то, что стиль самого Вагнера не в малой степени страдает нарывами и опухолями, один вид которых приводил Шопенгауэра в такое бешенство, и что в отношении пишущих по-немецки вагнерианцев вагнерщина начинает выказывать себя столь опасным образом, как выказывала себя разве что какая-нибудь гегельщина. Шопенгауэровской является и ненависть Вагнера к евреям, которым он не способен воздать справедливости в самом великом их деле: ведь евреи суть изобретатели христианства! Шопенгауэровской является попытка Вагнера истолковать христианство, как занесенное ветром семя буддизма, и предуготовить Европе, путем временного сближения с католически-христиан-

скими формулами и ощущениями, буддийскую эпоху. Шопенгауэровской является проповедь Вагнера в пользу милосердия к животным; предшественником Шопенгауэра в этом был, как известно, Вольтер, который, возможно, уже умел, подобно своим последователям, маскировать свою ненависть к известного рода вещам и людям милосердием к животным. По крайней мере, ненависть Вагнера к науке, звучащая в его проповеди, внушена отнюдь не духом мягкосердечия и кротости – ни, тем паче, как это разумеется само собой, вообще *духом*. – В конце концов философия художника мало что значит, если она представляет собою лишь философию задним числом и не причиняет никакого вреда самому его искусству. Было бы достаточно опрометчиво невзлюбить художника из-за какого-то случайного, крайне неудачного и дерзкого маскарада; не будем все-таки забывать, что милые художники вместе и порознь суть немножко актеры, и должны быть актерами, и едва ли протянули бы долго без лицедейства. Останемся верными Вагнеру в том, что есть в нем *подлинного* и самобытного, – и тем именно, что мы, его ученики, останемся верными себе в том, что есть в нас самих подлинного и самобытного. Оставим ему все его интеллектуальные прихоти и конвульсии и рассудим лучше по справедливости, какое диковинное питание и какие потребности *вправе* иметь искусство, подобное его искусству, чтобы быть в состоянии жить и расти! Ничего страшного в том, что, как мыслитель, он бывает кругом неправ; справедливость и терпение – не *его* дело. Достаточно и того, что его жизнь права перед собою и остается таковой: эта жизнь, которая взывает к каждому из нас: «Будь мужчиной и следуй не за мной, а за собой! сам за собой!» И *наша* жизнь должна оказаться права перед нами! И мы должны свободно и бесстрашно, в невинной самостийности расти и расцветать из самих себя! И вот, при размышлении об этом человеке, у меня еще и сегодня, как и прежде, звучат в ушах следующие слова: «что страсть лучше стоицизма и лицемерия, что быть честным даже во зле лучше, чем утратить себя, подчиняясь традиционной морали, что свободный человек равно может быть и добрым и злым, но что человек несвободный – позор для природы и для него нет ни земного, ни небесного утешения, что, наконец,

каждый, кто хочет быть свободным, должен достигнуть этого сам и что свобода никому не падает в руки, как чудесный дар» («Рихард Вагнер в Байрейте», с. 94)[1].

100

Учиться почитанию. – И почитанию должны люди учиться, как и презрению. Каждый, идущий новыми путями и многих ведущий новыми путями, с удивлением обнаруживает, сколь нерасторопны и скупы эти многие в изъяснениях своей благодарности и сколь редко вообще *может* изъявляться благодарность. Словно бы всякий раз, когда она собирается заговорить, что-то застревает в горле, так что она лишь покашливает и, покашливая, снова умолкает. Способ, которым мыслителю приходится прослеживать воздействие своих мыслей и их преобразующую и сотрясающую силу, почти граничит с комедией: подчас ему кажется, что те, кто подвергся его влиянию, чувствуют себя, в сущности, оскорбленными этим и способны обнаруживать свою оспариваемую, по их опасениям, самостоятельность лишь во всякого рода неучтивостях. Нужны целые поколения, чтобы придумать хотя бы вежливую конвенцию благодарности, и только гораздо позднее наступает момент, когда даже в благодарность вносится некоторого рода ум и гениальность. Тогда здесь обыкновенно фигурирует и тот, кто является великим стяжателем благодарности – не только за то, что он сам сделал хорошего, но главным образом за то, что постепенно скапливалось его предшественниками, как сокровище высшего и лучшего.

101

Вольтер. – Повсюду, где был какой-либо двор, задавал он тон изысканной речи, а вместе и норму стиля для всех пишущих. Но придворный язык есть язык царедворца, *не имеющего никакой профессии* и запрещающего самому себе в раз-

1 В ПСС ср.: Т. 1/2, с. 329.

говорах на научные темы все удобные технические выражения, поскольку они отдают профессией; оттого техническое выражение и все, что выдает специалиста, оказывается в странах придворной культуры неким *пятном на стиле*. Нынче, когда все дворы стали карикатурами вообще, достойно удивления, что сам Вольтер в этом пункте обнаруживает необыкновенную чопорность и педантичность (например, в своем суждении о таких стилистах, как Фонтенель и Монтескье), – мы-то все уже освобождены от придворного вкуса, в то время как Вольтер был его *завершителем*!

102

Слово к филологам. – Есть книги, столь значительные и царственные, что целые поколения ученых используются на то, чтобы их радениями книги эти сохранялись в чистом и понятном виде, – для постоянного упрочнения этой веры и существует филология. Она предполагает, что нет недостатка в тех редкостных людях (даже если они и остаются в тени), которые действительно умеют пользоваться столь значительными книгами: это, должно быть, те, которые сами пишут или смогли бы писать подобные книги. Я хочу сказать, что филология имеет предпосылкой благородную веру – в то, что ради некоторых немногих, которые всегда «должны прийти» и которых никогда нет налицо, надо заранее справиться с громадным количеством мучительной, даже неопрятной работы: все это работа in usum Delphinorum[1].

103

О немецкой музыке. – Немецкая музыка нынче уже потому является более европейской, чем всякая другая, что в ней одной получила выражение перемена, испытанная Европою вследствие революции: только немецкие музыканты знают толк в выражении волнующихся народных масс, в том чудовищном искусственном шуме, который даже не нуж-

---

1 на потребу дофинов (*лат.*).

дается в том, чтобы быть слишком громким, – тогда как, например, итальянская опера знает лишь хоры прислуги или солдат, но не «народа». Сюда присоединяется и то, что во всей немецкой музыке слышится глубокая бюргерская ревность к знати, в особенности к esprit и elegance как к выражению придворного, рыцарского, старого, уверенного в самом себе общества. Это вовсе не та музыка, что музыка гетевского певца у врат, которая нравится и «в зале», т.е. самому королю; вот уж где нельзя сказать: «С отвагой рыцари глядят, и взор склонили дамы». Уже грация выступает не без припадка угрызений совести в немецкой музыке; лишь с появлением привлекательности, сельской сестры грации, начинает немец чувствовать себя вполне морально, – и с этого момента все больше и больше, вплоть до своей мечтательной, ученой, часто косолапой «возвышенности», бетховенской возвышенности. Если хотят примыслить человека к *этой* музыке, что ж, пусть представят себе именно Бетховена, каким он предстает рядом с Гёте хотя бы при той встрече в Теплице: как полуварварство рядом с культурой, как народ рядом со знатью, как человек с хорошими задатками рядом с хорошим и более чем «хорошим» человеком, как фантазер рядом с художником, как нуждающийся в утешении рядом с утешенным, как человек взбудораженный и подозрительный рядом со справедливым, как чудак и самоистязатель, как дурацки-упоенный, блаженно-несчастливый, прямодушно-невоздержанный, как чванливец и увалень – и, оптом, как «необузданный человек»: таким ощущал и описывал его сам Гёте, Гёте, этот немец-исключение, к которому еще не подыскана достойная музыка! – В конце концов подумайте и о том, не следует ли признать это все более распространяющееся среди немцев презрение к мелодии и захирение чувства мелодии дурной демократической привычкой и следствием революции. Ведь мелодии присуща такая явная любовь к законности и такое отвращение ко всему становящемуся, неоформленному, произвольному, что она звучит каким-то отзвуком *прежнего* порядка вещей в Европе и как бы соблазном возвращения к нему.

104

О звучании немецкого языка. – Известно, откуда происходит немецкий язык, который вот уже пару столетий является общенемецким литературным языком. Немцы с их почтительным отношением ко всему, что исходило от *двора*, старательно брали себе за образец канцелярщину во всем, чего только им ни приходилось *писать*, стало быть, в письмах, грамотах, завещаниях и т.д. Писать по-канцелярски значило писать по-придворному и по-правительственному – в этом было что-то благородное по сравнению с тем расхожим городским языком, на котором обычно говорили. Постепенно отсюда сделали выводы и стали говорить так, как писали, – это придавало больше благородства в словесных формах, в выборе слов и оборотов и, наконец, в самом звучании: говоря, подделывались под придворное звучание, и подделывание в конце концов стало природой. Возможно, подобное явление – преобладание литературного стиля над расхожею речью и всенародное кривлянье и важничанье как основа общего, а не только диалектального языка – нигде не наблюдалось в столь полной мере. Я думаю, звучание немецкого языка в Средние века и в особенности после Средневековья было глубоко крестьянским и вульгарным: оно несколько облагородилось в последние столетия, главным образом через то, что немцы чувствовали себя принужденными столь усердно подражать французским, итальянским и испанским звучаниям, и притом как раз в лице немецкого (и австрийского) дворянства, которое никак не могло довольствоваться родным языком. Но для Монтеня или даже Расина немецкий язык, несмотря на эту выучку, должен был звучать невыносимо пошло, и даже теперь, в устах путешественника, среди итальянской черни звучит он все еще весьма сыро, по-лесному, сипло, словно бы исходя из закоптелых комнат и нецивилизованных местностей. – И вот я замечаю, что нынче снова среди прежних поклонников канцелярщины распространяется аналогичное стремление к аристократичности звучания и что немцы начинают прилаживаться к совсем особенному «звуковому очарованию», которое могло бы в перспективе стать настоящей угрозой для немецкого языка, – ибо тщетно ста-

ли бы искать в Европе более отвратительных звучаний. Нечто насмешливое, холодное, равнодушное, небрежное в голосе: это нынче звучит для немца «благородно» – и претензия на эту благородность слышится мне в голосах молодых чиновников, учителей, женщин, торговцев; даже маленькие девочки подражают уже этому офицерски-немецкому языку. Ибо офицер, да к тому же прусский, есть изобретатель этого звучания – тот самый офицер, который, как военный и профессионал, обладает тем достойным удивления тактом скромности, которому след бы поучиться решительно всем немцам (включая немецких профессоров и музыкантов!). Но стоит лишь ему начать говорить и двигаться, как он оказывается самой нахальной и самой противной фигурой в старой Европе – без всякого сомнения, сам того не сознавая! Не сознают этого и славные немцы, дивящиеся в нем человеку первостепенного и аристократичнейшего общества и охотно позволяющие ему «задавать тон». Этим-то он и занят! – и тону его подражают прежде всего фельдфебели и унтер-офицеры, делающие его еще более грубым. Обратите внимание на командные выкрики, рев которых прямо-таки разносится вокруг немецких городов, теперь, когда у всех ворот занимаются строевой подготовкой: какая чванливость, какое бешеное чувство авторитета, какая насмешливая холодность вызвучивается в этом реве! Неужели немцы и в самом деле музыкальный народ? – Несомненно, что немцы нынче милитаризуются в звучании своего языка: по всей вероятности, выучившись говорить по-военному, они наконец примутся и писать по-военному. Ибо привычка к определенным звучаниям внедряется глубоко в характер: в скором времени появятся слова и обороты, а в итоге и мысли как раз впору этим звучаниям! Может быть, и теперь уже пишут по-офицерски; может быть, я слишком мало читаю из того, что пишут теперь в Германии. Но одно знаю я наверняка: официальные немецкие сообщения, проникающие и за границу, инспирированы не немецкой музыкой, но как раз этим новым звучанием безвкусного высокомерия. Почти в каждой речи первого немецкого сановника, и даже тогда, когда он вещает в свой кайзеровский рупор, слышится акцент, от которого с отвращением уклоняется ухо иностранца: но немцы выносят его – они выносят самих себя.

105

Немцы как художники. – Если уж немец действительно предается страсти (а не только по обыкновению доброй воле к страсти!), то он ведет себя в ней, как следует, и не думает больше о своем поведении. Истина, однако, в том, что он ведет себя тогда весьма нерасторопно и скверно, как бы без такта и мелодии, так что очевидцы испытывают при этом муку либо умиление, не больше, – *другое дело,* если он воспаряет в возвышенное и восторженное, на что способны иные страсти. Тогда даже немец становится *прекрасным!* Предчувствие того, *на какой высоте* начинает красота изливать даже на немцев свое очарование, влечет немецких художников ввысь и того выше, в разгул страсти: стало быть, действительно глубокое стремление выйти из скверного и нерасторопного состояния, по крайней мере, выглянуть – туда, в лучший, более легкий, более южный, более солнечный мир. И оттого часто их конвульсии оказываются лишь признаками того, что им хочется *танцевать:* этим бедным медведям, в которых подвизаются скрытые нимфы и лесные боги – а подчас и более высокие божества!

106

Музыка как заступница. – «Мне позарез нужен мастер музыки, – сказал один новатор своему ученику, – чтобы он перенял у меня мои мысли и впредь выражал их на своем языке: так я лучше проникну в уши и сердца людей. Звуками можно совратить людей ко всякому заблуждению и всякой истине: кому удалось бы *опровергнуть* звук?» – «Значит, ты хотел бы считаться неопровержимым?» – сказал его ученик. Новатор возразил: «Я хотел бы, чтобы росток стал деревом. Чтобы учение стало деревом, надо долгое время верить в него; чтобы верить в него, надо считать его неопровержимым. Дереву нужны бури, сомнения, черви, злоба, чтобы оно выявило породу и силу своего ростка; пусть оно сломится, если оно недостаточно сильно! Но росток всегда только уничтожается – не опровергается!» – Когда он сказал это, ученик порывисто воскликнул: «Но я верю в твое дело и считаю

его столь крепким, что выскажу решительно все, что у меня против него на сердце». – Новатор посмеялся про себя и погрозил ему пальцем. «Такого рода ученики, – сказал он затем, – лучше всех, но они опасны, и не всякое учение выдержит их».

107

Наша последняя благодарность искусству. – Если бы мы не одобряли искусств и не изобрели подобного культа недействительного, то сознание всеобщей недействительности и лживости, внушаемое нам теперь наукой, – сознание о мираже и заблуждении, как условии всего познаваемого и воспринимаемого бытия, – было бы совершенно невыносимым. *Честность* привела бы нас к отвращению и самоубийству. Но вот честности нашей противостоит неприятель, помогающий нам увернуться от таких выводов: искусство, как *добрая* воля к иллюзии.. Мы не всегда препятствуем нашему глазу закруглить, досочинить: и тогда то, что мы несем через поток становления, не выглядит уже извечным несовершенством, – тогда мы мним, что несем *Богиню,* и по-детски гордимся этим служением. Как эстетический феномен, наше существование все еще *сносно* для нас, и искусством даны нам глаза и руки и прежде всего чистая совесть для того, чтобы мы *смогли* из самих себя сотворить такой феномен. Нам следует время от времени отдыхать от самих себя, вглядываясь в себя извне и сверху, из артистической дали, смеясь *над* собою или плача *над* собою: мы должны открыть того *героя* и вместе с ним того *дурня,* который притаился в нашей страсти к познанию; мы должны время от времени веселиться нашей глупости, дабы остаться веселыми и в нашей мудрости! И именно потому что мы, в конце концов, тяжелые и серьезные люди, и больше гири, чем люди, ничто не доставляет нам такого удовольствия, как *дурацкий колпак:* он нужен нам для нас самих – всем нам потребно озорное, порхающее, танцующее, насмешливое, ребячливое и блаженное искусство, дабы не лишиться той *свободы над вещами,* которой требует от нас наш идеал. Для нас это было бы *рецидивом* – с нашей возбудимой честностью впол-

не уткнуться в мораль и ради тех сверхстрогих требований, которые мы в ней ставим себе, еще и превратиться в добродетельных чудищ и пугал. Мы должны *суметь* встать и *над* моралью, и не просто стоять с трусливой одеревенелостью человека, страшащегося каждое мгновение соскользнуть с нее и упасть, но и парить над нею и играть! Как бы смогли мы для этого обойтись без искусства, без того, чтобы не валять дурака? – И покуда вы хоть как-то еще стыдитесь самих себя, вы еще не с нами!

Третья книга

108

Новые битвы. – После того как Будда умер, в течение столетий показывали еще его тень в одной пещере – чудовищную, страшную тень. Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетия, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. – И мы – мы должны победить еще и его тень!

109

Остережемся! – Остережемся думать, что мир есть живое существо. Куда бы он тогда простирался? Чем бы питался? Как мог бы он расти и размножаться? Мы ведь знаем приблизительно, что такое органическое: так неужели все невыразимо производное, позднее, редкостное, случайное, что только мы ни воспринимаем на земной коре, нам следует перетолковывать в терминах существенного, всеобщего, вечного, как это делают те, кто называет вселенную организмом? Мне это противно. Остережемся и верить, что вселенная есть машина; она наверняка сконструирована не с какой-то целью; словом «машина» мы оказываем ей слишком высокую честь. Остережемся вообще и повсюду предполагать нечто столь формально совершенное, как циклические движения соседних нам звезд; уже один взгляд на Млечный Путь вызывает сомнение, нет ли там более грубых и противоречивых движений, равным образом звезд с вечно-прямолинейными траекториями падения и еще чего-либо аналогичного. Астральный распорядок, в котором мы живем, есть исключение; этот распорядок и обусловленная им внушительная длительность делают в свою очередь возможным исключение из исключений: образование

органического мира. Общий характер мира, напротив, извечно хаотичен, – не в смысле недостающей необходимости, а в смысле недостающего порядка, членения, формы, красоты, мудрости и как бы там еще ни назывались все наши эстетические антропоморфизмы. С точки зрения нашего разума промахи суть правила, исключения отнюдь не составляют тайной цели, и все произведение извечно повторяет свой мотив, который никогда не может быть назван мелодией, – да и само слово «промахи» есть уже антропоморфизм, заключающий в себе упрек. Но как могли бы мы порицать или восхвалять вселенную! Остережемся приписывать ей бессердечность и неразумность либо их противоположности: она не совершенна, не прекрасна, не благородна и не хочет стать ничем таким, она вовсе не стремится подражать человеку! Ее вовсе не трогают наши эстетические и моральные суждения! Ей чуждо даже всякое стремление к самосохранению и вообще всякое стремление; она не ведает также никаких законов. Остережемся утверждать, что в природе существуют законы. Существуют лишь необходимости: здесь нет никого, кто распоряжается, никого, кто повинуется, никого, кто нарушает. Зная, что нет никаких целей, вы знаете также, что нет и никакого случая, ибо только рядом с миром целей слово «случай» вообще имеет смысл. Остережемся говорить, что смерть противопоставлена жизни. Живущее есть лишь вид мертвого, и притом весьма редкий вид. – Остережемся думать, что мир создает вечно новое. Нет никаких вечно сущих субстанций; материя – такое же заблуждение, как Бог элеатов. Но когда придет конец нашим предосторожностям и попечениям? Когда все эти тени Бога перестанут нас омрачать? Когда обезбожим мы вконец природу? Когда будем мы вправе *оприродить* человека чистою, наново обретенною, наново освобожденною природой!

110

Происхождение познания. – На протяжении чудовищных отрезков времени интеллект не производил ничего, кроме заблуждений; некоторые из них оказывались полезными и

поддерживающими род: кто наталкивался на них или наследовал их, тот с бóльшим успехом боролся за себя и свое потомство. Подобные ложные верования, передававшиеся все дальше и дальше по наследству и наконец ставшие почти родовой основой человека, суть, например, следующие: существуют постоянные вещи; существуют одинаковые вещи; существуют вещи, вещества, тела; вещь есть то, чем она кажется; наша воля свободна; то, что хорошо для меня, хорошо и в себе и для себя. Лишь гораздо позже появились те, кто отрицал такие положения и подвергал их сомнению, – лишь гораздо позже появилась истина, как бессильнейшая форма познания. Казалось, что с нею жить невозможно, наш организм был устроен в противоположность ей; все его высшие функции, восприятия органов чувств и вообще всякого рода ощущения работали с этими испокон веков усвоенными фундаментальными заблуждениями. Более того: положения эти стали даже нормами познания, сообразно которым отмерялось «истинное» и «ложное», – вплоть до отвлеченнейших областей чистой логики. Итак: *способность* познания заключена не в степени его истинности, а в его возрасте, его органической усвоенности, его свойстве быть условием жизни. Где жизнь и познание казались противоречащими друг другу, там никогда ничто не оспаривалось всерьез; там отрицание и сомнение считались безумием. Те исключительные мыслители, которые, подобно элеатам, хоть и устанавливали противоречия в естественных заблуждениях и упорно настаивали на этом, все-таки верили в то, что и с этой противоположностью можно *жить:* они выдумали мудреца как человека, не подверженного никаким изменениям, безличного, универсального в своем созерцании, который есть одновременно одно и все и наделен особой способностью для этого вывернутого наизнанку познания; они полагали, что их познание есть в то же время принцип *жизни*. Но чтобы утверждать все это, они должны были *обманывать* себя по части собственного своего состояния: им приходилось измышлять себе безличность и постоянство без перемен, недооценивать сущность познающего, отрицать силу влечений в познании и вообще понимать разум как совершенно свободную, из себя самой возникающую активность; они закрывали

глаза на то, что и им удалось прийти к своим положениям, противореча расхожему мнению или стремясь к покою, к единоличному обладанию, к господству. Дальнейшее утончение честности и скепсиса сделало, наконец, и этих людей невозможными; их жизнь и суждения равным образом обнаружили свою зависимость от древнейших влечений и основных заблуждений всякого чувственно воспринимаемого бытия. – Эти более рафинированные честность и скепсис возникали повсюду, где два противоположных положения оказывались *применимыми* к жизни, поскольку оба уживались с основными заблуждениями, и где, стало быть, можно было спорить о большей или меньшей степени их *полезности* для жизни; а равным образом повсюду, где новые положения хоть и не оказывались для жизни полезными, но по крайней мере не причиняли ей вреда, будучи проявлениями склонности к интеллектуальным играм, невинными и блаженными, подобно всякой игре. Постепенно человеческий мозг наполнялся такими суждениями и убеждениями; в этом клубке возникало брожение, борьба и жажда власти. Не только польза и удовольствие, но и всякий род влечения принимал участие в борьбе за «истины»; интеллектуальная борьба стала занятием, увлечением, призванием, долгом, достоинством – познавание и стремление к истинному заняли наконец особое место в ряду прочих потребностей. Отныне не только вера и убеждение, но и испытание, отрицание, недоверие, противоречие стали *властью;* все «злые» инстинкты были подчинены познанию и поставлены ему на службу, и на них пал отблеск дозволенности, почтенности, полезности, и напоследок они стали глядеть невинным взглядом добра. Познание, таким образом, становилось частью самой жизни, и как жизнь – некой постоянно возрастающей властью, пока, наконец, не столкнулись друг с другом накопленные знания и те древнейшие основные заблуждения, то и другое уже как жизнь, как власть, то и другое в одном и том же человеке. Мыслитель: нынче это существо, в котором влечение к истине и те жизнеохранительные заблуждения вступили в свой первый поединок с тех пор, как стремление к истине *показало* себя жизнеохранительной властью. По сравнению с важностью этой борьбы все прочее безразлично: здесь поставлен последний вопрос об

условии жизни и сделана первая попытка ответить на этот вопрос с помощью эксперимента. В какой мере истина поддается органическому усвоению? – вот в чем вопрос, вот в чем эксперимент.

111

Происхождение логического. – Откуда в человеческой голове возникла логика? Наверное, из не-логического, царство которого первоначально, должно быть, было огромным. Но бесчисленное множество существ, умозаключающих иначе, чем умозаключаем теперь мы, погибло: это могло бы даже в большей степени отвечать действительности! Кто, например, не умел достаточно часто находить «такое же» в отношении пищи или враждебных ему зверей, кто, стало быть, слишком медленно обобщал, слишком осторожничал в обобщении, тот имел меньше шансов на выживание, чем тот, кто во всем схожем тотчас же угадывал тождество. Но преобладающая склонность обращаться со схожим, как с тождественным, нелогичная склонность – ибо на деле не существует ничего тождественного, – заложила впервые всю основу логики. Равным образом для возникновения столь необходимого для логики понятия субстанции, хотя ему в самом строгом смысле не соответствует ничего действительного, понадобилось в течение длительного времени не видеть и не воспринимать изменчивого характера вещей; недостаточно зоркие существа обладали преимуществом над теми, кто видел все «в потоке». Сама по себе всякая высокая степень осторожности в умозаключениях, всякая скептическая склонность есть уже большая опасность для жизни. Ни одно живое существо не уцелело бы, не будь в нем чрезвычайно сильно развита противоположная склонность – «скорее утверждать, чем приостанавливать суждение, скорее заблуждаться и измышлять, чем выжидать, скорее соглашаться, чем отрицать, скорее осуждать чем быть справедливым. – Ход логических мыслей и умозаключений в нашем теперешнем мозгу соответствует процессу и борьбе влечений, которые в отдельности и сами по себе исключительно нелогичны и несправедливы; мы узнаем обыкно-

венно лишь результат борьбы: столь быстро и столь скрытно срабатывает в нас нынче этот древнейший механизм.

112

Причина и следствие. – Мы называем это «объяснением», но это – «описание»: вот, что отличает нас от более древних ступеней познания и науки. Мы описываем лучше, а объяснения наши столь же никчемны, как и у всех прежних людей. Мы открыли многоступенчатую последовательность там, где наивный человек и исследователь, принадлежащий к более древним культурам, видел лишь двоякое, «причину» и «следствие», как было принято говорить; мы довели до совершенства образ становления, но не вышли за рамки самого этого образа. В каждом случае ряд «причин» предстает перед нами в гораздо более законченном виде; мы заключаем: сначала должно произойти вот это, дабы воспоследовало вон то, – но при этом мы не *понимаем* ровным счетом ничего. Качество, например, при каждом химическом соединении по-прежнему выглядит «чудом», как и всякое поступательное движение; никто еще толком не «объяснил» толчка. Да и как могли бы мы объяснить его! Мы оперируем сплошь и рядом несуществующими вещами: линиями, поверхностями, телами, атомами, делимыми временами, делимыми пространствами – какое тут может быть еще объяснение, когда мы заведомо все превращаем в *образ*, наш образ! Вполне достаточно и того, что мы рассматриваем науку как по возможности точное очеловечение вещей; описывая вещи и их последовательность, мы учимся с большей точностью описывать самих себя. Причина и следствие: подобного раздвоения, вероятно, нигде и не существует – в действительности нам явлен некий континуум, из которого мы урываем два-три куска, так же как и само движение мы воспринимаем всегда лишь в изолированных пунктах, стало быть, не видим его, а заключаем к нему. Внезапность, с которой выделяются многие следствия, вводит нас в заблуждение; но эта внезапность существует только для нас. Бесконечное множество событий, ускользающих от нас, сжато в этой секунде внезапности. Интеллект, ко-

торый видел бы причину и следствие как континуум, а не, на наш лад, как произвольную расчлененность и раздробленность – который видел бы поток событий, – отбросил бы понятия причины и следствия и отвергнул бы всякую обусловленность.

113

К учению о ядах. – Сколь многое требуется собрать воедино, чтобы возникло научное мышление, и все эти необходимые силы должны были быть в отдельности найдены, развиты и задействованы! В своей изолированности, однако, они весьма часто оказывали совершенно иное воздействие, чем теперь, когда в пределах научного мышления они ограничивают друг друга и соблюдают взаимную дисциплину: они действовали как яды, например, импульсы сомнения, отрицания, выжидания, накопления, разрешения. Многие гекатомбы людей были принесены в жертву, прежде чем эти импульсы научились понимать свою совместность и чувствовать себя совокупно функциями единой организующей силы в одном человеке! И сколь далеки мы еще от того момента, когда научное мышление соединится с художественными способностями и практической жизненной мудростью и образует более высокую органическую систему, в сравнении с которой ученый, врач, художник и законодатель, какими мы видим их теперь, покажутся безнадежно устаревшими.

114

Объем морального. – Мы моментально конструируем новый зримый нами образ с помощью всего прежнего опыта лишь *в меру* нашей честности и справедливости. Не существует никаких других переживаний, кроме моральных, даже в области чувственного восприятия.

115

Четыре заблуждения. – Человек воспитан своими заблуждениями: во-первых, он всегда видел себя лишь в незаконченном виде, во-вторых, он приписывал себе измышленные свойства, в-третьих, он чувствовал себя относительно животного мира и природы в ложной иерархической последовательности, в-четвертых, он всегда изобретал себе новые скрижали блага и какое-то время принимал их вечными и безусловными, так что на первом месте вставало и вследствие этой оценки облагораживалось то одно, то другое человеческое стремление и состояние. Если скинуть со счетов воздействие этих четырех заблуждений, то придется скинуть со счетов также гуманность, человечность и «человеческое достоинство».

116

Стадный инстинкт. – Там, где мы застаем мораль, там находим мы расценку и иерархию человеческих стремлений и поступков. Эта оценка и иерархия всегда оказываются выражением потребностей общины и стада: то, что идет *им* на пользу во-первых, во-вторых и в-третьих, – это и служит высшим масштабом при оценке каждого в отдельности. Мораль побуждает каждого быть функцией стада и лишь в качестве таковой приписывать себе ценность. Поскольку условия сохранения одной общины весьма отличались от условий сохранения другой, то существовали весьма различные морали, и с точки зрения предстоящих еще существенных преобразований стад и общин, государств и обществ можно решиться на пророчество, что впереди предстоят еще весьма различные морали. Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке.

117

Стадные угрызения совести. – В наиболее продолжительные и отдаленные эпохи человечества угрызения совести были

совершенно иными, чем сегодня. Нынче чувствуют себя ответственными лишь за то, чего хотят и что делают, и гордятся про себя: все наши учителя права исходят из этого самоощущения и удовлетворенности отдельного человека, как если бы отсюда издревле и бил источник права. Но на протяжении длительнейшего периода жизни человечества ни что не внушало большего страха, чем чувство самоизоляции. Быть одному, чувствовать в одиночку, не повиноваться, не повелевать, представлять собою индивидуум – это было тогда не удовольствием, а карой; «к индивидууму» приговаривались. Свобода мысли считалась сплошным неудобством. В то время как мы воспринимаем как принуждение и ущерб закон и порядок, прежде как нечто мучительное, как действительное бедствие воспринимали эгоизм. Быть самим собой, мерить самого себя на свой аршин – тогда это противоречило вкусу. Склонность к этому, возможно, сочли бы безумием, ибо с одиночеством были связаны всякие беды и страх. Тогда «свободная воля» тесно соседствовала с нечистой совестью, и чем несвободнее действовали, чем более проявлялся в поступках стадный инстинкт, а не личное чувство, – тем выше оценивали свою мораль. Все, что наносило вред стаду, безразлично, случалось ли это по воле или против воли индивида, вызывало в те времена угрызения совести – у него, а вдобавок еще у соседа и даже всего стада! – Мы в подавляющем большинстве прошли по этой части новую выучку.

118

Благоволение. – Добродетельно ли это, когда одна клетка превращается в функцию другой; более сильной клетки? Она должна сделать это. И не является ли злом со стороны более сильной то, что она ассимилирует слабую? Она также должна сделать это; ей это необходимо, поскольку она стремится к обильному пополнению и хочет регенерировать себя. Сообразно этому в благоволении следует различать склонность к усвоению и склонность к подчинению, в зависимости от того, испытывает ли благоволение более сильный или более слабый. Радость и желание соединены в более

сильном, который хочет превратить нечто в свою функцию; в более слабом, стремящемся стать функцией, соединены радость и желание быть желанным. – Сострадание, по сути дела, есть первое – некое приятное возбуждение склонности к усвоению при виде более слабого; при этом, правда, следует помнить, что «сильный» и «слабый» суть относительные понятия.

119

Никакого альтруизма! – Я подмечаю во многих людях избыточную силу и удовольствие от желания быть функцией; у них тончайший нюх на все те места, где как раз *им* и удалось бы быть функцией, и они так и прут туда. Сюда принадлежат женщины, превращающиеся в ту функцию мужа, которая слабо развита в нем самом, и становящиеся таким образом его кошельком, или его расчетливостью, или его светскостью. Такие существа лучше всего сохраняют себя, когда включаются в чужой организм; если им это не удается, они становятся злобными, раздражительными и пожирают сами себя.

120

Здоровье души. – Излюбленную медицинскую формулу морали (восходящую к Аристону Хиосскому): «Добродетель – здоровье души» – надо, хотя бы в целях годности, переиначить следующим образом: «Твоя добродетель – здоровье твоей души». Ибо здоровья самого по себе не существует, и все попытки определить такого рода предмет кончаются плачевной неудачей. Чтобы установить, *что* собственно означает здоровье для твоего *тела*, надо свести вопрос к твоей цели, твоему кругозору, твоим силам, твоим склонностям, твоим заблуждениям и в особенности к идеалам и химерам твоей души. Посему существуют неисчислимые здоровья тела, и чем более снова позволяют единичному и уникальному поднимать голову, чем больше отучиваются от догмы о «равенстве людей», тем скорее должно исчезнуть у наших медиков понятие нормального здоровья, вме-

сте с нормальной диетой и нормальным ходом болезни. Тогда лишь было бы своевременным поразмыслить о здоровье и болезни *души* и перевести в ее здоровье своеобразную добродетель каждого человека: конечно, здоровье одного могло бы выглядеть здесь так, как противоположность здоровья у другого. Наконец, открытым остается еще и большой вопрос, в состоянии ли мы *обойтись* без заболевания, даже в том, что касается развития нашей добродетели, и не нуждается ли больная душа, ничуть не менее здоровой, как раз в нашей жажде познания и самопознания: короче, не есть ли исключительная воля к здоровью предрассудок, трусость и, пожалуй, проявление утонченнейшего варварства и отсталости.

121

Жизнь – вовсе не аргумент. – Мы устроили себе мир, в котором можем жить, – с помощью гипотезы тел, линий, поверхностей, причин и следствий, движения и покоя, формы и содержания: без этих догматов веры никто не смог бы прожить и мгновения! Но тем самым догматы эти еще отнюдь не доказаны. Жизнь – вовсе не аргумент; в числе условий жизни могло бы оказаться и заблуждение.

122

Моральный скепсис в христианстве. – Христианство внесло свой большой вклад в просвещение: оно преподало урок морального скепсиса – весьма настойчивым и действенным способом – обвиняя, вызывая ожесточение, но с неистощимым терпением и тактом; в каждом отдельном человеке оно уничтожало веру в его «добродетели»; оно навсегда стерло с лица земли те великие добродетели, которыми изобиловала древность, – тех популярных людей, которые, веруя в свое совершенство, шествовали с достоинством героев корриды. Если мы, воспитанные в этой христианской школе скепсиса, станем теперь читать моральные книги древних, скажем, Сенеки и Эпиктета, мы почувствуем занятное пре-

восходство и преисполнимся тайных видов и перспектив; при этом у нас будет такое настроение, будто некое дитя разглагольствовало в присутствии старца либо юная красивая энтузиастка в присутствии Ларошфуко: нам-то лучше известно, что такое добродетель! В конце концов, однако, мы обратили этот самый скепсис и на все *религиозные* состояния и события, как-то: грех, раскаяние, благодать, освящение, и так глубоко зарыли червя, что даже при чтении всех христианских книг мы испытываем то же самое чувство рафинированного превосходства и проницательности: нам-то и религиозные чувства лучше известны! И вот пора как следует узнавать их и как следует описывать, ибо вымирают благочестивцы старой веры, – постараемся же спасти их образ и их тип, по крайней мере, в интересах познания!

123

Познание больше, чем средство. – И *без* этой новой страсти – я имею в виду страсть познавания – подвигалась бы наука: до сих пор наука росла и мужала без нее. Благополучная вера в науку, потворствующий ей предрассудок, которым охвачены нынче наши державы (некогда даже и церковь), покоится, в сущности, на том, что эта безусловная тяга и склонность обнаруживается в ней самой крайне редко и что наука считается как раз *не* страстью, а состоянием и «этосом». Конечно, часто достаточно уж одного amour-plaisir познания (любопытства), достаточно amour vanite, привычки к ней, с задней мыслью о почестях и куске хлеба; для многих достаточно и того, что при избытке досуга они не способны ни на что иное, кроме чтения, коллекционирования, упорядочивания, наблюдения, пересказа; их «научная склонность» – это их скука. Папа Лев X однажды (в папской грамоте к Бероальду) воспел хвалу науке: он называет ее прекраснейшим украшением и величайшей гордостью нашей жизни, благородным времяпрепровождением в счастье и горе; «без нее, – говорит он в заключение, – дела человеческие были бы лишены твердой опоры – ведь даже и с нею они все еще достаточно переменчивы и шатки!» Но этот в меру скептичный папа замалчивает, как и все прочие цер-

ковные панегиристы науки, свое последнее мнение о ней. Правда, из его слов можно заключить – и это весьма примечательно для такого друга искусств, – что он ставит науку выше искусства; но в конце концов это всего лишь учтивость, если он не говорит здесь о том, что именно ставит он превыше всякой науки: об «откровенной истине» и о «вечном благе души», – что ему в сравнении с этим украшение, гордость, опора, надежность жизни! «Наука есть нечто второстепенное, в ней нет ничего окончательного, безусловного, никакого предмета страсти» – это мнение так и осталось в душе Льва: вот подлинно христианское мнение о науке! – В древности ее достоинство и признание умалялись тем, что даже среди наиболее ревностных ее адептов на первом месте стояло стремление к *добродетели*, и высочайшей похвалой познанию считалось чествование его как лучшего средства для стяжания добродетели. Это что-то новое в истории, когда познание хочет быть больше, чем средством.

124

На горизонте бесконечного. – Мы покинули сушу и пустились в плавание! Мы снесли за собою мосты – больше того, мы снесли и саму землю! Ну, кораблик! Берегись! Вокруг тебя океан: правда, он не всегда ревет и порою лежит, словно шелк и золото, грезя о благе. Но наступит время, и ты узнаешь, что он бесконечен и что нет ничего страшнее бесконечности. О, бедная птица, жившая прежде на воле, а нынче бьющаяся о стены этой клетки! Горе тебе, если тебя охватит тоска по суше и дому, словно там было больше *свободы*, – а никакой «суши»-то уже и нет!

125

Безумец. – Слышали ли вы о том безумце, который в ясный полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» – Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раз-

дался хохот. «Он что, пропал?» – сказал один. «Он заблудился, как ребенок», – сказал другой. «Или спрятался? Боится нас? Пустился в плавание? Эмигрировал?» – кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. «Куда девался Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! *Мы его убили* – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не сгущается ли все больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы еще не слышим шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? – и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешиться нам, убийцам из убийц! Самое священное и могущественное, что только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого деяния не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не совершалось деяния более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, нежели вся прежняя история!» – Здесь безумец замолчал и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и они, удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. «Я пришел слишком рано, – сказал он тогда, – мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам – весть о нем не дошла еще до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время, после того как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные светила, – *и все-таки вы совершили его!*» – Рассказывают еще, что в тот же день безумец врывался в церк-

ви и пел в них свой Requiem aeternam deo[1]. Его выгоняли и призывали к ответу, а он ладил все одно и то же: «А что же такое эти церкви, если не склепы и надгробия Бога?»

126

Мистические объяснения. – Мистические объяснения считаются глубокими; истина в том, что они даже и не поверхностны.

127

Последствие древнейшей религиозности. – Всякий, кто не привык мыслить, полагает, что только воля есть действующее; что воление представляет собою нечто простое, попросту данное, невыводимое, само собой понятное. Он убежден, что, делая нечто, например производя удар, ударяет *он* сам, и ударяет потому, что *хотел* ударить. Для него в этом нет ничего проблематичного, ему вполне достаточно и чувства *желания*, чтобы не только признать причину и следствие, но и поверить в то, что он *понимает* их связь. Он ничего не знает о механизме события и о стократ тонкой работе, которая должна быть совершена, чтобы дело дошло до удара, а равным образом и о неспособности воли самой по себе принять хоть малейшее участие в этой работе. Воля для него – магически действующая сила: вера в волю как причину действий есть вера в магически действующие силы. Первоначально человек повсюду, где он видел какое-либо событие, веровал в волю как причину и в лично-волящих существ, действующих на заднем плане, – до понятия механики ему было еще совсем далеко. Поскольку же человек на протяжении огромного периода веровал только в персонифицированное (а не в материю, силы, вещи и т.д.), вера в причину и следствие стала его основной верой, которую он применяет повсюду, где что-либо происходит, – даже и теперь еще проявляется это инстинктивно и как некий ата-

1 Вечная память Богу (*лат.*).

визм древнейшего происхождения. Положения «нет следствия без причины», «всякое следствие есть новая причина» – предстают обобщениями гораздо более узких положений: «если нечто свершилось, то в результате воления», «можно воздействовать лишь на волящие существа», «не бывает чистого, лишенного последствий претерпевания какого-либо действия, но всякое претерпевание есть возбуждение воли» (к действию, обороне, мести, воздаянию), – однако в незапамятные времена человечества как те, так и эти положения были идентичны: не первые являлись обобщениями вторых, но вторые – объяснениями первых. – Шопенгауэр своим допущением, что все налично существующее есть нечто волящее, возвел на трон первобытную мифологию; ему, по-видимому, так и не довелось проанализировать волю, поскольку он, подобно каждому, *верил* в простоту и непосредственность всякого воления, – в то время как воление есть лишь настолько хорошо налаженный механизм, что почти ускользает от наблюдающего глаза. В противоположность ему я выставляю следующие положения: во-первых, чтобы возникла воля, необходимо представление об удовольствии и неудовольствии. Во-вторых: то, что какое-нибудь сильное раздражение ощущается как удовольствие или неудовольствие, есть дело *интерпретирующего* интеллекта, который, разумеется, большей частью действует при этом без нашего ведома; и, стало быть, одно и то же раздражение *может* быть истолковано как удовольствие либо неудовольствие. В-третьих: только у обладающих интеллектом существ есть удовольствие, неудовольствие и воля; громадное большинство организмов начисто лишены их.

128

Ценность молитвы. – Молитва придумана для таких людей, которые никогда не имеют собственных мыслей и которым остается неведомым либо незамеченным возвышенное состояние души; что им за дело до святых мест и всех значительных жизненных ситуаций, требующих покоя и своего рода достоинства? Чтобы они по крайней мере не *мешали,* мудрость всех основателей религии, как малых, так и вели-

ких, рекомендовала им формулу молитвы, как долгой механической губной работы, связанной с напряжением памяти и с одинаковыми зафиксированными положениями рук и ног – и остановившимся взглядом! Пусть они теперь, подобно тибетцам, бесчисленное количество раз пережевывают себе свое «Ом мане падме хум», или, как в Бенаресе, считают на пальцах имя Бога Рам-Рам-Рам (и так далее, грациозно либо без всякой грации), или почитают Вишну с его тысячью и Аллаха с его девяноста девятью именами; пусть они пользуются себе молитвенными мельницами и четками – суть дела в том, что эта работа придает им на время устойчивость и сносный вид: их способ молиться придуман во благо тех благочестивцев, которые обладают собственными мыслями и не лишены душевных подъемов. И даже этим последним не чужды минуты усталости, когда череда достопочтенных слов и звучаний и вся набожная механика оказывает на них благотворное воздействие. Но допустив, что эти редкие люди – в каждой религии религиозный человек есть исключение – умеют помогать себе сами, придется признать, что этого лишены нищие духом; а запретить им трещотку молитвы – значит отнять у них их религию, как это все больше и больше обнаруживает протестантизм. Религия хочет от них только одного – чтобы они *сохраняли покой* – глазами, руками, ногами и всякого рода органами: это порою приукрашивает их и делает – более человекоподобными!

129

Условия существования Бога. – «Сам Бог не может существовать без мудрых людей», – сказал Лютер, и с полным правом; но «Бог еще менее может существовать без неумных людей» – этого добрый Лютер не сказал!

130

Опасное решение. – Христианское решение находить мир безобразным и скверным сделало мир безобразным и скверным.

131

Христианство и самоубийство. – Христианство сделало рычагом своей власти необыкновенно распространенную ко времени его возникновения жажду самоубийства: оно оставило лишь две формы самоубийства, облекло их высочайшим достоинством и высочайшими надеждами и страшным образом запретило все прочие. Но мученичество и медленное умерщвление плоти были дозволены.

132

Против христианства. – Теперь против христианства решает наш вкус, а уже не наши доводы.

133

Основоположение. – Неизбежная гипотеза, в которую все снова и снова должно впадать человечество, долгое время будет еще *могущественнее* самой уверованной веры в нечто неистинное (подобно христианское вере). Долгое время: здесь это значит на сотню тысяч лет вперед.

134

Пессимисты как жертва. – Там, где преобладает глубокое недовольство существованием, сказываются последствия грубых нарушений диеты, в которых длительное время был повинен народ. Так, распространение буддизма (*не* его возникновение) в значительной части зависит от чрезмерного и почти исключительного рисового рациона индусов и обусловленного им всеобщего расслабления. Возможно, европейское недовольство Нового времени следует усматривать в том, что наши предки, все Средневековье, благодаря воздействиям на Европу германских склонностей, предавались пьянству: Средневековье – значит алкогольное отравление Европы. – Немецкое недовольство жизнью есть,

в сущности, зимняя хворь, с учетом спертого подвального воздуха и печного угара в немецких жилищах.

135

Происхождение греха. – Грех, как его нынче ощущают повсюду, где господствует или некогда господствовало христианство, – грех есть еврейское чувство и еврейское изобретение, и с точки зрения этого заднего плана всей христианской моральности христианство на деле добивалось того, чтобы «оевреить» весь мир. В какой мере удалось ему это в Европе, тоньше всего ощущается по той степени чуждости нашему восприятию, каковую все еще сохраняет греческая древность – мир, лишенный чувства греха, – несмотря на всю добрую волю к сближению и усвоению, в которой не испытывали недостатка целые поколения и множество превосходных людей. «Лишь когда ты *покаешься,* смилостивится Бог над тобою» – у какого-нибудь грека это вызвало бы хохот и досаду: он сказал бы: «Так могут ощущать рабы». Здесь в качестве предпосылки допущен некто могущественный, сверхмогущественный и все-таки мстительный: власть его столь велика, что ему вообще не может быть нанесено никакого ущерба, кроме как в пункте чести. Каждый грех есть оскорбление респекта, некий crimen laesae majestatis divinae[1] – и больше ничего! Надо самоуничижаться, унижаться, валяться в пыли – таково первое и последнее условие, с которым связана его милость, этого, стало быть, требует восстановление его божественной чести!

Причиняется ли грехом поверх этого вред, насаждается ли им глубокое, растущее зло, охватывающее и душащее, как болезнь, одного за другим, – все это ничуть не заботит этого тщеславного азиата на небеси: грех есть прегрешение перед ним, не перед человечеством! – кому он даровал свою милость, тому дарует он и эту беззаботность в отношении естественных последствий греха. Бог и человечество мыслятся здесь настолько разъятыми и противопоставленными, что, в сущности, перед последним вообще не может

1 Оскорбление божественного величия (*лат.*).

быть совершено никакого греха, – всякий поступок должен рассматриваться *лишь в своих сверхъестественных последствиях*, а отнюдь не в естественных: такова воля этого еврейского чувства, для которого все естественное недостойно уже само по себе. *Грекам*, напротив, ближе оказывалась мысль, что даже кощунство может обладать достоинством, даже воровство, как в случае Прометея, даже убой скота, как проявление безумной зависти, – случай Аякса: в своей потребности придать преступлению достоинство и сотворить его с достоинством они изобрели *трагедию* – искусство и удовольствие, которое глубочайшим образом осталось чуждым еврею, несмотря на всю его поэтическую одаренность и склонность к возвышенному.

136

Избранный народ. – Евреи, чувствующие себя избранным народом среди прочих народов, и потому именно, что они суть моральный гений среди народов (в силу способности *глубже презирать* в себе человека, чем это присуще какому-либо народу), – евреи испытывают от своего божественного монарха и святого наслаждение, аналогичное тому, какое французское дворянство испытывало от Людовика XIV. Это дворянство выпустило из рук все свое могущество и самовластие и стало презренным: дабы не чувствовать этого, дабы суметь забыть это, требовались королевский блеск, королевский авторитет и полнота власти, *не имеющие себе равных*, к чему лишь дворянство имело открытый доступ. Когда, сообразно этой привилегии, поднялись до высоты двора и, озираясь с нее, увидели все нижележащее презренным, тогда совесть утратила всякую чувствительность. Таким умышленным образом все больше громоздили башню королевской власти в облака, используя для этого последние кубики собственной власти.

137

Говоря притчей. – Некто Иисус Христос был возможен лишь среди иудейского ландшафта – я имею в виду ландшафт, над которым постоянно нависало мрачное и патетическое грозовое облако сердитого Иеговы. Только здесь одинокий солнечный луч, внезапно просквозивший кромешные, непрерывные будни, ощущался как чудо «любви», как луч совершенно незаслуженной «милости». Только здесь мог Христос грезить о своей радуге и небесной лествице, по которой Бог низошел к человеку; ясная погода и солнце во всех других местах считались безусловным правилом и повседневностью.

138

Заблуждение Христово. – Основатель христианства полагал, что ни от чего не страдали люди сильнее, чем от своих грехов: это было его заблуждением, заблуждением того, кто чувствовал себя без греха, кому здесь недоставало опыта! Так исполнялась его душа дивной, фантастической жалости к страданию, которое даже у его народа, изобретателя греха, редко оказывалось большим страданием! – Но христианам пришло в голову задним числом оправдать своего учителя и канонизировать его заблуждение в качестве «истины».

139

Цвет страстей. – Натурам, подобным апостолу Павлу, свойствен «дурной глаз» на страсти; они узнают в них только грязное, искажающее и душераздирающее, – оттого их идеальный порыв сводится к уничтожению страстей. Божественное видится им полностью очищенным от них. Совершенно иначе, чем Павел и иудеи, греки устремляли свой идеальный порыв как раз на страсти, любя, возвышая, позлащая, боготворя их; очевидно, они чувствовали себя в страсти не только счастливее, но также чище и божественнее, чем в других состояниях. – А что же христиане? Хотели ли они стать в этом иудеями? Может быть, они и стали ими?

140

Слишком по-еврейски. – Если Бог хотел стать предметом любви, то ему следовало бы сперва отречься от должности судьи, вершащего правосудие: судья, даже милосердный, не есть предмет любви. Основатель христианства недостаточно тонко прочувствовал это, будучи иудеем.

141

Слишком по-восточному. – Как? Бог, который любит людей, если только они веруют в него, и который мечет громы и молнии против того, кто не верит в эту любовь! Как? Оговоренная любовь, как чувство всемогущего Бога! Любовь, не взявшая верх даже над чувством чести и раздраженной мстительности! Как все это по-восточному! «Если я люблю тебя, что тебе за дело до этого?» – вполне достаточная критика всего христианства.

142

Каждение. – Будда говорит: «Не льсти своему благодетелю!» Пусть повторят это речение в какой-нибудь христианской церкви: оно тотчас же очистит воздух от всего христианского.

143

Величайшая польза политеизма. – То, что отдельный человек устанавливает себе *собственный* свой идеал и выводит из него свой закон, свои радости и свои права, – это считалось до сих пор наиболее чудовищным из всех человеческих заблуждений и самим идолопоклонством; на деле те немногие, которые отваживались на это, всегда нуждались в некотором самооправдании, и оно гласило по обыкновению: «Не я! не я! но кто-то из богов через меня!» Чудесное искусство и способность создавать богов – политеизм – и бы-

ли тем, в чем могло разряжаться это влечение, в чем оно очищалось, совершенствовалось, облагораживалось: ибо поначалу дело шло о некоем сером и невзрачном влечении, родственном упрямству, непослушанию и зависти. *Отвергать* это влечение к собственному идеалу – таков был прежде закон всякой нравственности. Тогда была лишь одна норма: «человек», – и каждый народ верил в то, что он *имеет* эту единственную и последнюю норму. Но над собою и вне себя, в отдаленном горнем мире, вправе были видеть *множество норм:* один бог не был отрицанием другого бога или хулой на него! Здесь впервые позволили себе индивидуумов, здесь прежде всего чтили право индивидуумов. Изобретение богов, героев и сверхчеловеков всякого рода, равно как и человекообразных и недочеловеков, карликов, фей, кентавров, сатиров, демонов и чертей, было неоценимой выработкой навыка для оправдания себялюбия и своевластия отдельного человека: свободу, которую предоставляли одному богу в отношениях с другими богами, вменили, наконец, и самим себе по отношению к законам, нравам и соседям. Напротив, монотеизм, этот окоченелый вывод из учения о едином эталоне Человека – стало быть, вера в некий эталон Бога, рядом с которым существуют разве что только поддельные лжебоги, – был, возможно, величайшей опасностью для прежнего человечества; последнему грозил тогда тот преждевременный застой, в который – насколько мы можем видеть – уже давно впало большинство прочих животных видов; ведь все они совокупно верят в некий эталон Зверя, как в идеал их собственной породы, и окончательно ввели в свою плоть и кровь нравственность нравов. В политеизме был создан первый образец свободомыслия и разномыслия человека: сила формировать себе новое и собственное зрение, постоянно обновляющееся и все более собственное, так что среди всех животных только для человека не существует никаких вечных горизонтов и перспектив.

144

Религиозные войны. – Религиозная война способствовала до сих пор величайшему прогрессу масс, ибо она доказывает,

что массы стали почтительно обращаться с понятиями. Религиозные войны возникают тогда лишь, когда общий уровень мысли изощряется в ходе рафинированных споров между сектами, так что даже чернь становится остроумной и принимает всерьез пустяки, считая вполне возможным ставить «вечное спасение души» в зависимость от ничтожных различий в понятиях.

145

Опасность вегетарианства. – Превалирующее, непомерное потребление риса приводит к увлечению опиумом и наркотическими средствами, равным образом как превалирующее, непомерное потребление картофеля приводит к водке; оно приводит также, хотя и в своих более тонких последствиях, к наркотически действующим образу мысли и чувствованию. Сообразно этому приспешники наркотического образа мыслей и чувствования, подобно тем индийским учителям, прославляют чисто растительную диету и силятся сделать ее законом для масс: таким путем они хотят вызывать и умножать потребность, которую *сами они* в состоянии удовлетворять.

146

Немецкие надежды. – Не будем все-таки забывать, что названия народов суть по обыкновению оскорбительные клички. Татары, например, по своему имени – «собаки»: так окрестили их китайцы. «Немцы» (die «Deutschen»): первоначально это означало «язычники (die «Heiden»); так готы после обращения называли большую массу своих некрещенных соплеменников, руководствуясь своим переводом Септуагинты, где язычники обозначены словом, которое погречески означает «народы»: смотри об этом у Ульфилы. – Можно было бы все же допустить, что немцы задним числом сделают себе из своей старой оскорбительной клички почетное имя, став первым *нехристианским* народом Европы: к чему, по Шопенгауэру, ставившему им это в заслугу,

они в высшей степени расположены. Тогда завершилось бы дело *Лютера*, который научил их быть неримскими и говорить: «Здесь я стою! Я не могу иначе!»

147

Вопрос и ответ. – Что прежде всего перенимают нынче дикари у европейцев? Водку и христианство, европейские *наркотики.* – А от чего они скорее всего гибнут? – От европейских *наркотиков.*

148

Где возникают Реформации. – Ко времени великой порчи церкви церковь в Германии была менее всего испорчена: поэтому возникла *здесь* Реформации, как знак того, что уже и зачатки порчи ощущались невыносимыми. Соответственно никогда не было более христианского народа, чем немцы времен Лютера: их христианская культура была вот-вот готова распуститься в великолепном многосложном цветении – недоставало только одной ночи, но ночь принесла бурю, положившую всему конец.

149

Неудача Реформаций. – О высокой культуре греков даже в достаточно ранние времена говорит то обстоятельство, что неоднократные попытки основать новые греческие религии потерпели крах; это свидетельствует о том, что уже тогда в Греции было множество разнородных индивидуумов, разнородным нуждам которых не отвечал один-единственный рецепт веры и надежды. Пифагор и Платон, возможно, и Эмпедокл, и уже гораздо раньше орфические мечтатели пытались основать новые религии, а первые двое из названных обладали такими доподлинными душами и талантами основателей религии, что неудача их не перестает удивлять: они не пошли дальше сект. Всякий раз, когда не

удается всенародная Реформация и поднимают головы только секты, есть основания заключать, что народ весьма разнороден в себе и начинает освобождаться от грубых стадных инстинктов и нравственности нравов: речь идет о том многозначном шатком положении, которое обыкновенно поносят как упадок нравов и коррупцию, тогда как на деле оно возвещает созревание яйца и близость вылупления. Что Лютеру на Севере удалась Реформация, свидетельствует о том, что Север отстал от Юга Европы и жил еще достаточно однородными и однотонными потребностями; и вообще не было бы никакой христианизации Европы, если бы культура древнего южного мира не оказалась постепенно низведенной до уровня варварства вследствие чрезмерной примеси германской варварской крови и не потеряла своего культурного перевеса. Чем шире и безусловнее воздействие, производимое отдельным человеком или мыслью отдельного человека, тем однороднее и низменнее должна быть масса, на которую оказывают воздействие; между тем как противоположные устремления свидетельствуют о наличии внутренних противоположных потребностей, которые тоже стремятся к удовлетворению и к тому, чтобы одержать верх. Напротив, всегда есть основания заключать о действительно высокой культуре там, где могущественные и властолюбивые натуры добиваются лишь незначительного и сектантского воздействия: это относится и к отдельным искусствам и сферам познания. Где властвуют, там есть массы; где есть массы, там есть потребность в рабстве. Где есть рабство, там лишь немногие остаются индивидуумами, и против них оборачиваются стадные инстинкты и совесть.

150

К критике святых. – Неужели для того, чтобы обладать добродетелью, нужно стяжать ее именно в самом жестоком ее виде, как этого хотели и в этом нуждались христианские святые? Жизнь была для них сносной только при мысли о том, что от одного вида их добродетели каждого очевидца охватывает презрение к себе. Но добродетель, оказывающую такое воздействие, я называю жестокой.

151

О происхождении религии. – Вовсе не в метафизической потребности находится источник религий, как этого хочет Шопенгауэр; она сама есть лишь *отпрыск* последних. Под властью религиозных мыслей свыклись с представлением об «ином (заднем, нижнем, высшем) мире», и с уничтожением религиозного бреда испытывают неприятную пустоту и лишение – из этого-то чувства и вырастает снова «иной мир», на сей раз, однако, не религиозный, а лишь метафизический. Но то, что в незапамятные времена вообще вело к допущению «иного мира», было *не* стремлением и *не* потребностью, а *заблуждением* в толковании определенных естественных процессов, замешательством интеллекта.

152

Величайшая перемена. – Переменились освещение и краски всех вещей! Нам уже не вполне понятно самое близкое и самое привычное, как чувствовали его древние, – например, день и бодрствование: оттого, что древние верили в сны, сама бодрственная жизнь представала в ином освещении. То же и со всей жизнью, на которую смерть и ее значение бросали обратный отсвет: наша «смерть» есть совершенно другая смерть. Все переживания светились иначе, ибо некое Божество просвечивало из них; то же все решения и виды на далекое будущее, ибо были оракулы, и тайные знамения, и вера в предсказания. «Истина» ощущалась иначе, ибо прежде и безумный мог слыть ее глашатаем, – *нас* от этого пробирает дрожь или разбирает смех. Каждая несправедливость иначе воздействовала на чувство, ибо страшились божественного воздаяния, а не только гражданского наказания и позора. Какая радость царила в то время, когда верили в черта и искусителя! Какая страсть, когда взору представали подстерегавшие демоны! Какая философия, когда сомнение ощущалось как прегрешение опаснейшего рода, а именно, как хула на вечную любовь, недоверие ко всему, что было хорошего, высокого, чистого и милосердного! – Мы наново окрасили вещи, мы непрестан-

но малюем их, – но куда нам все еще до *красочного великолепия* того старого мастера! – Я разумею древнее человечество.

153

Homo poeta. – «Я сам, я, собственноручно создавший эту трагедию трагедий, в той мере, в какой она готова; я, впервые связавший в существование узел морали и так затянувший его, что распутать его под силу разве что какому-нибудь богу – так ведь и требует этого Гораций! – я сам погубил теперь в четвертом акте всех богов – из моральных соображений! Что же выйдет теперь из пятого! Откуда еще взять трагическую развязку! – Не начать ли мне думать о комической развязке?»

154

По-разному опасна жизнь. – Вы вовсе не знаете того, что переживаете: вы бежите по жизни, словно пьяные, и валитесь временами с лестницы. Однако, благодаря опьянению, вы не ломаете при этом себе конечностей: ваши мускулы слишком вялы, а голова слишком мутна, чтобы камни этой лестницы казались вам столь же твердыми, как нам, другим! Для нас жизнь есть бóльшая опасность: мы из стекла – горе, если мы *столкнемся!* И все кончено, если мы *упадем!*

155

Чего нам недостает. – Мы любим *великую* природу и мы открыли ее: это оттого, что нашим мыслям недостает великих людей. Совсем иное дело – греки: их чувство природы было другим, чем у нас.

156

Влиятельнейший. – Что какой-нибудь человек сопротивляется всему своему времени, не пускает его на порог и при-

влекает к ответственности, это *должно* оказывать влияние! Хочет ли он этого, безразлично; главное, что он *может* это.

157

Mentiri. – Берегись! – он призадумался: сейчас у него будет готова ложь. Это – ступень культуры, на которой стояли целые народы. Припомним, что выражали римляне словом mentiri[1]!

158

Неудобное свойство. – Находить все вещи глубокими – это неудобное свойство: оно вынуждает постоянно напрягать глаза и в конце концов всегда находить больше, чем того желали.

159

Каждой добродетели свое время. – Кто нынче непреклонен, у того его честность часто вызывает угрызения совести: ибо непреклонность – добродетель иной эпохи, нежели честность.

160

В обращении с добродетелями. – Можно и по отношению к добродетели вести себя недостойно и как подлиза.

161

Любителям эпохи. – Поп-расстрига и освобожденный каторжник непрерывно «строят физиономию»: чего они хотят, так

---

1 Лгать (*лат.*). Этимологически связано со словом mens – мышление, ум (*лат.*).

это физиономии без прошлого. – Но доводилось ли вам уже видеть людей, которые знают, что на их лицах отражается будущее, и которые столь вежливы по отношению к вам, вы, любители «эпохи», что строят физиономию без будущего?

162

Эгоизм. – Эгоизм есть закон *перспективы* в ощущениях, по которому ближайшее предстает большим и тяжелым, тогда как по мере удаления все вещи убывают в величине и весе.

163

После большой победы. – Лучшее в большой победе то, что она отнимает у победителя страх перед поражением. «Почему бы однажды и не потерпеть поражение? – говорит он себе. – Я теперь достаточно богат для этого».

164

Ищущие покоя. – Я различаю умы, ищущие покоя, по множеству *темных* предметов, которыми они обставляют себя: кому хочется спать, тот затемняет комнату или заползает в нору. – Намек тем, кто не знает, но хотел бы знать, чего, собственно, они ищут больше всего!

165

О счастье отрекающегося. – Кто основательно и надолго запрещает себе что-либо, тот при новом случайном соприкосновении с ним мнит себя чуть ли не его открывателем – а как счастлив каждый открыватель! Будем же умнее змей, которые слишком долго лежат на том же солнцепеке.

166

Всегда в своем обществе. – Все, что сродни мне в природе и в истории, обращается ко мне, восхваляет меня, влечет меня вперед, утешает меня – все прочее я не слышу или сразу же забываю. Мы всегда – только в своем обществе.

167

Мизантропия и любовь. – Лишь тогда говорят о том, что пресытились людьми, когда не могут их больше переваривать, хотя желудок еще заполнен ими. Мизантропия есть следствие слишком ненасытной любви к людям и «людоедства» – но кто же просил тебя глотать людей, как устриц, мой принц Гамлет?

168

Об одном больном. – «Его дела плохи!» – Чего же ему недостает? – «Он жаждет похвал, но не может утолить этой жажды». – Непостижимо! Весь мир славит его, и его носят не только на руках, но и на устах! – «Да, но он плохо слышит похвалу. Когда его хвалит друг, ему слышится, будто тот хвалит самого себя; когда его хвалит враг, это звучит для него так, словно тот сам хочет получить за это похвалу; когда, наконец, его хвалит кто-либо другой – а других не так уж и много: настолько он знаменит! – его оскорбляет то, что не хотят сделать его другом или врагом; он говорит обычно: «Что мне до того, кто даже по отношению ко мне способен еще строить из себя праведника!»

169

Открытые враги. – Храбрость перед лицом врага есть некая вещь в себе: обладая ею, можно оставаться трусом и нерешительным путаником. Так судил Наполеон о «храбрейшем» из известных ему людей – Мюрате, – из чего следует, что

открытые враги необходимы иным людям, на случай, если тем вздумается возвыситься до *своей* добродетели, своего мужества и веселья.

170

С толпою. – Он бегает до сих пор за толпою и расточает ей хвалы: но наступит день, и он станет ее противником! Ибо он следует за нею, полагая, что его лень найдет себе при этом подобающее ей место: ему еще неизвестно, что толпа недостаточно ленива для него! что она всегда рвется вперед! что она не позволяет никому стоять на месте! – А ему так нравится стоять на месте!

171

Слава. – Когда благодарность многих к одному теряет всякий стыд, рождается слава.

172

Портящий вкус. – А: «Ты портишь вкус! – так говорят повсюду». Б: «Несомненно. Я порчу каждому вкус к его партии – этого не прощает мне ни одна партия».

173

Быть глубоким и казаться глубоким. – Кто знает себя глубоко, заботится о ясности; кто хотел бы казаться глубоким толпе, заботится о темноте. Ибо толпа считает глубоким все то, чему она не может видеть дна: она так пуглива и так неохотно лезет в воду!

174

В сторону. – Парламентаризм, то есть публичное разрешение на право выбора между пятью основными политическими мнениями, втирается в доверие многим, которые не прочь *выглядеть* самостоятельными и индивидуальными и бороться за свои мнения. Но в конечном счете безразлично, велено ли стаду иметь одно мнение или разрешены все пять. – Кто уклоняется от пяти общественных мнений и отступает в сторону, тот всегда оказывается один против всего стада.

175

О красноречии. – Кто до сих пор обладал самым убедительным красноречием? Барабанная дробь: и покуда ею владеют короли, они все еще остаются лучшими ораторами и подстрекателями масс.

176

Сострадание. – Бедные царствующие монархи! Все их права нынче неожиданно превращаются в притязания, а все эти притязания вскоре начнут звучать как самомнение! И стоит лишь им сказать «Мы» или «мой народ», как старая язвительная Европа уже улыбается. Поистине, обер-церемонимейстер нового мира не стал бы с ними церемониться; возможно, он издал бы декрет: «les souverains rangent aux parvenus»[1].

177

К «вопросу о воспитании». – В Германии высокоразвитому человеку недостает большого воспитательного средства: смеха высокоразвитых людей; они не смеются в Германии.

1 Монархи приравниваются к выскочкам (*фр.*).

178

К моральному просвещению. – Нужно разубедить немцев в их Мефистофеле и в их Фаусте впридачу. Это два моральных предрассудка против ценности познания.

179

Мысли. – Мысли суть тени наших ощущений – всегда более темные, более пустые, более простые, чем ощущения.

180

Хорошие времена для свободных умов. – Свободные умы даже перед наукой отстаивают свои вольности – а подчас им их еще и дают, – покуда еще стоит церковь! В этом смысле для них нынче хорошие времена.

181

Идти позади и впереди. – А: «Из этих двух один всегда будет идти позади, а другой всегда впереди, куда бы их ни завела судьба. И *все-таки* первый стоит выше второго по добродетели и уму!» Б: «И все-таки? И все-таки? Это сказано для других, не для меня, не для нас! – Fit secundum regulam[1]».

182

В одиночестве. – Когда живут в одиночестве, не говорят слишком громко, да и пишут не слишком громко: ибо боятся пустого отголоска – критики нимфы Эхо. – И все голоса звучат иначе в одиночестве!

1 Согласно правилу (*лат.*).

183

Музыка лучшего будущего. – Первым музыкантом был бы для меня тот, кто знает только скорбь глубочайшего счастья, и никакой другой скорби: такого до сих пор еще не было.

184

Юстиция. – Лучше дать себя обкрадывать, чем обставлять себя пугалами, – таков мой вкус. И при всех обстоятельствах это дело вкуса – не больше!

185

Бедный. – Он сегодня беден: но не потому, что у него все отняли, а потому, что он все выбросил – зачем ему это! Он привык находить. – Бедны те, кто ложно толкует его добровольную бедность.

186

Нечистая совесть. – Все, что он нынче делает, – честно и заурядно, – и все-таки его мучит при этом совесть. Ибо незаурядное – его задача.

187

Оскорбительное в исполнении. – Этот художник оскорбляет меня манерой исполнения своих наитий, очень хороших наитий: все исполнено столь подробно и подчеркнуто и с такими грубыми приемами убеждения, словно бы он говорил с чернью. Всякий раз, посвятив некоторое время его искусству, мы оказываемся как бы «в дурном обществе».

188

Труд. – Как близок нынче и самый праздный из нас к труду и труженику! Царственная учтивость в словах «все мы труженики!» еще при Людовике XV была бы цинизмом и непристойностью.

189

Мыслитель. – Он мыслитель: это значит, он умеет воспринимать вещи проще, чем они суть.

190

Против восхвалителей. – А: «Тебя может похвалить только равный!» Б: «Да! И кто тебя хвалит, говорит тебе: ты мне ровня!»

191

Против иной защиты. – Наиковарнейший способ навредить какому-либо делу – это намеренно защищать его ошибочными доводами.

192

Благодушные. – Что отличает тех благодушных, у которых доброжелательность сияет на лице, от прочих людей? Они отлично чувствуют себя в присутствии каждого нового человека и быстро влюбляются в него; они желают ему за это добра, их первое суждение: «он нравится мне». У них следует друг за другом: желание присвоения (значимость другого мало беспокоит их), быстрое присвоение, радость обладания и поступки в пользу обладаемого.

193

Остроумие Канта. – Кант хотел шокирующим для «всего мира» способом доказать, что «весь мир» прав: в этом заключалось тайное остроумие этой души. Он писал против ученых в пользу народного предрассудка, но для ученых, а не для народа.

194

«Искренний». – Этот человек, по-видимому, всегда руководствуется скрытыми доводами: ибо у него всегда на языке и чуть ли не на ладони доводы, о которых можно сообщить.

195

Смешно. – Взгляните! Взгляните! Он *убегает* от людей, а они следуют за ним, потому что он бежит *перед* ними, – настолько они стадо!

196

Границы нашего слуха. – Люди слышат только те вопросы, на которые в состоянии найти ответ.

197

Посему будем осторожны! – Ничем мы не делимся с другими столь охотно, как печатью умалчивания – вместе со всем тем, что ею запечатано.

198

Досада гордого. – Гордый досадует даже на тех, кто продвигает его вперед: он смотрит злобно на лошадей своей кареты.

199

Щедрость. – Щедрость богатого часто есть лишь особого рода застенчивость.

200

Смеяться. – Смеяться – значит быть злорадным, но с чистой совестью.

201

В одобрении. – В одобрении всегда есть нечто шумное: даже в одобрении, которое мы выказываем себе.

202

Мот. – Он еще лишен бедности богача, пересчитавшего уже однажды все свое сокровище, – он расточает свой ум с неразумием мотовки природы.

203

Hic niger est[1]. – Обыкновенно у него нет никаких мыслей, – но в порядке исключения ему приходят в голову дурные мысли.

204

Нищие и вежливость. – «Не будет невежливостью стучать камнем в дверь, у которой нет звонка» – так думают нищие и нуждающиеся всякого рода; но никто не соглашается с ними.

---

1 «Вот этот черен» (строка из Горация).

205

Потребность. – Потребность считается причиною возникновения; на деле она часто есть лишь следствие возникшего.

206

Под дождем. – Идет дождь, и я вспоминаю о бедных людях, обремененных сейчас в своей тесноте многочисленными заботами и не умеющих скрыть их: каждый, стало быть, готов от чистого сердца причинить другому зло и доставить себе даже в дурную погоду некое жалкое подобие удовольствия. – Это, только это и есть нищета нищих!

207

Завистник. – Вот завистник – не следует желать ему детей: он стал бы им завидовать потому, что не может уже сам быть ребенком.

208

Великий муж! – Из того, что некто есть «великий муж», вовсе не следует еще, что он – муж; возможно, он всего только мальчик, или хамелеон всех возрастов, или заколдованная бабенка.

209

Манера спрашивать об основаниях. – Есть такая манера спрашивать нас об основаниях наших поступков, что мы не только забываем о лучших наших основаниях, но и чувствуем в себе некое пробуждающееся упрямство и отвращение к основаниям вообще: весьма оглупляющая манера спрашивать и поистине прием тиранических натур!

210

Мера в прилежании. – Не следует стремиться превзойти в прилежании своего отца – это вредит здоровью.

211

Тайные враги. – Позволить себе тайного врага это роскошь, до которой обычно не дотягивает нравственность даже высокоразвитых умов.

212

Не поддаваться обману. – Его уму присущи дурные манеры, он суетлив и вечно заикается от нетерпения, так что с трудом можно догадаться, в какой просторной и широкогрудой душе этот ум обитает.

213

Путь к счастью. – Мудрец спросил дурака, каков путь к счастью. Последний ответил без промедления, словно его спрашивали о дороге к ближайшему городу: «Удивляйся самому себе и живи на улице!» «Стой, – воскликнул мудрец, – ты требуешь слишком многого, достаточно уже и того, чтобы удивляться себе!» Дурак возразил: «Но как можно постоянно удивляться, не презирая постоянно?»

214

Вера делает блаженным. – Добродетель только тем дает счастье и некоторое блаженство, кто твердо верит в свою добродетель, – но отнюдь не тем более утонченным душам, чья добродетель состоит в глубоком недоверии к себе и ко всякой добродетели. В конце концов и здесь «блаженным делает вера»! – а *не*, хорошенько заметьте это, добродетель!

215

Идеал и материал. – У тебя здесь перед глазами превосходный идеал, но представляешь ли и *ты* собою такой превосходный камень, чтобы из тебя можно было бы изваять этот божественный образ? Да и без того – разве весь твой труд не варварское изваяние? Хула на твой идеал?

216

Опасность в голосе. – Если у человека луженая глотка, вряд ли ему в голову придут тонкие мысли.

217

Причина и следствие. – Пока последствия не наступили, верят в другую причину, чем после их наступления.

218

Моя антипатия. – Я не люблю людей, которые, чтобы вообще оказать влияние, должны лопаться, как бомбы, и поблизости от которых вечно пребываешь в опасности потерять внезапно слух – или и того больше.

219

Цель наказания. – Наказание имеет целью улучшить того, *кто наказывает*, – вот последнее убежище для защитников наказания.

220

Жертва. – О жертве и жертвоприношении жертвенные животные думают иначе, чем зрители: но им никогда не давали и слова.

221

Пощада. – Отцы и сыновья гораздо больше щадят друг друга, чем матери и дочери.

222

Поэт и лгун. – Поэт видит в лгуне своего молочного брата, у которого он отнял молоко: тот так и остался, жалкий, и не снискал себе даже чистой совести.

223

Викариат чувств. – «И глаза имеют, чтобы слышать, – сказал один старый исповедник, став глухим, – а среди слепых царь – тот, у кого самые длинные уши».

224

Критика животных. – Боюсь, что животные рассматривают человека как равное им существо, которое опаснейшим образом утратило здравый животный ум, – как сумасбродное животное, как смеющееся животное, как плачущее животное, как злосчастнейшее животное.

225

Естественные. – «Зло всегда производило большой эффект! А природа зла! Посему будем естественны!» – так в глубине души заключают великие эффектолюбцы человечества, которых слишком часто причисляют к великим людям.

226

Недоверчивые люди и стиль. – Мы говорим самые сильные вещи запросто, если исходим из того, что окружающие нас люди верят в нашу силу: подобное окружение воспитывает «простоту стиля». Недоверчивые говорят выразительно; недоверчивые поступают выразительно.

227

Ошибка, осечка. – Он не может владеть собою – и отсюда заключает женщина, что им легко овладеть, и набрасывает на него свой аркан; бедняжка, вскоре она будет его рабой.

228

Против посредников. – Кто хочет посредничать между двумя решительными мыслителями, отмечен посредственностью: у него нет глаз для того, чтобы заметить уникальность; видеть всюду сходства, сводить все к одному – признак слабого зрения.

229

Упрямство и верность. – Он из упрямства крепко держится чего-то, что теперь стало для него совершенно ясным, – и это он называет «верностью».

230

Нехватка молчаливости. – Все его существо *неубедительно*, – это происходит оттого, что он ни разу не промолчал ни об одном хорошем поступке, который он совершил.

231

«Основательные». – Тугодумы познания полагают, что медлительность свойственна познанию.

232

Сновидения. – Снится – или ничего, или что-то интересное. Нужно учиться и бодрствовать так же: или никак, или интересно.

233

Опаснейшая точка зрения. – То, что я сейчас делаю или допускаю, столь же важно *для всего грядущего,* как и величайшее событие прошлого: в этой чудовищной перспективе воздействия все поступки оказываются одинаково великими и малыми.

234

Утешительная речь музыканта. – «Твоя жизнь не звучит для людских ушей: для них ты живешь немой жизнью, и вся тонкость мелодии, вся нежная решительность в развитии темы или ее разработке ускользает от них. Конечно, ты не расхаживаешь по широкой улице с полковой музыкой, – но это не дает никаких прав добрым людям говорить, что твоему образу жизни недостает музыки. Имеющий уши, да слышит».

235

Ум и характер. – Иной достигает свой вершины как характер, но ум его остается несоразмерным этой высоте, – а бывает и наоборот.

236

Чтобы двигать массами. – Не должен ли тот, кто хочет двигать массами, разыгрывать, как на сцене, самого себя? Не должен ли он сперва перевести себя самого на гротескно-ясный язык и *исполнить* всю свою личность и свое дело таким огрубленным и упрощенным образом?

237

Вежливый. – «Он так вежлив!» – Да, у него всегда при себе лакомый кусочек для Цербера, и он так труслив, что каждого принимает за Цербера, и тебя, и меня, – вот и вся его «вежливость».

238

Без зависти. – Он начисто лишен зависти, но в этом нет никакой заслуги: ибо он хочет завоевать страну, в которой еще никто не бывал и которую едва ли кто-нибудь видел.

239

Угрюмый. – Одного угрюмца вполне достаточно, чтобы надолго портить настроение и омрачать небо целому семейству; и лишь чудом случается, что таковой отсутствует! – Счастье – далеко не столь заразная болезнь; отчего это происходит?

240

У моря. – Я не стал бы строить себе дом (и в этом даже мое счастье, что я не домовладелец!). Но если бы пришлось, я бы выстроил его, подобно многим римлянам, у самого моря – мне хотелось бы немного посекретничать с этим прекрасным чудовищем.

241

Творение и художник. – Этот художник тщеславен, и не более того: в конце концов его творение есть лишь лупа, которую он предлагает каждому, кто бросает на него взгляд.

242

Suum cuique[1]. – Как ни велика алчность моего познания, я могу брать у вещей только то, что уже мне принадлежит, – владения других продолжают оставаться в вещах. Позволительно ли человеку быть вором или разбойником!

243

Происхождение «хорошего» и «плохого». – Улучшение изобретает только тот, кто способен почувствовать: «это не хорошо».

244

Мысли и слова. – Даже свои мысли нельзя вполне передать словами.

245

Похвала через выбор. – Художник выбирает свои сюжеты: это его манера хвалить.

246

Математика. – Мы хотим внести тонкость и строгость математики во все науки, насколько это вообще возможно; мы желаем этого не потому, что рассчитываем таким путем

---

1 Каждому свое (*лат.*).

познавать вещи, но для того, чтобы *установить* этим наше человеческое отношение к вещам. Математика есть лишь средство общего и высшего человековедения.

247

Привычка. – Всякая привычка делает нашу руку более остроумной, а наше остроумие – менее проворным.

248

Книги. – Какой толк в книге, которая даже не уносит нас от всех книг?

249

Вздох познающего. – «Ох уж эта моя алчность! В этой душе нет никакой самоотверженности – скорее, ненасытная самость, которая хочет посредством многих индивидов видеть как бы *своими* глазами и как бы хватать *своими* руками, – самость, стягивающая к себе все прошлое и не желающая потерять ничего, что могло бы вообще принадлежать ей! О, это пламя моей алчности! О, если бы я возродился в сотне существ!» – Кому не знаком по собственному опыту этот вздох, тому неведома и страсть познающего.

250

Вина. – Хотя проницательнейшие судьи ведьм и даже сами ведьмы были убеждены в том, что они виновны в колдовстве, вины тем не менее не было. Так обстоит дело со всякой виной.

251

Неузнанные страдальцы. – Величественные натуры страдают иначе, чем это воображают себе их почитатели: пуще всего страдают они от неблагородных, мелочных вспышек, выводящих их из себя в какие-то злые мгновения, короче, от сомнений в собственном величии – и вовсе не от жертв и мученичества, которых требует от них их задача. Пока Прометей сострадает людям и жертвует собою ради них, он счастлив и велик в себе самом; но стоит ему почувствовать зависть к Зевсу и к почестям, оказываемым последнему смертными, как он начинает страдать!

252

Лучше должником. – «Лучше оставаться должником, чем расплачиваться монетой, не носящей нашего образа!» – этого требует наша суверенность.

253

Всегда дома. – В один прекрасный день мы достигаем нашей *цели* – и впредь с гордостью указываем на проделанный нами долгий путь. В действительности мы не замечали, что мы в пути. Нам потому и удалось уйти столь далеко, что мы на каждом месте мнили себя *дома.*

254

Против затруднительного положения. – Кто всегда глубоко погружен в дело, тот выше всякого затруднительного положения.

255

Подражатели. – А: «Как? ты не хочешь никаких подражателей?» – Б: «Я не хочу, чтобы мне в чем-либо подражали; я

хочу, чтобы каждый рожал сам: то же, что делаю *я*». – А: «Следовательно – ?»

256

Кожный покров. – Все глубокие люди находят свое блаженство в том, чтобы однажды уподобиться летучим рыбам и резвиться на верхушках волн; они наиболее ценят в вещах их свойство – иметь поверхность: их, sit venia verbo[1], кожный покров.

257

Из опыта. – Иной и не ведает, как он богат, покуда не узнает, сколь богатые люди обворовывают его.

258

Отрицатели случайности. – Ни один победитель не верит в случайность.

259

Из подслушанного в раю. – «Добро и зло суть предрассудки Божьи», сказал змий.

260

Таблица умножения. – Один всегда неправ: но с двоих начинается истина. – Один не может доказать, что прав: но двоих опровергнуть уже нельзя.

1 С позволения сказать (*лат.*).

261

Оригинальность. – Что такое оригинальность? *Видеть* нечто такое, что не носит еще никакого имени и не может быть еще названо, хотя и лежит на виду у всех. Как это водится у людей, только название вещи делает ее вообще зримою. – Оригиналы большей частью были и нарекателями имен.

262

Sub specie aeterni[1]. – А: «Ты все быстрее удаляешься от живущих: скоро они вычеркнут тебя из своих списков!» – Б: «Это единственное средство разделить с мертвыми их преимущество». – А: «Какое преимущество?» – Б: «Не умирать больше».

263

Без тщеславия. – Когда мы любим, мы хотим, чтобы наши недостатки оставались скрытыми – не из тщеславия, но чтобы любимому существу не пришлось страдать. Да, любящий хотел бы выглядеть неким богом – и опять же не из тщеславия.

264

Что мы делаем. – Что мы делаем, того никогда не понимают, но всегда лишь хвалят или порицают.

265

Последний скепсис. – Что же такое в конце концов человеческие истины? – Это – *неопровержимые* человеческие заблуждения.

---

1 С точки зрения вечности (*лат.*).

266

Где нужна жестокость. – Кто обладает величием, тот жесток к своим добродетелям и расчетам второго ранга.

267

С одной великой целью. – С одной великой целью оказываешься сильнее даже справедливости, не только своих поступков и своих судей.

268

Что делает героическим? – Идти навстречу одновременно своему величайшему страданию и своей величайшей надежде.

269

Во что ты веришь? – В то, что все вещи должны быть заново взвешены.

270

Что говорит твоя совесть? – «Ты должен стать тем, кто ты есть».

271

В чем для тебя главная опасность? – В сострадании.

272

Что ты любишь в других? – Мои надежды.

273

Кого называешь ты плохим? – Того, кто вечно хочет стыдить.

274

Что для тебя человечнее всего? – Уберечь кого-либо от стыда.

275

Какова печать достигнутой свободы? – Не стыдиться больше самого себя.

Четвертая книга

Sanctus Januarius

Ты, что огненною пикой
Лед души моей разбил
И к морям надежд великих
Бурный путь ей проложил:
И душа, светла и в здравье,
И вольна среди обуз,
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус!

Генуя, в январе 1882 года

276

На Новый год. – Еще живу я, еще мыслю я: я должен еще жить, ибо я должен еще мыслить. Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum[1]. Сегодня каждый позволяет себе высказать свое желание и заветнейшую мысль: что ж, и я хочу сказать, чего бы я желал сегодня от самого себя и какая мысль впервые в этом году набежала мне на сердце, – какая мысль сподобилась стать основой, порукой и сладостью всей дальнейшей моей жизни! Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное: так, буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью! Я не хочу вести никакой войны против безобразного. Я не хочу обвинять, я не хочу обвинять даже обвинителей. *Отводить взор* – таково да будет мое единственное отрицание! А во всем вместе взятом я хочу однажды быть только утвердителем!

---

[1] Существую, следовательно мыслю: мыслю, следовательно существую (*лат.*).

277

Личное Провидение. – Есть определенная высшая точка жизни: достигнув ее и насильственно отспорив у прекрасного хаоса существования всякий заботливый разум и доброту, мы со всей нашей свободой подвергаемся вновь величайшей опасности духовной несвободы и тягчайшему испытанию нашей жизни. Здесь-то и настигает нас со сверлящей силой мысль о личном Провидении, имея на своей стороне лучшего защитника, очевидность, – там, где нам до очевидного ясно, что решительно все вещи, которые нас касаются, то и дело *идут нам во благо.* Жизнь ежедневно и ежечасно словно бы и не желает ничего иного, как всякий раз наново доказывать это положение: о чем бы ни шла речь – о дурной или хорошей погоде, потере друга, болезни, клевете, задержке письма, вывихе ноги, посещении торговой лавки, контраргументе, раскрытой книге, сне, обмане, – все это оказывается тотчас же или в самом скором времени чем-то, чего «не могло не быть», – все это исполнено глубокого смысла и пользы именно *для нас*! Есть ли более опасное искушение разувериться в богах Эпикура, этих беззаботных незнакомцах, и уверовать в некое озабоченное и придирчивое Божество, которое персонально осведомлено о каждом волоске на нашей голове и не находит ничего отвратительного в жалком несении такой службы? Что ж – таково мое мнение, несмотря ни на что! Оставим в покое богов и равным образом услужливых духов; удовлетворимся допущением, что наша собственная практическая и теоретическая ловкость в толковании и столковании событий достигла нынче своего апогея. Не будем также слишком высоко думать об этой сноровке нашей мудрости, если временами нас чересчур поразит дивная гармония, возникающая при игре на нашем инструменте: слишком сладкозвучная гармония, чтобы мы осмелились приписать ее самим себе. На деле там и тут некто играет с нами – милый случай: он при случае водит нашей рукой, и никакое мудрейшее из мудрых Провидение не смогло бы придумать более прекрасной музыки, чем та, которая удастся тогда этой нашей дурацкой руке.

278

Мысль о смерти. – Мне доставляет меланхолическое счастье жить в этом лабиринте улочек, потребностей, голосов: сколько наслаждения, нетерпения, ненасытности, сколько жаждущей жизни и опьянения жизнью обнаруживается здесь с каждым мгновением! И, однако, скоро настанет такой покой для всех этих шумящих, живущих, жаждущих жизни! Взгляните, как стоит за каждым его тень, его темный спутник! Всегда как в последний момент перед отплытием эмигрантского судна: имеют сказать друг другу больше, чем когда-либо, время теснит, океан своим пустынным молчанием нетерпеливо ждет за всем этим шумом – столь ненасытный, столь уверенный в своей добыче! И все, все думают, что все былое – ничто или малость, а близкое будущее – все: и отсюда эта спешка, этот крик, это самооглушение и самонадувательство! Каждый хочет быть первым в этом будущем, – и все же только смерть и гробовая тишина есть общее для всех и единственно достоверное в нем! Как странно, что эта единственная достоверность и общность не имеет почти никакой власти над людьми и что они *наиболее далеки* от того, чтобы чувствовать себя братьями в смерти! Мне доставляет счастье – видеть, что люди совсем не желают думать о смерти! Я бы охотно добавил что-нибудь к этому, чтобы сделать им мысль о жизни в сто раз более *достойной размышления*.

279

Звездная дружба. – Мы были друзьями и стали друг другу чужими. Но это так и есть, и мы не хотим скрывать этого от себя и затушевывать, словно бы мы стыдились этого. Мы два корабля, у каждого из которых своя цель и свой путь; мы, конечно, можем встретиться и отпраздновать нашу встречу, как сделали это некогда, – а тогда отважные корабли стояли так спокойно в одной гавани и под одним солнцем, что могло казаться, будто они уже у цели и будто у них была одна цель. Но всемогущая сила наших задач разогнала нас снова в разные стороны, в разные моря и поясы, и, быть

может, мы никогда не свидимся, – а быть может, и свидимся, но уже не узнаем друг друга: разные моря и солнца изменили нас! Что мы должны были стать чужими друг другу, этого требовал закон, царящий *над* нами: именно поэтому должны мы также и больше уважать друг друга! Именно поэтому мысль о нашей былой дружбе должна стать еще более священной! Должно быть, есть огромная невидимая кривая и звездная орбита, куда *включены* наши столь различные пути и цели, как крохотные участки, – возвысимся до этой мысли! Но жизнь наша слишком коротка, и зрение наше слишком слабо для того, чтобы мы могли быть более чем друзьями в смысле этой высшей возможности. – Так будем же *верить* в нашу звездную дружбу, даже если мы должны были стать друг другу земными врагами.

280

Архитектура познающих. – Однажды – и, должно быть, скоро – придется осознать, чего главным образом недостает нашим большим городам: тихих и отдаленных, просторных мест для размышления, мест с высокими длинными аллеями для скверной или чересчур солнечной погоды, куда не проникает шум экипажей и крики разносчиков и где более утонченное чувство такта воспретило бы даже священнику громкую молитву; сооружений и парков, которые в целом выражают возвышенный характер раздумий и одиноких прогулок. Канули в минувшие времена, когда церковь владела монополией на размышление, когда vita contemplativa[1] должна была первым делом быть vita religiosa; во всем, что построила церковь, просвечивает эта мысль. Я не знаю, как могли бы мы довольствоваться ее постройками, даже если бы они были лишены их церковного назначения; эти постройки говорят слишком патетичным и пристрастным языком, как дома Божьи и роскошные пристанища надмирного общения, чтобы мы, безбожники, могли думать здесь *свои думы.* Мы хотим перевести *себя* на язык камней и растений, мы хотим прогуливаться в *самих себе,* бродя по этим аллеям и садам.

1 Жизнь созерцательная (*лат.*).

281

Уметь найти концовку. – Мастера первого ранга узнаются по тому, что они в великом, как и в малом, совершенным образом умеют находить концовку, будь то окончание мелодии или мысли, будь то пятый акт трагедии или государственная акция. Мастера второй ступени всегда становятся к концу беспокойными и впадают в море не в такой гордой, спокойной соразмерности, как, например, горы у Портофино – там, где генуэзская бухта допевает до конца свою мелодию.

282

Поступь. – Есть умственные повадки, которыми даже великие умы выдают свое плебейское или полуплебейское происхождение: предательской оказывается главным образом поступь и походка их мыслей; они не умеют *ходить*. Так, даже Наполеон, к своей глубокой досаде, не мог ходить царственно и «легитимно» в тех случаях, когда это было действительно уместно, скажем при больших коронационных процессиях и т.п.: и здесь он был всего лишь предводителем колонны – гордым и в то же время торопливым и, главное, отдающим себе в этом отчет. – Забавное зрелище – смотреть на тех писателей, которые присборенными платьями периода напускают вокруг себя шуршание: таким путем они пытаются спрятать свои *ноги*.

283

Подготовители. – Я приветствую все знамения того, что зачинается более мужественная, воинственная эпоха, которая прежде всего наново воздаст почести отваге! Ибо ей назначено проложить пути более высокой эпохе и скапливать силы, которые некогда понадобятся этой последней, – эпохе, вносящей героизм в познание и *ведущей войны* за мысли и их последствия. Для этого нужны теперь многие подготовители, храбрецы, которые, однако, не могут возникнуть из ничего, – тем более из песка и ила нынешней

цивилизации и образованности больших городов; люди, умеющие быть молчаливыми, одинокими, решительными, стойкими и довольствоваться неприметными деяниями: люди, которые из внутренней склонности ищут во всех вещах то, что в них следует *преодолеть;* люди, которым столь же присущи веселость, терпение, простота и презрение ко всяческой большой суетливости, как и великодушие в победе и снисходительность к маленькой суетливости всех побежденных; люди с острым и свободным суждением о всех победителях и о доле случая во всякой победе и славе; люди с собственными празднествами, собственными буднями, собственными днями траура, привыкшие уверенно повелевать и одинаково готовые, где следует, повиноваться, в том и в другом одинаково гордые, одинаково служащие собственному делу: более рискованные люди, более плодотворные люди, более счастливые люди! Ибо, поверьте мне! – тайна пожинать величайшие плоды и величайшее наслаждение от существования зовется: *опасно жить*! Стройте свои города у Везувия! Посылайте свои корабли в неизведанные моря! Живите, воюя с равными вам и с самими собой! Будьте разбойниками и завоевателями, покуда вы не можете быть повелителями и обладателями, вы, познающие! Скоро канет время, когда вы могли довольствоваться тем, что жили, подобно пугливым оленям, затаившись в лесах! В конце концов познание протянет руку за тем, что ему подобает: оно захочет *господствовать и обладать*, и вы вместе с ним!

284

Вера в себя. – Немногие люди обладают вообще верой в себя; и из этих немногих одним она достается как полезная слепота или частичное помрачение духа (что бы они обнаружили, сумей они увидеть себя *до дна*!), другие же должны прежде снискать ее себе: все, что делают они хорошего, дельного, значительного, есть в первую очередь аргумент против прижившегося в них скептика – *его-то* и надо убедить или уговорить, и для этого требуется чуть ли не гениальность. Это те великие, что недовольны собою.

285

Ecelsior! – «Ты никогда не будешь больше молиться, не будешь больше поклоняться, никогда не успокоишься уже в бесконечном доверии – ты запретишь себе останавливаться перед последней мудростью, последней благостью, последней силою и распрягать свои мысли – у тебя нет вечно бодрствующего стража и друга для твоих семи одиночеств – ты живешь без вида на гору, вершина которой заснежена, а сердце полыхает огнем, – нет для тебя ни воздаятеля, ни последнего правщика – нет больше разума в том, что свершается, ни любви в том, что свершится с тобой, – сердцу твоему закрыто уже пристанище, где оно могло бы только находить, но уже не искать, – ты сопротивляешься какому-то последнему миру, ты хочешь вечного круговорота войны и мира – человек отречения, во всем ли ты хочешь отречения? Кто же даст тебе силу для этого? Никто еще не имел этой силы!» – Есть озеро, которое однажды запретило себе изливаться и воздвигло плотину там, где оно прежде изливалось: с тех пор это озеро поднимается все выше и выше. Наверное, именно это отречение и ссудит нас силою, которою можно будет вынести и само отречение: наверное, человек оттуда и начнет подниматься все выше и выше, где он перестает *изливаться* в Бога.

286

Реплика. – Здесь все надежды; что, однако, увидите и услышите вы от них, если в собственной своей душе вы не пережили блеск и жар и утренние зори? Я могу лишь напомнить – большего я не могу! Двигать камнями, делать зверей людьми – этого вы хотите от меня? Ах, если вы все еще камни и звери, поищите-ка себе сперва своего Орфея!

287

Наслаждение слепотой. – «Мои мысли, – сказал странник своей тени, – должны показывать мне, где я стою: но пусть они

не выдают мне, *куда я иду*. Я люблю быть в неведении относительно будущего и не желаю погибнуть от нетерпения и предвкушения обещанных событий».

288

Высокие настроения. – Мне кажется, что люди большей частью не верят вообще в высокие настроения, разве что мгновенные, самое большее, на четверть часа, – исключая тех немногих, которые по опыту знают большую длительность высокого чувства. Но быть полностью человеком одного высокого чувства, воплощением одного-единственного великого настроения – это до сих пор было только мечтой и восхитительной возможностью: история не дает нам еще ни одного достоверного примера тому. И все-таки она смогла бы однажды родить и таких людей – когда возникло и закрепилось бы множество подходящих условий, которых теперь не в состоянии скомбинировать даже самая счастливая случайность. Быть может, для этих будущих душ обычным оказалось бы как раз то состояние, которое до сих пор лишь временами проступало в наших душах в виде содрогающего их исключения: беспрестанное движение между высоким и глубоким и чувство высокого и глубокого, как бы постоянное восхождение по лестнице и в то же время почивание на облаках.

289

По кораблям! – Если подумаешь о том, как действует на каждого человека общее философское оправдание его образа жизни и мыслей – именно, подобно греющему, благословляющему, оплодотворяющему, только ему и светящему солнцу, – если подумаешь о том, сколь независимым от похвалы и порицания, самодостаточным, богатым, щедрым на счастье и доброжелательство делает его такое оправдание, как оно, не переставая, продолжает превращать зло в добро, доводит все силы до цветения и созревания и не дает взойти малому и большому сорняку скорби и досады, – то страстно воскликнешь наконец: о, если бы было создано еще мно-

го таких солнц! И злой, и несчастный, и исключительный человек – все они должны иметь свою философию, свое право, свой солнечный свет! Никакого сострадания к ним! – нам следует отучиться от этих припадков спеси, как бы долго ни училось ему и не упражнялось человечество доселе именно в нем, – никаких исповедников, заклинателей душ и грехоотводников[1] мы создавать для него не должны! Но новую *справедливость*! И новые лозунги! Новых философов! Моральная Земля тоже кругла! И у моральной Земли есть свои антиподы! И у антиподов есть свои права на существование! Предстоит еще открыть Новый свет – и не один! По кораблям, вы, философы!

290

Одно только нужно. – «Придавать стиль» своему характеру – великое и редкое искусство! В нем упражняется тот, кто, обозрев все силы и слабости, данные ему его природой, включает их затем в свои художественные планы, покуда каждая из них не предстанет самим искусством и разумом, так что и слабость покажется чарующей. Вот тут надо будет прибавить много чего от второй натуры, вон там отсечь кусок первой натуры – оба раза с долгим прилежанием и ежедневными стараниями. Вот здесь спрятано какое-то уродство, которое не удалось удалить, а там уже оно выглядит чем-то возвышенным. Много смутного, сопротивляющегося формированию накоплено для дальнейшего использования: оно должно заманивать в неизмеримые дали. Наконец, когда творение завершено, обнаруживается, что оно было непреложностью вкуса, одинаково господствовавшего и формировавшего как в великом, так и в малом: хороший ли это был вкус или плохой, не так важно, как думают, – достаточно и того, что это просто вкус! – Найдутся сильные, властолюбивые натуры, которые в этой непреложности, в этой связности и законченности, подчиненной собствен-

---

1 В оригинале Sündenvergeber – отпускающий грехи. Перевод предлагает взамен этого вполне уместную здесь игру слов – по аналогии с «греховодником». – *Прим. ред.*

ному закону, будут вкушать самое утонченное наслаждение; страстность их властной воли получит облегчение при виде всякой стилизованной природы, всякой побежденной и служащей природы; даже если им придется сооружать дворцы и разбивать сады, им будет претить давать волю природе. – Напротив, есть слабые, не совладающие с собой характеры, которые *ненавидят* связность стиля: они чувствуют, что, если применить к ним самим такую горько-злобную непреложность, это непременно *опошлит* их под ее гнетом – служа, они становятся рабами, и им ненавистно служение. Такие умы – а они могут быть умами первого ранга – всегда стараются выстраивать или истолковывать самих себя и свое окружение как *свободную* природу – выглядеть дикими, произвольными, фантастичными, беспорядочными, внезапными; и, поступая так, они делают хорошо, поскольку только так делают они хорошо самим себе! Ибо одно только нужно – чтобы человек *достиг* удовлетворенности собою, – будь то с помощью того или иного поэтического творчества и искусства: лишь тогда человек вообще выглядит сносным! Кто недоволен собою, тот постоянно готов мстить себе за это: мы, прочие, окажемся его жертвами, хотя бы уже в том, что вечно должны будем выносить его гнусный вид. Ибо вид гнусного оскверняет и омрачает.

291

Генуя. – Я долго всматривался в этот город, в его загородные дома и декоративные сады, в широкое пространство его населенных вершин и склонов; я должен сказать наконец: я вижу *лица* прошлых поколений – эта местность густо усеяна изображениями отважных и самовластных людей. Они *жили* и хотели жить дальше – об этом говорят они мне своими домами, построенными и украшенными на целые столетия, а не на мимолетное время: они хорошо относились к жизни, как бы зло ни относились они зачастую друг к другу. Я все время вижу перед собой строителя, пристально вглядывающегося в дальние и близкие постройки, а также в город, море и линии гор, как бы вырабатывающего себе этим взглядом навык власти и завоевания: все это хочет он подчинить *свое-*

му плану и уже как часть плана сделать своей *собственностью*. Вся эта местность обросла великолепной, ненасытной горячкой обладания и добычи, и подобно тому как эти люди не признавали за далями никаких границ и в своей жажде нового воздвигали новый мир рядом со старым, так и у себя на родине каждый из них постоянно восставал на каждого, изощряясь в подчеркивании своего превосходства и пролагая между собою и соседом водораздел своей личной бесконечности. Каждый наново завоевывал свою родину для себя, превозмогая ее своими архитектурными затеями и как бы переделывая ее на загляденье своей семье. В градостроительстве Севера импонирует закон и общая тяга к законности и послушанию; при этом угадывается то внутреннее нивелирование и подчинение окружающему, которое, должно быть, владело душой всякого строителя. Здесь же на каждом углу ты находишь себедовлеющего человека, знающего толк в море, приключении и Востоке, человека, который ничуть не расположен к закону и соседу, как чему-то набивающему оскомину, и завистливым взглядом мерит все уже установленное, старое: с удивительным лукавством фантазии тщится он, по крайней мере, мысленно, установить еще раз все наново, наложить на все свою руку, вложить во все свое чувство, – хотя бы на одно лишь солнечное послеполуденное мгновение, когда его ненасытная и меланхоличная душа почувствует однажды насыщение, и взгляду его сможет открыться только собственное и ничего чужого.

292

Проповедникам морали. – Я не хочу проповедовать никакой морали, но тем, кто это делает, я дам следующий совет: если вы хотите окончательно обесчестить и обесценить самые лучшие вещи и состояния, то продолжайте, как и прежде, разглагольствовать о них! Водрузите их на острие вашей морали и говорите с утра до вечера о счастье, которое дает добродетель, о душевном покое, о справедливости и об имманентном воздаянии: вашими усилиями все эти хорошие вещи снискают себе, наконец, популярность и уличное признание; но тогда-то и сойдет с них все золото, и больше того:

все золото в *них* пресуществится в свинец. Поистине, вы знаете толк в извращении алхимического искусства: в обесценивании ценнейшего! Попробуйте-ка действовать по иному рецепту, чтобы не получить, как прежде, прямую противоположность желаемого: *отрицайте* эти хорошие вещи, лишите их одобрения черни и расхожести, сделайте их снова скрытными застенчивостями одиноких душ, скажите: *мораль есть нечто запретное*! Возможно, таким путем и склоните вы к этим вещам тот тип людей, только от которых что-то и зависит: я имею в виду *героические* натуры. Но для этого здесь должно быть кое-что внушающее страх, а не отвращение, как до сих пор! Разве нельзя сегодня сказать о морали словами Мейстера Экхарта: «Я молю Бога, чтобы Он сделал меня свободным от Бога»?

293

Наш воздух. – Нам это хорошо известно: кто лишь как бы мимоходом бросает взгляд на науку, подобно женщинам и, к сожалению, также и многим художникам, для того строгость служения ей, эта неумолимость в малом, как и в великом, эта быстрота во взвешивании, суждениях, приговорах заключает в себе нечто головокружительное и устрашающее. В особенности пугает его то, как здесь требуется труднейшее и делается все возможное без всякой похвалы и вознаграждений, скорее, почти только с одними *громкими* порицаниями и нагоняями, как среди солдат, – ибо хорошая работа считается здесь правилом, а промах исключением; у правила же, как повсюду, запечатаны уста. С этой «строгостью науки» дело обстоит так же, как с формами приличия и учтивостью изысканнейшего общества: она пугает непосвященных. Кто, однако, свыкся с ней, не может и жить иначе, как в этом светлом, прозрачном, крепком, сильно наэлектризованном воздухе, в этом *мужественном* воздухе. В любом другом месте ему недостает чистоты и воздуха: он подозревает, что *там* его лучшее искусство не пойдет впрок другим и не будет в радость ему самому, что полжизни его уйдет сквозь пальцы на выяснение недоразумений, что нужно будет вечно остерегаться многого, многое скрывать и

держать при себе – сплошная и пустая трата сил! Но в *этой* строгой и ясной стихии полностью обнаруживается его сила: здесь может он парить! Зачем же ему наново опускаться в те мутные воды, где надо плавать и переходить вброд и где пачкаешь свои крылья! – Нет! Нам слишком трудно жить там; что поделаешь, если мы рождены для воздуха, чистого воздуха, мы, соперники света, если мы, подобно свету, охотнее всего помчались бы на частицах эфира, и не от солнца, а к *солнцу*! Но мы не в силах сделать это: так будем же делать то, что мы единственно можем: нести свет земле, быть «светом земли»! Для этого и даны нам наши крылья и наша быстрота, строгость наша: оттого мы столь мужественны и даже страшны, подобно огню. Пусть же убоятся нас те, кто неспособен греться и освещаться нами!

294

Против клеветников природы. – Мне неприятны люди, у которых каждая естественная склонность тотчас делается болезнью, чем-то извращающим или даже постыдным, – это *они* совратили нас к мысли, что склонности и влечения человека злы: это *на них* лежит вина за нашу великую несправедливость по отношению к нашей природе, ко всякой природе! На свете достаточно людей, которые *вольны* грациозно и беззаботно отдаваться своим влечениям, но они не делают этого из страха перед воображаемой «злой сущностью» природы! *Оттого* и повелось, что среди людей так мало осталось благородства: признаком его всегда будет отсутствие страха перед собою, когда мы не ждем от себя ничего постыдного, когда летим, очертя голову, куда нас влечет, – нас, свободнорожденных птиц! Куда бы мы ни прилетели, вокруг нас всегда будет вольно и солнечно.

295

Недолгие привычки. – Я люблю недолгие привычки и считаю их неоценимым средством узнать *многие* вещи и состояния вплоть до самой подоплеки их сладости и горечи; моя при-

рода вполне приспособлена для недолгих привычек, даже в потребностях телесного здоровья и вообще, *насколько* я в состоянии видеть: от самого низшего до самого высшего. Всегда я верю, что вот *это* теперь надолго удовлетворит меня – и недолгой привычке свойственна эта вера страсти – вера в вечность, – и что я нашел и узнал это на зависть другим: и вот же питает оно меня в полдень и вечером, разливаясь во мне глубоким довольством, так что я и не влекусь уже к чему-нибудь другому без того, чтобы не сравнивать и не презирать или ненавидеть. Но в один прекрасный день приходит его время: хорошая привычка расстается со мной, не как нечто внушающее теперь отвращение, а умиротворенная и насыщенная мною, как и я ею, и так, словно бы нам пришлось быть благодарными друг другу и протянуть друг другу руки на прощанье. И уже ожидает новая у дверей, а с нею и моя вера – несокрушимая сумасбродка и умница! – в то, что эта новоселка будет настоящей, самой настоящей. Так обстоит у меня с яствами, мыслями, людьми, городами, стихами, музыкой, учениями, распорядками дня, образами жизни. – Напротив, я ненавижу *длительные* привычки и полагаю, что ко мне приближается некий тиран и что моя жизненная атмосфера *сгущается* там, где волею событий длительные привычки выглядят какой-то необходимостью: например, в силу должностного положения, постоянной совместной жизни с одними и теми же людьми, постоянного местожительства, однообразного здоровья. Да, я из самых глубин души благодарен всему моему злополучию и болезненности и всему, что только есть во мне несовершенного, за то, что оно предоставляет мне сотни лазеек, через которые я могу ускользнуть от длительных привычек. – Конечно, невыносимее всего, самым настоящим ужасом была бы для меня жизнь, полностью лишенная привычек, жизнь, которая постоянно требует импровизации: это было бы моей ссылкой и моей Сибирью.

296

Прочная репутация. – Прочная репутация прежде была вещью крайне полезной; и даже теперь всюду, где общество

управляется еще стадным инстинктом, каждому отдельному человеку целесообразнее всего *создавать* впечатление о своем характере и своих занятиях, как о чем-то неизменном, – даже если они, в сущности, не являются таковыми. «На него можно положиться, у него ровный характер» – вот похвала, которая во всех опасных общественных ситуациях значит больше всего. Общество испытывает удовлетворение, обладая надежным, всегда готовым *орудием* в виде добродетели одного, честолюбия другого, дум и страстей третьего, – оно удостаивает высших почестей это *свойство быть орудием*, эту верность себе. Эту непреложность в воззрениях, устремлениях и даже пороках. Такая оценка, расцветшая одновременно с нравственностью нравов, процветает повсюду, воспитывает «характеры» и *дискредитирует* всякое изменение, переучивание, самопреобразование. Сколь бы велика ни была выгода от этого образа мыслей, он во всяком случае представляет для *познания* самый вредный тип общего суждения: ибо здесь осуждается и дискредитируется именно добрая воля познающего, смело высказывающаяся всякий раз *против* своего прежнего мнения и вообще недоверчивая ко всему, что хочет в нас *укорениться*. Душевный строй познающего, будучи в противоречии с «прочной репутацией», считается *бесчестным*, в то время как окаменелость воззрений осыпается всяческими почестями: нам все еще приходится жить под гнетом таких оценок! Как тяжко живется, когда чувствуешь против себя и вокруг себя приговор многих тысячелетий! Возможно, в течение многих тысячелетий познание было запятнано нечистой совестью, и сколько же презрения к себе и тайного убожества должно было быть в истории величайших умов.

297

Уметь противоречить. – Всякому нынче известно, что умение сносить противоречие есть признак высокой культуры. Некоторые знают даже, что более развитый человек ищет противоречия и накликает его себе, чтобы получить через него некое указание на неведомую ему доныне несправедливую черту его характера. Но *уметь* противоречить, достичь *чис-*

той совести при враждебном отношении ко всему расхожему, традиционному, канонизированному – это больше, чем и то и другое, и представляет собою нечто действительно великое, новое, удивительное в нашей культуре, самый решительный шаг освобожденного ума; кто знает это?

298

Вздох сожаления. – Я поймал эту внезапную мысль, попутно и наспех воспользовался ближайшими случайными словами, чтобы связать ее и не дать ей снова улететь. А теперь она умерла в этих засушенных словах и висит и раскачивается в них, – я же, глядя на нее, едва уже припоминаю, отчего я мог так радоваться, поймав эту птицу.

299

Чему следует учиться у художников. – Какими средствами располагаем мы, чтобы сделать вещи прекрасными, привлекательными, достойными желания, если они не таковы? – а я полагаю, что сами по себе они всегда не таковы! Здесь нам есть чему поучиться у врачей, когда они, например, разводят горькое снадобье или смешивают вино и сахар; но еще больше у художников, которые, собственно, и не делают ни чего иного, как занимаются подобными выдумками и кунстштюками. Удаляться от вещей на такое расстояние, когда многого в них уже не видно и многое должно быть к ним привидено [hinzusehen], *чтобы можно было их вообще видеть*, – или рассматривать вещи под углом и как бы в разрезе, – или ставить их так, чтобы они частично загораживали друг друга и смотрелись только в перспективе, – или глядеть на них сквозь окрашенное стекло либо при сумеречном освещении, – или делать их поверхность матовой – всему этому следует нам учиться у художников, а в остальном быть мудрее их. Ибо эта утонченная сила обыкновенно оставляет их там, где кончается искусство и начинается жизнь; *мы же* хотим быть поэтами нашей жизни, и прежде всего в самом мелком и обыденном!

300

Прелюдии науки. – Верите ли вы в то, что науки возникли бы и достигли зрелости, если бы им не предшествовали кудесники, алхимики, астрологи и ведьмы, те самые, кто своими предсказаниями и подтасовками должны были сперва вызвать жажду, голод и вкус к *скрытым и запретным* силам? И что при этом должно было *быть предсказано* бесконечно больше, чем может быть когда-либо исполнено, дабы в области познания вообще что-то исполнилось? – Может быть, аналогично тому, как *нам* здесь предстают прелюдии и предварительные усилия науки, которые отнюдь *не* практиковались и не воспринимались как таковые, какой-то далекой эпохе предстанет неким упражнением и прелюдией и вся *религия:* возможно, ей удалось бы быть диковинным средством для того, чтобы отдельные люди смогли однажды насладиться всем самодовольством некоего Бога и всей его силой самоискупления. Да! – можно даже спросить – научился бы вообще человек без этой религиозной школы и предыстории ощущать голод и жажду по самому *себе* и черпать из *себя* насыщение и полноту? Должен ли был Прометей сначала *грезить,* что он *похитил* свет, и расплачивается за это, чтобы открыть, наконец, что он сотворил свет, *как раз стремясь к свету,* и что не только человек, но и сам *Бог* был творением *его* рук и глиной в его руках? И что все это только образы ваятеля? – равно как и грезы, кража, Кавказ, коршун и вся трагическая прометейя познающих?

301

Мираж созерцателей. – Развитые люди отличаются от неразвитых тем, что несказанно больше видят и слышат, при этом видят и слышат, мысля, – именно это отличает человека от животного и высших животных от низших. Мир предстает всегда полнее тому, кто растет в высоту человечности; все больше наживок интереса закидываются ему навстречу; постоянно умножаются приманки и равным образом нюансы удовольствия и неудовольствия – более развитый человек всегда бывает счастливее и в то же время несчастнее. Но

при этом его неизменным спутником остается один *мираж:* ему мнится, что он призван быть *зрителем и слушателем* великой драмы и оперы, именуемой жизнью; он называет свою натуру *созерцательной* и упускает при этом из виду, что сам он и есть доподлинный и бессменный автор жизни, – что он хоть и отличается весьма от *лицедея* этой драмы, так называемого активного человека, но еще больше – от простого наблюдателя и праздничного гостя, сидящего перед подмостками. Ему, как поэту, присущи, конечно, vis contemplativa[1] и ретроспективный взгляд на свое творение, но в то же время и прежде всего свойственна ему vis creativa[2], *недостающая* активному человеку, что бы ни говорили на этот счет очевидность и всеобщее мнение. Мы, мысляще-чувствующие создания, и являемся теми, кто всегда и на самом деле *делают* что-то такое, чего еще нет: целый вечно растущий мир оценок, красок, значимостей, перспектив, градаций, утверждений и отрицаний. Этот сочиняемый нами вымысел непрерывно заучивается, репетируется, облекается в плоть и действительность, даже в повседневность так называемыми практическими людьми (нашими, как сказано, лицедеями). Все, что имеет *ценность* в нынешнем мире, имеет ее не само по себе, не по своей природе – в природе нет никаких ценностей, – но оттого, что ему однажды придали ценность, подарили ее, и этими даятелями и дарителями были *мы*! Только мы и создали мир, *до которого есть какое-то дело человеку*! – Но как раз этого-то знания и недостает нам, и если мы улавливаем его на мгновение, то в следующее мгновение снова забываем о нем: мы не знаем лучшей нашей силы и оцениваем себя, созерцателей, на одну ступень ниже – мы *не столь горды и не столь счастливы,* как могли бы быть.

302

Опасность для счастливейшего. – Иметь тонкие чувства и утонченный вкус; привыкнуть к изысканным и наилучшим сто-

---

1 Созерцательная сила (*лат.*).

2 Творческая сила (*лат.*).

ронам духа, как к правильному и насущному режиму питания; наслаждаться сильной, смелой, отважной душой; со спокойным взором и твердым шагом проходить жизнь, всегда готовясь к самому крайнему, как к празднику, и исполняясь стремления к неизведанным мирам и морям, людям и богам; вслушиваться во всякую веселую музыку, словно бы там устроили себе привал и развлечение храбрые мужи, солдаты, мореплаватели, и в глубочайшем наслаждении мгновением не выдерживать натиска слез и всей царственной меланхолии счастливца – кто бы не хотел иметь всего этого *своей* собственностью, своим состоянием! Таково было *счастье Гомера*! Состояние того, кто выдумал грекам их богов – нет, самому себе *своих* богов! Но не будем скрывать этого от себя: с этим Гомеровым счастьем в душе оказываешься самым чувствительным к боли созданием под солнцем! И лишь такой ценой покупаешь драгоценнейшую раковину из всех выброшенных доселе на берег волнами существования! Обладать ею – значит делаться все более чутким к страданию и, наконец, слишком чутким: маленького недовольства и отвращения было в конце концов достаточно, чтобы отравить Гомеру жизнь. Он не мог разгадать глупой загадочки, загаданной ему молодыми рыбаками! Да, маленькие загадки суть опасность для счастливейших!

303

Два счастливца. – Истинно, этот человек, несмотря на свою молодость, знает толк в *импровизации жизни* и повергает в изумление даже тончайшего наблюдателя: кажется, что он не допускает промахов, хотя непрерывно ведет рискованнейшую игру. На память приходят те импровизирующие мастера музыкального искусства, которым слушатель невольно приписывал божественную *непогрешимость* руки, несмотря на то, что и им доводилось временами брать неверные ноты, как и всякому смертному. Но они были натренированы и изобретательны и каждое мгновение готовы к тому, чтобы тотчас включить случайнейшую ноту, капризно подвернувшуюся под палец, в тематическое строение и оживить случай прекрасным смыслом и душой. – А вот совер-

шенно иной человек: ему, в сущности, не удается ничего из того, что он хочет и планирует. То, к чему его по случаю влекло, не раз уже приводило его к бездне и грозило ему неминуемой гибелью; и если он ускользал от нее, то уж наверняка не «с одним синяком под глазом». Вам кажется, он несчастен от этого? Он давно решил про себя не придавать особого значения собственным желаниям и планам. «Если мне не удастся одно, – так убеждает он себя, – то, пожалуй, удастся другое, и в целом я не знаю, не обязан ли я своим неудачам большей благодарностью, чем иной удаче. Разве я создан для того, чтобы быть упрямым и носить, подобно быку, рога? То, что составляет ценность и цель *моей* жизни, лежит где-то вне меня самого; моя гордость и равным образом мое злополучие не зависят от меня. Я знаю больше о жизни, поскольку так часто бывал близок к тому, чтобы потерять ее: и как раз поэтому я *имею* от жизни больше, чем все вы вместе!»

304

Действуя, мы отказываемся. – В сущности, мне противны все морали, которые гласят: «Не делай этого! Отрекись! Преодолей себя!» – напротив, я расположен к таким моралям, которые побуждают меня вечно что-то делать с утра до вечера, грезить об этом даже по ночам и не думать ни о чем другом, как только о том, чтобы сделать это *хорошо*, настолько хорошо, как один *я* и в состоянии сделать! Кто живет такой жизнью, от того постоянно одно за другим отпадает все не подобающее ей: без ненависти и отвращения расстается он сегодня с одним, а завтра с другим, пожелтевшими листьями, срываемыми с дерева каждым дуновением ветерка: он даже и не видит этого расставания – столь строго устремлен его взор к своей цели и всегда вперед, ни в сторону, ни назад, ни вниз. «Нашим поступкам определять, от чего нам отказываться: действуя, мы отказываемся» – в таком виде мне это нравится, так гласит *мой* placitum. Но я не хочу сознательно стремиться к своему обеднению, я не люблю никаких отрицательных добродетелей – добродетелей, сама сущность которых есть отрицание и самоотречение.

305

Самообладание. – Те моралисты, которые прежде всего и поверх всего рекомендуют человеку взять себя в руки, навлекают тем самым на него своеобразную болезнь: постоянную раздражительность, сопровождающую его при всех естественных побуждениях и склонностях, словно некий зуд. Что бы отныне ни толкало его, ни влекло, ни прельщало, ни побуждало, изнутри или извне – вечно этому брюзге кажется, будто теперь его самообладанию грозит опасность: он больше не доверяется никакому инстинкту, никакому свободному взмаху крыл, но постоянно пребывает в оборонительной позе, вооруженный против самого себя, напряженно и недоверчиво озираясь вокруг, вечный охранник своей крепости, в которую он себя превратил. Да, он может достичь *величия* в этом! Но как ненавистен он теперь другим, как тяжек самому себе, как обделен и отрезан от прекраснейших случайностей души! И даже от всех дальнейших *поучений*! Ибо следует уметь вовремя забыться, если мы хотим чему-то научиться у вещей, которые не суть мы сами.

306

Стоики и эпикурейцы. – Эпикуреец выискивает себе такие положения, таких лиц и даже такие события, которые подходят к его крайней интеллектуальной возбудимости; от прочего – стало быть, почти от всего – он отказывается, так как оно было бы для него слишком тяжелой и неперевариваемой пищей. Стоик, напротив, умудряется проглатывать камни и червей, осколки стекла и скорпионов, не испытывая при этом отвращения; его желудок должен в конце концов стать невосприимчивым ко всему, что ссыпает в него случайность существования: он напоминает последователей той арабской секты ассауа, которых можно увидеть в Алжире; и, подобно этим неприверeдливым людям, он и сам охотно сзывает публику при демонстрации своей неприверeдливости, публику, без которой эпикуреец предпочитает обходиться – у него ведь есть свой «сад»! Для людей, которыми импровизирует судьба, для тех, кто живет

в насильственные времена и пребывает в зависимости от взбалмошных и непредсказуемых людей, стоицизм может оказаться весьма желательным. Но тот, кто до некоторой степени *предвидит*, что судьба позволит ему прясть *долгую нить*, поступит благоразумно, устроившись по-эпикурейски; все люди умственного труда до сих пор делали это! Ведь для них было бы потерей из потерь – лишиться утонченной чувствительности и получить взамен стоическую толстокожесть, утыканную иглами.

307

В пользу критики. – Теперь нечто предстает тебе заблуждением, то, что прежде ты любил как истину или правдоподобность: ты отталкиваешь это от себя и мнишь, что разум твой одержал здесь победу. Но, возможно, прежде, покуда ты был еще другим – а ты всегда другой, – это заблуждение было тебе столь же необходимо, как все твои нынешние «истины», – было словно кожей, которая утаивала и скрывала от тебя многое из того, чего тебе не следовало еще видеть. Твоя новая жизнь – не твой разум – расправилась с прежним твоим мнением: *ты больше не нуждаешься в нем*, и вот оно рушится само собою, и неразумность выползает из него, словно некое пресмыкающееся, на свет Божий. Когда мы занимаемся критикой, то в этом нет ничего произвольного и безличного, – это, по крайней мере, очень часто служит доказательством того, что в нас есть живые движущие силы, сдирающие кору. Мы отрицаем и должны отрицать, поскольку нечто *хочет* в нас жить и утверждаться, нечто такое, чего мы, возможно, еще не знаем, еще не видим! Это в пользу критики.

308

История всякого дня. – Из чего складывается в тебе история всякого дня? Взгляни на свои привычки, из которых она состоит: являются ли они плодами бесчисленных маленьких трусостей и леностей или обязаны своим существова-

нием твоей отваге и изобретательному уму? Сколь бы ни разнились оба случая, может статься, что люди будут расточать тебе одинаковую хвалу и что ты и в самом деле принес бы им в обоих случаях одинаковую пользу. Но похвалой, пользой и почтенностью пусть довольствуются те, кто хочет стяжать себе только чистую совесть, – но не ты, домогающийся глубин, *сведущий по части совести*!

309

Из седьмого одиночества. – Однажды странник захлопнул за собою дверь, остановился и начал плакать. Потом он сказал: «Этот сыр-бор вокруг истинного, действительного, немнимого, достоверного! Как я зол на него! Отчего *меня* погоняет как раз этот мрачный и пылкий погонщик! Мне хотелось бы отдохнуть, но он не дает мне покоя. Что только не соблазняет меня остановиться! Повсюду раскинулись сады Армиды: и, значит, всё новые разрывы и новые горечи сердца! Я должен плестись дальше, передвигая эти усталые, израненные ноги; и, поскольку мне приходится делать это, часто я угрюмо озираюсь на прекраснейшее, не сумевшее меня удержать – *оттого* именно, что оно не смогло меня удержать!»

310

Воля и волна. – Как жадно подступает эта волна, словно рассчитывая достичь чего-то! С какой устрашающей проворностью вползает она в сокровеннейшие уголки скалистых ущелий! Кажется, она хочет кого-то опередить; кажется, что там запрятано нечто, имеющее цену, большую цену! – И вот она возвращается, чуть медленнее, все еще совсем белая от волнения, – разочарована ли она? Нашла ли она то, что искала? Притворяется ли разочарованной? – Но уже надвигается другая волна, более ненасытная и дикая, чем первая, и вновь душа ее, казалось бы, исполнена тайн и прихотей кладоискателя. Так живут волны – так живем мы, волящие! – большего я не скажу. – Вот как? Вы не доверяете

мне? Вы сердитесь на меня, вы, прекрасные чудовища? Боитесь, что я выдам всю вашу тайну? Что ж! Сердитесь себе, вздымайте свои зеленые опасные туловища как можно выше, воздвигайте стену между мною и солнцем – совсем как теперь! Истинно, уже ничего не осталось от мира, кроме зеленых сумерек и зеленых молний. Поступайте, как вам вздумается, вы, спесивцы, ревите от удовольствия и злобы – или заново ныряйте, сыпьте в глубину свои изумруды, разбрасывайте повсюду свои бесконечные белые космы пены и брызг – мне все это по сердцу, ибо все это так идет вам, и я так признателен вам за все: как же это я стану *вас* выдавать! Ибо – послушайте! – я знаю вас и вашу тайну, я знаю ваш род! Вы и я, мы ведь одного рода! – Вы и я, у нас ведь одна тайна!

311

Преломленный свет. – Не всегда бываешь храбрым, и в минуты усталости можешь, пожалуй, позволить себе такую жалобу. «Так тяжело причинять людям боль, – но это, увы, необходимо! Какая нам польза жить скрытно, если мы не хотим удерживать при себе свою досаду? Не разумнее ли было бы жить в мирской суете и исправлять в отношениях с отдельными людьми то, в чем приходится грешить по отношению ко всем? Быть глупым с глупцом, тщеславным с тщеславцем, мечтательным с мечтателем? Разве это не было бы справедливым, когда вокруг царит такое заносчивое отклонение во всем? Стоит лишь мне услышать о злых действиях против меня со стороны других – разве первым моим чувством не бывает чувство удовлетворения? Так и надо! – как бы говорю я им,– ведь я мало в чем похож на вас, и на моей стороне так много правды; так проведите денек за мой счет, как вам сможется! Вот мои недостатки и промахи, вот мои пустые грезы, моя безвкусица, моя запутанность, мои слезы, мое тщеславие, мои совиная укромность, мои противоречия! Тут вам есть чему посмеяться! Так смейтесь же и радуйтесь! Я не злюсь на закон и природу вещей, которым угодно, чтобы недостатки и промахи вызывали радость! – Конечно, некогда были «более прекрасные» времена, ког-

да люди при каждой более или менее новой мысли еще могли чувствовать себя столь *незаменимыми*, что выбегали с нею на улицу и кричали первому встречному: «Смотри! Царство Небесное приблизилось!» – Я не почувствовал бы своего отсутствия, если бы меня не было. Можно обойтись без всех нас!» – Но, как сказано, мы не думаем так, покуда мы храбры: мы тогда вовсе не думаем *об этом*.

312

Моя собака. – Я дал своей боли имя и зову ее «собакой» – она столь же верна, столь же назойлива и бесстыдна, столь же занимательна, столь же умна, как и всякая другая собака, – и я могу прикрикнуть на нее и выместить на ней свое дурное настроение, как это делают другие со своими собаками, слугами и женами.

313

Никаких изображений мученичества. – Я хочу поступить, как Рафаэль, и не изображать больше никаких мученических сцен. В мире достаточно возвышенных вещей, чтобы искать возвышенное там, где оно связано тесными узами с жестокостью; к тому же мое честолюбие ничуть не было бы удовлетворено, если бы мне вздумалось строить из себя изощренного палача.

314

Новые домашние животные. – Я хочу, чтобы рядом со мной был мой лев и мой орел: тогда у меня были бы знаки и знамения того, насколько велика или мала моя сила. Должен ли я сегодня смотреть на них сверху вниз и страшиться их? И настанет ли час, когда они посмотрят на меня снизу вверх, полные страха?

315

О смертном часе. – Бури – моя опасность: будет ли у меня своя буря, от которой я погибну, как погиб Оливер Кромвель от своей? Или я погасну, как свеча, которую задувает не ветер, но которая сама устает от себя и пресыщается собою, – выгоревшая свеча? Или, наконец: задую ли я сам себя, чтобы не выгореть?

316

Люди с пророческим даром. – Вам и в голову не приходит, что люди, обладающие пророческим даром, являются большими страдальцами: вы думаете лишь, что им дан некий необычный «дар». И сами были бы не прочь обладать таковым, – но я, пожалуй, выражусь путем сравнения. Как, должно быть, сильно страдают животные от воздушного и облачного электричества! Мы видим, что некоторые из них обладают способностью предвещать погоду, например обезьяны (что вполне можно еще наблюдать даже в Европе, и не только в зверинцах: а именно, на Гибралтаре). Но нам и в голову не приходит, что пророчествуют в них – *их боли*! Когда сильный заряд положительного электричества под воздействием надвигающейся, но еще долго незримой тучи превращается в отрицательный заряд, предвещая перемену погоды, эти животные ведут себя так, словно приближается враг, и изготавливаются к обороне или к бегству; в большинстве случаев они прячутся – плохая погода для них не погода вовсе, а враг, близость которого они уже *чуют*.

317

Взгляд назад. – Мы редко сознаем действительный пафос каждого периода жизни, покуда находимся в нем самом; нам кажется всегда, что это – единственное возможное для нас теперь и разумное состояние и, стало быть, *этос*, а не пафос, – говоря и различая вместе с греками. Несколько музыкальных тонов воскресили сегодня в моей памяти зиму,

дом и крайне отшельническую жизнь, и в то же время душевное состояние, в котором я тогда пребывал: мне казалось, я способен жить так вечно. Но теперь я понимаю, что это было только пафосом и страстью, чем-то схожим с этой скорбно-мужественной и утешительной музыкой, – такое нельзя переживать годами, а тем более вечно: иначе можно было бы стать слишком «неземным» для этой планеты.

318

Мудрость в боли. – В боли столько же мудрости, сколько и в удовольствии: подобно последнему, она принадлежит к родоохранительным силам первого ранга. Не будь она такой, она давно исчезла бы; то, что от нее страдают, вовсе не является аргументом против нее: такова ее сущность, Мне чудится в боли команда капитана корабля: «Убрать паруса!» Управлять парусами на тысячу ладов – этому должен был выучиться отважный мореход, «человек», иначе с ним было бы слишком быстро покончено, и океан вскоре поглотил бы его. Мы должны уметь жить и с убавленной энергией: стоит только боли подать свой аварийный сигнал, как наступает время убавить энергию – приближается какая-то большая опасность, какая-то буря, и мы поступим умно, если «надуемся» как можно меньше. – Правда, есть люди, которые при наступлении большой боли слышат как раз противоположную команду и никогда не высовываются более гордо, воинственно и счастливо, чем при надвигающейся буре; и да, само страдание дарует им величайшие их мгновения! Это – героические люди, великие *бичи* человечества: те немногие или редкие, которые нуждаются в такой же апологии, как и боль вообще, – и, поистине, не следует им в ней отказывать! Это – родоохранительные, родопокровительствующие силы первого ранга, и уже хотя бы тем только, что они противятся уюту и не скрывают своего отвращения к такого рода счастью.

319

В качестве толкователей своих переживаний. – Всем основателям религий и им подобным остался чужд один род честности: они никогда не делали из своих переживаний предмета познания. «Что я собственно пережил? Что происходило тогда во мне и вокруг меня? Был ли мой разум достаточно просветлен? Сопротивлялась ли моя воля всяческим обманам чувств и храбро ли она защищалась от всего фантастического?» – так не спрашивал никто из них, так и сейчас еще не спрашивают все славные благочестивцы: они, скорее, жаждут вещей, свидетельствующих *против разума*, и желают, чтобы утоление этой жажды давалось им без особого труда – таким путем переживают они «чудеса» и «возрождения» и внемлют голосам ангелочков! Но мы, другие, жаждущие разума, хотим смотреть в глаза нашим переживаниям столь же строго, как на научный опыт, час за часом, день за днем! Мы сами хотим быть собственными экспериментами и подопытными животными!

320

При свидании. – А: «Вполне ли еще я тебя понимаю? Ты ищешь? Ищешь, где среди сущего нынче мира затерялись *твой* уголок и звезда? Где можешь *ты* прилечь на солнце так, чтобы и на тебя снизошел избыток блага и чтобы существование твое оправдало себя? Пусть каждый делает это для самого себя – так, кажется, говоришь ты мне, – а общие разговоры, заботу о других и обществе пусть выбьет себе из головы!» – Б: «Я хочу большего, я вовсе не ищущий. Я хочу сотворить себе собственное солнце».

321

Новая осторожность. – Не будем впредь так много думать о наказании, порицании и исправлении! Отдельного человека редко удастся нам изменить; а если бы нам и удалось это, то, возможно, вместе с этим незаметно удалось бы и

нечто другое: мы и *сами* были бы им изменены! Позаботимся, скорее, о том, чтобы наше собственное влияние *на все грядущее* уравновешивало и перевешивало его влияние! Не будем вступать в прямую борьбу! – это ведь было бы уже порицанием, наказанием и стремлением к исправлению. Но тем выше поднимемся сами! Придадим нашему идеалу бо́льшую светозарность! Затемним нашим светом другого! Нет! Мы не хотим ради него делаться *более темными*, подобно всем наказывающим и недовольным! Отойдем-ка лучше в сторону! Отвратим наши взоры!

322

Притча. – Те мыслители, в которых все звезды движутся по круговым орбитам, не суть самые глубокие; кто всматривается в себя как в чудовищное мировое пространство и носит в себе Млечные Пути, тому известно также, как беспорядочны все Млечные Пути; они заводят в хаос и лабиринт бытия.

323

Счастье в судьбе. – Судьба оказывает нам величайшую милость, позволяя нам некоторое время сражаться на стороне наших противников. Тем самым мы *предназначены* к великой победе.

324

In media vita! – Нет! Жизнь не разочаровала меня! Напротив, из года в год нахожу я ее более истинной, более желанной, более таинственной – с того самого дня, когда меня осенила великая освободительница: мысль о том, что жизни суждено быть экспериментом познающего, – а не долгом, не напастью, не мошенничеством! – И само познание: пусть для других будет оно чем-то иным, скажем, некой опочивальней или путем к опочивальне, или развлечением, или

праздностью, – для меня оно есть мир опасностей и побед, в котором и героическим чувствам дано танцевать и резвиться. *«Жизнь – средство познания»* – с этим тезисом в сердце можно не только храбро, но даже *весело жить и весело смеяться*! А кто сумел бы вообще хорошо смеяться и жить, не научись он прежде хорошо воевать и побеждать?

325

Что свойственно величию. – Кто достигнет чего-нибудь великого, если он не ощущает в себе силы и решимости *причинять* великие страдания? Уметь страдать – самое последнее дело: слабые женщины и даже рабы часто достигают в этом мастерства. Но не сгинуть от внутренней муки и неуверенности, причиняя великое страдание и внемля крику этого страдания, – это великое дело, это свойственно величию.

326

Врачеватели души и страдание. – Всем проповедникам морали, а также и всем теологам свойственна одна общая дурная привычка: они хотят внушить людям, что дела обстоят весьма скверно и что требуется жесткое, крайнее, радикальное лечение. И поскольку люди, все, как один, слишком ревностно и целыми столетиями подставляли ухо этим учителям, им в конце концов действительно передалось нечто от того суеверия, что с ними обстоит довольно скверно, так что теперь они весьма охочи до того, чтобы стонать и не находить в жизни ничего больше и корчить друг другу омраченные рожи, словно бы им и в самом деле *невмоготу*. В действительности они необузданно уверены в жизни и влюблены в нее, у них полно несказанных хитростей и уловок, чтобы одолеть любую неприятность и вырвать жало у страдания и злосчастья. Мне кажется, что о страдании и злосчастье говорится всегда в *преувеличенных* тонах, как если бы преувеличение выглядело здесь хорошим тоном; напротив, умышленно умалчивают о том, что существует уйма болеутоляющих средств против страдания, как-то: обезбо-

ливание, лихорадочная торопливость мыслей, спокойная поза, хорошие и дурные воспоминания, намерения, надежды и множество видов гордости и сочувствия, обладающих почти анестезирующим действием, тогда как при высших степенях страдания уже сам по себе наступает обморок. Мы горазды в подслащивании наших горечей, в особенности же душевных горечей; мы находим вспомогательные средства в нашей храбрости и возвышенных состояниях, как и в более благородных горячках покорности и резиньяции. Потеря остается потерей едва ли в течение одного часа; откуда ни возьмись, падает нам с неба подарок – скажем, новая сила или хотя бы даже новый повод проявить силу! Чего только не нафантазировали проповедники морали о внутреннем «убожестве» злых людей! Чего только не *налгали* они нам о несчастье людей, подверженных страстям! – да, «ложь» здесь весьма уместное слово: они были прекрасно осведомлены о бьющем через край счастье этого типа людей, но хранили на сей счет гробовое молчание, так как это оказывалось опровержением их теории, согласно которой всякое счастье наступает лишь с уничтожением страсти и с подавлением воли! Что же касается рецепта всех этих врачевателей души и расхваливания ими жестокого, радикального лечения, то позволительно спросить: достаточно ли болезненна и тягостна на самом деле эта наша жизнь, чтобы с выгодой обменивать ее на стоический образ жизни и оцепенение? Мы чувствуем себя *недостаточно скверно* для того, чтобы приходилось чувствовать себя стоически скверно!

327

Принимать всерьез. – У подавляющего большинства людей интеллект представляет собой громоздкую, подозрительную, скрипучую машину, заводить которую – одно мучение: они называют это «*серьезно относиться* к делу», когда намереваются поработать и хорошенько подумать этой машиной – о, сколь тягостно должно быть им это шевеление мозгами! Славная бестия, человек, теряет, по-видимому, хорошее настроение всякий раз, когда хорошенько думает: он делается «серьезным»! И «где смех и веселье, там мысли нет дела»

– так звучит предрассудок этой серьезной бестии против всякой «веселой науки». – Ну что ж! Покажем, что это предрассудок!

328

Наносить вред глупости. – Разумеется, столь упрямо и убежденно проповедуемая вера в предосудительность эгоизма нанесла в целом эгоизму вред (*в пользу* – я буду повторять это сотни раз – *стадным инстинктам*) тем именно, что лишила его чистой совести и велела искать в нем доподлинный источник всякого несчастья. «Твое себялюбие – беда твоей жизни» – так проповедовали тысячелетиями: это, как было уже сказано, вредило себялюбию и лишало его во многом ума, веселости, изобретательности, красоты; это оглупляло, уродовало и отравляло себялюбие! – Философия древности, напротив, учила о другом главном источнике бед: начиная с Сократа мыслители не уставали проповедовать: «Ваше умственное убожество и глупость, ваше беспечное существование по правилам, ваша подчиненность мнению соседа – вот причина того, почему вы столь редко бываете счастливыми, – мы, мыслители, суть счастливейшие люди, именно как мыслители». Не будем решать здесь, была ли эта проповедь против глупости более обоснованной, чем та проповедь против себялюбия; несомненно, однако, то, что она лишила глупость чистой совести: эти философы *нанесли вред глупости*!

329

Досуг и праздность. – Какая-то краснокожая, свойственная индейской крови дикость обнаруживается в способе, каковым американцы домогаются золота; и их лихорадочный темп работы – сущий порок Нового Света – начинает уже заражать дикостью старую Европу и распространять по ней диковинную бездуховность. Нынче уже стыдятся покоя; длительное раздумье вызывает чуть ли не угрызения совести. Думают с часами в руке, подобно тому как обедают с глазами,

вперенными в биржевой листок, – живут так, словно постоянно могут «нечто упустить». «Лучше делать что-нибудь, чем ничего не делать» – и этот принцип оказывается петлей, накинутой на всякое образование и всякий более развитый вкус. И поскольку в этой рабочей спешке явным образом исчезают все формы, то исчезает также и само чувство формы, способность слышать и видеть мелодию движений. Доказательством тому служит требуемая нынче повсюду *топорная ясность* во всех ситуациях, где человек хочет быть честным с людьми: в общении с друзьями, женщинами, родственниками, детьми, учителями, учениками, начальниками и правителями, – нет уже больше ни времени, ни силы на церемонии, на вкрадчивые любезности, на всяческий esprit развлечений и вообще всяческий otium[1]. Ибо жизнь в охоте за прибылью вечно принуждает к тому, чтобы на износ растрачивать ум в постоянном притворстве, коварных хитростях или опережении: доподлинной добродетелью оказывается теперь умение сделать что-либо в более короткий срок, чем это удастся другому. И, таким образом, лишь редкие часы отведены *дозволенной* честности, но к этому времени уже устают и хотят не только «расслабиться», но и *растянуться* всласть и самым пошлым образом. Под стать этой склонности пишут нынче и *письма;* их стиль и дух всегда будут действительным «знамением времени». Если еще находят удовольствие в общении и искусствах, то это схоже с удовольствием, которое изыскивают себе заработавшиеся рабы. Ох, уж эта невзыскательность «радости» у наших образованных и необразованных! Ох, уж эта нарастающая подозрительность ко всякой радости! *Работа* все больше и больше перетягивает на свою сторону всю чистую совесть: склонность к радости называется уже «потребностью в отдыхе» и начинает стыдиться самой себя. «Мы в долгу перед нашим здоровьем» – так говорят люди, застигнутые на каком-нибудь пикнике. Да, в скором времени дело может дойти даже до того, что склонности к vita contemplativa[2] (т.е. к прогулкам с мыслями и друзьями) предавались бы не иначе, как презирая себя и с нечистой совестью. – Что ж! Прежде

1 Досуг, праздность (*лат.*).

2 Созерцательная жизнь (*лат.*).

все было наоборот: нечистая совесть была сопряжена с самой работой. Человек хорошего происхождения *скрывал* свою работу, когда его приводила к ней нужда. Раб производил свою работу под гнетом чувства, что он делает нечто презренное, – само «делание» было чем-то презренным. «Знатность и почет заключены лишь в otium и bellum[1]» – так звучал голос античного предрассудка!

330

Одобрение. – Мыслитель не нуждается в одобрении и рукоплесканиях, если только он уверен в собственных рукоплесканиях себе: без них же ему не обойтись. Есть ли люди, которые не нуждаются и в этом, и вообще во всякого рода одобрении? Сомневаюсь, ведь даже о наиболее мудрых говорит Тацит, которого никак не назовешь клеветником мудрецов: quando etiam sapientibus gloriae cupido novissima exuitur[2] – это значит у него: никогда.

331

Лучше быть глухим, чем оглушенным. – Прежде хотели создать себе *доброе имя:* теперь этого недостаточно, так как базар стал слишком большим – нужен *большой шум.* Итог таков, что надрываются даже хорошие глотки, и лучшие товары предлагаются к продаже сиплыми голосами; нынче нет уже гения без базарного крика и сиплости. – Конечно, для мыслителя настали скверные времена: он вынужден учиться между двух смежных шумов находить свою тишину и притворяться глухим, покуда и сам не оглохнет. Пока же он не выучился еще этому, ему, разумеется, грозит опасность погибнуть от нетерпения и головной боли.

---

1 Праздность ... война (*лат.*).

2 Когда даже мудрецов жажда славы покидает в самую последнюю очередь (*лат.*).

332

Злой час. – Должно быть, у каждого философа был свой злой час, когда он думал: какой от меня толк, раз не верят даже плохим моим аргументам! – И тогда пролетала над ним какая-нибудь злорадная птичка и чирикала: «Какой от тебя толк! Какой от тебя толк!»

333

Что значит познавать? – Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere[1]! – говорит Спиноза со свойственной ему простотой и возвышенностью. А между тем, что же, в сущности, есть это intelligere, как не форма, в которой нами одновременно воспринимаются перечисленные три действия? Результат различных и противоречащих друг другу побуждений к смеху, плачу, проклятию? Прежде чем познание станет возможным, каждое из этих побуждений должно утвердиться в своем одностороннем взгляде на вещь или происшествие; вслед за тем возникает борьба этих односторонностей, а из нее временами – равновесие, успокоение, оправдание всех трех сторон, некоего рода справедливость и как бы договор, ибо благодаря справедливости и договору эти три побуждения могут утверждаться в существовании и сохранять свои права по отношению друг к другу. Мы, осознающие лишь последние сцены примирения и итоговые результаты этого длительного процесса, полагаем соответственно, что intelligere есть нечто примирительное, справедливое, доброе, нечто существенно противоположное побуждениям, тогда как оно есть лишь *определенное отношение побуждений друг к другу*. С незапамятных времен рассматривали сознательное мышление как мышление вообще; только сейчас брезжит нам истина, что наибольшая часть нашей умственной деятельности протекает в нас бессознательно, бесчувственно; я думаю, однако, что эти побуждения, которые борются здесь друг с другом, вполне способны теребить *друг друга* и причинять *друг другу* боль:

---

1 Не смеяться, не плакать, не клясть, а понимать (*лат.*).

то сильное внезапное истощение, которому подвергаются все мыслители, возможно, коренится именно здесь (это – истощение на поле битвы). Возможно даже, что в нашей воюющей душе свершается некое скрытое *геройство*, но наверняка в ней нет ничего Божественного, вечно-в-себе-покоящегося, как полагал Спиноза. *Сознательное* мышление, в особенности мышление философа, есть бессильнейший и оттого соответственно умереннейший и спокойнейший род мышления, и, стало быть, именно философ легче всего может быть введен в заблуждение относительно природы познания.

334

Надо учиться любить. – Так обстоит у нас с музыкой: сначала нужно вообще *научиться слышать* какую-нибудь фигурацию и мелодию, выслушивать, различать, изолировать и ограничивать ее как некую довлеющую себе жизнь; затем требуется стремление и добрая воля *выдержать* ее и, несмотря на ее необычность, выработать терпение к формам ее проявления и выражения, отзывчивость ко всему диковинному в ней, – наконец, наступает мгновение, когда мы к ней *привыкаем*, когда мы ждем ее, когда мы предчувствуем, что ее нам будет недоставать, если мы останемся без нее; и вот она все больше и больше распространяет свой нажим и очарование и не останавливается до тех пор, покуда мы не станем ее смиренными и восхищенными поклонниками, которым и не нужно от мира ничего большего, кроме нее и только нее. – Так, впрочем, обстоит у нас не только с музыкой: именно так мы *научились любить* все вещи, которые мы теперь любим. Мы всегда в итоге вознаграждаемся за нашу добрую волю, наше терпение, справедливость, кротость к необычному, когда необычное медленно отбрасывает свое покрывало и предстает новой несказанной красотой, – такова его *благодарность* за наше гостеприимство. Даже тот, кто любит самого себя, научился любви на этом пути: другого пути не существует. И любви надо учиться.

335

Да здравствует физика! – Сколько же людей умеют наблюдать? И среди немногих, умеющих это, – сколькие наблюдают самих себя? «Каждый наиболее чужд самому себе» – это знают, к своему неудовольствию, все домогающиеся глубин, и изречение «познай самого себя!», в устах бога и обращенное к человеку, звучит почти как издевка. *Что,* однако, с самонаблюдением обстоит столь безнадежно, об этом ничто не свидетельствует так, как манера, с которой *почти каждый* разглагольствует о сущности какого-либо морального поступка, – эта быстрая, усердная, убежденная, болтливая манера с присущим ей взглядом, улыбкой, услужливым рвением! Словно бы тебе хотят сказать: «Однако, милый мой, это как раз по *моей* части! Ты обращаешься с твоим вопросом к тому, кто *вправе* ответить: случайным образом я ни в чем не смыслю так, как в этом. Итак, если человек судит: "*вот так это будет правильно*", если он заключает на этом основании: "*поэтому это должно случиться!*" и потом уже *поступает* сообразно тому, что он нашел правильным и необходимым, – то сущность его поступка *моральна*!» Но, друг мой, ты говоришь здесь о трех поступках вместо одного: твое суждение, к примеру, «вот так это будет правильно» есть также поступок – разве нельзя было бы судить и о нем моральным и неморальным способом? *Почему* считаешь ты это и именно это правильным? «Потому что об этом говорит мне моя совесть; совесть никогда не говорит неморально, только она и определяет, чему быть моральным!» – Но почему ты *повинуешься* тому, что говорит твоя совесть? И насколько вправе ты рассматривать такое суждение как истинное и необманчивое? Разве нет никакой другой совести – для этой *веры*? Известно ли тебе что-нибудь об интеллектуальной совести? Совести, скрытой за твоей «совестью»? Твое суждение «вот так это будет правильно» имеет предысторию в твоих влечениях, склонностях, антипатиях, в том, что ты пережил и чего не пережил. «*Как* оно могло возникнуть?»» – должен ты спросить, и еще должен ты спросить: «*Что,* собственно, заставляет меня повиноваться ему?» Ты можешь подчиняться его приказу, как бравый солдат, внемлющий приказу своего офицера. Или как женщина, любя-

щая того, кто повелевает. Или как льстец и трус, боящийся повелевающего. Или как глупец, который повинуется, ибо ему нечего сказать против. Короче, на сотню ладов можешь ты внимать своей совести. Но то, *что* ты выслушиваешь то или иное суждение, как голос совести, – стало быть, ощущаешь нечто, как правильное, – может иметь свою причину в том, что ты никогда не размышлял о самом себе и слепо принимал то, что с детских лет внушалось тебе как *правильное;* или в том, что твой хлеб насущный и положение до сих пор зависели от того, что ты называешь своим долгом, – ты считаешь это «правильным», так как это представляется тебе твоим «условием существования» (а то, что ты имеешь *право* на существование, кажется тебе неопровержимым!). *Твердость* твоего морального суждения могла бы тем не менее служить доказательством как раз личного убожества, безликости; твоя «моральная сила» могла бы корениться в твоем упрямстве – или в твоей неспособности лицезреть новые идеалы! И, короче говоря, если бы ты тоньше мыслил, лучше наблюдал и больше учился, ты бы ни при каких обстоятельствах не называл больше долгом и совестью этот твой «долг» и эту твою «совесть»: осознание того, *как вообще некогда возникли моральные суждения,* отбило бы у тебя охоту к этим патетическим словам, – подобно тому как у тебя уже была отбита охота к другим патетическим словам, вроде «грех», «спасение души», «искупление». И не говори мне впредь о категорическом императиве, друг мой! – это слово щекочет мне ухо, и я вынужден смеяться, несмотря на твое столь серьезное присутствие: я поминаю при этом старого Канта, который в наказание за то, что он *хитростью добился* «вещи в себе» – тоже очень смешная вещь! – был добит «категорическим императивом», и с ним в сердце снова *приблудился,* подобно лисе, забредшей обратно в свою клетку, к «Богу», «душе», «свободе» и «бессмертию»; а клетка-то и была *взломана его* силою и умом! – Как? Ты любуешься категорическим императивом в себе самом? Этой «твердостью» твоего так называемого морального суждения? Этой «безусловностью» чувства: «все должны судить здесь так, как я»? Удивляйся, скорее, здесь своему *себялюбию*! И слепоте, ничтожности, невзыскательности твоего себялюбия! Себялюбие и есть это: ощущать *свое* суждение как всеобщий

закон, – и притом слепое, ничтожное и невзыскательное себялюбие, ибо оно выдает, что ты еще не открыл самого себя, не сотворил еще себе собственного, собственнейшего идеала, который никогда не смог бы быть идеалом кого-нибудь другого, – молчу уж о всех, всех! – Кто судит еще: «так должен был бы в этом случае поступить каждый», тот не продвинулся еще дальше пяти шагов в самопознании: иначе ведал бы он, что нет и быть не может одинаковых поступков, – что каждый свершенный поступок свершен вполне единственным и неповторимым образом и что с каждым будущим поступком будет обстоять так, что все предписания к действию коснутся лишь грубой внешней его стороны (включая даже проникновеннейшие и утонченнейшие предписания всех прежних моралей), – что с ними, пожалуй, можно будет достичь иллюзии равенства, *но именно лишь иллюзии,* – что *любой* поступок, если взглянуть или оглянуться на него, есть и продолжает оставаться непроницаемым, – что наши мнения о «добром», «благородном», «великом» никогда не могут быть *доказаны* нашими поступками, ибо каждый поступок непознаваем, – что, хотя наши мнения, оценки и заповеди наверняка принадлежат к мощнейшим рычагам в шестеренчатом механизме наших поступков, все равно закон их механики недоказуем для каждого отдельного случая. Итак, *ограничимся* очищением наших мнений и оценок и *созиданием новых собственных скрижалей* – и не будем больше корпеть над «моральной ценностью наших поступков»! Да, друзья мои! Пробил час отвращения ко всей моральной болтовне одних в адрес других! Моральное судопроизводство должно быть оскорблением нашему вкусу! Предоставим эту болтовню и этот дурной вкус тем, кому нечего больше и делать, как волочить прошлое пядь за пядью сквозь времена, и кто сам никогда не есть настоящее, – многим, стало быть, очень многим! Мы *же хотим стать тем, что мы есть,* – новыми, неповторимыми, несравнимыми, полагающими себе собственные законы, себя-самих-творящими! И для этого должны мы стать лучшими учениками и открывателями всего законного и необходимого в мире: мы должны быть *физиками,* чтобы суметь стать *творцами* в названном смысле, – между тем как до сих пор все оценки и идеалы зиждились на *незнании* физики либо

в *противоречии* с нею. И посему: да здравствует физика! А еще больше то, что *принуждает* нас к ней, – наша честность!

336

Скупость природы. – Отчего природа оказалась столь скаредной по отношению к человеку, что не дала ему светиться, одному больше, другому меньше, в зависимости от внутренней полноты света у каждого? Отчего великие люди не выглядят столь же прекрасно в своем восходе и закате, как солнце? Насколько более недвусмысленной была бы тогда жизнь среди людей!

337

Будущая «человечность». – Когда я всматриваюсь в эту эпоху глазами какой-нибудь отдаленной эпохи, мне не удается найти в современном человеке ничего более примечательного, чем его своеобразная добродетель и болезнь, называемая «историческое чувство». Это – начатки чего-то совершенно нового и неизвестного в истории: если бы предоставили этому ростку несколько столетий и больше, то из него в конце концов могло бы выйти дивное растение с таким дивным запахом, ради которого обитать на нашей старой Земле было бы приятнее, чем прежде. Мы, нынешние люди, и начинаем звено за звеном создавать цепь будущего весьма могучего чувства – едва ли и сами мы знаем, что мы делаем. Нам почти кажется, что дело идет не о новом чувстве, а об ампутации всех старых чувств, – историческое чувство есть еще нечто столь бедное и холодное, что многие дрожат от него, как от холода, и становятся от него еще более бедными и озябшими. Другим оно кажется признаком подкрадывающейся старости, и наша планета предстает им точно некий унылый больной, который, силясь забыть свое настоящее, записывает себе на память историю своей юности. На деле такова одна грань этого нового чувства: кто способен чувствовать всю историю людей, как *собственную историю*, тот воспринимает в некоем чудовищном обобще-

нии всю тоску больного, думающего о здоровье, старика, вспоминающего грезы юности, любящего, разлученного с любимой, мученика, теряющего свой идеал, героя вечером после битвы, которая ничего не решила и все же принесла ему ранения и утрату друга, – но нести в себе эту чудовищную сумму всяческой тоски, уметь нести ее, и при всем том быть еще героем, который с наступлением второго дня битвы приветствует утреннюю зарю и свое счастье, как человек, вмещающий горизонт тысячелетий до и после себя, как наследник всего благородства былого духа, и наследник, взявший на себя обязательства, как наиболее знатный из всех старых дворян и в то же время первенец нового дворянства, которое и не снилось всем прежним эпохам: все это принять в душу, древнейшее, новейшее, потери, надежды, завоевания, победы человечества; все это, наконец, нести в одной душе и вместить в одном чувстве – это должно означать такое счастье, которого до сих пор не ведал еще человек, – божественное счастье, исполненное силы и любви, полное слез и полное смеха, счастье, которое, словно вечернее солнце, постоянно расточает неисчерпаемые богатства и сыпет их в море и, словно это солнце, лишь тогда чувствует себя наиболее богатым, когда и беднейший рыбак правит золотым веслом! Это божественное чувство да наречется тогда – человечность!

338

Воля к страданию и сострадательные. – Выгодно ли вам самим быть, прежде всего, сострадательными людьми? И выгодно ли страждущим это ваше сострадание? Но оставим на мгновение первый вопрос без ответа. – То, чем мы глубже всего и сокровеннее всего мучимся, непонятно и недоступно почти всем другим: в этом мы остаемся тайной и для самого близкого нам человека, хотя бы он и хлебал с нами из одной миски. Но всюду, где *подмечают* наше страдание, толкуют его весьма плоско; сострадательности свойственно *лишать* чужое страдание собственно личного характера – наши «благодетели» в большей мере, чем наши враги, суть умалители нашего достоинства и воли. В большинстве благодеяний,

оказываемых несчастным, чем-то возмутительным выглядит то интеллектуальное легкомыслие, с которым сострадающий корчит из себя судьбу; ему не известно ровным счетом ничего о внутренних последствиях и коллизиях, которые и называются *моим* или *твоим* несчастьем! Общая экономия моей души и ее коррекция путем «несчастья», прорыв новых источников и потребностей, затягивание старых ран, расплата со всем прошлым – все то, что может быть связано с несчастьем, нисколько не заботит славного сострадальца: он хочет *помочь*, и ему не приходит в голову, что существует личная необходимость несчастья, что ужасы, лишения, бедствования, полунощные бдения, приключения, риск, промахи столь же необходимы нам с тобой, как и их противоположности, что даже, мистически выражаясь, тропа, ведущая к собственному небу, всегда проходит через сладострастия собственного ада. Нет, об этом он не знает ничего: «религия сострадания» (или «сердце») велит помогать, и думают, будто лучшая помощь – непременно помощь самая скорая! Если вы, приверженцы этой религии, действительно питаете к самим себе те же чувства, которые вы питаете к ближним, если вы не хотите вынести и часа собственных страданий и вечно уже загодя уклоняетесь от всяческих несчастий, если вы воспринимаете страдание и неудовольствие как что-то злое, ненавистное, достойное уничтожения, как позорное пятно на существовании, – что ж, в таком случае в сердце вашем, кроме религии сострадания, есть еще и другая религия, и эта-то последняя и является, возможно, матерью первой: *религия удобства*. Ах, как мало знаете вы о *счастье* человека, вы, покладистые и добродушные! ибо счастье и несчастье – братья-близнецы, которые растут вместе или, как у вас, вместе *остаются недорослями*! Но теперь вернемся к первому вопросу. – Как же это возможно – оставаться на *своем* пути! Нас вечно зазывает в сторону чей-то крик; наш глаз редко видит нечто такое, что не требовало бы мгновенно оставить собственное дело и ринуться на подмогу. Я знаю это: есть сотни пристойных и похвальных способов сбить меня *с моего пути*, воистину в высшей степени «моральных» способов! Ну да, взгляды нынешних проповедников морали сострадания доходят даже до того, что именно это, и лишь одно это, считается моральным:

сбиться таким образом *со своего* пути и поспешить на помощь к ближнему. Я знаю столь же явно и другое: стоит мне отдаться созерцанию действительной нужды, как *я* погиб! И если бы страждущий друг сказал мне: «Смотри, я скоро умру: обещай же мне умереть вместе со мною» – я обещал бы это, равным образом как и вид того борющегося за свою свободу горного народца побудил бы меня протянуть ему мою руку и мою жизнь (если уж выбирать из хороших побуждений дурные примеры). Да, даже во всем этом пробуждающем сострадание и взывающем к помощи кроется тайный соблазн: как раз наш «собственный путь» и есть слишком суровое и ответственное дело, а главное, слишком далекое от любви и благодарности других, – мы отнюдь не без охоты покидаем его, его и нашу сокровенную совесть, прячась за совестью других и в славном храме «религии сострадания». Стоит лишь теперь разразиться какой-нибудь войне, как тотчас же в сердцах благороднейших представителей народа прорывается, конечно, затаившаяся радость: они с ликованием бросаются навстречу новой *смертельной* опасности, ибо в самопожертвовании за отечество рассчитывают получить наконец это долгожданное позволение – позволение *ускользнуть от своей цели:* война для них есть окольный путь к самоубийству, но окольный путь с чистой совестью. И дабы промолчать здесь кое о чем, я не хочу промолчать о моей морали, которая говорит мне: «Живи скрытно, чтобы тебе *удалось* жить по себе! Живи в *неведении* того, что кажется твоему времени наиболее важным! Проложи между собою и сегодняшним днем, по крайней мере, шкуру трех столетий! И крики сегодняшнего дня, шум войн и революций да будут тебе журчанием! Ты захочешь также помогать: но только тем, нужду которых ты полностью *понимаешь,* ибо у них одна с тобою скорбь и одна надежда, – твоим *друзьям;* и лишь *таким* способом, каким ты помогаешь сам себе, – я хочу придать им больше мужества, больше стойкости, больше простоты, больше веселья! Я хочу научить их тому, что нынче понимают столь немногие, а те проповедники сострадания и того меньше, – *сорадости*!»

339

Vita femina. – Увидеть последнюю красоту какого-либо творения – для этого недостаточно всего знания и всей доброй воли; нужны редчайшие счастливые случайности, дабы однажды рассеялся для нас облачный покров с вершин и их залило бы солнцем. Не только должны мы стоять на правильном месте, чтобы видеть это: сама душа наша должна совлечь покров со своих высот и взыскать внешнего выражения и подобия, словно бы получая от этого устойчивость и самообладание. Поскольку, однако, все это столь редко сходится вместе, я склонен думать, что высочайшие выси всего благого, будь то творение, деяние, человек, природа, пребывали до сих пор для большинства людей и даже для лучших чем-то таинственным и сокрытым: а то, что открывается нам, *открывается нам однажды*! – Греки хорошо молились: «Да удвоится и утроится все прекрасное!» – ах, у них было достаточное основание взывать к богам, ибо небожественная действительность либо вовсе не дает нам прекрасного, либо дает его однажды! Я хочу сказать, что мир переполнен прекрасными вещами, но, несмотря на это, беден, очень беден прекрасными мгновениями и обнаружениями этих вещей. Но, может статься, это-то и есть сильнейшее очарование жизни: на ней лежит златотканый покров прекрасных возможностей, обещая, сопротивляясь, стыдливо, насмешливо, сострадательно, соблазнительно. Да, жизнь – это женщина!

340

Умирающий Сократ. – Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа во всем, что он делал, говорил – и не говорил. Этот насмешливый и влюбленный афинский урод и крысолов, заставлявший трепетать и всхлипывать заносчивых юношей, был не только мудрейшим болтуном из когда-либо живших: он был столь же велик в молчании. Я хотел бы, чтобы он и в последнее мгновение жизни был молчаливым, – возможно, он принадлежал бы тогда к умам еще более высокого ранга. Было ли то действием смерти или яда, благо-

честия или злобы – что-то такое развязало ему в это мгновение язык, и он сказал: «О, Критон, я должен Асклепию петуха». Это смешное и страшное «последнее слово» значит для имеющего уши: «О, Критон, *жизнь – это болезнь*!» Возможно ли! Такой человек, как он, весело и на глазах у всех проживший свою жизнь солдатом, – был пессимистом! Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свое сокровеннейшее чувство! Сократ, Сократ *страдал от жизни*! И он отомстил еще ей за это – тем таинственным, ужасным, благочестивым и кощунственным словом! Должен ли был Сократ мстить еще и за себя? Его бьющей через край добродетели не хватило какого-то грана великодушия? – Ах, друзья! Мы должны превзойти и греков!

341

Величайшая тяжесть. – Что, если бы днем или ночью прокрался за тобою в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, – также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова – и ты вместе с ними, песчинка из песка!» – Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: «Ты – бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!» Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: «хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?» – величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жиз-

ни, чтобы не *жаждать больше* ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью?

342

Incipit tragoedia. – Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро Урми и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим. Но наконец изменилось сердце его – и однажды утром поднялся он с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему: «Ты, великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! Десять лет восходило ты сюда к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи; но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя за это. Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне; я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные – богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, опускаясь в море и неся свет свой даже в подземный мир, ты, богатейшее светило! – Я должен, подобно тебе, *закатиться,* как называют это люди, к которым хочу я спуститься. Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на такое огромное счастье! Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы вода золотом текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады! Взгляни! Эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком». – Так начался закат Заратустры.

Пятая книга

Мы, бесстрашные

Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien davantage, si tu savais, où je te mène.
Turenne[1]

343

Какой толк в нашей веселости. – Величайшее из недавних событий – что «Бог умер» и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия – начинает уже отбрасывать на Европу свои первые тени. По крайней мере, тем немногим, чьи глаза и *подозрение* в глазах достаточно сильны и зорки для этого зрелища, кажется, будто закатилось какое-то солнце, будто обернулось сомнением какое-то старое глубокое доверие: с каждым днем наш старый мир должен выглядеть для них все более закатным, более подозрительным, более чуждым, «более дряхлым». Но в главном можно сказать: само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком недоступно восприятию большинства, чтобы даже слухи о нем можно было считать уже *дошедшими*, – не говоря о том, сколь немногие уже поняли, *что*, собственно, тут случилось и что впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, – к примеру, вся наша европейская мораль. Предстоит длительная череда сплошных обвалов, разрушений, погибелей, крахов: кто бы нынче угадал все это настолько, чтобы рискнуть войти в роль учителя и глашатая этой чудовищной логики ужаса, пророка помрачения и солнечного затмения, равных которым,

---

1 Скелет, ты дрожишь? Ты дрожал бы сильнее, если бы знал, куда я тебя веду. Тюренн (*фр.*).

по-видимому, не было еще на земле?.. Даже мы, прирожденные отгадчики загадок, мы, словно бы выжидающие на горах, зажатые между сегодня и завтра и впрягшиеся в противоречие между сегодня и завтра, мы, первенцы и недоноски наступающего столетия, на лица которых *должны были бы* уже пасть тени, вот-вот окутающие Европу: отчего же происходит, что даже мы, без прямого участия в этом помрачении, прежде всего без всякой заботы и опасения за самих *себя*, ждем его пришествия? Быть может, мы еще находимся под слишком сильным воздействием *ближайших последствий* этого события – и эти ближайшие последствия, его последствия, вовсе не кажутся *нам*, вопреки, должно быть, всяким ожиданиям, печальными и мрачными, скорее, как бы неким трудно описуемым родом света, счастья, облегчения, просветления, воодушевления, утренней зари... В самом деле, мы, философы и «свободные умы», чувствуем себя при вести о том, что «старый Бог умер», как бы осиянными новой утренней зарею; наше сердце преисполняется при этом благодарности, удивления, предчувствия, ожидания, – наконец, нам снова открыт горизонт, даже если он и затуманен; наконец, наши корабли снова могут пуститься в плавание, готовые ко всякой опасности; снова дозволен всякий риск познающего; море, *наше* море снова лежит перед нами открытым; быть может, никогда еще не было столь «открытого моря».

344

В какой мере и мы еще набожны. – В науке убеждения не имеют никакого права гражданства, так – и вполне основательно – принято говорить: лишь когда эти убеждения решаются снизойти до скромного уровня гипотезы, временной рабочей точки зрения, регулятивной фикции, им разрешается доступ в область познания и даже право на определенное достоинство в ней – при условии постоянного пребывания под полицейским присмотром, под надзором полиции недоверия. – Но в более точном разгляде не означает ли это: лишь когда убеждение *перестает* быть убеждением, оно вправе притязать на вход в науку? Разве дисциплина научного ума

не начинается с того, что не позволяешь себе больше никаких убеждений?.. Так оно, по-видимому, и есть: остается лишь спросить, не должно ли уже наличествовать некое убеждение, *чтобы эта дисциплина могла вообще начаться*, а именно убеждение, столь властное и безусловное, что делает своей жертвой все прочие убеждения. Очевидно, сама наука покоится на вере; не существует никакой «беспредпосылочной» науки. Вопрос, нужна ли *истина*, должен быть не только заведомо решен положительно, но положительно в такой степени, чтобы в нем нашли свое выражение тезис, вера, убеждение; «нет *ничего более* необходимого, чем истина, и в сравнении с нею все прочее имеет лишь второстепенное значение». – Эта безусловная воля к истине: что она такое? Есть ли это воля *не давать себя обманывать*? Есть ли это воля *самому не обманывать*? Как раз на этот последний лад и могла бы толковаться воля к истине: если предположить, что обобщение «я не хочу обманывать» включает в себя и частный случай: «я не хочу обманывать *себя*». Но отчего не обманывать? Но отчего не давать обманывать себя? – Заметьте, что доводы в пользу первого суждения лежат в совершенно иной области, чем доводы в пользу второго: не хотят обманываться, предполагая, что быть обманутым вредно, опасно, губительно; в этом смысле наука была бы дотошной смышленностью, осторожностью, полезностью, против которых, впрочем, можно было бы по праву возразить: как? действительно ли нежелание быть обманутым менее вредно, менее опасно, менее губительно? Что знаете вы загодя о характере бытия, чтобы решать, где больше выгоды: в безусловно ли недоверчивом или в безусловно доверчивом? А в случае, если необходимо и то и другое, большое доверие *и* большое недоверие, – откуда могла бы наука почерпнуть свою безусловную веру, свое убеждение, на котором она покоится, что истина важнее всякой другой вещи, даже всякого другого убеждения? Этого-то убеждения и не могло возникнуть там, где истина *и* неистина постоянно обнаруживают свою полезность, как это и имеет место в данном случае. Стало быть, вера в науку, предстающая нынче неоспоримой, не могла произойти из такой калькуляции выгод – скорее *вопреки* ей, поскольку вере этой постоянно доказываются бесполезность и опасность «воли к истине»,

«истине любой ценой». «Любой ценой»: о, мы понимаем это достаточно хорошо, после того как нам довелось принести на сей алтарь и закласть на нем все веры, одну за другой! – Следовательно, «воля к истине» означает: *не* «я не хочу давать себя обманывать», а – безальтернативно – «я не хочу обманывать, даже самого себя»: *и вот мы оказываемся тем самым на почве морали.* Стоит ведь только спросить себя всерьез: «Почему ты не хочешь обманывать?», в особенности если видимость такова – а видимость как раз такова! – что жизнь основана на видимости, я разумею – на заблуждении, обмане, притворстве, ослеплении, самоослеплении, и что, с другой стороны, фактически большой канон жизни всегда обнаруживался на стороне несомненных *πολύτροποι*[1]. Такое намерение, пожалуй, могло бы быть, мягко говоря, неким донкихотством, маленьким мечтательным сумасбродством; но оно могло бы быть и чем-то более скверным, именно, враждебным жизни, разрушительным принципом... «Воля к истине» – это могло бы быть скрытой волей к смерти. – Таким образом, вопрос о том, зачем наука, сводится к моральной проблеме: *к чему вообще мораль*, если жизнь, природа, история «неморальны»? Нет никакого сомнения, что правдивый человек, в том отважном и последнем смысле слова, каким предполагает его вера в науку, *утверждает тем самым некий иной мир*, нежели мир жизни, природы и истории; и коль скоро он утверждает этот «иной мир» – как? не должен ли он как раз тем самым отрицать его антипод, этот мир – *наш* мир?.. Теперь уже поймут, на что я намекаю: именно, что наша вера в науку покоится все еще на *метафизической вере*, – что даже мы, современные познающие, мы, безбожники и антиметафизики, берем *наш* огонь все еще из того пожара, который разожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которая была также верою Платона, – вера в то, что Бог есть истина, что истина божественна... А что, если именно это становится все более и более сомнительным, если ничто уже не оказывается божественным, разве что заблуждением, слепотою, ложью, – если сам Бог оказывается продолжительнейшей нашей ложью?

---

1 Здесь: хитроумцы, плуты (*греч.*).

345

Мораль как проблема. – Дефицит личности мстит за себя повсюду; расслабленная, невзрачная, потухшая, отрекающаяся от самой себя и отрицающая себя личность не годится уже ни на что хорошее – меньше всего на философию. «Самоотверженность» ни во что не ставится на небе и на земле; все великие проблемы требуют *великой любви*, а на нее способны только сильные, цельные, надежные умы, имеющие прочную основу в самих себе. Есть огромная разница, относится ли мыслитель к своим проблемам лично, видя в них свою судьбу, свою нужду и даже свое величайшее счастье, или «безлично»; то есть умея лишь ощупывать их и схватывать щупальцами холодной, любопытной мысли. В последнем случае ничего не выходит, это уже можно обещать наверняка: ибо великие проблемы, если даже допустить, что они дают себя схватывать, не дают себя *удерживать* лягушкам и мямлям, таков уж у них вкус от века, – вкус, который, впрочем, они разделяют со всеми добросовестными самками. – Как же случилось, что я еще не встречал, даже в книгах, никого, кто относился бы к морали с такой личной установкой, кто признавал бы мораль проблемой, а эту проблему *своей* личной нуждой, мукой, сладострастием, страстью? Ясное дело, мораль до сих пор вовсе не была проблемой; скорее всего чем-то, в чем находили общий язык после всяческих подозрений, раздоров, противоречий, – священным местом мира, где мыслители отдыхали даже от самих себя, облегченно вздыхали, оживали. Я не вижу никого, кто отважился бы на *критику* моральных ценностных суждений; от меня ускользают здесь даже попытки научного любопытства, избалованного искусительного воображения, присущего психологам и историкам, которое с легкостью предвосхищает проблему и схватывает ее на лету, не зная даже толком, что тут схвачено. Мне едва удалось изыскать некоторые скудные наметки к созданию *истории возникновения* этих чувств и оценок (что, впрочем, есть нечто иное, чем их критика, и уж совсем иное, чем история этических систем): в одном отдельном случае я приложил все усилия, чтобы возбудить склонность и способность к такого рода истории, – тщетно, как мне кажется теперь. От этих

историков морали (в особенности англичан) мало толку: обыкновенно они и сами все еще простодушно подчиняются некоторой морали и составляют, сами того не зная, ее свиту и щитоносцев; таково разделяемое ими народное суеверие, и поныне столь чистосердечно повторяемое христианской Европой, будто характерная черта морального поступка заключается в самоотверженности, самоотрицании, самопожертвовании или в сочувствии, сострадании. Их расхожая ошибка состоит в предположении, будто они утверждают какой-то consensus народов, по крайней мере прирученных народов, относительно известных положений морали и выводят отсюда ее безусловную обязательность, даже для нас с тобой, или, напротив, открыв истину, что у различных народов моральные оценки *по необходимости* различны, они заключают о необязательности *всякой* морали: и то и другое – большое ребячество. Ошибка более утонченных среди них заключается в том, что они обнаруживают и критикуют глупые, быть может, мнения какого-либо народа о своей морали или людей о всякой вообще человеческой морали, стало быть, о ее происхождении, религиозной санкции, суеверии свободной воли и т.п., и воображают тем самым, что раскритиковали саму мораль. Но значимость предписания «ты должен» существенно иная и нисколько не зависит от всяческих мнений о нем и от сорняка заблуждений, которым он, должно быть, порос: это столь же несомненно, как и то, что ценность какого-либо медикамента для больного совершенно независима от того, думает ли больной о медицине научно или как старуха. Мораль могла бы вырасти даже *из* заблуждения: но и этим осознанием проблема ее ценности вовсе не была бы затронута. – Итак, никто до сих пор не апробировал еще *ценности* того прославленнейшего из всех лекарств, которое называется моралью: для этого нужно первым делом – *поставить под вопрос* эту ценность. Ну что ж! Это как раз и есть наше дело.

346

Наш вопросительный знак. – Но вы не понимаете этого? В самом деле, нужно приложить усилия, чтобы понять нас. Мы ищем слов, возможно, мы ищем и ушей. Кто же мы такие? Если бы нам вздумалось назвать себя просто старым выражением «безбожники», или «неверующие», или же «имморалисты», мы далеко бы еще не считали себя названными: мы – все это вместе в слишком поздней стадии, слишком поздней, чтобы было понятно, чтобы *вы* смогли понять, господа зеваки, каково у нас на душе. Нет! Мы уже свободны от горечи и страсти вырвавшегося на волю, который рассчитывает сделать себе из своего неверия еще одну веру, цель, даже мученичество! Мы ошпарены кипятком познания и до очерствелости охлаждены познанием того, что в мире ничто не свершается божественным путем, ни даже по человеческой мере – разумно, милосердно или справедливо: нам известно, что мир, в котором мы живем, небожествен, неморален, «бесчеловечен», – мы слишком долго толковали его себе ложно и лживо, зато в угоду нашему почитанию и, значит, в угоду некоей *потребности*. Ибо человек – почитающее животное! Но он еще и недоверчивое животное: и то, что мир *не* стоит того, во что мы верили, оказывается едва ли не самым надежным завоеванием нашей недоверчивости. Сколько недоверчивости, столько и философии. Мы, пожалуй, остерегаемся сказать, что он стоит *меньшего*: нам теперь кажется даже смешным, когда человек пытается изобретать ценности, *превосходящие* ценность действительного мира, – от этого-то мы и отступились, как от расточительного заблуждения человеческого тщеславия и неразумия, которое долго не признавалось за таковое. Свое последнее выражение оно нашло в современном пессимизме, а более старое, более сильное – в учении Будды; также и христианство содержит его, конечно в более сомнительном и двусмысленном виде, но оттого ничуть не менее соблазнительном. Вся установка «человек *против* мира», человек, как «мироотрицающий» принцип, человек, как мера стоимости вещей, как судья мира, который в конце концов кладет на свои весы само бытие и находит его чересчур легким, – чудовищная безвкусица этой установки

как таковая осознана нами и опротивела нам: мы смеемся уже, когда находим друг подле друга слова «человек и мир», разделенные утонченной наглостью словечка «и»! Но как? Не продвинулись ли мы, именно как смеющиеся, лишь на шаг дальше в презрении к человеку? И, стало быть, и в пессимизме, в презрении к постижимому для *нас* бытию? Не впали ли мы тем самым в подозрение относительно противоположности между миром, в котором мы до сих пор чувствовали себя как дома с нашими почитаниями, – ради которого мы, возможно, и *выносили* жизнь, – и другим миром, *который есть мы сами:* беспощадное, основательное, из самих низов идущее подозрение относительно нас самих, которое все больше, все хуже овладевает нами, европейцами, и с легкостью могло бы поставить грядущие поколения перед страшным или – или: «отбросьте или свои почитания, или – *самих себя*!» Последнее было бы нигилизмом; но не было ли и первое – нигилизмом? – Вот *наш* вопросительный знак.

347

Верующие и их потребность в вере. – Насколько человек нуждается в *вере*, чтобы преуспевать, в какой мере ему необходимо иметь нечто «прочное», что он не хотел бы расшатать, так как *держится* за него, – это и является показателем его силы (или, говоря яснее, его слабости). Еще и сегодня, как мне кажется, большинство обитателей старой Европы нуждается в христианстве: оттого оно все еще находит веру. Ибо таков уж человек: можно было бы тысячекратно опровергнуть перед ним любой догмат веры, – но если бы он нуждался в нем, он все снова и снова считал бы его «истинным» – согласно тому знаменитому «доказательству силы», о котором говорит Библия. В метафизике нуждаются еще некоторые; но и то буйное *желание достоверности*, которое нынче на научно-позитивистский лад разряжается в широких массах, *желание* знать что-либо наверняка (причем, вследствие горячности желания, легкомысленнее и небрежнее относятся к обоснованию достоверности) – даже оно оказывается желанием поддержки, опоры, короче, тем *инстинктом слабости*, который если и не создает, то кон-

сервирует религии, метафизики, убеждения всякого рода. В действительности над всеми этими позитивистскими системами чадит дым известного пессимистического помрачения, какая-то усталость, фатализм, разочарование, страх перед новым разочарованием – или выставляемая напоказ злоба, дурное настроение, анархизм негодования и всякого рода симптомы или маскарады расслабленности. Даже та запальчивость, с которой наши смышленнейшие современники забиваются в жалкие углы и щели, например в квасной патриотизм (так именую я то, что во Франции называют chauvinisme, а в Германии deutsch), или в эстетические подпольные исповедания вроде парижского naturalisme (извлекающего из природы и оголяющего *только* ту часть, которая одновременно вызывает чувство гадливости и удивления, – эту часть нынче охотно именуют la vérité vraie[1]), или в нигилизм петербургского образца (т.е. в *веру в неверие*, вплоть до мученичества за нее), – даже эта запальчивость свидетельствует прежде всего о *потребности* в вере, в поддержке, в хребте, в опоре... Веры всегда больше всего жаждут, упорнее всего взыскуют там, где недостает воли: ибо воля, как аффект повелевания, и есть решительный признак самообладания и силы. Это значит: чем меньше умеет некто повелевать, тем сильнее жаждет он обрести того, кто повелевает, и повелевает строго, – Бога, монарха, звание, врача, духовника, догму, партийную совесть. Из чего, пожалуй, следовало бы вывести, что причина возникновения и внезапное распространение обеих мировых религий, буддизма и христианства, заключались главным образом в чудовищном *заболевании воли*. И так оно и было на самом деле: обе религии обнаружили некое влекомое больной волею в абсурд, доходящее до отчаяния стремление к «ты должен», обе религии были учителями фанатизма в периоды расслабления воли и обернулись для неисчислимого множества людей взысканием опоры, новой возможности, наслаждением от самого желания. Фанатизм и есть та самая единственная «сила воли», к которой могут быть приведены слабые и неуверенные, некоего рода гипнотизирование всей чувственно-интеллектуальной системы в угоду изобиль-

1 Настоящая правда (*фр.*).

ному питанию (гипертрофии) одной-единственной точки зрения и чувства, которая отныне начинает доминировать, – христианин называет ее своей *верой*. Всюду, где человек приходит к основополагающему убеждению, что им *должны* повелевать, он становится «верующим»; можно было бы, напротив, вообразить себе некую радость и силу самоопределения, *свободу* воли, при которой ум расстается со всякой верой, со всяким желанием достоверности, полагаясь на свою выучку и умение держаться на тонких канатах и возможностях и даже танцевать еще над пропастями. Такой ум был бы *свободным умом* par excellence.

348

О происхождении ученых. – Ученый вырастает в Европе из любого сословия и в любых общественных условиях, словно некое растение, не нуждающееся ни в какой специфической почве; оттого, по сути дела и непроизвольно, он принадлежит к носителям демократической идеи. Но это происхождение выдает себя. Если обладаешь несколько обостренным зрением, чтобы уличать и накрывать с поличным в ученой книге, в научном трактате интеллектуальную *идиосинкразию* ученого – каждый ученый имеет таковую, – то почти всегда обнаружишь за нею «предысторию» ученого, его семью, особливо же семейные занятия и профессиональные уклоны. Где чувство выражается в словах: «теперь это доказано, теперь я с этим покончил», там по обыкновению в крови и инстинктах ученого присутствует предок, который и одобряет со своей точки зрения «проделанную работу», – вера в доказательство есть только симптом того, чтó в каком-либо трудолюбивом роду исстари рассматривалось как «хорошая работа». Пример: сыновья регистраторов и канцелярских писарей всякого рода, главная задача которых всегда состояла в том, чтобы приводить в порядок разнообразный материал, распределять его по ящикам, вообще схематизировать, в случае если они делаются учеными, обнаруживают предрасположенность к тому, чтобы считать какую-нибудь проблему почти решенной, раз им удалось ее схематизировать. Есть философы, которые, по существу,

суть только схематические умы – у них формальный навык отцовского ремесла стал внутренним содержанием. Талант к классификациям, к таблицам категорий выдает кое-что; нельзя безнаказанно быть чадом своих родителей. Сын адвоката должен будет и в качестве исследователя быть адвокатом: он старается в первую очередь настоять на своей правоте, а уж во вторую – быть правым. Сыновей протестантских священников и школьных учителей узнают по наивной уверенности, с которою они, будучи учеными, считают свое дело уже доказанным, если только оно изложено ими от сердца и с теплотою: ведь они основательно привыкли к тому, что им *верят,* – у их отцов это было «ремеслом»! Еврей, напротив, сообразно кругу занятий и прошлому своего народа как раз меньше всего привык к тому, чтобы ему верили: взгляните с этой точки зрения на еврейских ученых – они все возлагают большие надежды на логику, стало быть, на *принуждение* к согласию посредством доводов; они знают, что с нею они должны победить даже там, где против них налицо расовая и классовая ненависть, где им верят неохотно. Ведь нет ничего демократичнее логики: для нее все на одно лицо, и даже кривые носы она принимает за прямые. (Говоря между делом: Европа обязана не малой благодарностью евреям как раз по части логизирования и более *чистоплотных* привычек ума; прежде всего немцы, эта прискорбно deraisonnable[1] раса, которой и сегодня все еще не мешало бы «задать головомойку». Повсюду, где евреям довелось оказать влияние, они научили тоньше различать, острее делать выводы, яснее и аккуратнее писать: их задачей всегда было привести народ «к *raison*[2]».)

349

Еще раз о происхождении ученых. – Стремление сохранить самого себя есть выражение бедственного состояния, некоего ограничения основного импульса собственной жизни, восходящего к *расширению власти* и в этом волении доволь-

---

1 Безрассудная (*фр.*).

2 Разуму (*фр.*).

но часто ставящего под вопрос чувство самосохранения и жертвующего им. Пусть сочтут это за симптом, когда отдельные философы, как, например, чахоточный Спиноза, усматривали, должны были усматривать решающее значение именно в так называемом импульсе самосохранения: это были люди, находившиеся как раз в бедственном состоянии. Что наше современное естествознание столь основательно спуталось со спинозовской догмой (вконец и грубее всего в дарвинизме с его непостижимо односторонним учением о «борьбе за существование») – это коренится, по-видимому, в происхождении большинства естествоиспытателей: они принадлежат в этом отношении к «народу», их предки были бедными и незначительными людьми, которые слишком хорошо и близко знали тяготы хлеба насущного. От всего английского дарвинизма отдает как бы удушливой атмосферой английской перенаселенности, как бы запахом нужды и тесноты мелкого люда. Но в качестве естествоиспытателя нужно было выйти из своего человеческого закутка – а в природе *царит* не бедственное состояние, но изобилие, расточительность, доходящая даже до абсурда. Борьба за существование есть лишь *исключение*, временное ограничение воли к жизни; великая и малая борьба идет всегда за перевес, за рост и расширение, за власть, сообразно воле к власти, которая и есть как раз воля к жизни.

350

К чести homines religiosi. – Вполне очевидно, что борьба против церкви является между прочим – ибо она означает многое – и борьбой более пошлых, довольных, доверчивых, поверхностных натур против господства более сложных, более глубоких, более созерцательных, стало быть, против более злых и подозрительных людей, которые сочетали длительное подозрение относительно ценности существования с размышлениями о собственной своей ценности: общий инстинкт народа, его чувственная веселость, его «доброе сердце» восстали против них. Вся римская церковь покоится на южном недоверии к природе человека, которое Севером искони понималось фальшиво: с таким недовери-

ем получил европейский Юг наследство глубокого Востока, доисторической, таинственной Азии и ее контемпляций. Уже протестантизм есть народный бунт в пользу простодушных, чистосердечных, поверхностных натур (Север всегда был более добродушным и более плоским, чем Юг); но только французская революция окончательно и торжественно вложила скипетр в руки «доброго человека» (овцы. Осла, гуся и всего, что неизлечимо плоско, что дерет глотку и созрело для сумасшедшего дома «современных идей»).

351[1]

К чести священнических натур. – Я думаю, что от того, что разумеет под мудростью народ (а кто нынче не «народ»?), – от той умной коровьей безмятежности, той набожности и пасторской кротости, которая лежит на лугу и серьезно и жующе *взирает* на жизнь, – именно от этого философы чувствовали себя наиболее далекими, вероятно, потому, что были для этого недостаточно «народом», недостаточно сельскими пасторами. И, конечно, они позже всех примирятся с мыслью, что народ *мог бы* понять кое-что из того, что как нельзя дальше отстоит от него, – великую *страсть* познающего, который постоянно живет, должен жить в грозовом облаке высочайших проблем и тягчайших ответственностей (стало быть, отнюдь не созерцательно, извне, равнодушно, надежно, объективно...). Народ чтит совершенно иной сорт человека, когда со своей стороны создает себе идеал «мудреца», и тысячекратно в этом прав, осыпая лучшими словами и почестями как раз этого сорта людей: кроткие, серьезно-глуповатые и непорочные священнические натуры и все им родственные – им воздается хвала в народном благоговении перед мудростью. И кому же еще следовало бы народу быть более благодарным, как не этим людям, которые принадлежат к нему и из него выходят, но в качестве посвященных, избранных, *принесенных в жертву* ради его блага – сами они верят в то, что были принесены в жертву Богу, – перед которыми он может безнаказанно изливать свое сердце, с помощью которых может *избавляться* от своих тайн, своих забот и скверн (ибо человек, кото-

рый «доверяется», освобождается от самого себя, а тот, кто «исповедался», забывает). Здесь распоряжается великая нужда: и для душевных нечистот потребны сточные канавы и чистая, очистительная вода в них, потребны стремительные потоки любви и сильные, смиренные, чистые сердца, которые самоотверженно готовят себя к подобной службе необщественного здравоохранения, – ибо это *есть* жертва, священник есть и остается человеческой жертвой... Народ воспринимает таких принесенных в жертву, притихших, серьезных людей «веры» как *мудрых*, т.е. ставших знающими, как «надежных» в сравнении с собственной его ненадежностью: кто бы мог лишить его слова и этого благоговения? – Но справедливо и обратное – среди философов также и священник считается еще «народом», а *не* «знающим». Прежде всего потому, что и сами они не верят в «знающих», а именно в этой вере и этом суеверии чуют дух «народа». *Скромность* изобрела в Греции слово «философ» и уступила комедиантам ума роскошную спесь называть себя мудрыми – скромность таких страшилищ гордости и самообладания, как Пифагор, как Платон...

352

Насколько еще можно обойтись без морали. – Обнаженный человек вообще постыдное зрелище – я говорю о нас, европейцах (а даже не о европеянках!). Допустим, что какое-то веселое общество за обеденным столом вдруг увидело бы себя раздетым догола коварной выходкой какого-нибудь волшебника; я полагаю, что исчезло бы не только веселье и самый сильный аппетит, – по-видимому, мы, европейцы, вовсе не можем обойтись без того маскарада, который называется одеждой. Не должно ли иметь столь же прочные основания и одеяние «моральных людей», их закутывание в моральные формулы и правила приличия, все благонамеренное припрятывание наших поступков под понятия «долг», «добродетель», «чувство солидарности», «порядочность», «самоотверженность»? Не то чтобы я думал, что здесь маскируется в нас какая-то человеческая злоба и низость, короче, скверный дикий зверь; напротив, моя мысль

в том, что мы именно в качестве *ручных зверей* являем собою постыдное зрелище и нуждаемся в моральном одеянии, – что «внутренний мир человека» в Европе как раз давно уже слишком скверен, чтобы «выставляться напоказ» (и тем самым быть *прекрасным*). – Европеец одевается в *мораль*, так как он стал больным, немощным, увечным зверем, имеющим все основания быть «ручным», так как он – почти уродец, нечто недоделанное, слабое, неуклюжее... Не ужас, внушаемый хищным зверем, находит моральное одеяние необходимым, но стадное животное со своей глубокой посредственностью, боязнью и скукой от самого себя. *Мораль наряжает европейца* – сознаемся в этом! – во что-то более благородное, более значительное, более импозантное, в «божественное»...

353

О происхождении религий. – Действительное изобретение основателей религии сводится, во-первых, к тому, чтобы установить определенный образ жизни и нравственный обиход, действующий как disciplina voluntatis и в то же время отгоняющий скуку; во-вторых, дать *интерпретацию* этой жизни, благодаря которой она предстает в свете высшей ценности и становится отныне неким благом, за которое борются, а при случае и отдают жизнь. По правде, из этих двух изобретений второе более существенно: первое – образ жизни – обыкновенно уже имеется, но наряду с другими образами жизни и без какого-либо осознания присущей ему ценности. Значимость, оригинальность основателя религии обнаруживается, как правило, в том, что он *видит* этот образ жизни, *избирает* его, впервые *угадывает*, во что его можно употребить, как его можно интерпретировать. Иисус (или Павел), к примеру, столкнулся с жизнью простолюдинов в римской провинции, скромной, добродетельной, угнетенной жизнью: он истолковал ее, он вложил в нее высший смысл и ценность – и тем самым мужество презирать всякий прочий образ жизни, – тихий гернгутерский фанатизм, тайную катакомбную самонадеянность, которая все росла и росла, покуда не ощутила себя готовой к тому, чтобы «по-

бедить мир» (т.е. Рим и более высокие сословия во всей Империи). Равным образом Будда столкнулся с тем типом людей, причем рассеянным по всем сословиям и общественным ступеням своего народа, которые из косности были добрыми и добродушными (прежде всего незлобивыми), которые все из той же косности жили воздержанной и почти лишенной потребностей жизнью; он понял, с какой неизбежностью и vis inertiae должен был подобный тип людей вкатиться в веру, обещающую *предотвратить* возвращение земной юдоли (т.е. труда, делания вообще), – это «понимание» и было его гением. Для основателя религии характерна психологическая непогрешимость в знании определенного среднего типа душ, которые и сами не *опознали* еще своей принадлежности друг к другу. Он-то и собирает их воедино; основание религии поэтом оказывается всегда долгим праздником опознавания.

354

О «гении рода». – Проблема сознания (вернее, самосознания) лишь тогда встает перед нами, когда мы начинаем понимать, насколько мы могли бы обойтись без него: к этому началу понимания приводят нас теперь физиология и естественная история животных (той и другой, стало быть, понадобились два столетия, чтобы догнать опережающее подозрение *Лейбница*). Действительно, мы могли бы думать, чувствовать, хотеть, вспоминать, равным образом могли бы мы «действовать» во всяком смысле слова, и, однако, всему этому не было бы никакой нужды «включиться в наше сознание» (говоря образно). Жизнь была бы вполне возможна и без того, чтобы видеть себя как бы в зеркале; впрочем, еще и теперь преобладающая часть этой жизни протекает в нас фактически без этого отражения, – и притом мыслящей, чувствующей, волящей жизни, сколь бы обидно ни звучало это для какого-нибудь более старого философа. *К чему* вообще сознание, раз оно по существу *излишне?* – Что ж, мне кажется – если соизволят выслушать мой ответ на этот вопрос и заключающуюся в нем необузданную, возможно, догадку, – что утонченность и сила создания всегда

находятся в прямой связи со *способностью общения* человека (или животного), а способность общения, в свою очередь, связана с *потребностью в общении;* при этом последнее понимается отнюдь не в том смысле, что отдельный человек, искусный в общении и разъяснении своих потребностей, непременно должен был бы больше всех обращаться со своими потребностями к другим людям. Но в отношении целый рас и вереници поколений дело, по-видимому, обстоит вот как: там где *потребность*, нужда долгое время принуждала людей к общению, к быстрому и тонкому взаимопониманию, там, в конечном счете, всегда наличествует избыток этой силы и искусства общения, словно бы некое состояние, которое постепенно накопилось и теперь ждет наследника, сумевшего бы его промотать (так называемые художники суть эти наследники, равным образом ораторы, проповедники, писатели: люди, замыкающие долгую цепь, «запоздалые отпрыски» в лучшем значении слова и, как было сказано, *моты* по самому своему существу). Допустив, что это наблюдение верно, я вправе перейти к догадке, что *сознание вообще развивалось только под давлением потребности в общении,* – что оно с самого начала было необходимо и полезно лишь в отношениях между людьми (в особенности между повелевающим и повинующимся) и что само развитие его находилось в прямой зависимости от степени этой полезности. Сознание есть, по существу, лишь коммутатор между человеком и человеком – лишь в качестве такового должно было оно развиваться: отшельническим и хищным натурам оно было бы ни к чему. То, что мы осознаем, по крайней мере, частично, наши поступки, мысли, чувства, движения – было следствием страшной «нужды», долгое время господствовавшей над человеком: он *нуждался,* будучи наиболее рискующим животным, в помощи, защите, он *нуждался* в себе подобном, он должен был выражать свою нужду, уметь толком объясняться, – и для всего этого ему необходимо было прежде всего «сознавать», стало быть «знать», чего ему недостает, «знать», каково у него на душе, «знать», что он думает. Ибо, повторим: человек, как всякая живая тварь, постоянно мыслит, но не знает этого; *осознаваемое* мышление есть лишь самомалейшая часть всего процесса, скажем так: самая поверхностная, самая скверная

часть, – ибо одно только это сознательное мышление и *протекает в словах, то есть в знаках общения,* которыми и возвещается начало сознания. Короче говоря, развитие языка и развитие сознания (*не* разума, а только самоосознания разума) идут рука об руку. Следует добавить к этому, что не только язык служит мостом между одним человеком и другим, но и вообще всякий взгляд, нажим, жест; осознавание наших чувственных впечатлений в нас самих, сила, позволяющая фиксировать их и как бы помещать их вовне, возрастала пропорционально росту необходимости передавать их *другим* посредством знаков. Изобретающий знаки человек есть одновременно все более остро сознающий себя человек; лишь в качестве социального животного научился он сознавать себя – он и теперь делает еще это, он делает это все больше и больше. – Моя мысль, как видите, сводится к тому, что сознание есть свойство не собственно индивидуального существования человека, а, скорее, того, что присутствует в нем родового и стадного; оно, как и следует отсюда, достигает утонченного развития лишь в связи с общинной и стадной полезностью, и, стало быть, каждый из нас, при всем желании в максимальной степени *понять* себя индивидуально, «узнать самого себя», тем не менее, всегда будет сознавать только неиндивидуальное в себе, свой «средний уровень», – сама наша мысль своей сознательностью – повелевающим в ней «гением рода» – постоянно как бы *преодолевается большинством голосов* и переводится обратно в стадные перспективы. Нет никакого сомнения, все наши поступки, в сущности, неповторимо личностны, уникальны, безгранично-индивидуальны; но стоит лишь нам перенести их в сознание, как они *уже не выглядят таковыми*... Это и есть доподлинный феноменализм и перспективизм, как я его понимаю: природа *животного сознания* влечет за собою то, что мир, который мы в силах осознать, есть только мир поверхностей и знаков, обобщенный, опошленный мир, – что все осознаваемое уже тем самым *делается* плоским, мелким, относительно глупым, общим, знаком, стадным сигналом – что с каждым актом осознания связана большая и основательная порча, извращение, обмеление и обобщение. В конце концов, растущее сознание есть опасность, и тот, кто живет среди наиболее сознательных европейцев,

знает даже, что это болезнь. Как можно догадаться, мне здесь нет никакого дела до противоположности между субъектом и объектом: это различение я предоставляю теоретикам познания, которые запутались в сетях грамматики (этой народной метафизики). Это вовсе и не противоположность между «вещью в себе» и явлением: ибо мы «познаем» далеко не столь основательно, чтобы быть вправе хотя бы на такие *деления*. У нас ведь нет никакого органа для *познания*, для «истины»: мы «знаем» (или верим, или воображаем) ровно столько, сколько может быть *полезно* в интересах людского стада, рода, – и даже то, что названо здесь «полезностью», есть в конце концов тоже лишь вера, лишь воображение и, возможно, как раз та самая роковая глупость, от которой мы однажды погибнем.

355

Происхождение нашего понятия «познание». – Я беру это объяснение с улицы; я слышал, как кто-то из народа говорил: «Он меня опознал», – я спросил себя при этом: что, собственно, понимает народ под познанием? Чего он хочет, когда он хочет «познания»? Ничего иного, кроме того, чтобы свести нечто чужое к чему-то *знакомому*. А мы, философы, – разве мы поняли под познанием нечто *большее?* Знакомое – значит: все, к чему мы привыкли, так что и не удивляемся больше этому, – наша повседневность, какое-нибудь правило, в котором мы застреваем, все и вся, в чем мы чувствуем себя как дома, – как? разве наша потребность в познании не есть именно эта потребность в знакомом? воля – среди всего чужого, непривычного, сомнительного обнаружить нечто такое, что не беспокоит нас больше? Не должно ли это быть *источником страха* – то, что велит нам познавать? Не должно ли ликование познающего быть ликованием как раз по случаю вновь обретенного чувства безопасности? Этот философ вообразил, что он «познал» мир, когда свел его к «идее»: ах, разве это случилось не потому, что ему была так знакома, так привычна «идея»? что он так мало уже страшился «идеи»? – Ох уж, это довольство познающих! по нему пусть и судят об их принципах и решениях мировой загадки!

Если они вновь найдут в вещах, под вещами, за вещами нечто такое, что нам, к сожалению, весьма знакомо, например нашу таблицу умножения, или нашу логику, или нашу волю и влечение, – радости их нет конца! Ибо «то, что опознано, – познано» – в этом они единодушны. Даже наиболее осторожные среди них полагают, что, по крайней мере, знакомое *легче познать*, чем чужое; к примеру, методически предписывается исходить из «внутреннего мира», из «фактов сознания», так как они представляют *более знакомый нам мир*! Заблуждение из заблуждений! Знакомое есть привычное, а привычное труднее всего «познавать», т.е. видеть в нем проблему, т.е. видеть его чужим, отдаленным, «вне нас самих»... Великая уверенность естественных наук по сравнению с психологией и критикой основ сознания – *неестественными* науками, как почти что можно было бы сказать, – покоится именно на том, что они берут *чужое* как объект: между тем *желание* принимать за объект вообще нечужое – занятие едва ли не полное противоречий и бессмысленное...

356

В какой мере Европа будет делаться все более «художественной». – Еще и сегодня – в наше переходное время, когда столь многое перестает носить принудительный характер, – забота о жизнеобеспечении навязывает почти всему мужскому населению Европы некую определенную *роль*, так называемую профессию; некоторым предоставляется при этом свобода, призрачная свобода, самим выбирать эту роль, большинству же она назначена. Результат достаточно странен: почти все европейцы в пожилом возрасте путают себя со своими ролями, они сами оказываются жертвами собственной «хорошей игры», сами забывают, как много случая, каприза, произвола распоряжалось ими, когда решался вопрос их «профессии», – и какое множество иных ролей *смогли бы* они, пожалуй, сыграть: ибо нынче уже слишком поздно! При более глубоком рассмотрении на деле из роли *получился* характер, из искусства – натура. Были времена, когда с категорической уверенностью, даже с благочестием верили в свое предназначение именно к этому вот

занятию, к этому вот заработку и просто не желали признавать здесь случайностей, роли, произвола; сословия, гильдии, наследственные привилегии ремесла были в состоянии с помощью этой веры воздвигнуть ту громаду широких общественных башен, которые отличают Средние века и за которыми, во всяком случае, остается признать одно: способность к долговечности (а долговечность на земле есть ценность первого ранга!). Но бывают и обратные времена, собственно демократические, когда все больше и больше отучаются от этой веры и когда на передний план выступает некая лихая вера и противоположная точка зрения: та вера афинян, которая впервые делается заметной в эпоху Перикла, та нынешняя вера американцев, которая все больше хочет сделаться верою и европейцев: когда каждый убежден, что способен почти на все, *дорос* почти *до всякой роли,* когда каждый испытывает себя, импровизирует, снова испытывает, испытывает с удовольствием, когда прекращается всякая природа и начинается искусство... Греки, впервые принявшие эту *веру в роли* – артистическую веру, если угодно, – шаг за шагом подверглись, как известно, диковинному и не во всех отношениях достойному подражания превращению: *они на деле стали актерами;* в качестве таковых они очаровали, завоевали весь мир – и, наконец, даже «завоевательницу мира» (ибо Graeculus histrio победил Рим, а *не* – как по обыкновению говорят невинные люди – греческая культура...). Но чего я боюсь, что уже сегодня становится осязательным, если есть охота осязать это, так это того, что мы, современные люди, вполне уже стоим на том же пути; и всякий раз, когда человек начинает обнаруживать, в какой мере он играет роль и в какой мере он *может* быть актером, он *становится* актером... Тем самым всходит новая флора и фауна людей, которые не смогли бы вырасти в более прочные, более ограниченные времена – или пребывали бы «внизу», под отлучением и подозрением в бесчестии, – тем самым наступают всякий раз интереснейшие и сумасброднейшие периоды истории, когда «актеры», *всякого* рода актеры оказываются доподлинными господами. Именно здесь все глубже ущемляется и, наконец, становится невозможной иная порода людей, прежде всего великие «строители»; строительная сила теперь парализо-

вана; исчезает мужество замышлять долгосрочные планы; дает о себе знать недостаток в организаторском гении: кто рискнет еще нынче на такие предприятия, завершение которых *исчислялось бы* тысячелетиями? Вымирает та старая вера, опираясь на которую человек мог бы рассчитывать, обещать, предупреждать будущее в планах, приносить его в жертву своему плану, – вера в то, что человек лишь постольку имеет ценность и смысл, поскольку он оказывается *камнем в каком-либо великом строении;* для чего он и должен прежде всего быть *твердым,* должен быть «камнем»... Прежде всего не – актером! Короче говоря – ах, это достаточно долго будут еще замалчивать! – если что впредь не будет больше строиться, не *может* больше строиться, так это – общество в старом смысле слова: для постройки этого здания недостает уже всего, прежде всего материала. *Все мы уже не представляем собой материала для общества:* вот истина, которая вполне своевременна! Мне нет дела до того, что временами еще самый близорукий, возможно, честнейший, но во всяком случае скандальнейший тип человека, из ныне существующих, наши господа социалисты, верят в почти противоположное, надеются, грезят, прежде всего кричат и пишут: их программный лозунг «свободное общество» читают уже на всех столах и стенах. Свободное общество? Да! Да! Но знаете ли вы, господа, из чего его строят? Из деревянного железа! Из прославленного деревянного железа! Да и не деревянного даже...

357

К старой проблеме: «что есть немецкое»? – Если подсчитать про себя действительные достижения философской мысли, которыми мысль обязана немецким умам: могут ли они сколько-нибудь позволительным образом быть приписаны еще и целой расе? Вправе ли мы сказать, что они в то же время суть творение «немецкой души», по крайней мере, ее симптом, в том смысле, в каком мы привыкли считать, скажем, идеоманию Платона, его почти религиозное помешательство на формах, одновременно событием и свидетельством «греческой души»? Или истинным было бы

обратное? то, что они были столь же индивидуальны, таким же *исключением* из духа расы, каковым было, например, чистосердечное язычество Гете? Или каковым является среди немцев чистосердечный макиавеллизм Бисмарка, его так называемая «реальная политика»? Быть может, наши философы, противоречат даже *потребностям* «немецкой души»? Короче, были ли немецкие философы действительно – философскими *немцами?* – Я напомню о трех случаях. Прежде всего о несравненной догадке *Лейбница*, обеспечившей ему правоту не только против Декарта, но и против всего, что философствовало до него, – что сознательность есть лишь accidens[1] представления, а не его необходимый и существенный атрибут, и что, стало быть, то, что мы называем сознанием, оказывается лишь неким состоянием нашего духовного и душевного мира (возможно, болезненным состоянием), *а далеко не им самим,* – есть ли в этой мысли, глубина которой еще и сегодня не исчерпана, что-либо немецкое? Есть ли основание предполагать, что подобный переворот очевидного не легко дался бы какому-нибудь латинянину? – ибо это и есть переворот. Вспомним, во вторую очередь, о чудовищном вопросительном знаке *Канта,* который он приставил к понятию «причинности», – не то чтобы он, как Юм, вообще сомневался в его праве: скорее, он принялся осторожно ограничивать область, в пределах которой это понятие вообще обладает смыслом (еще и теперь не покончили с этим маркированием границы). Возьмем, в-третьих, удивительную уловку *Гегеля,* который смял ею все логические навыки и изнеженности, рискнув учить, что родовые понятия развиваются *друг из друга:* каковым тезисом умы в Европе и были сформированы для последнего великого научного движения, для дарвинизма, – ибо без Гегеля нет Дарвина. Есть ли в этой гегелевской новинке, впервые внесшей в науку решительное понятие «развития», что-либо немецкое? – Да, без всякого сомнения: во всех трех случаях мы чувствуем, что в нас «открыто» и угадано нечто, мы и благодарны за это, и в то же время ошарашены: каждый из этих трех случаев представляет собою наводящий на размышления образчик немецкого самопознания, само-

1 Частный случай (*лат.*).

испытания, самопонимания. «Наш внутренний мир гораздо богаче, объемнее, сокровеннее, чем кажется» – так чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в окончательности естественнонаучных выводов и вообще во всем, что *можно* познать каузальным путем: позна*ваемое* как таковое обладает уже для нас *меньшей* значимостью. Мы, немцы,– гегельянцы, даже если бы никогда не было никакого Гегеля, поскольку мы (в противоположность всем латинянам) инстинктивно отводим становлению, развитию более глубокий смысл и более богатую значимость, чем тому, что «есть», – мы едва ли верим в правомочность понятие «бытия»; равным образом, поскольку мы не склонны допускать за нашей человеческой логикой право быть логикой самой по себе, единственном родом логики (нам, скорее, хотелось бы убедить себя в том, что она есть лишь частный случай, и, возможно, один из наиболее странных и глупых). – Четвертый вопрос гласил бы, должен ли был и *Шопенгауэр* со своим пессимизмом, т.е. проблемой *ценности существования*, быть именно немцем. Не думаю. Событие, *после* которого следовало наверняка ожидать этой проблемы, так что какой-нибудь астроном души мог бы высчитать ее день и час – упадок веры в христианского Бога, победа научного атеизма, – есть общеевропейское событие, в котором все расы должны иметь свою долю заслуги и чести. Напротив, именно немцам – тем немцам, современником которых был Шопенгауэр, – следовало бы вменить в вину наиболее продолжительную и опасную *отсрочку* этой победы атеизма; Гегель главным образом был ее замедлителем par excellence, соответственно предпринятой им грандиозной попытке убедить нас напоследок в божественности бытия с помощью нашего шестого чувства, «исторического чувства». Шопенгауэр, как философ, был первым сознавшимся и непреклонным атеистом, какой только был у нас, немцев: его вражда к Гегелю имела здесь свою скрытую причину. Небожественность бытия считалась им чем-то данным, непосредственным, непререкаемым; он всякий раз терял свою рассудительность философа и впадал в гнев, когда замечал в ком-либо колебания и изворотливость в этом пункте. В этом пункте заключена вся его правдивость: безусловно честный атеизм оказывается как раз

предпосылкой его постановки проблемы, как некая окончательно и тяжко достигнутая победа европейской совести, как чреватый последствиями акт двухтысячелетнего приучения к истине, которая в завершение запрещает себе *ложь, заключенную* в вере в Бога... Очевидно, *что*, собственно, одержало победу над христианским Богом: сама христианская мораль, все более строгое понятие правдивости, утонченность исповедников христианской совести, переведенная и сублимированная в научную совесть, в интеллектуальную чистоплотность любой ценой. Рассматривать природу, как если бы она была доказательством Божьего блага и попечения; интерпретировать историю к чести божественного разума, как вечное свидетельство нравственного миропорядка и нравственных конечных целей; толковать собственные переживания, как их достаточно долгое время толковали набожные люди, словно бы всякое стечение обстоятельств, всякий намек, все было придумано и ниспослано ради спасения души: со всем этим отныне *покончено*, против этого *восстала* совесть, это кажется всякой более утонченной совести неприличным, бесчестным, ложью, феминизмом, слабостью, трусостью, – с этой строгостью, и с чем бы еще ни было, мы суть *добрые* европейцы и наследники продолжительнейшего и отважнейшего самопреодоления Европы. Отвергая таким образом христианскую интерпретацию и осуждая ее «смысл» как фабрикацию фальшивых монет, мы тотчас же ужасающим образом сталкиваемся с *шопенгауэровским* вопросом: *имеет ли существование вообще смысл?* – вопрос, которому понадобятся два-три столетия, чтобы его полностью и во всей глубине услышали. То, что Шопенгауэр ответил на этот вопрос сам, было, простите, чем-то скороспелым, юношеским, неким примирением, остановкой и погрязанием в христианско-аскетических моральных перспективах, которым вместе с верой в Бога *было отказано в вере вообще...* Но он *поставил* вопрос – как добрый европеец, повторяю, а *не* как немец. – Доказали ли немцы, хотя бы тем, как они осиливали шопенгауэровский вопрос, свою внутреннюю причастность и родство, свою подготовленность, свою *потребность* в его проблеме? То, что после Шопенгауэра и в самой Германии – впрочем, достаточно поздно! – обдумано и напечатано в связи с постав-

ленной им проблемой, не дает еще никаких оснований решить вопрос в пользу более тесной сопричастности; можно было бы, напротив, обратить внимание даже на своеобразную *неловкость* этого послешопенгауэровского пессимизма – немцы явно чувствовали себя при этом не в своей стихии. Здесь я намекаю вовсе не на Эдуарда фон Гартмана; напротив, еще и теперь остается в силе мое старое подозрение, что он чересчур *ловок* для нас, я хочу сказать, что он, как настоящий плут, с самого начала потешался, возможно, не только над немецким пессимизмом – что он напоследок мог бы «завещать» немцам признание в том, до какой степени можно, в век оснований, одурачить их самих. Но я спрашиваю: следует ли почитать за честь для немцев и старого волчка Банзена, который всю жизнь с каким-то сладострастием вертелся вокруг своего реал-диалектического горя и «личного невезения», – было ли это в самом деле по-немецки? (я рекомендую при этом его сочинения, во что и сам употреблял их, как антипессимистическую пищу, главным образом из-за его elegantiae psychologicae[1]; с ними, как мне кажется, можно подступиться даже к страдающим затяжным запором телам и душам). Можно ли причислять к настоящим немцам таких дилетантов и старых дев, как слащавый апостол девственности Майнлендер? В конце концов он стал евреем (все евреи становятся слащавыми, когда морализируют). Ни Банзен, ни Майнлендер, ни даже Эдуард фон Гартман не дают никакой сколько-нибудь надежной возможности для ответа на вопрос, был ли пессимизм Шопенгауэра, его объятый ужасом взгляд на обезбоженный, глупый, слепой, свихнувшийся и подозрительный мир, его *честный* ужас... не только исключительным случаем среди немцев, но и *немецким* событием: тогда как все стоящее на переднем плане, наша храбрая политика, наш веселый квасной патриотизм, который довольно решительно рассматривает все вещи с точки зрения одного не слишком философского принципа («Германия, Германия превыше всего»), стало быть, sub specie speciei[2], именно немецкой speciei, – все это с великой отчетливостью свидетельствует о проти-

1 Психологических изяществ (*лат.*).

2 С точки зрения породы (*лат.*).

воположном. Нет! Нынешние немцы *вовсе не* пессимисты! И Шопенгауэр был пессимистом, повторяю снова, как добрый европеец, а *не* как немец.

358

Крестьянская война духа. – Мы, европейцы, находимся перед лицом чудовищного мира развалин, где кое-что еще гордо высится, где многое подгнило и продолжает жутко торчать на месте, а большая часть уже обратилась в руины, достаточно живописные – были ли еще когда-либо более прекрасные руины? – и поросла большим и мелким сорняком. Церковь есть этот город погибели: религиозное общество христианства видится нам потрясенным до самих оснований – опрокинута вера в Бога; вера в христианско-аскетический идеал ведет еще свой последний бой. Такое долго и основательно сооружавшееся творение, как христианство – оно было последней римской постройкой! – не могло, конечно, быть снесено с одного раза; тут должны были прийти на помощь всякого рода землетрясения, всякого рода сверлящий, подкапывающий, подтачивающий, подмачивающий дух. Но что удивительнее всего, так это то, что те, кому больше всех пришлось потрудиться во охранение и в сохранение христианства, оказались как раз наиболее основательными его разрушителями – немцы. Кажется, немцы не понимают сущности церкви. Возможно, они недостаточно духовны для этого? недостаточно подозрительны? Во всяком случае, здание церкви зиждется на *южной* свободе и свободомыслии духа и, равным образом, на южной подозрительности к природе, человеку и духу – оно зиждется на совершенно ином знании человека, опыте о человеке, нежели тот, которым обладал Север. Лютеровская Реформация во всем ее размахе была возмущением самой ограниченности против чего-то «многогранного», – говоря осторожно, грубым, обывательским непониманием, которому многое надо простить, – не понимали знамения *торжествующей* церкви и видели только коррупцию, превратно толковали аристократический скепсис, ту *роскошь* скепсиса и терпимости, которую позволяет себе всякая торжествую-

щая, самоуверенная власть... Нынче достаточно легко упускают из виду, сколь фатально, наобум, поверхностно, неосторожно подходил Лютер ко всем кардинальным вопросам власти, прежде всего как человек из народа, которому совершенно недоставало наследия господствующей касты, самого инстинкта власти: так что его творение, его воля к восстановлению того римского творения стала, без его желания и ведома, лишь началом разрушения. В порыве честного негодования он распутывал, он разрывал там, где старый паук ткал столь тщательным и долгим образом. Он выдал каждому на руки священные книги, – тем самым они попали, наконец, в руки филологов, то есть отрицателей всякой веры, зиждущейся на книгах. Он разрушил понятие «церковь», отбросив веру в боговдохновенность соборов: ибо только при условии допущения, что инспирирующий дух, заложивший основания церкви, все еще живет в ней, все еще строит, все еще продолжает воздвигать свой дом, понятие «церковь» сохраняет силу. Он вернул священнику половое сношение с женщиной: но способность к благоговению, присущая вообще народу и прежде всего женщине из народа, на три четверти поддерживается верой в то, что исключительный человек и в этом пункте, как и в прочих пунктах, будет исключением, – именно здесь народная вера во что-то сверхчеловеческое в человеке, в чудо, в искупительную силу Бога в человеке обретает себе своего утонченнейшего и каверзнейшего адвоката. Лютер, после того как он дал священнику женщину, должен был *отнять* у него тайную исповедь, это было психологически верным решением: но вместе с этим был, по существу, упразднен и сам христианский священник, глубочайшая полезность которого всегда состояла в том, чтобы быть священным ухом, скрытным колодцем, гробовой доской для всяческих тайн. «Каждый сам себе священник» – за подобного рода формулами и их мужицким лукавством пряталась у Лютера лютая ненависть к «высшему человеку» и господству «высшего человека», как оно было намечено церковью: он разбил идеал, которого сам не мог достигнуть, в то время как казалось, что он ненавидит и поражает вырождение этого идеала. Невозможный монах, он фактически отпихнул от себя *господство* homines religiosi: таким образом он осуществил в

пределах церковного общественного порядка то самое, с чем он так нетерпимо боролся в связи с бюргерским порядком, – «крестьянскую войну». – Все, что только ни выросло вслед за этим из его Реформации, все хорошее и дурное, что и сегодня уже может быть приблизительно подытожено, – кто был бы столь наивным, чтобы просто хвалить или порицать Лютера за эти последствия? Он безвинен во всем, он не ведал, что творил. Обмеление европейского духа, главным образом на Севере, его *одобродушивание*, если угодно выразить это на моральный лад, изрядно продвинулось вперед с лютеровской Реформацией, в этом нет никакого сомнения; и равным образом через нее возросла подвижность и непоседливость духа, его жажда независимости, его вера в право на свободу, его «натуральность». Если хотят, в конечном счете, воздать ей должное в подготовке и поощрении того, что мы сегодня чтим как «современную науку», то к этому конечно же следует добавить, что она виновна также и в вырождении современного ученого, в свойственном ему недостатке благоговения, стыдливости и глубины, во всей наивной чистосердечности и обывательщине в делах познания, короче, в том *плебействе духа*, которое характерно для двух последних столетий и от которого нас еще нисколько не избавил даже недавний пессимизм – и «современные идеи» принадлежат все еще к этой крестьянской войне Севера против более холодного, более двусмысленного и недоверчивого духа Юга, который воздвиг себе в христианской церкви величайший свой памятник. Не будем в конце концов забывать, что такое церковь, и как раз в противоположность всякому «государству»: церковь есть прежде всего структура господства, гарантирующая высший ранг *более духовным* людям и настолько *уверенная* в могуществе духовности, чтобы запрещать себе всякие более грубые средства насилия, – уже одним этим церковь при всех обстоятельствах есть более *аристократическая* институция, чем государство.

359

Месть уму и прочие подоплеки морали. – Мораль – где бы, по вашему мнению, могла она иметь своих наиболее опасных и наиболее коварных адвокатов?.. Вот неудачник; у него недостаточно ума, чтобы радоваться этому, зато достаточно образования, чтобы знать об этом; томящийся от скуки, пресыщенный, презирающий себя; лишенный, увы, вследствие какого-то унаследованного состояния и последнего утешения – «благословения труда», самозабвения в «повседневной работе»; некто, в корне стыдящийся своего существования – возможно, приютил он в себе в придачу к этому два-три маленьких порока, – а с другой стороны, не может не избаловывать себя все более дурным образом, приобретая все более дурные привычки, и не становиться тщеславно-раздражительным от книг, на которые он не имеет никакого права, или от общения с людьми, более умными, чем он может переварить: такой насквозь отравленный человек – ибо у подобного рода неудачников ум становится ядом, образование становится ядом, имущество становится ядом, одиночество становится ядом – приходит, наконец, в ставшее привычным состояние мести, воли к мести... *что*, по вашему мнению, понадобится ему, безусловно, понадобится ему, чтобы создать себе иллюзию превосходства над более умными людьми, чтобы сотворить себе радость *осуществленной мести*, по крайней мере, в собственном воображении? Всегда *моральность* – можно биться об заклад, – всегда громкие моральные слова, всегда тамтамы справедливости, мудрости, святости, добродетели, всегда стоицизм жестов (как хорошо упрятывает стоицизм то, чем *не* обладаешь!..), всегда мантия умного молчания, общительности, мягкости и как бы там еще ни назывались все мантии идеалистов, под которыми расхаживают неисцелимые самоненавистники и неисцелимые тщеславцы. Пусть не поймут меня превратно: из таких прирожденных *врагов ума* возникает временами тот редкостная образчик рода человеческого, который чтут в народе под именем святого и мудреца; из таких людей выходят те чудища морали, которые делают шум, делают историю, – к ним относится святой Августин. Страх перед умом, месть уму – о, сколь часто становились эти движущие

пороки корнем добродетелей! Даже *самой* добродетелью! – И, между нами будь спрошено, даже та претензия философов на *мудрость*, что иногда встречается на земле, сумасброднейшая и наглейшая из всех претензий, – разве не была она всегда – в Индии, как и в Греции, – *прежде всего убежищем*? Иногда, быть может, в целях воспитания, освящающего такое количество лжи, – как нежное внимание к становящимся, растущим, к юношам, которым часто верою в личность (заблуждением) приходится защищаться от самих себя... В большинстве случаев, однако, – это убежище философа, где он спасается от утомления, старости, остывания, очерствления, как чувство близкого конца, как смышленость того инстинкта, который присущ животным перед смертью, – они отходят в сторону, стихают, уединяются, заползают в норы, становятся *мудрыми*... Как? Мудрость – убежище философа от – ума?

360

Два рода причин, которые смешивают. – Это кажется мне одним из наиболее существенных моих шагов вперед: я научился отличать причину поступка от причины, вынуждающей поступать так-то и так-то, *в* этом направлении, *с* этой целью. Первого рода причина есть некий квантум скопившейся силы, ждущей чтобы ее на что-нибудь употребили; второй род, напротив, сравнительно с этой силой есть нечто незначительное, большей частью мелкий случай, сообразно с которым тот квантум «разрешается» одним определенным образом: как спичка, поднесенная к пороховой бочке. К этим мелким случаям и спичкам я причисляю все так называемые «цели», равным образом как и еще чаще так называемые «жизненные призвания»: в сравнении с чудовищным квантумом силы, стремящейся, как было сказано, уйти на что-то, они представляют собою нечто относительно случайное, произвольное, почти безразличное. По обыкновению видят это иначе: именно в цели (надобности, призвании и т.д.) привыкли видеть *движущую* силу, соответственно древнейшему заблуждению, – но она есть только *управляющая* сила: при этом смешивают кормчего с паром. И не всег-

да только кормчего, управляющую силу... Разве «цель», «надобность» не оказывается достаточно часто лишь благовидным предлогом, добавочным самоослеплением тщеславия, не желающего признаться, что корабль *следует* течению, в которое он случайно попал? Что он «хочет» туда, *поскольку* он туда – *должен?* Что, разумеется, он имеет направление, но уж никак – не кормчего? – Критика понятия «цель» все еще остается необходимостью.

361

О проблеме актера. – Проблема актера беспокоила меня дольше всего; я был (а временами бываю еще и теперь) в неведении относительно того, не здесь ли таится пункт, откуда только и можно было бы подступиться к опасному понятию «художник», – понятию, которым пользовались до сих пор с непростительным благодушием. Фальшь с чистой совестью; неудержимое пристрастие к притворству, как власти, сдвигающее в сторону так называемый «характер», затопляющее его, временами погашающее; внутреннее стремление войти в роль и маску, в *видимость;* избыток всякого рода приспособляемостей, которые не могут уже довольствоваться исполнением ближайшей непосредственнейшей обязанности: все это есть, быть может, не *только* актер сам по себе?.. Подобный инстинкт легче всего вырабатывается в семьях низших сословий, которые вынуждены были влачить свою жизнь под переменчивым гнетом и принуждением, в глубокой зависимости, которым приходилось ловко по одежке протягивать ножки, все наново приспосабливаться к новым обстоятельствам, всякий раз притворяться и прикидываться по-новому – постепенно научившись держать нос по *всякому* ветру и самим становиться почти что носом – мастером того органически усвоенного и вошедшего в плоть и кровь искусства вечной игры в прятки, которую у животных называют mimicry: так от поколения к поколению накапливается это состояние, пока, наконец, не становится барским, безрассудным, необузданным, пока не приучается к тому, чтобы, будучи инстинктом, командовать другими инстинктами, и не порождает актера, «худож-

ника» (поначалу скомороха, враля, фигляра, дурня, клоуна, также и классического лакея, Жиль Блаза: ибо в таких типах дана предыстория художника и довольно часто даже «гения»). Схожий тип человека вырастает и в более высоких слоях общества под схожим гнетом: только там актерский инстинкт чаще всего обуздывается другим инстинктом, например, у «дипломата» – я склонен, впрочем, думать, что у хорошего дипломата всегда есть возможность стать хорошим театральным актером, если, конечно, у него вообще есть «возможности». Что, однако, до *евреев*, народа, владеющего искусством приспособления par excellence, то можно было бы, согласно этому ходу мыслей, усматривать в них с самого начала как бы некое всемирно-историческое мероприятие по разведению актеров, настоящий инкубатор актеров; и в самом деле, вопрос весьма ко времени: какой хороший актер нынче *не*-еврей? Даже в качестве прирожденного литератора, фактического властелина европейской прессы, еврей практикует эту свою власть, опираясь на свою актерскую способность: ибо литератор, в сущности, есть актер – он играет именно «знатока», «специалиста». – Наконец, *женщины*: пусть поразмыслят о всей истории женщин – не *должны* ли они, прежде всего и поверх всего, быть актрисами? Пусть прислушаются к врачам, которым доводилось гипнотизировать бабенок; пусть, наконец, полюбят их – пусть поддадутся их «гипнозу»! Что при этом всегда получается? Что они «отдаются роли» даже тогда, когда они – отдаются... Женщина так артистична...

362

Наша вера в маскулинизацию Европы. – Наполеону (а вовсе не французской Революции, стремившейся к «братству» народов и всеобщей цветистой взаимности сердец) обязаны тем, что теперь последуют, должно быть, друг за другом два-три воинственных столетия, равных которым нет в истории, короче, тем, что мы вступили в *классическую эпоху войны*, ученой и в то же время народной войны в величайшем масштабе (средств, дарований, дисциплины), на которую грядущие тысячелетия будут с завистью и благоговением

взирать, как на некий образец совершенства: ибо национальное движение, из которого вырастает этот ореол вокруг войны, есть лишь противошок, вызванный Наполеоном, и без Наполеона не имело бы места. Ему, стало быть, смогут некогда вменить в заслугу, что *мужчина* вновь стал в Европе господином над купцом и филистером; возможно, даже над «женщиной», которая была избалована христианством и мечтательным духом восемнадцатого столетия, а еще больше «современными идеями». Наполеон, видевший в современных идеях и непосредственно в самой цивилизации нечто вроде личного врага, проявил себя этой враждой как величайший продолжатель Ренессанса: он снова вынес на свет цельный кусок античной сущности, решающий, пожалуй, кусок гранита. И кто знает, не возьмет ли верх в конце концов этот кусок античности и над национальным движением и не суждено ли ему стать в *утвердительном* смысле наследником и продолжателем Наполеона, который, как известно, домогался единой Европы, и притом Европы как *повелительницы земного шара.*

363

О том, как каждому полу присущ свой предрассудок о любви. – При всей уступке, которую я готов сделать моногамическому предрассудку, я все же никогда не соглашусь, чтобы говорили о *равных* правах мужчины и женщины в любви: таковых не существует. Это значит: мужчина и женщина неодинаково понимают любовь – и в условия любви у обоих полов входит то, что один пол предполагает в другом поле *иное* чувство, *иное* понятие «любви». Женское понимание любви достаточно ясно: совершенная преданность (а не только готовность отдаться) душою и телом, без всякой оглядки, без какой-либо оговорки, скорее, со стыдом и ужасом при мысли о том, что преданность может быть оговорена и связана условиями. Как раз в этом отсутствии условий ее любовь оказывается *верою:* у женщины нет другой веры. – Мужчина, любящий женщину, *хочет* от нее именно этой любви и, стало быть, в своей любви диаметрально противоположен предпосылке женской любви; а если допустить, что

возможны и такие мужчины, которым тоже не чуждо стремление к совершенной готовности отдаться, то какие же это мужчины! Мужчина, который любит, как женщина, становится от этого рабом; женщина же, которая любит, как женщина, становится от этого *более совершенной* женщиной... Страсть женщины, в своем безусловном отказе от собственных прав, предполагает как раз *отсутствие* подобного пафоса, подобной готовности к отказу на другой стороне: ибо откажись оба из любви от самих себя, из этого вышло бы – уж я и не знаю что: должно быть, какой-то вакуум? – Женщина хочет быть взятой, принятой во владение, хочет раствориться в понятии «владение», быть «обладаемой», стало быть, хочет кого-то, кто *берет*, кто не дает самого себя и не отдает, кто, напротив, должен богатеть «собою» – через прирост силы, счастья, веры, в качестве чего и отдает ему себя женщина. Женщина предоставляет себя, мужчина приобретает – я думаю, эту природную противоположность не устранят никакие общественные договоры, ни самые благие стремления к справедливости, сколь бы ни было желательно, чтобы черствость, ужасность, загадочность, безнравственность этого антагонизма не торчали вечно перед глазами. Ибо любовь, помысленная во всей цельности, величии и полноте, есть природа и, как природа, нечто во веки вечные «безнравственное». – *Верность*, таким образом, заключена в самой женской любви, она вытекает уже из ее определения; у мужчины она с легкостью *может* возникнуть вследствие его любви, скажем, как благодарность или как идиосинкразия вкуса и так называемое избирательное сродство, но она не принадлежит к *сущности* его любви – не принадлежит в такой степени, что можно было бы почти с некоторым правом говорить о полной противоположности между любовью и верностью у мужчины: его любовь есть как раз желание обладать, а *не* отречение и преданность: но желание обладать кончается всякий раз с самим *обладанием*... Фактически любовь мужчины, который редко и поздно сознается себе в этом «обладании», продолжается за счет его более утонченной и более подозрительной жажды обладания; оттого возможно даже, что она еще возрастет после того, как женщина отдаст ему себя, – ему нелегко отдаться мысли, что женщине нечего больше ему «отдать».

364

Отшельник говорит. – Искусство общаться с людьми покоится, по сути дела, на ловком умении (предполагающем долгую подготовку) воспринимать и принимать еду, к кухне которой не питаешь никакого доверия. Положим подходишь к столу с волчьим голодом, все идет как нельзя легче («самое дурное общество не лишает тебя *чувств*», как говорит Мефистофель); но он мигом улетучивается, этот волчий голод, едва начинаешь его утолять! Ах, как трудно перевариваются ближние! Первый принцип: мобилизовать все свое мужество, как при несчастье, храбро приступить к делу, дивясь при этом самому себе, прикусить зубами свое отвращение, проглотить комок тошноты. Второй принцип: «исправлять» своего ближнего, скажем, расхваливая его так, чтобы он начал потеть своим счастьем; или, ухватясь за кончик его хороших или «интересных» свойств, тащить за него, покуда не вытащишь всю добродетель и не спрячешь ближнего в ее складках. Третий принцип: самогипноз. Фиксироваться на объекте общения, как на какой-нибудь стеклянной пуговице , покуда не перестанешь ощущать при этом удовольствие и неудовольствие и не уснешь незаметным для себя образом, оцепенев в какой-нибудь позе: домашнее средство, вдоволь испробованное на женах и друзьях, расхвалено как незаменимейшее средство, но не сформулировано еще научным образом. Его популярное название – терпение.

365

Отшельник говорит снова. – И мы общаемся с «людьми», и мы скромно облачаемся в одежду, в которой (*как* таковой) нас узнают, принимают, ищут, и в ней отправляемся в общество, то есть в среду переодетых людей, не желающих так называться; и мы поступаем, как все умные маски, и вежливо выставляем за дверь всякое любопытство, касающееся не только «одежды». Но есть и другие способы и уловки «обращаться» среди людей, с людьми: например, в качестве привидения, – что весьма уместно, если хочешь поскорее

избавиться от них и нагнать на них страху. Пример: нас ловят и не могут поймать. Это пугает. Или: мы входим сквозь запертую дверь. Или: когда все огни погашены. Или: после того, как мы уже умерли. Последнее есть фокус *посмертников* par excellence. («А что вы думаете? – сказал однажды нетерпеливо один такой. – Была бы у нас охота выносить эту чужбину, холод, гробовую тишину, все это подземное, скрытое, немое, неизведанное одиночество, которое у нас зовется жизнью и с таким же успехом могло бы зваться смертью, когда бы мы не знали, что из нас *получится*, – и что мы только после смерти приходим к *нашей* жизни и становимся живыми, ах! слишком живыми! мы, посмертники!»

366

В связи с одной ученой книгой. – Мы не принадлежим к тем людям, которые начинают мыслить лишь в окружении книг, от соприкосновения с книгами, – мы привыкли мыслить под открытым небом, на ходу, прыгая, карабкаясь повсюду, танцуя, охотнее всего в одиноких горах или у самого моря, там, где даже тропинки становятся задумчивыми. Наши первые вопросы в связи с оценкой книги, человека и музыки гласят: умеет ли он ходить? Больше того: умеет ли он танцевать?.. Мы редко читаем, мы от этого читаем не хуже – о, сколь быстро угадываем мы, каким путем некто пришел к своим мыслям, сидя ли перед чернильницей, со вдавленным животом, склонив голову над бумагой; о, сколь быстро разделываемся мы с его книгой! Сдавленные потроха сказываются – можно биться об заклад – так же, как сказывается спертый комнатный воздух, комнатный потолок, комнатная теснота. – Таковы были мои чувства, когда я как раз захлопнул одну честную ученую книгу, с благодарностью, с большой благодарностью, но и с облегчением... В книге, вышедшей из-под пера ученого, почти всегда есть и что-то давящее, придавленное: «специалист» где-нибудь да всплывает на поверхность со своим рвением, своей серьезностью, своей озлобленностью, своей переоценкой угла, в котором он сидит и прядет, своим горбом – у всякого специалиста свой горб. Ученая книга всегда отражает скрюченную душу:

всякое ремесло калечит. Свидеться бы с друзьями, с которыми прошла юность, после того как они овладели своей наукой: ах, случается и обратное! Ах, и сами они отныне и навсегда захвачены и одержимы ею! Вросшие в ее угол, придавленные до неузнаваемости, несвободные, потерявшие равновесие, осунувшиеся, угловатые во всем и везде, и только в одной позиции изрядно круглые, – умиляешься и умолкаешь, вновь обретая их такими. Всякое ремесло, пусть даже оно имеет золотой пол, имеет над собою еще и свинцовую крышу, которая давит и давит на душу, покуда не придавливает ее до причудливой кривизны. Тут уж ничего не изменишь. Пусть не думают, что можно было бы избежать этого обезображивания путем какого-либо искусства воспитания. *Мастерство* всякого рода дорого обходится на этой земле, где, возможно, все обходится слишком дорого; делаешься человеком своего ремесла даже ценою того, что приносишь себя в жертву своему ремеслу. Но вы хотите добиться этого иначе – «дешевле» прежде всего, удобнее, – не правда ли, мои господа современники? Что ж! Но тогда вы тотчас получаете еще и нечто другое в придачу, именно, вместо ремесленника и мастера – литератора, вертлявого, «многоопытного» литератора, у которого, конечно, нет горба – не считая того, который он изображает перед вами в качестве приказчика духа и «носильщика» образования, – литератора, который, собственно, *есть* ничто, но «репрезентирует» почти все, который разыгрывает из себя и «представляет» знатока и который со всей скромностью берет на себя *роль* получать вместо него плату, почести, славу. – Нет, мои ученые друзья! Я благословляю вас еще и из-за вашего горба! И за то, что вы, подобно мне, презираете литераторов и тунеядцев образования! И что вы не умеете торговать духом! И сплошь имеете мнения, которые не выражаются денежным курсом! И что вы не представляете ничего такого, чем вы не *являетесь* на деле! Что единственная ваша воля – стать мастерами своего ремесла, испытывая благоговение перед всякого рода мастерством и умелостью и самым беспощадным образом отклоняя все призрачное, полуправдивое, принаряженное, виртуозное, демагогическое,

актерское in litteris et artibus[1], – все то, что не может удостоверить себя перед вами по части безусловной *добротности* воспитания и подготовительной выучки! (Даже гениальность не в силах преодолеть подобный недостаток, сколь бы горазда ни была она в его замазывании: достаточно однажды взглянуть вблизи на наших одареннейших художников и музыкантов, чтобы понять это, – все они, почти без исключения, путем хитрой изобретательности манер, подсобных средств, даже принципов умеют искусно и задним числом перенимать *декорум* этой добротности, этой солидности выучки и культуры, разумеется нисколько не обманывая этим самих себя, ничуть не затыкая этим рот своей собственной нечистой совести. Ибо, разве вы не знаете? все великие современные художники страдают нечистой совестью...)

367

Как прежде всего следует различать произведения искусства. – Все, что создается в помыслах, в стихах, живописи, музыке, даже в архитектуре и скульптуре, относится либо к монологическому искусству, либо к искусству перед свидетелями. К последнему надо причислить еще и то мнимое монологическое искусство, которое заключает в себе веру в Бога, всю лирику молитвы: ибо для набожного не существует еще никакого одиночества, – честь этого изобретения принадлежит нам, безбожникам. Я не знаю более глубокого различия, характеризующего его оптику художника, чем следующее: смотрит ли он на свое становящееся творение (на «себя») – глазами свидетеля, или он «забыл про мир», что является существенной чертой всякого монологического искусства, – оно покоится *на забвении*, оно есть музыка забвения.

---

1 В науках и искусствах (*лат.*).

368

Циник говорит. – Мои возражения против музыки Вагнера суть физиологические возражения: к чему еще переряжать их в эстетические формулы? Мой «факт» заключается в том, что я уже не дышу с легкостью, когда на меня действует эта музыка; что на нее тотчас же начинает злиться и роптать моя *нога* – со своей потребностью в такте, танце, марше, с требованием от музыки прежде всего восторгов, заключающихся в *хорошем* ходе, шаге, прыжке, танце. – Не протестует ли, однако, и мой желудок? мое сердце? мое кровообращение? мои внутренности? Не становлюсь ли я при этом внезапно охрипшим? – Итак, я спрашиваю себя: чего, собственно, *хочет* все мое тело от музыки вообще? Я думаю, своего *облегчения:* как бы того, чтобы все животные функции были ускорены легкими, смелыми, шаловливыми, самоуверенными ритмами; как бы того, чтобы железная, свинцовая жизнь озолотилась золотыми, хорошими, нежными гармониями. Моя тоска хочет отдохнуть в тайниках и пропастях *совершенства:* для этого нужна мне музыка. Что мне драма! Что мне судороги ее нравственных экстазов, в которых «народ» находит свое удовлетворение! Что мне весь мимический фокус-покус актера!.. Вы угадали, я создан антитеатралом по существу, – но Вагнер, напротив, был по существу человеком театра и актером, самым вдохновенным мимоманом из всех когда-либо существовавших, даже как музыкант!.. И, говоря мимоходом: если теорией Вагнера было, что «драма есть цель, а музыка всегда лишь ее средство», – то *практикой* его, напротив, было от начала до конца, что «поза есть цель, драма же, а также и музыка лишь *ее* средство». Музыка как средство для толкования, усиления, углубления драматических жестов и актерской ощутимости; и вагнеровская драма лишь повод для множества драматических поз! Он обладал, наряду со всеми другими инстинктами, командующими инстинктами великого актера, во всем исключительно: и, как сказано, в том числе и как музыкант. – Однажды я не без труда разъяснил это одному честному вагнерианцу; и у меня были основания еще добавить к этому: «Будьте же немного честнее по отношению к себе: мы же не в театре! В театре честны только в массе;

в одиночку же лгут, облыгают себя. Отправляясь в театр, оставляют себя дома, отказываются от права на собственный язык и выбор, на свой вкус, даже на свою храбрость в том виде, в каком обладают ею и применяют ее в собственных четырех стенах решительно ко всем. В театр никто не приносит с собою утонченнейших чувств своего искусства, даже художник, работающий для театра: там становишься народом, публикой, стадом, женщиной, фарисеем, голосующим скотом, демократом, ближним, окружением, там даже и самая личная совесть подчиняется нивелирующим чарам «подавляющего большинства», там глупость действует как похоть и очаг инфекции, там царствует «сосед». Там *становишься* соседом...» (Я забыл сказать, что ответил мой просвещенный вагнерианец на мои физиологические возражения: «Вы, значит, и сами не вполне еще здоровы для нашей музыки?»)

369

Наше сосуществование. – Не до́лжно ли нам, художникам, сознаться себе в том, что в нас есть некое зловещее различие между нашим вкусом и, с другой стороны, нашей творческой силой, которые странным образом существуют, продолжают существовать и растут сами по себе, – я хочу сказать, имеют совершенно различные степени и tempi старости, юности, зрелости, дряблости, гниения? Так что, к примеру, какой-нибудь музыкант мог бы всю жизнь творить вещи, *противоречащие* тому, что ценит, смакует, предпочитает его избалованное ухо слушателя, сердце слушателя: ему и нужды не было знать об этом противоречии! Можно, как свидетельствует мучительный и едва ли не регулярный опыт, с легкостью превзойти своим вкусом вкус своей силы, не подавляя тем самым последнюю и не препятствуя ее проявлению; но может случиться и нечто обратное, – и вот на это-то и хотел бы я обратить внимание художников. Постоянно творящее, некая «мать» в человеке, в великом смысле слова, некто, не желающий знать и слышать ни о чем, кроме беременностей и яслей своего духа, просто не располагающий временем для раздумий над собой и над своим тво-

рением, для сравнений, не желающий упражнять собственный вкус и попросту забывающий о нем, предоставляя ему стоять, лежать или падать, – такой художник, должно быть, создает в итоге произведения, *до которых он далеко еще не дорос своим суждением*: и оттого городит о них и о себе чепуху – не только на языке, но и в мыслях. У плодовитых художников это, на мой взгляд, почти нормальное соотношение – никто не знает ребенка хуже родителей, – и это значимо даже, если взять чудовищный пример, для всего греческого мира поэтов и художников: он никогда не «ведал», что творил...

370

Что такое романтика? – Быть может, припомнят, по крайней мере среди моих друзей, что поначалу я набросился на этот современный мир с некоторыми непроглядными заблуждениями и преувеличенными оценками, во всяком случае, как *надеющийся*. Я понимал – кто знает, на основании каких личных опытов? – философский пессимизм XIX века как симптом высшей силы мысли, более смелой отваги, более победного *избытка* жизни, чем это было свойственно XVIII веку, эпохе Юма, Канта, Кондильяка и сенсуалистов: оттого и представало мне трагическое познание доподлинной *роскошью* нашей культуры, самым драгоценным, самым аристократичным, самым опасным способом ее расточительства, но и все же, вследствие ее чрезмерного богатства, роскошью *дозволенной*. Равным образом толковал я себе и немецкую музыку как надлежащее выражение дионисической мощи немецкой души: мне казалось, я слышу в ней землетрясение, с которым, наконец, вырывается на волю издревле запруженная первобытная сила, равнодушная к тому, что при этом сотрясается все, называющее себя культурой. Вы видите, я проглядел тогда, как в философском пессимизме, так и в немецкой музыке, то именно, что составляет их доподлинный характер – их *романтику*. Что такое романтика? Всякое искусство, всякая философия может быть рассматриваема как целебное и вспомогательное средство на службе у возрастающей, борющейся жизни: они предпо-

лагают всегда страдание и страждущих. Но есть два типа страждущих: во-первых, страждущие от *избытка жизни*, которые хотят дионисического искусства, а также трагического воззрения и прозрения в жизнь, – и, во-вторых, страждущие от *оскудения жизни*, которые ищут через искусство и познание покоя, тишины, гладкого моря, избавления от самих себя, или же опьянения, судорог, оглушения, исступления. Двойной потребности *последних* отвечает всякая романтика в искусстве и познании, ей отвечали (и отвечают) как Шопенгауэр, так и Рихард Вагнер, если назвать тех прославленнейших и выразительнейших романтиков, которые тогда *превратно толковались мною*, – впрочем, отнюдь не во вред им, в этом мне следует отдать должное. Преизбыточествующий жизнью дионисический бог и человек может позволить себе не только созерцание страшного и проблематичного, но даже и страшное деяние и всякую роскошь разрушения, разложения, отрицания; у него злое, бессмысленное и безобразное предстает как бы дозволенным, вследствие избытка порождающих, оплодотворяющих сил, который может создать из всякой пустыни цветущий плодоносный край. Напротив, самому страждущему, самому бедному жизнью больше всего понадобилась бы кротость, миролюбие и доброта, как в мыслях, так и в поступках, – понадобился бы, по возможности, Бог, который был бы исключительно Богом для больных, «спасителем», равным образом понадобилась бы логика, отвлеченная понятность бытия – ибо логика успокаивает, внушает доверие, – короче, понадобилась бы некоторая теплая, оберегающая от страха теснота и заключенность в оптимистических горизонтах. Так научился я постепенно понимать Эпикура, противоположность дионисического пессимиста, равным образом научился я понимать «христианина», который на деле есть лишь некий род эпикурейца и, подобно последнему, романтик по существу, – взгляд мой все больше и больше изощрялся в той труднейшей и коварнейшей форме *обратного заключения*, в которой делается большинство ошибок, – обратного заключения от творения к творцу, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, кому он *нужен*, от всякого образа мыслей и оценок к командующей из-за кулис *потребности*. – По отношению ко всем эстетическим цен-

ностям пользуюсь я теперь следующим основным различением: я спрашиваю в каждом отдельном случае: «Стал ли тут творческим голод или избыток?» С первого взгляда, казалось бы, можно в большей степени рекомендовать другое различение – оно гораздо очевиднее, – именно, является ли причиною творчества стремление к фиксации, увековечению, к *бытию* или же, напротив, стремление к разрушению, к изменению, к новому, к будущему, к *становлению*. Но при более глубоком рассмотрении оба рода стремления оказываются все еще двусмысленными и вполне укладываются в вышеприведенную и, как мне кажется, более предпочтительную схему. Стремление к *разрушению*, изменению, становлению может быть выражением изобилующей, чреватой будущим силы (мой terminus для этого, как известно, есть слово «дионисический»), но оно может быть также ненавистью неудачника, нуждающегося, горемыки, который разрушает, *должен* разрушать, ибо его возмущает и раздражает существующее, даже все существование, все бытие – вглядитесь, чтобы понять этот аффект, в наших анархистов. Воля к *увековечению* равным образом требует двоякой интерпретации. Во-первых, она может исходить из благодарности и любви: искусство, имеющее такое происхождение, будет всегда искусством апофеоза – дифирамбическим, быть может, у Рубенса, блаженно-насмешливым у Хафиза, светлым и благосклонным у Гёте и осеняющим все вещи гомеровским светом и славой. Но оно может быть и тиранической волей какого-нибудь неисцелимого страдальца, борца, мученика, который хотел бы проштемпелевать принудительным и общим для всех законом свое самое личное, самое сокровенное, самое узкое, подлинную идиосинкразию своего страдания, и который словно бы мстит всем вещам, накладывая на них, впихивая в них, вжигая в них *свой* образ, образ *своей* пытки. Последнее есть *романтический пессимизм* в наиболее выразительной его форме, будь то шопенгауэровская философия воли или вагнеровская музыка; романтический пессимизм, последнее *великое* событие в судьбе нашей культуры. (Что *мог бы* существовать еще и совсем иной пессимизм, классический, – это предчувствие и провидение принадлежит мне, как нечто неотделимое от меня,

как мое proprium и ipsissimum[1]; разве что слово «классический» противно моим ушам, слишком уж оно истаскано, округлено до неузнаваемости. Тот пессимизм будущего – ибо он грядет! я вижу его приближение! – я называю *дионисическим* пессимизмом.)

371[1]

Мы, непонятные. – Жаловались ли мы когда-нибудь на то, что нас превратно истолковали, не поняли, перепутали, оклеветали, недослышали и пропустили мимо ушей? Именно таков наш жребий – о, надолго еще! скажем, чтобы быть скромными. До 1901 года, – но это и наше отличие; мы недостаточно уважали бы самих себя, если бы желали иного. Нас путают – стало быть, мы сами растем, непрерывно меняемся, сдираем с себя старую кору, мы с каждой весной сбрасываем еще с себя кожу, мы становимся все более юными, более будущими, более высокими, более крепкими, мы все мощнее пускаем наши корни в глубину – во зло, – и в то же время все с большей любовью, с большим охватом обнимаем небо, и с большей жаждою всасываем в себя его свет всеми нашими ветвями и листьями. Мы растем, как деревья, – это трудно понять, как и все живое! – не на одном месте, а повсюду, не в одном направлении, но вверх и вовне, как и внутрь и вниз, – наша сила идет одновременно в ствол, сучья и корни, мы уже вовсе не вольны делать что-либо частное, *быть* чем-либо частным... Таков наш жребий, как сказано: мы растем *ввысь*; и будь это даже нашим роком – ибо мы обитаем все ближе к молниям! – что ж, мы оттого не меньше дорожим этим; мы лишь не хотим делить его и делиться им, храня это в себе как рок высот, *наш* рок...

372[2]

Почему мы не идеалисты. – Прежде философы боялись чувств: уж не слишком ли мы отучились от этого страха? Нынче

---

1 Личное ... собственное (*лат.*).

мы, сегодняшние и завтрашние философы, все до одного сенсуалисты, *не* в теории, а в праксисе, на практике... Тем, напротив, казалось, что чувства завлекают их из *их* мира, холодного царства «идей». На опасный южный остров, где, как они опасались, их философские добродетели растаяли бы, точно снег на солнце. «Воск в ушах» – это было тогда почти условием философствования; настоящий философ уже не слышал жизни, поскольку жизнь есть музыка, он *отрицал* музыку жизни: старое суеверие философов, что всякая музыка есть музыка сирен. – Что ж, мы склонны нынче судить как раз наоборот (что само по себе могло бы быть столь же ложно): именно, что *идеи* суть более скверные обольстительницы, чем чувства, со всею их холодной худосочной призрачностью и даже не вопреки этой призрачности, – они всегда жили «кровью» философа, всегда пожирали его чувства и даже, если угодно поверить нам, его «сердце». Эти старые философы были бессердечны: философствование всегда было некоего рода вампиризмом. Разве вы не ощущаете в таких образах, как даже Спиноза, чего-то глубоко загадочного и зловещего? Разве не видите спектакля, который здесь разыгрывается, постоянного *обескровливания*, все более идеально толкуемой отвлеченности? Разве не чувствуете за кулисами какой-то длинной притаившейся пиявки-кровопийцы, которая начинает с чувств и наконец оставляет за собой лишь лязгающие обглоданные кости – я имею в виду категории, формулы, *слова* (ибо – да простят мне – то, что *осталось* от Спинозы, amor intellectualis dei[1], и есть лязг, не больше! какая там amor, какой deus когда в них нет ни капли крови?..). In summa: всякий философский идеализм был до сих пор чем-то вроде болезни, если только он не был, как в случае Платона, перестраховкой изобилующего и опасного здоровья, страхом перед *сверхмощными* чувствами, смышленостью смышленого сократика. – Быть может, мы, современные, лишь недостаточно здоровы, чтобы *нуждаться* в идеализме Платона? И мы не боимся чувств, потому что – –

---

1 Интеллектуальная любовь к Богу (лат.).

373

«Наука» как предрассудок. – Из законов табели о рангах следует, что ученые, поскольку они принадлежат к духовному среднему сословию, не вправе обнаруживать доподлинных *великих* проблем и сомнений; к тому же до этого не дотягивает ни их мужество, ни равным образом их взгляд, – прежде всего их потребность, в силу которой они становятся исследователями, их внутреннее предвосхищение и взыскание *такого вот, а не иного* распорядка вещей, их страх и надежда слишком скоро успокаиваются и умиротворяются. То, что, например, заставляет педантичного англичанина Герберта Спенсера мечтать на свой лад и проводить штрих надежды, линию горизонта благих пожеланий, то окончательное примирение «эгоизма и альтруизма», о котором он несет вздор, вызывает у нашего брата почти чувство гадливости: с такими спенсеровскими перспективами, принятыми за последние перспективы, человечество кажется нам достойным презрения, уничтожения! Но уже одно *то*, что им воспринимается как величайшая надежда нечто такое, что другие считают и вправе считать просто отвратительной возможностью, есть вопросительный знак, которого Спенсер не был бы в состоянии предвидеть… Равным образом обстоит дело и с той верой, которою довольствуются нынче столь многие материалистические естествоиспытатели, – верой в мир, который должен иметь свой эквивалент и меру в человеческом мышлении, в человеческих понятиях о ценности, в «мир истины», с которым тщатся окончательно справиться с помощью нашего квадратного маленького человеческого разума, – как? неужели мы в самом деле позволим низвести существование до рабского вычислительного упражнения и кабинетного корпения в угоду математикам? Прежде всего не следует лишать его *многозначного* характера, этого требует *хороший* вкус, милостивые государи, вкус к благоговению перед всем тем, что не умещается в рамках вашего кругозора! Допускать, что правомерна лишь та интерпретация мира, при которой правомерны *вы* сами, при которой можно исследовать и продолжать работу научно в *вашем* смысле (по-вашему, это значит *механистически*?), интерпретация, допускающая числа, счет,

взвешивание, наблюдение, хватание и ничего больше, – есть неотесанность и наивность, если только не душевная болезнь, не идиотизм. Разве не вероятнее было бы допустить обратное: что как раз самая поверхностная и самая внешняя сторона бытия – его наибольшая мнимость, его кожа и ощутимость – и поддается в первую очередь схватыванию? быть может, только одна она и поддается? «Научная» интерпретация мира, как вы ее понимаете, могла бы, следовательно, быть все еще одной из *самых глупых,* т.е. самых скудоумных, среди всех возможных интерпретаций мира: говорю это на ухо и совести господ механиков, которые нынче любят выдавать себя за философов и крепко убеждены в том, что механика есть учение о первых и последних законах, на которых, как на фундаменте, должно быть возведено все бытие. Но механический по существу мир был бы миром по существу *бессмысленным*! Допустим, что *значимость* музыки оценивалась бы тем, насколько ее можно исчислить, сосчитать, перевести в формулы, – сколь абсурдной была бы такая «научная» оценка музыки! Что бы из нее поняли, уразумели, узнали! Ничего, ровным счетом ничего из того, что собственно составляет в ней «музыку»!..

374

Наше новое «бесконечное». – Как далеко простирается перспективный характер существования или даже: есть ли у последнего какой-нибудь другой характер, не становится ли существование без толкования, без «смысла» как раз «бессмыслицей». А с другой стороны, не есть ли всякое существование, по самой сути своей, *толкующее* существование – эти вопросы, как и полагается, не могут быть решены даже самым прилежным и мучительно-совестливым анализом и самоисследованием интеллекта: ведь человеческий интеллект при этом анализе не может не рассматривать самого себя среди своих перспективных форм и *только* в них одних. Мы не в состоянии выглянуть из своего угла: безнадежным любопытством остается желание узнать, какие еще *могли бы* быть иные интеллекты и перспективы: например, способны ли какие-нибудь существа воспринимать время вспять

или попеременно то вперед, то вспять (чем было бы дано иное направление жизни и иное понятие причины и следствия). Но я думаю, мы сегодня не так уж далеки от смехотворной нескромности распоряжаться из собственного угла и утверждать, что только из этого угла и *позволительно* иметь перспективы. Скорее всего, мир еще раз стал для нас «бесконечным», поскольку мы не в силах отмести возможность того, что он *заключает в себе бесконечные интерпретации*. Еще раз охватывает нас великий ужас, – но у кого же есть охота тотчас же начать снова обожествлять на старый лад *это* чудовище незнакомого мира? И почитать впредь *незнакомое* как «*незнакомого*»? Ах, в это незнакомое входит такое множество *небожественных* возможностей интерпретации, столько всякой чертовщины, глупости, дурости в интерпретации, включая и нашу собственную человеческую, слишком человеческую, нам знакомую...

375

Почему мы кажемся эпикурейцами. – Мы осторожны, мы, современные люди, по части окончательных убеждений; наше недоверие затаилось в засаде против очарований и коварных уловок совести, свойственных всякой сильной вере, всякому безусловному Да и Нет; как это объяснить? Можно, по-видимому, с одной стороны, усматривать здесь осторожность «обжегшегося ребенка», разочарованного идеалиста, но с другой и лучшей стороны, также и ликующее любопытство бывалого зеваки, который, зевая, дошел до отчаяния и теперь в пику своему зеванью роскошествует и пирует в безграничном, под «открытым небом вообще». Тем самым вырабатывается почти эпикурейская склонность к познанию, которая не так-то просто упускает из виду проблематичный характер вещей; равным образом и отвращение к громким моральным словам и жестам, вкус, отклоняющий все топорные неуклюжие противоречия и гордо сознающий свою опытность по части оговорок. Ибо *это* и составляет нашу гордость: слегка натянутые вожжи при нашем рвущемся вперед стремлении к достоверности, самообладание всадника в его бешеной скачке: мы и впредь, как и

раньше, будем скакать на безумных огненных зверях, и если мы замешкаемся, то мешкать вынудит нас, пожалуй, меньше всего опасность...

376

Наши замедленные темпы. – Всем художникам и людям творений, людям материнского типа свойствен такой строй чувств: им всегда, на каждом отрезке их жизни – который всякий раз отрезывается новым творением, – кажется, что теперь они у самой цели; смерть всегда принималась бы ими терпеливо и с чувством: «мы созрели для этого». Это не выражение усталости, – скорее, осенней солнечности и кротости, которые всякий раз оставляет по себе в творце само творение, зрелость его творения. Тогда замедляется темп жизни и становится густым и медоточивым – вплоть до долгих фермат, вплоть до веры в *долгую фермату*...

377

Мы, безродные. – Среди нынешних европейцев нет недостатка в таких, которые вправе называть себя безродными в отличительном и почетном смысле этого слова, – к ним пусть и будет недвусмысленно обращена моя тайная мудрость и gaya scienza! Ибо участь их сурова, надежда неверна; было бы непростым фокусом придумать для них утешение – да и чем бы это помогло! Мы, дети будущего, как *смогли бы* мы быть дома в этом настоящем! Мы неблагосклонны ко всем идеалам, с которыми можно чувствовать себя уютно даже в это ломкое, изломанное переходное время; что же до их «реальностей», мы не верим в их *долговечность*. Лед, по которому сегодня можно еще ходить, стал уже очень тонок: дует весенний ветер, мы сами, мы, безродные, являем собою то, что проламывает лед и прочие слишком тонкие «реальности»... Мы ничего не «консервируем», мы не стремимся также обратно в прошлое, мы нисколько не «либеральны», мы не работаем на «прогресс», нам вовсе не нужно затыкать ушей от базарных сирен будущего, то, о чем они

поют: «равные права», «свободное общество», «нет больше господ и нет рабов», не манит нас! – мы просто считаем нежелательным, чтобы на земле было основано царство справедливости и единодушия (ибо оно при всех обстоятельствах стало бы царством глубочайшей посредственности и китайщины), мы радуемся всем, кто, подобно нам, любит опасность, войну, приключения, кто не дает себя уговорить, уловить, умиротворить, оскопить, мы причисляем самих себя к завоевателям, мы размышляем о необходимости новых порядков, также и нового рабства, – ибо всякое усиление и возвышение типа «человек» сопровождается и новым видом порабощения – не правда ли? При всем этом мы должны чувствовать себя как на иголках в век, который горазд бахвалиться тем, что он самый человечный, самый кроткий, самый правовой из всех бывших до сих пор под солнцем? Достаточно скверно, что как раз при этих прекрасных словах возникают у нас тем более безобразные задние мысли! Что мы видим в них лишь выражение – и маскарад – глубокого ослабления, утомления, старости, скудеющей силы! Какое нам дело до мишуры, с помощью которой больной приукрашивает свою слабость! Пусть он выставляет ее напоказ как свою *добродетель* – не подлежит никакому сомнению, что слабость делает кротким, ах, таким кротким, таким правовым, таким безобидным, таким «человечным»! – «Религия сострадания», в которую нас хотели бы обратить, – о, нам достаточно известны истеричные самцы и самки, которым нынче нужна как раз эта религия как покрывало и наряд! Мы не гуманисты; мы никогда не отважились бы разглагольствовать о нашей «любви к человечеству» – для этого мы недостаточно актеры! Или недостаточно сен-симонисты, недостаточно французы! Нужно глубоко погрязнуть в *галльском* излишестве эротической возбудимости и любовного ража, чтобы, продолжая играть в порядочность, еще и лезть к человечеству со своей похотью... Человечество! Бывала ли более гнусная карга среди всех старух (разве что «истина»: вопрос для философов)? Нет, мы не любим человечества; но, с другой стороны, мы далеко и не «немцы», в расхожем нынче смысле слова «немецкий», чтобы лить воду на мельницу национализма и расовой ненависти, чтобы наслаждаться национальным ду-

шевным зудом и отравлением крови, из-за которых народы в Европе нынче отделены и отгорожены друг от друга, как карантинами. Мы слишком независимы для этого, слишком злы, слишком избалованы, слишком к тому же хорошо обучены, слишком «бывалы»; мы во всяком случае предпочитаем жить в горах, в стороне, «несвоевременно», в прошлых или грядущих столетиях, лишь бы уберечь себя от тихого бешенства, к которому мы были бы приговорены, будучи свидетелями политики, опустошающей немецкий дух тщеславием, и к тому же *мелочной* политики, – разве не вынуждена она, во избежание мгновенного распада собственного ее творения, укоренить его между двух смертельных ненавистей? разве не *должна* она желать увековечения партикуляризма в Европе?.. Мы, безродные, мы, как «новейшие люди», слишком многогранны и разнородны по своей расе и происхождению и, следовательно, не слишком подвержены искушению участвовать в изолгавшемся расовом самопреклонении и блуде, которые нынче выпячиваются в Германии в качестве вывески немецкого образа мыслей и которые выглядят дважды лживыми и непристойными у народа, обладающего «историческим чувством». Мы, одним словом, – и пусть это будет нашим честным словом! – *добрые европейцы*, наследники Европы, богатые, перегруженные, но и обремененные чрезмерным долгом наследники тысячелетий европейского духа: как таковые, мы вышли из-под опеки и христианства и чужды ему, именно потому, что мы выросли *из* него и что наши предки были самыми беспощадно честными христианами христианства, жертвовавшими во имя веры имуществом и кровью, сословием и отечеством. Мы – делаем то же. Но во имя чего? Во имя нашего неверия? Во имя всякого неверия? Нет, вам это лучше известно, друзья мои! Скрытое *да* в вас сильнее, чем любые *нет* и *может быть*, которыми вы больны вместе с вашим веком; и когда вам придется пуститься по морям, вы, невозвращенцы, то и вас вынудит к этому – *вера*!..

378

«И просветлеем снова». – Мы, щедрые подаятели и богачи духа, стоящие, подобно открытым колодцам, на улице и не властные никому воспрепятствовать черпать из нас: мы не умеем, увы, защищать самих себя там, где мы хотели бы этого, мы никак не можем помешать тому, чтобы нас не *мутили*, не темнили, – чтобы время, в которое мы живем, не бросало *в* нас своей «злободневности», грязные птицы – своих испражнений, мальчишки – своего хлама, а изнемогшие, отдыхающие возле нас странники – своих маленьких и больших невзгод. Но мы поступим так, как мы всегда поступали: мы примем и то, что в нас бросают, в нашу глубину – ибо мы глубоки, мы не забываем этого, – *и просветлеем снова*...

379

Реплика дурака. – Эту книгу написал отнюдь не мизантроп: за ненависть к человеку нынче приходится платить слишком дорого. Чтобы ненавидеть так, как прежде ненавидели *человека*, по-тимоновски, целиком, без всяких скидок, от всего сердца, изо всей *любви* ненависти, – для этого следовало бы отказаться от презрения: а какой утонченной радостью, каким терпением, каким даже добродушием обязаны мы именно своему презрению! К тому же с ним мы – «избранники Божьи»: тонкое презрение есть наш вкус и преимущество, наше искусство, возможно, наша добродетель, мы – самые современные среди современных!.. Ненависть, напротив, сравнивает, сопоставляет, в ненависти есть уважение, наконец, в ненависти есть *страх*, большая, значительная доля страха. Мы же, бесстрашные, мы, более одухотворенные люди этой эпохи, мы в достаточной степени знаем свое превосходство, чтобы как раз в качестве более одухотворенных не испытывать никакого страха к этой эпохе. Нас едва ли обезглавят, заточат в темницу, сошлют; даже наших книг не запретят и не сожгут. Этот век любит ум, он любит нас и нуждается в нас, даже если нам пришлось бы дать ему понять, что мы художники по части всякого презрения; что от всякого общения с людьми нас слегка трясет;

что при всей нашей кротости, терпеливости, человечности, учтивости мы не в силах уговорить собственный нос отказаться от своего предубеждения к близко стоящему человеку; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого, и искусство, *если* оно есть бегство художника от человека, или насмешка художника над человеком, или насмешка художника над самим собой...

380

«Странник» говорит. – Чтобы рассмотреть однажды нашу европейскую мораль издали, чтобы сопоставить ее с другими, прежними или будущими, моралями, надо сделать то, что делает странник, желающий узнать, насколько высоки городские башни: для этого он *покидает* город. «Мысли о моральных предрассудках», дабы не быть предрассудками о предрассудках, предполагают некую установку *вне* самой морали, некое «по ту сторону добра и зла», куда до́лжно взбираться, карабкаться, лететь, – а в данном случае наверняка уж некое «по ту сторону *нашего* добра и зла», некую свободу от всякой «Европы», понимая под последней сумму определяющих ценностных суждений, которые перешли в нашу плоть и кровь. *Желание* именно туда, наружу и наверх, есть, быть может, маленькое сумасбродство, странное, безрассудное «ты должен», – ибо и нам, познающим, свойственны свои идиосинкразии «несвободной воли»; вопрос в том, действительно ли ты *можешь* туда наверх. Это зависит от многих условий; главным образом вопрос сводится к тому, насколько мы легки или тяжелы, к проблеме нашей «специфической тяжести» Нужно быть *очень легким,* чтобы увлечь свою волю к познанию в такую даль и как бы над своим временем, чтобы сотворить себе глаза для обзора тысячелетий и вдобавок еще и чистое небо в этих глазах! Нужно избавиться от многого, что гнетет, парализует, подавляет, обременяет нас, нынешних европейцев. Человек такой потусторонности, желающий сам обнаружить высшие ценностные нормы своего времени, должен прежде всего «преодолеть» это время в себе самом – такова проба его силы – и, следовательно, не только свое время, но и свое прежнее отвра-

щение к этому времени и разлад с ним, свое страдание *от* этого времени, свою несвоевременность, свой *романтизм*...

381

К вопросу о понятности. – Очевидно, когда пишут, хотят быть не только понятыми, но и равным образом *не* понятыми. Вовсе не является еще возражением против книги, если кто-то находит ее непонятной: возможно, именно это и входило в намерения ее автора – он не *хотел*, чтобы его понял «кто-то». Всякий более аристократичный ум и вкус, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время ограждается от «других». Здесь берут свое начало все более утонченные законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они создают дистанцию, они воспрещают «вход», то есть понимание, как было уже сказано, – и попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами. И – раз уж я говорю между нами и отношу сказанное к себе, – я не хочу ни своим незнанием, ни живостью своего темперамента мешать *вам* понимать меня, друзья мои: именно живостью, как бы она ни вынуждала меня живо управляться с делом, чтобы вообще с ним управиться. Ибо с глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной, – мигом туда, мигом оттуда. Будто тем самым не добираешься до глубины, не *погружаешься* достаточно глубоко – это суеверие людей, страдающих водобоязнью, врагов холодной воды: они говорят, не имея опыта. О! ледяная вода заставит быть проворным! – Спрашиваю между прочим: оттого ли только остается вещь действительно непонятной и неузнанной, что ее касаются, разглядывают, подмечают лишь на лету? Нужно ли сначала непременно усесться на нее? Высиживать ее, словно яйцо? Diu noctuque incubando[1], как сказал о себе Ньютон? По крайней мере, есть истины особенно пугливые и чувствительные к щекотке, которыми и нельзя овладеть иначе, как внезапно, – которые надо *застать врасплох* либо отпустить... Наконец, моя краткость обладает еще и другим достоинством: в таких вопросах, как

---

1 Днем и ночью высиживая <птенцов> (*лат.*).

занимающие меня, я должен многое сказать быстро, чтобы это еще быстрее дошло до ушей. Следует, будучи имморалистом, заботиться о том, чтобы не развращали невинность, я разумею ослов и старых дев обоего пола, которые ничего не имеют от жизни, кроме своей невинности; больше того, мои сочинения должны воодушевлять их, ободрять, поощрять к добродетели. Я не знаю на земле ничего более забавного, чем зрелище воодушевленных старых ослов и дев, которые возбуждаются сладкими чувствами добродетели: и «Это я видел» – так говорил Заратустра. Вот, пожалуй, и все относительно краткости; хуже обстоит с моим незнанием, из которого я не делаю тайны даже для самого себя. Есть часы, когда я его стыжусь; разумеется, и часы, когда я стыжусь этого стыда. Быть может, мы, философы, все без исключения относимся нынче к знанию скверно: наука растет, наиболее ученые из нас близки к открытию, что они слишком мало знают. Но было бы гораздо хуже, если бы дело обстояло иначе – если бы мы знали *слишком много;* нашей наипервейшей задачей было и остается: не спутать самих себя. Мы *являемся* чем-то иным, чем ученые; хотя и нельзя обойтись без того, чтобы мы, между прочим, были и учеными. У нас иные потребности, иной рост, иное пищеварение: нам потребно большее, нам потребно и меньшее. Сколько нужно духу для его питания – нет формулы, чтобы это определить; если же его вкус обращен к независимости, к быстрой ходьбе, к странствованию, к приключениям, быть может, до которых доросли лишь самые проворные, то он предпочтет жить на скудной диете, но привольно, нежели связанным и откормленным. Не жира, но величайшей гибкости и силы хочет танцор от своего питания, – и я не знаю, чем еще желал бы быть ум философа, как не хорошим танцором. Именно танец и есть его идеал, его искусство, в конце концов и его единственное благочестие, его «богослужение»...

382

Великое здоровье. – Мы, новые, безымянные, труднодоступные, мы, недоноски еще не проявленного будущего, – нам

для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор виды здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального «средиземноморья» кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, – тот прежде всего нуждается для этого в *великом здоровье* – в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, – нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое *по ту сторону* всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя – ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с такой ненасытной жаждой совести и знания, довольствоваться еще *современным человеком?* Довольно скверно; однако неизбежно, что на его почтеннейшие цели и надежды мы будем взирать лишь с деланной серьезностью, а то и не будем вовсе. Перед нами маячит другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить; ибо ни за кем не признаем столь легкого *права на него:* идеал духа, который наивно, стал быть, непроизвольно и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилом, означало бы уже опасность, упадок, унижение

или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто будет выглядеть *нечеловеческим*, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче предстанет как бы их живейшей невольной пародией, – и со всем тем, несмотря на все это, быть может, только теперь и появляется впервые *великая серьезность*, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка часов, *начинается* трагедия...

383

Эпилог. – Но между тем как я в заключение без всякой спешки вывожу этот мрачный вопросительный знак и все еще намереваюсь напомнить моим читателям добродетели правильного чтения – о, какие это забытые и неведомые добродетели! – вокруг меня громко раздается самый что ни на есть злой, сочный, кобольдовый смех: сами духи моей книги набрасываются на меня, тянут меня за уши и призывают меня к порядку. «Нам уже невтерпеж, – кричат они мне, – прочь, прочь с этой музыкой, черной, как вороново крыло. Разве вокруг нас не светлое утро? И зеленый мягкий луг с травой, королевство танца? Был ли когда-либо более подходящий час для веселья? Кто споет нам песню, предполуденную песню, такую солнечную, такую легкую, такую летучую, что *не* спугнет и сверчков, – скорее, пригласит сверчков петь и танцевать вместе с нею? И лучше даже простецкая мужицкая волынка, нежели эти таинственные звуки, эти кваканья жаб, могильные голоса и сурочьи высвисты, которыми вы до сих пор потчевали нас в вашем захолустье, господин отшельник и музыкант будущего! Нет! Не надо таких тонов! Настройте нас на более приятный и более радостный лад!» – Вам это *так* по вкусу, мои нетерпеливые друзья? Ну что ж! Кто бы не захотел вам угодить? Моя волынка к вашим услугам, моя глотка также – она может издавать несколько хриплые звуки, не взыщите! на то мы и в горах. Но то, что вам придется услышать, по меньшей мере, ново; и

если вы этого не поймете, если вы недопоймете *певца*, что же тут такого! Таково уж «певца проклятье». Тем отчетливее смогли бы вы внимать его музыке и мотиву, тем лучше плясалось бы вам под его посвист. *Хотите* ли вы этого?..

Приложение

Песни принца Фогельфрай

К Гете

Непреходящее
Лишь твоя участь!
Бог – вседразнящая
Рифма: на случай...
Цель, и как следствие –
Только дыра,
Хмурому – бедствие,
Дурню – игра...
Райская, адская
Барская смесь:
Вечно-дурацкое
Месит *нас* – днесь!..

Призвание поэта

Под деревьями недавно
Я уселся просто так,
Вдруг услышал, кто-то плавно
Тикал сверху, словно в такт.
Стал я зол и скорчил рожу,
Но вконец и сам размяк,
И – представьте – начал тоже
Приговаривать в тик-так.

Слог за слогом, как вприпрыжку,
Стихотворной шли гурьбой,
И пришлось мне слишком-слишком
Посмеяться над собой.

Ты поэт? Да ты в уме ли?
И давно ли ты им стал?
«Вы поэт на самом деле»,
Дятел с ветки простучал.

Затаился я в засаде,
Как разбойник, и слежу.
Что ни слово, мигом сзади
Рифму к горлу приложу.
Все вокруг остервенело
Я на стих свой нанизал.
«Вы поэт на самом деле»,
Дятел с ветки простучал.

Рифмы, сударь мой, что стрелы,
Просверлят любую прыть,
Даже ящерицы тело
Смог я ими пригвоздить!
Ах, бедняжка, дышит еле,
Видно, час ее настал!
«Вы поэт на самом деле»,
Дятел с ветки простучал.

Сколько слов, о, сколько мыслей,
Рвущихся и так и сяк!
Словно бусинки повисли
На веревочке тик-так.
Разом стихли, присмирели
Всем на радость и печаль
«Вы поэт на самом деле»,
Дятел с ветки простучал.

Птица, хватит! Шутки эти
Надоели мне всерьез,
За себя я не в ответе,
Полон гнева и угроз! –
Трясся весь, а сам умело
Рифму с рифмою сличал.
«Вы поэт на самом деле»,
Дятел с ветки простучал.

На Юге

Так я повис на гнутой ветке,
Подняв усталость высоко.
Я птичий гость, хотя и редкий,
Мне рады эти однолетки.
Но где же я? Ах, далеко!

Белеет море, словно спящий,
Пурпурный парус, яркость дня.
Утес и смоквы, гавань, башни
И пастбища: покой слепящий, –
Невинный Юг, возьми меня!

Чеканным шагом – по-немецки –
Я жизнь протопать не хотел.
Я вызвал ветер молодецкий
И вместе с птицами по-детски
Над морем к Югу полетел.

О, разум! Нудное занятье!
Чуть что поймешь, так не дури!
У птиц уроки тщился брать я,
И вот теперь созрел я, братья,
Для новой жизни, для игры...

Сколь мудро – мыслить в одиночку,
И сколь нелепо – так же петь!
Вы, птицы, сядьте-ка кружочком,
Теперь я сам, и неумолчно,
Спою вам, полно вам лететь!

Про вашу юность, вашу лживость,
С ума сводящую игривость,
И про мою влюбленность в вас.
На Севере – шепну стыдливо –
Любил каргу я, дрянь на диво,
Карга та «истиной» звалась...

Набожная Беппа

С такою-то фигуркой
Мне набожность к лицу.
Я нравлюсь не придуркам –
Всевышнему Отцу.
Он, видно, не накажет
Послушника того,
Что сам не свой от блажи
И пыла моего.

Не хмурый инок в келье!
Нет, остренький, как нож,
Он всякий раз с похмелья
Ревнив и – невтерпеж.
Мне старики противны,
А он к старухам строг:
Как мудро и как дивно
Устроил это Бог!

Я с церковью не в разладе,
Что-что, а этот жар
Она мне, Бога ради,
Отпустит, как и встарь.
Бормочут с нетерпеньем,
Уж я-то знаю всех,
И с новым согрешеньем
Стирают прежний грех.

Прославим же величье
Всевышнего, что сам,
Ей-ей, не безразличен
По этой части к нам.
С моею-то фигуркой
От набожности млеть:
А чуть стара, пойду-ка
Хоть к черту под венец!

Таинственный челн

Этой ночью, точно жуть,
Навевал бездомный ветер,
Надрывая стоном грудь,
Я в зловещем лунном света
Тщетно силился уснуть,
Отгоняя страхи эти.

И, дурных предчувствий полн,
Побежал потом я к морю.
Там пустой качался челн,
Челн таинственный, в котором
Под сонливый выплеск волн
Кто-то спал, сморен измором.

Тут, на час или на два,
Или год то длилось целый? –
Чувства, мысли, голова –
Все куда-то отлетело,
И узрел, живой едва,
Бездну я – на самом деле!

Утром крики, вновь и вновь,
Челн чернеет там же шатко...
Что случилось? Что за кровь?
Что за странная загадка?
Нет же, нет же! Мы без слов
Спали *оба* – ах! так сладко!

Объяснение в любви
(во время которого, однако, поэт упал в яму –)

О, чудо! Он летит?
Все выше, выше – и без взмаха крыл?
Куда же он парит?
Полет его каких исполнен сил?

Как вечность и звезда,
Он в высях обитает, жизни чужд.
И зависть навсегда
Взлетает вслед за ним, не зная нужд.

О, птица, альбатрос!
Твой горний образ зов мой и судьба.
Во мне так много слез
И столько слов – да, я люблю тебя!

Песня феокритовского козапаса

Лежу я, кишки свело, –
Клопы меня съели.
А там еще шум и светло!
Одно веселье...

Она хотела прийти,
Жду, как собака, –
Уж солнцу пора взойти,
И нет ни знака.

А ведь обещала одним
Взглядом, без позы?
Или она за любым
Бежит, как козы?

Ах, как я ревнив и зол
К ее нарядам!
Неужто любой козел
Берет у нее что надо?

Кипит многословный яд
В любовном растворе.
Так душной ночью блестят
В саду мухоморы.

Любовь меня валит с ног,
Как дьяволица, –
В горло не лезет кусок,
Прощай, луковица!

Уж месяц уплыл за моря,
И звезды угрюмы,
Сереет заря, – и я
Охотно бы умер.

«Этим душам ненадежным»

Этим душам ненадежным
Лютый я укор.
Все их почести мне тошны,
Их хвала – один сплошной позор.

И за то, что непонятен
Им мой ряд и лад,
Виден в их приветном взгляде
Трупно-сладкий, безнадежный яд.

Лучше выбраньтесь со страстью
И катитесь прочь!
Вашей порчи и напасти
Мне вовек, вовек не превозмочь.

Дурак в отчаянье

Ах! Все написанное мной
Дурацким сердцем и рукой
Достойно ли запоминанья?..
Вы говорите: «Все старанья

Достойны только вытиранья,
Когда старается дурной!»
Ну, что ж! Я губкой и метлой
Так преуспею в подметанье,
Как критик и как водяной.
Но погляжу я стороной
На вас, о, мудрецы и врали,
Что мудростью все обоср...

Rimus remedium
Или: Как утешаются больные поэты

Из уст твоих
О, ведьма-время, лишь слюна
Течет часами, и от них
Душа отчаянья полна:
Я, глотку Вечности браня,
Бессильно стих.

Мир – это медь:
Нагретый бык – он глух на крик.
Мне прямо в кости пишет смерть
Ножом и вмиг:
«Мир – это твердь,
В нем сердца нет, мир – это бык!»

Пролей все маки,
Лей, лихорадка! Яд не в мозг!
Я от тебя насквозь промозг.
Ты хочешь денег? Хочешь драки?
Ха! Девка, ты достойна розг
И брани всякой!

Нет! Нет! Вернись!
Там дождь, там слякотно и гадко.
Я окружу тебя достатком.
Возьми! Тут золото! Не злись! –
Мы навсегда с тобой сошлись,
О, лихорадка!

Нет больше мочи!
Дверь настежь, гаснут фонари:
Ко мне гурьбой все беды ночи!
Кто нынче слаб по части *рифм,*
Держу пари,
На риф наскочит!

«На счастье мне!»

Я снова вижу голубей Сан-Марко:
Притихла площадь, полдень спит на ней.
И праздным взмахом в мир иссиня-яркий
Пускаю песни я, как голубей, –
Они в моей ли власти?
О, сколько рифм в их перьях, как подарки,
На счастье мне! на счастье!

На небе, точно вышитом из шелку,
Застыла башня, небо заслоня!
Люблю ее, ревную втихомолку...
Я б душу выпил из нее до дна,
Как светлое причастье,
Неся ее в себе и без умолку!
На счастье мне! на счастье!

Каким же, башня, львом твой профиль узкий
Вознесся, замирая на бегу!
Ты площадь заглушаешь. По-французски
Была бы ты ее accent aigu?
И все твои напасти
Звучат уже во мне нажимом хрустким...
На счастье мне! на счастье!

Прочь, музыка! Пусть тени станут гуще
И вырастут в коричневый покой!
Ты ранний гость, покуда не опущен
На золото убранств покров ночной,
Покуда день у власти.

Но грядет ночь предвестием зовущим
На счастье мне! на счастье!

К новым морям

Вдаль – *хочу* я: и отныне
Только выбор мой со мной.
Мчится в пагубные сини
Генуэзский парус мой.
Все блестит мне быстротечно,
Полдень спит в объятьях дня –
Только глаз *твой,* бесконечность,
Жутко смотрит на меня!

Сильс-Мария[1]

Здесь я сидел и ждал – не ожидая,
Вне зла и вне добра, но лишь играя:
Весь – свет, весь – тень, в полуденном раю,
В бесцельном времени, у моря на краю.

И вдруг Одно, подруга, сделалось Двумя,
И Заратустра показался близ меня.

К мистралю[2]
Плясовая

Мистраль-ветер, туч застрельщик,
Мути тать, небес метельщик
Воющий, как ты мне мил!
Ты да я – два первых сына
Недр одних: удел единый
Нам навеки рок судил.

---

1 Пер. В. Бакусева.
2 Пер. В. Бакусева.

Здесь, по скользким горным тропам,
Я пляшу к тебе галопом
В такт под песнь твою и вой:
Ты без весел роешь воды,
Ты, ближайший брат свободы, –
Над пучиною морской.

И, разбужен кличем ранним,
Я несусь по скальным граням
Вниз, к прибою у песка.
Ха! – ты тут: победно-чистый
Ток брильянтово-лучистый, –
С гор слетел, издалека.

На убитых неба гумнах
Лошадей твоих безумных
С колесницей я видал,
И – как вздрогнул ты рукою,
Когда им над головою
Бич твой молнией упал! –

Как ты спрыгнул с колесницы,
Чтобы вниз скорей вонзиться,
Что стрела короткий, – с круч
В глуби врезался с разгона,
Словно розы небосклона
Золотой пронизал луч.

В пляс пустись у волн по спинам,
По обманным их глубинам:
Пляски – новые дела!
Нам – всё новые мотивы,
Нам искусство – волей живо,
Нам наука – весела!

Загребем, где вьются травы,
Все цветы себе для славы,
Для венка – листок-другой!
Спляшем, словно менестрели,

Меж распятьем и борделем,
Богом, миром – танец свой!

Тот, кто слаб плясать с ветрами,
Кто обвязан весь бинтами,
Словно инвалид, до глаз,
Кто с ханжами, слабаками,
Добродетели гусями, –
Вон из рая: рай – для нас!

Вихрем пыли из-за ставен
Мы чихать больных заставим,
Сгоним мы отродье их!
Мы очистим берег целый
От их взглядов помертвелых,
От миазмов их гнилых!

Тот, кто небо помрачает,
Мир чернит, как тень, шныряет, –
Сдуем с неба мы того!
Взвоем... и одной судьбою
Воет, воли дух, с тобою,
Буря счастья моего. –

Чтобы вечно счастье это
Помнилось, его завета
Знак – венок – тебе я дам.
На, швыряй его все выше,
Взвей его по неба крыше
И взнеси его к звезда́м!

Примечания

Список сокращений

А – «Антихрист»
ВН – «Веселая наука»
ЕН – «Ecce homo»
НcontВ – «Ницше contra Вагнер»
НР – «Несвоевременные размышления»
ТГЗ – «Так говорил Заратустра»
УЗ – «Утренняя заря»
ЧСЧ – «Человеческое, слишком человеческое»

ПСС – Ф. Ницше. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., «Культурная революция», 2005 – .

В ряде случаев авторство примечаний помечено соответствующими сигнатурами: *В.Б.* (В.М. Бакусев), *И.Э.* (И.А. Эбаноидзе), *КиМ* (Дж. Колли и М. Монтинари), *КСВ* (К.А. Свасьян).

Угловые скобки (< >), как обычно, означают конъектуры перевода, т. е. интерполяции, облегчающие понимание текста, или (в примечаниях) конъектуры чтения, восполняющие незавершенные элементы текста.

Квадратные скобки ([ ]) в цитатах из черновиков Ницше (в примечаниях) заключают в себе вычеркнутые автором места, а в самом тексте примечаний – глоссы редактора.

Утренняя заря

Утренняя заря вышла в свет первым изданием в конце июня 1881 г. в издательстве Эрнста Шмайцнера в Хемнице, через восемнадцать месяцев после *Странника и его тени.* Писалась она в течение 1880 г. в разных местах – Венеции, Мариенбаде, Наумбурге, Стрезе, Генуе. В Венеции весной этого года Ницше надиктовал своему «ученику» Петеру Гасту корпус из 262 афоризмов, назвав его тогда по-итальянски «L'Ombra di Venezia» («Тень Венеции») – на основе заметок, которые писал с начала года в записных книжках. Остальное он написал летом – осенью 1880 и зимой следующего года – часть написанного вошла в чистовой вариант рукописи, а часть не была использована и составила «рукописное наследие» (см. ПСС 9). 25 января 1881 г. из Генуи Ницше послал свою чистовую рукопись П. Гасту для переписки; тогда книга называлась *Лемех. Мысли о моральных предрассудках.* Гаст вписал в виде эпиграфа цитату из «Ригведы» на титульный лист своей копии; это так понравилось Ницше, что он изменил название на *Утреннюю зарю...* (сначала с артиклем «Eine» – но артикль мог давать смысл «*Одна* утренняя заря», что противоречило эпиграфу, поэтому Ницше его вычеркнул). Сразу затем он послал Гасту для переписки еще одну порцию текста (около 90 афоризмов) – отчасти это были сильно переделанные афоризмы из *L'Ombra di Venezia*: из-за такого технического усложнения Гаст разрезал манускрипт на полосы и вклеивал в окончательную, издательскую рукопись, а в середине марта отослал ее в издательство. Между апрелем и серединой июня Ницше и Гаст читали корректуры. Ни корректуры, ни издательская рукопись не сохранились. В 1887 году Ницше написал предисловие, которое было отпечатано и вклеено в складские остатки первого издания *УЗ*. Был заменен и титульный лист книги – ради подзаголовка: *Новое издание с вводным предисловием, у Э.В. Фритцша в Лейпциге.*

В настоящий том ПСС вошло *второе*, исправленное издание этого перевода *УЗ* (первое изд.: М., «Академический проект», 2007).

Предисловие

Дополнительные материалы к нему можно найти в ПСС 12, 2 [161, 164, 165, 183, 203].

1. *... «подземщика».* – В этом слове по-немецки явственно слышен смысловой обертон «подпольщик», чего по-русски не передашь. Здесь Ницше продолжает одну из тем своей предыдущей книги *ЧСЧ* (том 2, аф. 408 «Нисхождение в Аид»).
... Трофоний. – Трофоний – фигура догреческой мифологии, местное хтоническое божество, у греков – герой, почитавшийся культом в Ливадии (Беотия), по некоторым версиям сын Аполлона. Считался наделенным пророческим даром (его оракул был в подземном святилище в Ливадии) и строителем храмов, в том числе Дельфийского. По одному из мифов, участвовал в ограблении этого храма через подземный лаз и был поглощен расступившейся землей.

2 *... в этом запоздавшем предисловии.* – Это предисловие было написано позднее текста книги, в 1886 г.
... под лжеводительством. – Буквально «под совращением» – Ницше изменяет оборот «unter der Führung» (под водительством, руководством) в «unter der Verführung». Игра слов так понравилась ему, что он пользовался ею и в других сочинениях (причем «лжеводительствовать» у него может не только мораль, но и язык – см. «К генеалогии морали», 13).
...логическую. – В смысле «имеющую логическую форму».
«Ежели бы ... вера?». – Источник цитаты не установлен: вероятно, Ницше сильно изменил (и, может быть, переосмыслил) текст.
...реально-диалектическим ... сами себе». – Словцо «реально-диалектический», как и смысловые связи между (гегелевской) логикой и пессимизмом, Ницше берет у Эдуарда Гартмана (см.: Философия бессознательного. Часть вторая, гл. XV, 1) и пользуется им еще раз в «Веселой науке». «Основоположение» – не цитата, а ницшевское обобщение Гегеля.
... вечно «тянет нас ввысь». – Два последних стиха из «Фауста» Гёте («Вечная женственность // Ввысь нас влечет», пер. мой) и игра слов («сносит вниз» по-немецки звучит как «губит»).

...читать ... хорошо! – Ницше пародирует Паскаля, одного из отрицательных персонажей своей книги, у которого можно найти следующую фразу: «Будем же стараться хорошо мыслить: вот начало нравственности» (*Паскаль Б.* Мысли о религии. Статья вторая, XI. Перевод В.П. Карпова).

Первая книга

2. *...предрассудок.* – Игра слов, основанная на том, что предлог «vor», отличающий «Urteil» (*суждение*, которое я тут перевел как «рассудок») от «Vorurteil» (предрассудок), формально можно понимать в смысле *преимущества.*

3. *...женский пол солнца.* – В немецком языке слово «солнце» грамматически женского рода, а, например, в латинском и французском – мужского.

9. *...слово «злой» ... «непредвиденный».* – Неясно, как Ницше пришел к такой этимологии. Соответствующие немецкие слова *böse* и *übel* связаны с исходными значениями «раздутый, набухший» и «выходящий за рамки, надменный»; означающие то же латинское *malus* и греческое *ponerós* – со значениями «тяжкий, трудный, болезненный».

...управляемыми последствия этого. – В чистовом варианте рукописи этот афоризм заканчивался вычеркнутыми позднее словами: *Мы живем в такой момент истории морали, когда уже не осталось никаких физических следствий, которыми можно было бы доказать то или иное моральное предписание: вот мораль и бежала в царство "идеального".*

14. *«Величайшие ... неистовства».* – См.: *Платон.* Федр. 244а, пер. А.Н. Егунова («...правда, когда оно уделяется нам как божий дар», – гласит окончание фразы Сократа у Платона). В немецком переводе то, что по-русски передается как «неистовство, одержимость, исступление», звучит как «безумие».

...обновителю ... безумием. – См.: *Платон.* Ион 533d–534e: указание на то, что через поэта, впавшего в одержимость, творит божество.

...отвоеванию Саламина. – См.: *Плутарх.* Солон, 8.

17. *...мысленно привнесли.* – Т. е., на языке психологии, спроецировали.

18. *...Каждый ... пыток.* – Из черновика: *...мы – наследники закрепленных тысячелетиями привычек чувства, и избавление от этого наследства будет для нас крайне долгим.*
...мир – опасностью. – Из черновика: *...мудрецы считают мир опасным, потому что он раскрепощает индивида.*

19. *...чувство обычая (нравственность).* – Ницше чаще всего, как и здесь, пользуется одним из синонимов для слова «обычай», буквально звучащим как «нрав» (*die Sitte*, от которого образовано слово *die Sittlichkeit*, «нравственность»). Отсюда по-немецки игра слов (см. аф. 9). Надо иметь в виду, что у Ницше часто подразумевается значение «нравственный обычай», «обычная мораль» (по аналогии с «обычным (неписаным) правом»); в дальнейшем я иногда перевожу это слово как «традиция» (с тем же подразумеваемым смыслом «традиция нравов»). Русское «нравы» не очень здесь пригодно, потому что означает скорее «характер, поведение, внутренняя природа».

20. *Вольный злодей.* – Т.е. одиночка, действующий на свой страх и риск (неологизм Ницше, введенный ради игры слов: *Freitäter – Freidenker*, вольнодумец).

22. *...из веры ... дела.* – Имеется в виду одно из главных положений богословия Лютера – принцип «sola fide» (спасение одной только верой и милостью Божьей, а не делами).
...платоновский. – Ницше имеет в виду, что вера у Платона относится к *теоретической* сфере (хотя занимает в ней низкое место в сравнении с познанием, см.: *Государство*, VI, 511d-e; VII, 534a), принципиально более высокой, нежели *практическая*.
Прежде всего и сначала – дела! – Подразумевается ссылка на Гёте (*Фауст.* Часть I. Кабинет Фауста): «В начале было дело!» (а не «Слово», как в евангелии от Иоанна).

23. *...и вещи.* – Т. е. «не только себя, но *и вещи*».
...ощущение силы. – Это то же, что в других местах перевода звучит как «чувство власти» (по-немецки в слове «die Macht» значения «сила» и «власть» отделить друг от друга невозможно, а по-русски приходится это делать – в зависимости от контекста; здесь он диктует перевод «сила» из-за сопоставления с «бессилием»).

36. *...случай ... изобретателей.* – Подобные мысли высказывались до Ницше не раз, хотя и не в столь заостренной фор-

ме. См., напр.: Демокрит, фр. 561 Лурье; Ф. Бэкон. Новый Органон. CVIII, CXXII; А. С. Пушкин (отрывок «О, сколько нам открытий чудных...», 1829).

38. *Само по себе ... вообще.* – Более четкая формулировка этой мысли осталась у Ницше в набросках: *Влечения сами по себе ни добры, ни злы для чувства. Но благодаря тому, что удовлетворение некоторых связано со страхом – а такие оцениваются чувством как более низкие, чем те, что связаны с удовольствием, – образуется иерархия. В моральном суждении это различие в степени превращается в противоположность. Если влечение всегда удовлетворяется с чувством запрещенности и страха, то возникает отвращение к нему: теперь мы считаем его злым. Мы неразрывно связываем с ним вторичное ощущение, и возникает некое единство. "Злой поступок". Кто не знает никаких запретов и делает все что хочет, тот ничего не знает о добре и зле. Кто чувствует, что ему многое запрещено и ничего из этого не делает, тот чувствует себя добрым, все равно, от кого исходит запрет, – от того, кто имеет над нами власть или от нас самих! – совершенный человек запрещает себе очень многое (бесконечно большее, чем могут представить себе другие!) и потому чувствует себя добрым: это натура искусно укрощенная и перетолкованная: ибо растет она не для того, чтобы однажды что-то построить или разрушить, – это висячий сад* (ПСС 9, 6[204]).

...благодетельной Эриды. – Эрида – богиня раздора в греческой мифологии (от греческого существительного со значением «спор, вражда, раздор»). У Гесиода («Труды и дни», 11 слл.) речь идет о двух Эридах – доброй и злой.

...в притче. – См.: «Труды и дни», 94–99. Когда Пандора сняла крышку с пресловутого сосуда, Беды вылетели из него, а Надежда не успела.

...предосудительному. – По-немецки «предрассудок» звучит как «предосуждение», отсюда игра слов в оригинале.

42. *...pudenda origo.* – В чистовике рукописи этот афоризм заканчивался позже вычеркнутым текстом: *Долгое время вся ценность таких жизней состояла исключительно в том, что они приучали людей к своему виду и вдалбливали в неповоротливые мозги людей дела представление о созерцательной жизни. Вместе с властью созерцательных натур растет их одобрение жизни, и они становятся оптимистами по меньшей мере на практике.*

...в первобытные времена науки. – В чистовике эта фраза заканчивалась так: *(...науки), словно упражнение научного мышления в гаммах – с верою в то, что все на этом кончается, а преддверие и есть уже само святилище.*

46. *...изречение Монтеня.* – Ницше имеет в виду следующее место: «О, какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы являются незнание и нежелание знать!» (Монтень. Опыты. III, XIII). [Что касается Паскаля, Ницше пользовался немецким переводом (книга имелась в его библиотеке), соответствующее место которого гласит: «...невежество и неозабоченность суть две сладостные подушки для хорошо организованной головы». В этой же книге он подчеркнул следующее место: «Таким образом, сомнение – это беда; но непременный долг велит в состоянии сомнения искать, и, следовательно, тот, кто сомневается, но не ищет, несчастен и несправедлив зараз. Если при всем том он еще и весел, и взыскателен, то у меня нет слов, чтобы назвать ими столь жалкое создание» (перевожу с немецкого перевода, которым пользовался Ницше. – *В.Б.*). На полях Ницше написал: «Монтень». Французский оригинал был ему известен, поскольку в одном месте немецкого перевода он написал на полях: «Неверный перевод». – *КиМ.*]

47. *...сломаешь себе ногу, чем нарушишь слово.* – Игра слов: буквально это звучит как «скорее сломаешь ногу, чем слово» (*sein Wort brechen* значит «нарушить слово»).

51. *...«Будем же ... одноглазым!»* – Милль, возможно, имел в виду латинскую пословицу «inter caecos luscus rex» – «среди слепцов и одноглазый – царь» (вариант: «Inter caecos regnat strabo», источник – Эразм Роттердамский, *Adagia*, 2396). Скорее всего, Ницше запомнил место неточно: никто из комментаторов не смог установить источник цитаты.

52. *...а где же ... скорби?.* – В черновике у Ницше тут вместо вопроса констатация, к тому же от первого (своего) лица: ... *ну, так я в один прекрасный момент приму близко к сердцу средства от этих скорбей.*

56. *...spernere ... ipsum.* – Ницше заимствовал эти выражения из «Итальянского путешествия» Гёте, который, рассказывая о «забавном святом» 16-го в. Филиппо Нери, в свою очередь, цитирует св. Бернарда (в новейшем издании Собрания сочинений Ницше под редакцией Петера Пютца ут-

верждается, что сентенция *spernere se sperni* принадлежит Хильдеберту Лаварденскому, 1056–1134, – *Carmina miscellanea* CXXIV). Латинское слово *sperno* имеет не такой острый смысл, какой вкладывает в него здесь Ницше, – в нем слышится скорее более мягкое значение «пренебрегать, оставлять без внимания».

...его характера. – «Герой» этого афоризма – скорее всего, Р. Вагнер, с которым Ницше порвал отношения еще в 1878 г.

62. *...идея Бога.* – В черновике добавлено: *чудовищное удовлетворение чувства власти.*

63. *...достойным ненависти.* – См.: *Паскаль.* Мысли о религии. Часть 1, разд. 9, 23; разд. 9, 60; часть 2, разд. 4, 4; разд. 17, 49.

65. *...Брахманство и христианство.* – Ницше рифмует эти слова, употребляя их с одним и тем же суффиксом «-tum» (*–ство*; в немецком языке, как и в русском, для первого из них употребителен только вариант с суффиксом *–изм*).

68. *...«что ты гонишь Меня?».* – Деян. 26,14. Курсив Ницше.

...позорная смерть. – В античности распятие было казнью для рабов.

...«я вне закона ... греха». – Таких мест у ап. Павла нет; это свободные интерпретации Ницше.

...совершались грехи. – См.: Рим. 3,20.

69. *...греки ... христиане.* – В черновике после слова «греки» – *(Ахилл)*; в чистовике позже вычеркнутое окончание афоризма: *Невозможно воспроизвести ни то, ни другое!*

72. *Один ... при воскресении.* – Ницше не совсем точен в деталях. См.: 2 Макк. 7, 11 (мученик надеется по воскресении получить от Бога назад отсеченные мучителями язык и руки, «не жалея их»; другой, которого скальпировали, все равно отказывается есть свинину, – *там же*, 7, 7–8).

74. *...римского претора.* – Претор в Древнем Риме – начальник войск в провинции и судья.

75. *... «кого Бог любит, того наказывает».* – См.: Евр. 12, 6.

76. *...Эрота и Афродиту ... к идеалу.* – По «Пиру» Платона. Это одно из тех мест, где Ницше невольно выдает свою любовь к Платону, тщательно скрываемую напускным пренебрежением к нему.

77. *... Уайтфилд.* – *Уайтфилд Джордж* (1714–1770), знаменитый английский методистский проповедник, проведший большую часть жизни в Америке. Ницше цитирует *Уильяма Эд-*

варда Хартпола Леки (Lecky) – английского историка, автора книги «История Англии в восемнадцатом столетии», глава из которой, называвшаяся «История возникновения и характеристика методизма», была переведена на немецкий язык и выпущена отдельным изданием (1880), имевшимся в библиотеке Ницше. Ниже (в этом и в других афоризмах) Ницше опирается на примеры из этой книги.

... *«луга злополучия»*. – Перевод греческого выражения из фр. 121 Эмпедокла (DK) – *"Ατησὰν λειμῶνα*, «лугами Аты» (Ата – божество злополучия у греков). Это выражение, приблизительно эквивалентное выражению «юдоль скорби», Ницше (в немецком переводе с греческого) приводит в своих сочинениях еще дважды (см. *ЧСЧ* I, 141; II, 2, 6).

78. *У греков ... слово.* – Это слово – *νεμεσσητικόν* [«негодование» (*греч.*)], см.: ПСС 8, 17 [58].

82. ... *«В нашей воле ... к суждениям»*. – Имеется в виду позиция античных скептиков, главным образом Пиррона: воздержание от суждений (эпохе́) и связанное с ним бесстрастие (атараксия).

85. *Не глумитесь...* – В черновике Ницше называет по имени того, кто «глумится» над греками: *это Шопенгауэр.*

91. ... *посягнет на истину.* – Подразумевается – чтобы завладеть ею.

92. ... *в смягченный морализм.* – Черновик: *в смягченное язычество* (отсюда, может быть, оборот *перешло в...*, т.е. «обратилось в...»).

93. *Кто ... верующие.* – Черновик: *Меня не устраивает такое умозаключение, как следующее...*

... *силой между народами ... людьми!* – Т.е. силой, посредничающей между всеми перечисленными.

Вторая книга

104. ... *к этому лицемерию.* – Такое чтение (Verstellung) дают рукопись Ницше, чистовик и текст GA (Großoktav-Ausgabe, т.е. издание Наумана–Крёнера: *Fr. Nietzsche.* Werke. 19 Bände. Leipzig, 1894 ff.). В отличие от них первое издание дает чтение (явно ошибочное. – *В.Б.*) «представлению» (Vorstellung).

106. *...Положим ... срок!* – В черновике это выражено короче и яснее: *Максимальное развитие разумности не гарантирует человечеству максимально долгой жизни.*
...наиболее моральный из людей. – Ницше, вероятно, снова имеет в виду Паскаля.

109. *...в подвешенном состоянии.* – Намеренный каламбур (*auf der Schwebe des Lebens*).

110. *...я хотел бы ... подтверждался.* – Имеется в виду – другими людьми.
...включает его в себя. – В черновике это место продолжалось (а весь афоризм заканчивался) автобиографически: – *: эту историю я наблюдал на себе собственными глазами.*

113. *...в уголья самого себя.* – Этот мотив самообугливания звучит в стихотворении Ницше «Се человек» из «Веселой науки»:

Я-то знаю, кто я родом!
Неотступно, год за годом,
Все огню в себе предам:
Где иду – там жар сияет,
Сзади – пепел остывает;
Значит, пламя я и сам.
(Пер. В.Б.).

114. *«Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!»* – Мф. 27, 46.

115. *...вследствие чрезмерного скопления.* – Т.е. скопившимися перед тем, как разорвать паутину.

117. Ср. разработку этой темы у Ницше с фр. 182 (и 196) так называемых «Логологических фрагментов» Новалиса: «Лишь из-за слабости наших органов мы не можем обнаружить, что живем в волшебном мире». Ср. аф. 483.

129. *...разделить на случайность.* – Так у Ницше (*dividiert werden*), но в виду он имел, видимо, «помножить на случайность».

130. *...последний козырь.* – В черновике за этим следовало: *кажется, это было свойственно индогерманским народам.*
...меланхоличные скандинавы. – В черновике: *германцы.*
... Те железные ... любой степени. – Еще один дальний подступ к идее «вечного возвращения». Наиболее артикулированная формулировка появится только в 1888 г. (см.: ПСС 13, 14 [188]).

...сидя ... с нею самой. – Сюда относится набросок, написанный осенью 1880 года: «*Я играл в кости с самими владыками подземного мира*» (ПСС 9, 6 [355]).

... «одно только нужно». – Лк. 10, 42.

...Добрым ... друг в друге. – Отрывок из наброска к этому месту звучит резче, энергичней: «(...) *Тенденция альтруистической морали – это каша-размазня, мягкий песок человечества.* Тенденция *общности* представлений – это совместность чувств, обнищание и истощение. Это тенденция *к концу человечества* (...)» (ПСС 9, 6 [163]).

Если ... страдает... – Из чернового варианта этой фразы: *Но само "любить" вовсе не значит сострадать!*

142. *...qualitas occulta.* – Под qualitas occulta Шопенгауэр понимал «природную силу» как последнюю причину физических событий, как предел физического объяснения, за которым может стоять только метафизическое; Кант – «абсолютную непроницаемость» («Метафизические принципы естествознания», гл. 2, Объяснение 4, Примечание 2). Этим схоластическим по происхождению понятием пользовались и другие философы предшествовавшей Ницше эпохи.

146. *Суть ... на основании этого?* – В черновике Ницше ссылается на Спенсера («Факты этики») как на источник приведенной им формулировки.

...некий новый лемех. – *Лемех* было черновым названием *УЗ* (см. преамбулу).

Третья книга

149. *...в глазах всех, кто об этом слышит.* – Так у Ницше (солецизм).

152. *...недостаточно ... всуе.* – Непереводимая игра слов: «недостаточно» и «всуе» по-немецки образованы от одного корня.

157. *... «звуков природы».* – Т. е. выражения естественных, «простейших» чувств.

...Платон ... персонаже. – См.: *Государство*, 605 c–d.

159. *Все ... с этой точки зрения.* – Черновик: *Так было* <зачеркнуто: *Фридр. Шлегель*> *у романтиков с Шекспиром, а позже – с католицизмом; так* <зачеркнуто: *у последователей Канта*> *у классиков – с античностью.*

167. *...в общем и в малом.* – Игра слов: употребленный выше оборот «в общем и великом» звучит по-немецки как метатеза оборота «в общем и целом» (иными словами, у Шопенгауэра есть великое, у Вагнера – малое).

...чье-то высказывание. – Самого Ницше («Вагнер в Байрейте»).

...«Мы ... власти». – См.: *Дж. Г. Байрон.* Манфред. Акт первый. Сцена первая. Перевод И. А. Бунина.

...Карно. – *Лазар Никола Карно* (1753–1823), математик, государственный и военный деятель времен Французской революции и правления Наполеона.

...Нибур ... как Карно. – См.: *Niebuhr B.G.* Geschichte des Zeitalters der Revolution. Hamburg, 1845. Bd. I. S. 334–339. Бартольд Нибур (1776–1831) – немецкий историк и прусский государственный деятель, автор знаменитой книги «История Рима с 241 года до Р.Х.» (1811–1812).

172. *...лучшие времена ... лихими.* – Ницше (здесь – не единственный раз) обыгрывает сходство немецких слов «besser» («лучший») и «böser» («злой») *по звучанию*, сближая их *по смыслу*.

179. *...Все политические ... одаренные умы.* – Продолжение этой части фразы в чистовике: *...чтобы все не развалилось с неизбежностью.*

Соответствующий набросок, более откровенный, хотя стилистически менее совершенный, чем сам афоризм, прольет дополнительный свет на эти размышления Ницше: *Как можно меньше государства! Мне не нужно государство, я сам дал бы себе лучшее образование без традиционного принуждения, а именно, более подходящее к моему телу, и сэкономил бы силы, растраченные на попытки вырваться. Если все вокруг нас станет тогда менее надежным, тем лучше! Я хотел бы, чтобы мы жили несколько более настороженно и воинственно. Это купцы хотят сделать таким заманчивым для нас свое государство – покойное кресло, они теперь своей философией завоевали весь мир. «Индустриальное» государство – не мой выбор, как оно было выбором Спенсера. Я сам хочу быть государством как можно больше, у меня есть так много расходов-доходов, так много потребностей. Так много информации. Но при этом – в бедности и без поползновений к почетным должностям, а также без восхищения воинскими лаврами. Я знаю, где погибнут эти государства, – в nonplusultra-государстве* <чудо-государстве (*лат.*)> *социалистов: я его противник, я ненавижу его уже в нынешнем*

государстве. Я и в тюрьме буду пытаться жить весело и не теряя человеческого достоинства. Великие стенания по поводу человеческой нужды не заставляют меня стенать вместе со всеми, а скорее побуждают сказать: у вас этого нет, вы не умеете жить личностями, вы не противопоставили лишениям никакого <внутреннего!> *богатства и никакого наслаждения владычеством* <над собою!>. *Статистика доказывает, что люди все больше уподобляются друг другу, то есть что* –» (в ломаных скобках мои смысловые конъектуры; фрагмент не завершен, но мысль Ницше ясна насквозь: *...что* они имеют все меньше шансов стать личностями, т. е. людьми в подлинном смысле слова. – *В.Б.*) (ПСС 9, 6 [377]).

186. *Бизнесмены.* – Модернизирую звучание слова «деловые люди» (без изменения смысла).

188. *...лавровый венец.* – Так во всех изданиях, но это явно описка Ницше: «Lorbeerkranz» (лавровый венок, аполлоновский атрибут) вместо нужного «Efeukranz» (венок из плюща, дионисовский атрибут).

189. *...Гесиод ... изобразил.* – См.: *Гесиод.* Труды и дни, 143–173.

190. *...к естествознанию ... символизации.* – В чистовике последняя часть фразы читалась так: *...было преклонение перед природою как символом и религиозность без веры.*

192. *...госпожа де Гюйон.* – Жанна-Мари де Гюйон (1648–1717), религиозная писательница мистического направления, представитель квиетизма.

...основатель ордена траппистов. – Аббат *Арман Жан ле Бутилье де Ранее* (1626–1700), основавший этот орден в 1664 г. в местечке Ла Трапп (откуда название) как ответвление ордена цистерцианцев. Траппистам была свойственна особенно суровая дисциплина тела и духа.

...прижиться ... среди французов. – В Германии все же существует одно траппистское аббатство и один монастырь.

...последний цвет. – Т. е. логику.

194. В чистовике вместо последней фразы: *Каким бы ни было наше столетие, а сотни таких воспитателей и сотни их питомцев хватило бы, чтобы придать ему новый характер.*

195. *Судьба ... делать так!* – Стихи принадлежат самому Ницше. Это, несомненно, перифраз стоического «ducunt volentem fata, nolentem trahunt» (согласного судьба ведет, несогласного тащит).

Формальное образование. – Т. е. сугубо теоретическое.

197. ... *«вновь ... границы».* – Цитата неточная. См. кантовское предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума».

199. *«Сердце ... имело».* – *Гомер.* Одиссея, Песнь двадцатая, 18. Пер. В.А. Жуковского.

... *Фемистокл.* – См.: *Плутарх.* Фемистокл, 11. Первым «офицером» был верховный стратег сводного греческого войска, притом не афинянин, а Фемистокл был одним из подчиненных ему стратегов.

... *тиранном.* – В античном понимании (т. е. самозваным монархом), а не «тираном» (т. е. деспотом в широком смысле слова) в современном (как в аф. 547).

202. *«Коли хочешь ... твари земной».* – Цитата из средневерхненемецкого стихотворного романа «Фермер Хельмбрехт» (XIII в.), автором которого считается Вернер Садовник (Wernher der Gartenaere). Ницше воспользовался нововерхненемецким переводом, изданным Людвигом Уландом в 1866 г.

205. ... *никогда ... батраков.* – Речь идет о западноевропейских, главным образом немецких евреях: вряд ли Ницше был знаком с тогдашним положением евреев в Восточной Европе и России.

... *admirari id est philosophari.* – Ницше забывает при этом, что первым сказал это не Шопенгауэр, а Аристотель: «...вследствие удивления люди и теперь и впервые начали философствовать» (*Метафизика*, 2, 983a 10, пер. А. Кубицкого), а до него – Платон в «Теэтете».

Четвертая книга

210. ... *«само по себе».* – Это тот знаменитый оборот, который прежде был известен в русских переводах немецких философских текстов (особенно Канта) как калька «в себе». Ницше часто издевался над этим смысловым конструктом.

... *один теолог.* – Это *Александр Вине* (1797–1847), швейцарский теолог, автор многочисленных книг по вопросам религии и социологии, публицист. Много занимался Паскалем – отсюда, возможно, интерес к нему Ницше.

...богаче и скупее. – В чистовике в конце были добавлены позже вычеркнутые фразы: *Какое это состояние, в котором человек считает вещь прекрасной? Может быть, такое, когда он вспоминает о том, что обычно делает его счастливым.*

212. *...узнает себя тут.* – Т. е. в соизмерении с другими.

214. *...снисходительность ... предусмотрительными.* – Игра слов (Nachsicht – Vorsicht), которую можно понять и по-русски, если выражение «быть снисходительным» трактовать как «оглядываться с сожалением». На этой игре основаны некоторые немецкие пословицы.

218. *...к своей силе.* – Т. е. к своим сильным сторонам. В черновике примерно к этому месту относится позже вычеркнутая Ницше фраза: *(В покое у Вагнера есть что-то оглушающее, как запах морфия).* Не знаю, пахнет ли морфий, но ясно, что музыка Вагнера сравнивается здесь (и в более поздних текстах) в своем воздействии с наркотиком.

224. *...возвысившиеся душою.* – Игра слов: «утешение» (ободрение) звучит по-немецки как «возвышение»; по Ницше выходит, что утешители возвышаются душой за счет утешаемого.

226. Как полагают *КиМ*, в этом афоризме содержится намек на Вагнера.

234. *...юнкер Спесивец.* – Выражение из Вагнеровых «Мейстерзингеров» (2 акт, 4 сцена; так назван там Вальтер Штольцинг).

235. Черновик афоризма: *Поостережемся отвергать благодарность того (или принимать ее формально), кто искренне чувствует себя обязанным нам: это глубоко оскорбляет его.*

239. *А вам...* – Т. е. моралистам, о которых идет речь в заглавии афоризма.

245. *...у них была власть.* – Т. е. власть над ним самим.

246. *Дети ... Аристотель.* – См.: *Аристотель.* Риторика. Книга 2, гл. 15.

248. *...в наследственных аристократиях.* – Т. е. в государствах с наследственным аристократическим правлением (как в Венецианской республике).

254. *«Если бы ... пирата».* – Здесь и в других местах Ницше цитирует немецкий перевод «малой прозы» (дневников и заметок) Байрона, имевшийся в его домашней библиотеке, или ссылается на него.

255. *...встает воспоминание ... стихий.* – Имеются в виду «лейтмотивы» в музыке Вагнера.

...музыка смолкает! – Смысловая игра: 1) *кончается* (именно так наивно понимает это *Б*) и 2) *немеет* (в результате демагогических приемов Вагнера).

259. *...для этого достойного!* – Вероятно, снова о Вагнере, который в начале знакомства с Ницше (после написания «Рождения трагедии из духа музыки») расточал ему похвалы.

261. *... «как Бог».* – Намек на текст Быт. 3:5 (немецкий перевод, в отличие от русского, гласит: «и вы будете, как Бог, познавши добро и зло»).

262. *«Отнимут ... будет наше!».* – Неполная цитата из стихотворного «переложения» 46-го псалма «Бог нам прибежище и сила»: «Пусть и тысяча чертей//отнимут дом, жену, детей, //пусть умрем до срока –//им не будет прока,//Царство будет наше» («Царство» – конечно, небесное; пер. мой). Стихотворение Лютера было очень популярно в народе и в литературе.

264. *...ощущение превосходства.* – В черновике добавлено: *таковы и женщины.*

266. Снова о Вагнере.

...безвластие. – Я выдерживаю стилистически-смысловое единство, чаще всего (и особенно в этом афоризме) переводя слово *die Macht* как «власть», но хочу напомнить, что в немецком языке в этом слове не разделяются смыслы «власть», «сила» (как возможность что-либо реализовать и вообще сила как способность) и даже «воля» – в том значении, в каком по-русски говорят «в моей воле (сделать то-то)». В данном случае «безвластие» в оригинале звучит как «бессилие», а буквально – даже как «обморок» (*Ohnmacht*, что можно, а пожалуй, и нужно понимать и как «беспамятство», подспудно противопоставляемое Ницше «опамятованию» в более поздних текстах; ср. тему забвения – аф. 312), и все три значения составляют сознательно сконструированный Ницше единый смысловой спектр.

281. *...языки ... завладеваем.* – Во многих романских и германских языках (в том числе и в немецком) некоторые прошедшие времена глагола образуются с помощью глагола-связки со значением «иметь». При этом романские языки возникли в результате порчи латыни *рабами* и пришельцами из *гер-*

манских племен (сама латынь глаголом-связкой со значением «иметь» не пользовалась).

286. Черновик афоризма: *Как свирепствовали люди среди животных и растений! Словно злейшие враги тех и других. Они питаются ими, а потом еще и льют слезы по своим рабам и жертвам.*

287. *...потому что ... недостаточно.* – В черновике объяснение звучало иначе: *...один, потому что думал, будто уж слишком не признает другого, а тот, потому что слишком хорошо узнал первого.* Вероятнее всего, речь снова о Вагнере и самом Ницше.

291. *...следует ... от надменности!* – Последняя фраза, конечно, – пародия на моральные проповеди.

292. *...непризнания.* – «Непризнание» тут – в значении «неправильное узнавание, нераспознание» (как по-русски звучит «я его не признал», т. е. «не узнал»). Перевожу «непризнание», чтобы сохранить связь с темой признания, важной для Ницше (см. аф. 113). В черновике сразу за этим словом шло: *Например, немцы не признают всякого еврея, который говорит по-немецки.*

304. Мысль этого афоризма можно сопоставить с содержанием аф. 281, посвященного теме обладания. Здесь же Ницше связывает *обладание* с *небытием.*

307. *Да факты-то – фикции!* – В оригинале по-латыни и по-немецки (Facta! Ja Facta ficta!).

308. В чистовике афоризм гласил: *Пускать себя в рост, продавать себя лишь по самой высокой, пусть даже по недешевой цене, будь ты учителем, служащим, художником, – это пошло.* Отсюда – слово «благородно» в заголовке афоризма. Последняя фраза в окончательном (опубликованном) варианте по-немецки звучит как *настоятельный совет.*

316. Чистовик, первая фраза: *Слабые секты – сравнительно самые выносливые.* Черновик, первое слово: *Партии.*

320. *...где погода моральна.* – Т. е. где господствуют настроения со свойствами, описанными в начале афоризма. Игра слов по-немецки основана на втором значении слова погода (*Wetter*) – «настроение».

321. *...злыдня с Лемноса.* – Т. е. у Филоктета. См. трагедию Софокла «Филоктет».

323. *...ворованные.* – Продолжение в черновике: <они> *мстят в одиночестве через чувство власти* –, т. е. в воображении.

324. В заголовке афоризма в первом издании стояло *Философия актеров.* В *GA* заменено на *Психология...*, в рукописи заголовка вообще не было. – *КиМ.* В черновике в конце афоризма добавлено: *Это – новейший фарс, разыгранный немецкими оригинальными гениями.*

325. *...Уэсли ... у тебя есть!* – Цитата из упоминавшейся книги Леки. *Уэсли Чарлз* (1707–1788) – англиканский теолог, попавший под влияние немецких гернгутеров (названный Ницше Петер *Бёлер* был их представителем в Англии).

341. *Некто ... о себе.* – Разумеется, это сам Ницше: см. его ранние письма, напр., к Густаву Кругу и Вильгельму Пиндеру от 12 июня 1864 г.

344. *...Гомер ... засыпал.* – Т.е. допускал ошибки или промахи (см.: *Гораций.* Наука поэзии, 359). «Бессонным» (ниже) – не допускающим (у себя) промахов.

346. *...свои средства.* – Т. е. средства своего удовлетворения. В черновике афоризм выглядел так: *«Женщина – враг наш» – сказал Ш<опенгауэр>: суждение необузданного полового влечения.*

349. *...когда стоишь.* – В черновике это сформулировано от первого лица (*...у меня бывает впечатление...*).

360. *...ощущение силы.* – В этом афоризме Ницше снова использует выражение «чувство власти», которое приходится здесь передать как «ощущение силы» из-за противопоставления «бессилию» (Ohnmacht).

364. В черновике этот афоризм также имеет автобиографическую окраску. Цитата – из Гейне («Книга песен», разд. «Домой», 24).

366. *...за сделанную глупость.* – В том смысле, что он «попался». *...по старому злому.* – Пародия выражения «старый добрый (...)». Ницше вообще старается где только можно заменять «доброе» на «злое» в прагмалингвистической плоскости.

367. *...третьего столетия.* – Sc. до н.э.

373. *...низость.* – Слово «низость (пошлость, хамство)» по-немецки образовано от слова со значением «общий; простой, обыкновенный, дюжинный», отсюда игра слов в оригинале.

377. Ср. «парный» афоризм 328.

378. Этот афоризм основан на игре фразеологизмом, буквально звучащим как «рисовать черта на стене» со значением «накликать на себя беду».

381. *...справедливейший.* – Ницше, в сущности, должен был сказать «добрейший» – но на все «доброе» у него табу, в том числе и в языке. В черновике весь афоризм имел заглавие *В тени своих усов* – вероятно, и эта «примета» автобиографическая («толстые усы» носил, как известно, сам Ницше).

396. Последняя фраза в черновике: *Оба испытывают удовольствие от истины.*

401. Черновик: *Если человек отвыкает любить других, то кончает он тем, что перестает любить себя.* Опять-таки автобиографический афоризм, ср. письмо к Петеру Гасту от 18 июля 1880: *Напоследок одно размышление: человек прекращает по-настоящему любить себя, когда прекращает упражняться в любви к другим: по каковой причине это последнее (прекращение) весьма противопоказано. (Из моего личного опыта).*

402. *Еще одна терпимость.* – Т. е. «еще один сорт толерантности»: сарказм в адрес либерализма.

422. *Почему ... радостей.* – В черновике добавлено: *...и в этом нет ровно ничего морального.*

Пятая книга

427. *Позвольте ... философией.* – В черновике фраза кончалась так: (...) *приукрашивание науки (Конт).*

429. *...подобные мысли?* – В черновике в этом месте добавлено: *Каждый любящий стремится к смерти.*

432. *...холодность.* – В черновике за этим следует: *Как будто они – люди? ... нет ... Но существуют и пытки для вещей – и кто в них поднаторел – берегись!*

433. *...воспроизведение существа счастливого.* – Ср. *К генеалогии морали*, разд. 3, гл. 6, где Ницше прямо цитирует слова Стендаля: «*Красота – это обещание счастья*».

446. *...вскрыватели подоснов.* – Т. е. метафизики-систематики.

449. Черновик этого афоризма отличается беспримерной даже для Ницше исповедальностью (которую он сам заметил и смягчил): *Всегда думать о том, что навязывать другим его <seine, описка Ницше вместо meine, мои> мысли недостойно меня. Мне это противно! Применять красноречие только в пользу чужих взглядов! N.B. Я хочу быть только тем, кому другие исповедуют свое сокровенное, и говорить с ними так: я хочу облегчить вашу*

душу, но слава за это мне не нужна. N.B. Это простой здравый смысл и горсточка знаний, но с их помощью я, может быть, помогу некоторым, чей ум поврежден. Я хочу превосходить их только на каплю здоровья и на отсутствие лихорадки и с удовольствием посмеюсь, если они станут шутить над этой моей гордостью. N.B. Я не хочу держать ничего только для себя, лучшую пищу, которую мне дают, это меня угнетает, а также лучший ум; я стараюсь возвращать, раздавать и становиться беднее – через раздачу, – чем был до того, как получил дары <сам>. Я хочу занимать скромное положение, но быть доступным множеству ближних, и пускать к себе душу множества столетий: <быть> скромным горным приютом, не отказывающим никому, кто нуждается. Чистовик второй фразы до слов «*о нужде*»: *Разве есть для меня что-нибудь более желанное, чем когда-нибудь в будущем, может быть, когда придет старость, уподобиться приятному исповеднику, знающему все ходы и выходы мысли и вот сидящему в своем уголке в страстном ожидании, что кто-нибудь придет и расскажет что-то о старых и новых нуждах.*

...жить в безвестности ... гордясь собою! – Ницше излагает здесь программу античных киников (прямо намекая на это образом *котомки* – непременного атрибута кинического философа).

450. *«Устрани ... горе вообще».* – Перевод Ницше, вероятно, сильно расходится с другими. Имеется в виду место из кн. 4, гл. 7.

...учение ... об одиночестве. – Ницше имеет в виду, конечно, собственное учение.

...опытные государства. – Если такое чтение («Versuchsstaaten») верно, то Ницше соотносил это слово с латинским словом «regnum» (царство, правление) и, значит, понимал «государство» как «суверенное, самовластное государство» (= личность; см. примеч. к аф. 179); правда, тогда предпочтительней было бы «Versuchsreiche». Поэтому я допускаю возможность конъектуры «Versuchsstationen» (испытательные станции, полигоны): Ницше один раз раньше (*Призыв к немцам*) использовал сходное слово «Versuchswerkstätten» (опытные мастерские) и несколько раз – слова, связанные со смыслом «опытные, экспериментальные *научно-практические* работы», но больше ни разу – «опытные государства» (хотя это, разумеется, не доказательство).

456. *«Ищите ... приложится вам».* – Мф. 6, 33.

458. *...к такому интеллекту.* – В черновике добавлено: *напр., Ре.* Имеется в виду Пауль Ре (1849–1901), философ, друг Ницше.

464. *Как тут не осатанеть...* – Игра слов: «осатанеть» – буквальный перевод оборота со значением «спятить».

465. *Результат...* – Вместо этого в черновике: *Героизм – а результат* (...).

469. *...«одиноко бредущему носорогу».* – Выражение из «Сутта Нипаты». В 1875 г. Ницше сильно увлекался буддийской литературой и читал английский перевод «Сутта Нипаты». См. его письмо к Карлу Герсдорфу от 12 декабря 1875 г., где он говорит, что *уже взял для домашнего употребления* это выражение: *и вот бреду я одиноко, как носорог.* В этом афоризме он, разумеется, говорит о себе.

472. Разумеется, позицию «Б» Ницше только хотел бы занимать, но в реальности не занимал. Об этом говорит последняя фраза в черновом варианте: *А ведь это как раз неправда – сам-то я не так уж и важен, но меня бесит делать то, что позволяет догадаться о* **наличии у меня другой веры**» (выделено мною. – *В.Б.*).

473. *Ubi ... patria.* — Перефразированное выражение «ubi bene, ibi patria» (где хорошо, там и отечество).

475. В черновике афоризм сформулирован с откровенной оппозицией: *я – вы.*

480. *...собственные цепи.* – Т. е. надетые на себя добровольно.

485. *...когда ... от нее подальше.* – Черновик продолжает: *, я бросил свою работу, и лицо мое скривилось от отвращения.*

487. В черновике все изложено от первого лица.

496. *...Платон думал ... для каждого.* – Ницше экстраполирует позицию старого Платона («Государство», «Законы»), для которого три поездки на Сицилию были уже в прошлом, на его сицилийский период, когда он (см. Письмо VII) хотел только искоренить разврат и роскошь как стиль жизни и управления.

498. В черновике все изложено от первого лица.

499. *«Лишь одинокий зол!»* – У Дидро наоборот: «Лишь негодяй одинок» (пьеса «Побочный сын»).

...а также лучше всего. – Т.е., по смыслу, «совершеннее всего» – игра слов, основанная на том, что по-немецки «лучше» – превосходная степень прилагательного от слова «добрый».

508. *...воспитанного человека.* – Продолжение в черновике: *Обратное есть признак полуварварства.*

511. В чистовике афоризм заканчивался фразой: *Ведь мы переодеваем лучшие вещи.*

516. *Не спускать ... ближних!* – Намек на изгнание Иисусом бесов из «бесноватых» в стадо свиней (Мф: 8, 28–32).

518. *Это...* – Вместо *это* в черновике: *Тут нет ничего морального! А это* (...).

524. *...esprit.* – В чистовике афоризм заканчивался фразой: *Истина под капюшоном – вот что им по вкусу.*

531. Черновик этого афоризма: *Когда живешь в глубоких и плодотворных мыслях, требуешь от искусства чего-то совсем иного, чем прежде. Поэтому я изменил свой вкус в нем. Другие ждут от искусства той стихии, в которой я живу.*

537. *...без раздумий.* – Т.е. инстинктивно – одна из основных установок «теории действия» Ницше.

538. *...следствие – –.* – Нарочитая недосказанность (из деликатности).

539. *...принять участие?* – Чистовик заканчивался вычеркнутым текстом: *И все ж! Я хочу, я должен принимать участие – что мне на это отвечать <себе>! Только все снова твердить одно и то же: дело не во мне! Дело не во мне!*

542. *... «доселе ... дальше».* – Источник цитаты – Шиллер («Разбойники», II, 1 – по Книге Иова 38, 11). – *КиМ.*

543. *Почему бы ... себе?* – Если в этой фразе (в оригинале) опустить слово «столько (много)», то смысл будет: «Почему бы вам не наложить на себя руки?» – Весь этот афоризм относится, разумеется, опять-таки преимущественно к Вагнеру.

544. *...великие ... стиля.* – Ницше имеет в виду школу нидерландских полифонистов 15-го в.

546. *... «неизреченных великолепий».* – См.: 2 Кор 12, 4.

547. Привожу первую и последнюю фразы черновика – одна помогает понять смысл окончательного текста, другая показывает, какой путь Ницше для себя зарезервировал: *Ход науки показывает, каким будет ход морали* (...) *Философия была способом показать свою силу* <или: проявить свою власть> *– философы хотели быть тиранами духа.*

549. *...дел ... от себя.* – Ницше повторяет выражение самого Байрона, вычитанное им из немецкого перевода «малой прозы» поэта (главным образом дневников): «Отвлечься от

себя (о этот проклятый эгоизм!) всегда было моим единственным, исключительным, глубочайшим побуждением, где бы я ни писал...».

551. *...страх ... того почтения.* – По-немецки *die Furcht* («страх») входит в состав слова *die Ehrfurcht* («почтение», буквально «страх ради чести»), отсюда игра слов.

...пылающие пурпуром. – Т. е. царственные.

552. *...беременность.* – В качестве источника темы «беременности и родов» Н. мог послужить Платон (см.: *Пир,* 206с, 208е–209а).

555. В черновике афоризм изложен от первого лица.

556. *...четверка кардинальных добродетелей.* – Кардинальными добродетелями в европейской этике названы сформулированные Платоном в «Государстве» качества: мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Если вдуматься, Ницше не заменяет Платоновы добродетели своими, как хотел бы показать, а только переформулирует их, ставя акценты иначе, и притом так, что их смысл изменяется.

558. *... «дают ... волн».* – Ницше, вероятно, исказил текст, приводя его на память (как это нередко с ним бывало) – ни один комментатор не установил источник в сочинениях Поупа.

559. *«Ничего сверх меры!»* – У Ницше – немецкий перевод латинского выражения *ne quid nimis* (Теренций), отсюда кавычки.

И разве ... на мир... – Продолжение и окончание фразы в черновике: *...вследствие трансцендентальных идеалов, которыми нас дурачат.*

560. *Можно ... саженцами.* – Т. е. инстинктами – Ницше играет словом *der Trieb*, означающим и «росток, саженец», и «инстинкт, влечение, побуждение».

...учение о неизменности характера. – Намек на Шопенгауэра.

562. *...они даже знают об этом.* – Т. е. свободные умы знают о том, что разрывают сердца «оседлым».

564. В черновике афоризм начинался вычеркнутой позже фразой: *Наше представление об объеме глупости великих умов недостаточно емко –* .

565. *...заключали предмет в объятия.* – Ницше пользуется этим образом, чтобы косвенно раскрыть смысл слова «понимать», т.е. охватывать со всех сторон, обнимать.

570. *...кипарисами.* – Кипарис – дерево скорби по умершим (в греческой культуре).

575. *...воздухоплаватели духа!* – Можно предположить связь этого афоризма с маленьким романом Жана Поля (И.П. Рихтера) «Судовой журнал воздухоплавателя Джаноццо» («Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch», 1801), «приложением» к большому роману «Титан».

Мессинские идиллии

МИ впервые были опубликованы в «Международном ежемесячнике» (“Internationale Monatsschrift”, 1. Jg. (1882), № 5 (Mai), S. 269–275), выпускавшемся издателем Н. Эрнстом Шмайцнером. Эти восемь стихотворений писались с февраля по апрель 1882 г. Впоследствии шесть из них под новыми заголовками и с некоторыми другими изменениями Н. включил в приложение к Пятой книге *ВН* (*«Песни принца Фогельфрай»*). По этой причине в последующих немецких собраниях сочинений Н. *МИ* отсутствовали. В наше издание мы включили 4 из 8 стихотворений – два не вошедших в *«Песни принца Фогельфрай»*, а также два в альтернативных (по отношению к нашей редакции *ВН*) переводах. Комментарии по разночтениям в вариантах остальных четырех стихотворений см. ниже в комментариях к *ВН*.

Веселая наука

ВН изначально была задумана Н. как продолжение *УЗ*. Он писал Петеру Гасту 29 января 1882 г.: *Уже несколько дней как я справился с VI, VII и VIII книгами “Утренней зари”, и на этом пока закончил свою работу. Потому что книги 9 и 10 я оставляю за собой на эту зиму – я еще не вполне готов к основополагающим мыслям, которые хочу изложить в этих заключительных книгах. Среди них одна мысль, которой фактически нужны “тысячелетия”, чтобы чем-то стать. Откуда же мне набраться духа, чтобы ее высказать!* В своей работе над новым произведением Н. до сей поры обращался к записям, представляв-

шим собой материал, оставшийся неиспользованным при сочинении *УЗ*, а также возникший позже, между весной и осенью 1881 г. Из последней категории, однако, надо исключить записи этого же периода, сохранившиеся в тетради M III 1 [из ряда специальных сигнатур, применявшихся в издании Колли – Монтинари для обозначения манускриптов Н. Содержание соответствующей тетради воспроизведено в 11-й группе 9 тома этого издания. – *В.Б.*]. В этой тетради и находится запись той мысли, которой нужны были «тысячелетия», чтобы «чем-то стать», – мысли о вечном возвращении того же самого. На эту запись, датированную «началом августа 1881 в Зильс-Мариа» (см. ПСС 9, 11 [141]), Н. ссылается еще в *ЕН* (раздел «Так говорил Заратустра», 1). Вскоре после знакомства с Лу Саломе, во время поездки в Швейцарию с ней и П. Ре, Н. изменил планы и 8 мая писал своему издателю: *Осенью Вы можете получить от меня одну рукопись: ее заглавие – "Веселая наука" (там будет и множество эпиграмм и стихов!!!).* Издательский экземпляр Н. готовил в Наумбурге с помощью своей сестры и одного «обанкротившегося купца». Некоторые части Н. переписывал сам – например, *Шутку, хитрость и месть.* Готовые части издательского экземпляра одна за другой отсылались к издателю Шмайцнеру между 19 июня и 3 июля; за исключением *Шутки, хитрости и мести* и нескольких других листов, содержащих автографы Н., этот экземпляр не сохранился. Полученные от издателя корректурные листы читались совместно Гастом и Н. между 29 июня и 3 августа. *ВН* вышла в свет незадолго до 20 августа 1882 г. в Хемнице в издательстве Эрнста Шмайцнера. «Приблизительно четвертую часть изначального материала» Н. зарезервировал себе «для научного исследования» (письмо к Гасту от 14 августа 1882). Речь идет о черновых записях из тетради M III 1 (см. ПСС 9, группа 11). В *ВН* «мысль» появляется лишь в виде наводящего вопроса в афоризме 341.

В 1887 г. Н. затеял «новое издание» своей книги, добавив к тексту первого предисловие, пятую книгу и «Песни принца Фогельфрай». Но книга не была напечатана вся заново: просто новые части были допечатаны и добавлены в экземпляры из складских остатков нераспроданного тиража первого издания. Теперь книга стала называться «Веселая

наука (“la gaya scienza”). Новое издание с приложением: Песни принца Фогельфрай. Лейпциг, издательство Э.В. Фрицша» [текст именно этого издания воспроизвели *КиМ* в своем. – *В.Б.*]. Из подзаголовка становилось явным провансальское происхождение самого заглавия (см. ПСС 9, 11 [337] и комм.). Сохранился рукописный экземпляр 2-го издания с правкой Н.

Веселая наука публикуется в настоящем издании в переводе К.А. Свасьяна (по изд.: *Ницше Ф.* Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 491–719), сверенном (по изд.: *Nietzsche F.* Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von G. Colli und M. Montinari. Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1999, Band 3) и отредактированном.

[К заглавию книги] – См. прим. к *Песням принца Фогельфрай.*

[К эпиграфам] – Во втором издании *ВН* эпиграф из Эмерсона был заменен на собственное стихотворение Н.

Предисловие

1. *...говорится в заключение* – Точнее, в конце 4-й книги (аф. 342). – *В.Б.*

3. *...всякого U ... действительное X* – Т. е. обманывает, надувает. Изначально эти знаки понимались не как буквы, а как римские цифры (U = V), и этот разговорный оборот означал, что кто-то пытается выдать цифру V (например, в долговой расписке) за X (продолжив вниз линии цифры V). – *В.Б.*

4. *...держится сокрытым* – Аллюзия на образы из незаконченного романа Новалиса «Ученики в Саисе» (1798). См. также: *ВН*, кн. 2, аф. 57.

Баубо – Жительница Элевсина, развеселившая Деметру непристойной болтовней и движениями. Это слово еще и теперь имеет оскорбительное значение в новогреческом языке, обозначая старух, весело проведших свою молодость. – *КСВ.*

Шутка, хитрость и месть

Н. использует название зингшпиля немецкого композитора Кристофа Кайзера на слова Гёте (1786). Этот же текст был еще раз положен на музыку Петером Гастом в 1880 г.

1. Ср. вторую строфу стихотворения «Заключительная рифма» (ПСС 9, 19 [7]).

6. Ср. третью строфу стихотворения «Правила жизни» (ПСС 9, 19 [8]).

23. Ср. ПСС 9, 11 [336].

27. Ср. ПСС 9, 16 [15], 15 [28].

31. Эрвин Роде видел в этом стихотворении саморазоблачение Ницше (см.: *Heckel K.* Nietzsche. Sein Leben und seine Lehre. Leipzig, 1922. S. 93). – *КСВ.*

32. Ср. ПСС 9, 16 [13].

39. *Созвездье Пса* – По античным представлениям, его восход совпадал с самой жаркой порой года (июль – август). – *В.Б.*

43. ПСС 9, 16 [14].

Первая книга

1. ... *«волнам несметного смеха»* – Неверный перевод Эсхила («Прометей», 89–90). – *КиМ.*

2. *rerum concordia discors* – Цитата из Горация (Послания, I 12, 19): «<Сила и цель какова> любви и раздора в природе» (пер. Н. Гинцбурга). Букв.: сочетание противоречивых вещей (*лат.*).

4. ...*лемех злого* – В черновике вместо этого окончания периода стояло: ...*должен появиться великий лемех, иначе добрые превратят человечество в местность скудную и пустынную. Добрые люди, женившись, постепенно наплодят имбецильное потомство.*

11. ... *«сверх рока», как говорит Гомер* – Ср. гомеровские обороты *ὑπέρ μόρον* (Од. I, 34; Ил. XX, 30 и др.), *ὑπέρ μοῖ όραν* (Ил. XX, 336 и др.) и *ὑπέρ μορα* (Ил. II, 155 и др.).

12. ... *«небесном восхищении»* ... *«смертной скорби»* – См. Гёте. Эгмонт. Акт 3. Песенка Клерхен.

14. ... *«бешеном демоне»* ... *Софокл* – Цитата, не засвидетельствованная у Софокла буквально, но имеющая у него прототи-

пы (см. «Антигона» 790, «Трахеянки» 441–446, а также у Платона о Софокле в «Государстве» 329 b–d). На это же место у Софокла ссылается и А. Шопенгауэр («О различии возрастов жизни», Parerga 1). – *КиМ.*

20. *...благородный вкус:* в издании *КиМ* это место читается как «гадкий вкус». Вот как комментируют это издатели: «в первом и всех последующих изданиях вместо «гадкий» [нем. *eklerer* – экспрессивный компаратив] было напечатано «благородный» [нем. *edlerer*]». Возможно, *КиМ* воспроизвели тут буквально то, что значилось у Н. в рукописи, но «первое и последующие издания» были правы, истолковав слово *eklerer* как описку и исправив ее на очевидное *edlerer* («благородный» стояло и в прежних изданиях перевода К.А. Свасьяна). Такая дотошность в данном случае явно избыточна, и тут мы отходим от принципов издания *КиМ. – В.Б.*

22. *...персона ... сама вещь* – Игра слов, основанная на одном из значений латинского слова *persona* – «маска». – *В.Б.*

23. *«Я имею право ... развлечениям»* – Цитата из кн.: *Madame de Rémusat*, Mémoires 1802–1808, Paris 1880, 3 тома, том I, с. 114сл. (книга из библиотеки Н.) – *КиМ.*

34. Эта мысль Н. близка к изречению Ф. Шлегеля «Историк – это пророк, обращенный вспять». – *КСВ.*

43. *...нравственной стороны нравов* – Это понятие Н. ввел раньше, в *УЗ* (аф. 9).

...англичанин – В черновике стояло: *англичанин Палгрейв* (Уильям Гиффорд Палгрейв, автор книги «A narrative of a year's journey through Central and Eastern Arabia».

...Катон ... до вина – См.: *Плутарх*, «Римские вопросы», 6, где, однако, это мнение приписывается не прямо Катону, а «большинству». – *КиМ.*

54. *Я открыл ... посреди этого сна* – В черновике: *Я обнаружил, что во мне продолжает видеть сновидения, страдать, действовать древнее человечество – я пробуждаюсь от сновидения в сновидении!*

...блуждающий огонек: нем. *Irrlicht* – Блуждающий (или «болотный») огонек один из любимейших и основополагающих образов у немецких романтиков, связанный с темой рискованных блужданий духа вслед за этим призрачным светом в ночи, в лесу, на болоте. У Гёте – один из персонажей «Фауста». – *В.Б.*

Вторая книга

57. *...вы, трезвые ... на опьянение* – В черновике: *...спрашивается только одно – должен ли, хочет ли кто-то продолжать сочинение этого стихотворения, "мира", или он этого не может, а, значит, и не должен – как вы! Вы, трезвые! Вы, жвачные!* Ср. у Гёте в «Страданиях молодого Вертера» («12 августа», в разговоре Вертера с Альбертом: «Эх, вы, разумные люди!.. Стыдитесь, вы, трезвые!».

60. *...древний потрясатель земли.* – Т.е. Посейдон. – *В.Б.*
...но для этого ... дистанция. – В записной книжке Н. (N V 7, 189) вместо этого стоит: *Погруженный в думы, ты стоишь под скалами, а вокруг шумит прибой – и тут недалеко скользит мимо тебя призрачная красота большого парусника, беззвучно.* Ср.: Ш. Бодлер, «Ракеты», VIII (Œuvres complètes, Paris 1968, p. 1253). – *КиМ.*

61. *...талант* – Античная мера веса драгоценных металлов. – *В.Б.*

68. В черновике этого афоризма вместо «мудрец» везде стояло *З*<аратустра>.

75. *...Аристотель* – Н. имеет в виду, вероятно, следующие места: «Никомахова этика» 1123 b 6–8; «Риторика», 1361 a 6–7.

77. *...«Жиль Бласа»* – Роман Алена Рене Лесажа (1668–1747) «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны» (1715–1735). В старой русской литературе фамилия этого персонажа писалась «Блаз». – *В.Б.*

80. *recitativo secco* – «Сухой речитатив», итальянский музыкальный термин, означающий характер исполнения в диалогических оперных сценах, в музыкальном смысле построенных на напевной рецитации певцов в сопровождении аккордов чембало и лишенных собственно мелодического начала. Кроме *secco*, применялся *recitativo accompagnato* (аккомпанированный, или, у Н., *umido*, «влажный»), когда диалог сопровождался аккомпанементом оркестра. – *В.Б.*
...ни саму музыку – В чистовике зачеркнуто окончание этого афоризма: *И все же могла бы появиться какая-то музыка (из Франции или же России?), в сравнении с которой все Вагнерово искусство получило бы оправдание, только если понять его как речитатив (разумеется, как recitativo umido, и лишь иногда – secco!), – возможность, с которой следует считаться, размыш-*

ляя о тонкой взаимосвязи музыки и морали. – КиМ. Ср.: ЧСЧ, 2 том, 2 отдел, 154: *Речитатив. – Прежде речитатив был сухим; нынче мы живем в эпоху влажного речитатива: он упал в воду, и волны влекут его, куда хотят.* – В.Б.

81. *Этим ничего не доказывается* – Анекдот, рассказанный Лагарпом. Есть мнение, что названным «землемером» был не кто иной, как знаменитый математик Роберваль. – *КСВ.* Источником Н. послужило введение П.-Ж. Сталя к книге Шамфора «Мысли – максимы – анекдоты – диалоги» (Париж, ок. 1856), имевшейся в библиотеке Н. Этот же анекдот приводит Шопенгауэр («Мир как воля и представление», 1, кн. 3, § 36). «Ифигения» здесь – драма Расина. – *КиМ.*
Est res magna tacere. – Не вполне точная цитата из «Эпиграмм» Марциала, IV.80.6. – *КСВ.*

84. *... «Много лгут поэты»* – По Аристотелю («Метафизика», 983a, 3), который приводит это выражение как пословицу, не связывая с Гомером. Ср. также: Солон, фр. 21 (Diehl).

87. Ср. главу «Чем я восхищаюсь» в *Ницше contra Вагнер* (ПСС 6, 320).

92. *Война ... вещей* – Ср.: Гераклит, фр. 53 (Diels-Kranz).
...Imaginary conversations – «Воображаемые беседы» (англ.). *Лендор У.С.* (1775 – 1864) – английский поэт, с 1824 по 1846 гг. отдельными частями издавал названную Н. книгу, представляющую собой переработку диалогов Лукиана. – *КСВ.*

95. *...быть может ... отомстить за мать* – Шамфор был внебрачным ребенком. – *КиМ.*
Ah! mon ami ... ou se bronze – По этому поводу Георг Брандес писал к Н. (3 апреля 1888 г.), что это – не «последние слова Шамфора», а фраза из его сочинения «Caractères et Anecdotes».
Сьейес Эмманюэль Жозеф (1748–1836) – деятель Французской революции, один из членов Директории и консулов Республики.

97. *...о двух писателях* – В черновике: *о сочинениях Е. Дюринга и Р. Вагнера.*

98. *«Терплю я ... Любезный, прочь!»* – См.: У. Шекспир. Юлий Цезарь. Акт IV. Сц. 3. (пер. М. Зенкевича).

99. *«Будь мужчиной ... За собой!»* – Строка из стихотворения Гёте («Надпись» ко Второй части «Страданий юного Вертера», 1775), где слова *а за собой! За собой!* – интерполяция

Н. (ср. его стихотворение «Vademecum – Vadetecum»). «Мужем будь, – он шепчет из могилы, – Не иди по моему пути» (это же место в пер. С. Соловьева). – *В.Б.*

«Рихард Вагнер в Байрейте» – Цитата из параграфа 11 в пер. Т. Гейликмана. Ср. ПСС 1/2, 329.

103. *«У смелых взор смелей горит, у жен поник стыдливо...»* – Строки из баллады Гёте «Певец» (1783) в пер. Ф. Тютчева.

... *«необузданный человек»* – Собственные слова Гёте (в письме к Цельтеру из Карлсбада (2 сентября 1812).

106. ... *сказал новатор своему ученику* – В черновике: *сказал З*<аратустра>.

Новатор возразил... – В черновике: *З*<аратустра> *возразил.*

...не опровергается!» ... пальцем – В черновике: ... *не опровергается.* [*Я жажду музыки, говорящей на языке утренней зари». Тогда один из его учеников обнял его, воскликнув*] *Когда он сказал это* [*один из толпы вскричал с п*<ылом>*: О мой*], *воскликнул ученик, спрашивавший его, со страстью: «О ты, мой истинный* [*учитель*] *наставник! По мне, твое дело столь* [*хорошо*] *сильно, что я выскажу все, все накопившееся у меня на сердце против него». З*<аратустра> [*улыбнулся*] *посмеялся про себя этим словам и показал* [*на него*] *в его сторону пальцем.*

107. ... *такой необходимости* – В черновике за этим следовало: *мы вспоминаем, что любим и высоко ставим ложь и облыгание, если только к ним приложило руку искусство. Ecce homo* <здесь: таков уж человек. – В.Б.>.

Третья книга

108. К этому афоризму в черновике Н. (N V 7, 104) относится следующее место: *Короче говоря, остерегайтесь тени Бога. – Ее называют еще метафизикой.*

120. ... *«Добродетель ... души»* – Ср.: Stoicorum veterum fragmenta I, fr. 359.

123. ... *amour-plaisir ... amour vanité* – Любви-удовольствия ... любви-тщеславия (*фр.*) – выражения из знакомой Н. книги Стендаля «О любви».

125. *Безумец* – В черновике всюду вместо *безумец* стоит *З*<аратустра>.

128. *«Ом мане падме хум»* – Я есмь драгоценность в царстве Лотоса. Древнейшая медитативная формула, воспроизводящая в космическом звучании силу человеческого *Я*.

141. *«…что тебе за дело до этого?»* – Слова Филины из «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гёте (кн. 4, гл. 9). Ср. также: Гёте. Поэзия и правда, III, 14.

153. В этом афоризме (заглавие которого переводится с латыни «человек-творец», поэт) Н. обыгрывает следующее место из «Искусства поэзии» Горация (ст. 190 слл.):

Если ты хочешь, чтоб драму твою, раз увидевши, зритель
Видеть потребовал вновь, то пять актов ей должная мера.
Но чтоб боги в нее не вступались; разве твой узел
Требует высшей их силы!
(Пер. М. Дмитриева)

Из пяти актов драмы состояли именно у римлян, а не у греков. Возможно, эта коллизия (четыре или пять «актов») у Н. связана с его замыслами относительно *ТГЗ*, книги, в это время еще далеко не законченной. Не случайно через три года он назовет ее заключительную часть «Частью четвертой, и последней», но еще долго будет вынашивать планы продолжения *ТГЗ*. Ср. аф. 281. – *В.Б.*

176. *«Les souveraines … parvenus»* – В черновике: *Я думаю, если бы Талейран ожил, он высказался бы об этом так: les souveraines rangent aux parvenus; il y a partout trop d'arrivés en tout genre* <монархи причисляются к выскочкам; уж слишком много повсюду развелось карьеристов всех сортов (фр.)>».

190. *…ты мне ровня!»* – Ср.: Гёте. Годы странствий Вильгельма Мейстера. III, 18.

203. Отсылка к Горацию: «*Hic niger est*, hunc tu, Romane, caveto» («*Вот этот черен* – римлянин, остерегайся») (Послания, I 4, 85).

250. Этот афоризм в черновике заканчивался следующей фразой: *Не обошлось дело и без черта как средства принуждения.*

259. Ср.: ПСС 9, 18[6].

270. Это заключенное в кавычки часто цитируемое Н. изречение принадлежит Пиндару (II Пифийская песнь, 72): *γένοι, οἷος ἐσσι ᾳαφών.*

Четвертая книга

279. Афоризм посвящен, вероятно, Р. Вагнеру.

285. *...вечного возвращения.* – Здесь это выражение встречается впервые в опубликованных книгах Н. (хотя прообраз самой идеи можно увидеть уже, например, в *УЗ* 113). – *В.Б.*

290. *Одно только нужно.* – Выражение из евангелия от Луки (10: 42).

291. *Я долго ... наконец.* – В черновике вместо этого было: *Обведя взглядом город, дома и парки его предместий, его возвышенности и поросшие кустарником холмы,* З<аратустра> *сказал.*

292. См.: Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М.: Политиздат, 1991. С. 133 (пер. М. Сабашниковой). – *КСВ.*

302. *Гомеру ... молодыми рыбаками.* – Имеется в виду шутка из гомеровских гимнов, которой обмениваются Гомер и молодые рыбаки с острова Хиос. Гомер: «Рыбаки-аркадцы, какой улов?» – Рыбаки: «Все, что выловили, бросили, а то, что не выловили, уносим». Ср. у Гераклита: «Обмануты люди в познании видимого, подобно Гомеру. А он был всех эллинов мудрее! Именно, провели и его мальчики, убивая вшей и приговаривая: все, что увидели и взяли, – кинули, а чего не видим и не берем, – это носим» (фр. 56., пер. В.О. Нилендера). – *КСВ.*

317. *этос, а не пафос* – Ср. у Б.Г. Нибура (автора из круга чтения Н.) это восходящее к Аристотелю различение «этоса» и «пафоса»: «Все человеческие состояния отдельных людей и совокупности людей двояки: они предстают в том, что называется *ἦφος* и *πάφος*» (*Niebuhr B.G.* Vorträge über römische Alterthümer. Berlin, 1858. S. 2). – *КСВ.*

332. *...плохим моим аргументам!* – Первая фраза этого афоризма в черновике читается так: *Какой от меня толк, сказал* З<аратустра>, *если верят даже слабым моим доводам!*

335. *Да здравствует физика!* – Отдаленный прообраз «физики» у Н. можно видеть в идеях Иоганна Вильгельма Риттера (1776–1810), немецкого естествоиспытателя, сделавшего важные открытия в области электрохимии, и писателя, представителя эсотерического романтизма (см. его соч. «Физика как искусство», 1806, где речь идет о физике как «искусстве самоосуществления человека»: «овладев собою, он должен стать владыкой, господином земли, мира и все-

ленной»). Можно подозревать участие идей Риттера в духовном мире Н., поскольку между ними обнаруживается множество параллелей (только один пример: непосредственно следующий за комментируемым аф. 336 из *ВН* и фр. 404 «Фрагментов из бумаг юного физика» Риттера, 1810, где говорится: «...вполне вероятно, что в нашем теле, где постоянно происходят смешения, связи и т.д., тоже налична причина возникновения света – только она не может проявиться в виде света, поскольку ее никто не видит. Но что если я представлю ее себе? – Ведь тут я могу представить себе и свет»). – *В.Б.*

339. *...открывается нам однажды.* – В черновике: *...а что открывается им, делает это однажды,* [*заблуждение – ждать возвращения*].

«Да ... все прекрасное!» – Греческая пословица *δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν* встречается у Платона («Горгий» 490 е; «Филеб» 59 е – 60 а) и Эмпедокла (фр. 25 Diels-Kranz).

340. *«О Критон ... петуха»* – См.: Платон, «Федон» 118 а.

342. Текстом этого афоризма начинается книга *ТГЗ* (Предисловие Заратустры, 1). Единственное важное разночтение – в *ВН* озеро имеет название «Урми» (Урмия, озеро на северо-западе Ирана), а в *ТГЗ* остается безымянным. В переводе этого афоризма использован перевод Ю. Антоновского. – *В.Б.*

...стать человеком». – Собственно говоря, «вочеловечиться» – ср. УЗ (Предисловие, 1), где Н. берет это выражение (*Mensch werden*) в кавычки, показывая тем самым, что заимствует его из языка христианской теологии. – *В.Б.*

Пятая книга

345. *в одном отдельном случае ... кажется теперь.* – Н. имеет в виду своего друга и ученика Пауля Ре и его книгу «Происхождение моральных чувств» (1877). В подаренном Н. экземпляре книги есть надпись, сделанная автором: «Отцу этого сочинения – с благодарностью от матери». Н. сначала воспринял книгу с сочувствием, но потом охладел к ней. – *В.Б.*

356. *Graeculus histrio* – «Гречишка-лицедей» (*лат.*). Характеризуемые обоими словами люди у римлян классической поры вызывали острое презрение: греки как нация выглядели в их глазах никчемными болтунами, актеры же (ими чаще всего и оказывались греки), если и были лично свободными, то почти приравнивались к рабам и по законам, и по человеческому к ним отношению. Отношение самих греков к актерам было обратным: актером мог быть только свободный человек, актеры пользовались всеобщим уважением. Таким образом, латинское выражение по смыслу примерно соответствует русскому «шут гороховый». – *В.Б.*

357. *...был у нас, немцев* – В черновике за этим следовало зачеркнутое продолжение: *...может быть, мы, нынешние, – столь последовательные атеисты потому, что дольше всех сопротивлялись быть ими.*

Банзен Ю.Ф.А. (1830–1881) – немецкий философ, ученик и последователь Шопенгауэра, комбинировавший его волюнтаризм с диалектической метафизикой.

Майнлендер Ф. (1841–1876) – немецкий философ, автор нашумевшей в свое время «Философии спасения», где в духе Э. фон Гартмана проповедовал необходимость универсального самоуничтожения.

358. *Крестьянская война духа* – В черновике афоризм носил заголовок *Немцы и Реформация.*

364. *...как говорит Мефистофель* – См.: Гёте. Фауст I 1283.

368. Этот афоризм и афоризм **370** с некоторыми изменениями Н. включил в состав *HcontB.*

370. *Воля к увековечению...* – В черновике добавлено: – *аполлоновская, согласно моей старой формуле.*

373. В чистовике зачеркнуто окончание всего афоризма, гласившее: *Естествоиспытатели механистической церкви, в сущности, подобно всем глухим, отрицают, что есть на свете музыка, что само сущее есть музыка, даже что могут иметься уши... Этим они обесценивают сущее.*

376. *...долгую фермату* – Фермата – музыкальный термин, означающий продление ноты или паузы на время, определяемое исполнителем, и воспринимаемое как перерыв в музыкальном движении. – *В.Б.*

381. В черновике афоризм начинался следующим образом: *Существует строгая оптика, которой хороший писатель следует*

так же, как и хороший художник: "Станьте вон туда – или не смотрите на мою картину вообще!" Любая хорошая вещь хороша лишь с известного расстояния.

Diu noctuque incubando ... Ньютон – Латинское выражение, которое Н. в письме к Ф. Овербеку (лето 1886 г.) применяет к себе: *Если кто-то (как я) diu noctuque incubando с самой ранней юности живет среди проблем, только там испытывая и невзгоды свои и радости, – разве найдет он в ком-нибудь сочувствие! Р. Вагнер, как я уже сказал, его мне оказывал.* – В.Б.

383. *Не надо ... радостный лад!* – по гимну Ф. Шиллера «К радости» в обработке Л. Бетховена.

«певца проклятье» – Название баллады Л. Уланда (1815).

Песни принца Фогельфрай

Связь душевно-духовной атмосферы всей книги *ВН* с культурой средневекового Прованса середины 12-го – начала 13-го вв. очевидна уже из подзаголовка «la gaya scienza»; в этом стихотворном приложении Н. акцентирует ее специально, намеренно сближая свой текст с творчеством провансальских трубадуров и формально (жанрово и тематически), и в общем культурном контексте (достаточно вспомнить светский и по тем временам «имморальный» характер куртуазной культуры и то обстоятельство, что абсолютное большинство трубадуров в войне католического Севера с веротерпимым и даже индифферентным к религии Югом Франции было на стороне последнего; кроме того, есть точка зрения, согласно которой поэзия трубадуров – явление вторичное по отношению к поэзии суфиев, – если Н. что-то знал об этом обстоятельстве, это еще больше подчеркивает антихристианский характер его провансальской маски). «Псевдоним» Н. – «принц Фогельфрай» (т. е., по-русски, «князь Вольнолёт») можно понимать как своего рода *сеньяль*, условное поэтическое имя, какие были в ходу у трубадуров (его аристократический элемент не случаен – многие провансальские поэты были знатными сеньорами, а иногда даже суверенами). Позже Н. раскрывает эту связь по существу: в соответствующем разделе *ЕН* он пишет, что в понятии «gaya scienza» сошлись «поэзия,

рыцарство и свободомыслие», а стихотворение «К мистралю» – «совершеннейший провансализм». В душевной и физической (выбор мест жительства: Ницца, Турин, Милан, Генуя в средние века находились в орбите провансальской культуры) жизни Н. тема Прованса вообще играла немаловажную роль. Во время работы над пятой книгой *ВН* и *Песнями...* (стихотворение *К мистралю* написано раньше, в ноябре 1884), во фрагментах, датируемых осенью 1885 – весной 1886 (ПСС 12, 1 [121] и 2 [73]), Н. обдумывает возможность сочинения под названием «Gai saber» (что на провансальском языке значит «веселая наука», как и ницшевский итальянский подзаголовок *ВН* «la gaya scienza») с подзаголовком «Пролог к философии будущего» (примененным, как известно, к *ПСДЗ*). Исследователи средневековой провансальской культуры упоминают о существовании чего-то «вроде Консистории веселой науки (gay saber), созданной в XIV в. учеными горожанами Тулузы, для того чтобы оживить угасшую провансальскую поэзию, с проводимыми ею ежегодными так называемыми "цветочными играми" – состязаниями на лучшее поэтическое сочинение» (см.: Жизнеописания трубадуров. Жан де Нострдам... М., «Наука», 1993. С. 672). – У заглавия «Веселая наука» есть и другая сторона: смысловая оппозиция «скучной науке» традиционной немецкой философии (см. *УЗ* 193). – *В.Б.*

Призвание поэта – В *МИ* – заключительное, восьмое, стихотворение цикла, под заголовком *Мнение птицы* или (скорее) *Птичий приговор*. По сравнению с *МИ* стихотворение значительно расширено – с двух до шести строф. Первые две строфы воспроизведены практически без изменений, за исключением последней строки *Птичьего приговора* (*Also sprach der Vogel Specht*). Бросается в глаза, что конструкция вышеприведенной строчки в точности повторяет (точнее, предваряет) конструкцию названия книги *Так говорил Заратустра*. *МИ* писались до создания *ТГЗ*, а публикация Пятой книги *ВН* готовилась уже через несколько лет после выхода *ТГЗ*. Похоже, что при подготовке новой версии этого стихотворения Н. решил избежать возникшей в стихотворении автопародирующей переклички с *ТГЗ*. – *И.Э.*

На Юге – В *МИ* – первое стихотворение цикла, под заголовком *Принц Фогельфрай*. По сравнению с *МИ* появилась заклю-

чительная шестая строфа, кроме того, есть изменения в каждой из первых пяти строф: наиболее существенные по содержанию – во второй (В *МИ* строки 8–10: *Я забыл цель и пристань, / Я забыл страх, награду и наказание: / Теперь лечу я следом за всякой птицей*). – И.Э.

Набожная Беппа – Практически без изменений воспроизводит стихотворение *Маленькая ведьма* – четвертое из *МИ*.

Таинственный челн – Практически без изменений воспроизводит стихотворение *Ночная тайна* – пятое из *МИ*.

Объяснение в любви – В *МИ* – седьмое стихотворение цикла, под заголовком *Птица альбатроса* (и без снижающего пафос подзаголовка). В *МИ* в стихотворении была еще одна (вторая) строфа, отсутствующая в поздней редакции *ВН*.

Песня феокритовского козопаса – Практически без изменений воспроизводит стихотворение *Песня козопаса* (с посвящением: *Моему соседу Феокриту из Сиракуз*) – третье из *МИ*.

Нагретый бык – он глух на крик. – По античному рассказу об акрагантском тиране Фаларисе, применившему новый вид казни – помещать казнимого внутрь полой, отлитой из меди фигуры быка и зажигать под ней огонь. – *КСВ*.

...accent aigu – Аксан эгю, «острое ударение» (*фр.*) – диакритический знак французского языка.

К новым морям – Ср.: ПСС 10, 1[15], 1[101], 3[1], 3[4].

Зильс-Мария – Существуют различные наброски этого стихотворения: 1) озаглавленный Н. «Портофино» и датируемый *КиМ* осенью 1882 г. (ПСС 10, 3[3]), 2) без заглавия (ПСС 10, 4 [122], ноябрь 1882–февраль 1883) (оба содержат по 4 первых строки) и 3) набросок последних четырех строк (ПСС 10, 4 [145]). В окончательном варианте Н. соединил свои приморские (Портофино – мыс на берегу Генуэзского залива близ Рапалло, где он жил в то время) и альпийские впечатления. – *В.Б.*

От редакции

Данным томом завершается издание полного собрания сочинений Фридриха Ницше. Первыми, в 2005 и 2006 годах, вышли заключительные по нумерации 12-й и 13-й тома, и в дальнейшем порядок выхода томов определялся не их нумерацией, а готовностью переводов тех или иных произведений философа для нового издания. Работа над изданием заняла около десяти лет, что, конечно же, является достаточно коротким сроком для подготовки такого собрания сочинений. С одной стороны, был подвергнут ревизии весь корпус существовавших доселе русских переводов Ницше. С другой стороны, для данного издания были заново переведены многие ключевые произведения Ницше, а также впервые освоен на русском тот объем его черновиков, который впервые увидел свет в немецком издании под редакцией Дж. Колли и М. Монтинари (*F. Nietzsche.* Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von G. Colli und M. Montinari. Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1967–77).

Разумеется, и наше издание не свободно от ошибок и недочетов. И тем не менее невозможно переоценить значение выхода данного тринадцатитомника. Конечно, нужно определенное время для того, чтобы в нашу антикнижную эпоху он нашел подобающий ему отклик даже у специализированной научной аудитории, не говоря уж о более широких читательских кругах. Но так или иначе я убежден в том, что только с выходом этого собрания сочинений в России появляется наконец основа для адекватной рецепции Ницше и адекватной дискуссии о нем.

Этот том мы посвятили памяти Владимира Николаевича Миронова – человека, организационными стараниями которого была запущена в свое время работа над данным изданием. Не будучи академическим ученым и германистом, В.Н. Миронов был, тем не менее, знатоком не только творчества Ф. Ницше, но и современной, в первую очередь

франкоязычной, философской литературы о нем. Главное же, Владимир Николаевич был ярким, талантливым человеком, способным хранить верность сверхзадаче, каковой в данном случае было ПСС немецкого мыслителя. До выхода последнего тома В.Н. Миронов не дожил всего два месяца. В некотором смысле завершающий том полного собрания сочинений оказывается своего рода кенотафом этому человеку.

И. Эбаноидзе

Фридрих Ницше
Полное собрание сочинений
Том 3

Заведующий редакцией
И.А. Эбаноидзе
Оформление и верстка
И.Э. Бернштейн
Корректор
А.Г. Сорокина

Подписано в печать 13.08.2014.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная.
Печ. л. 20. Тираж 2000 экз. Заказ №5639

Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Новосущёвская, д. 19б
Телефон (499) 973 1662, e-mail editor@kultrev.ru

При участии ООО Агентство печати «Столица»
e-mail: apstolica@bk.ru ; http://www.apstolica.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14